ISSN 0130-6545

1.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авторы 1991 года

Умберто Эко

Луи Арагон

Витольд Гомбрович

Октавио Пас

Франсуаза Саган

Андре Жид

Хуан Карлос Онетти

Э. Л. Доктороу

Джей Макинерни

Том Вулф

В номере:

АНДРЕ ЖИД
Тесные врата

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ
Фердидурка

ОКТАВИО ПАС
Стихи, эссе

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ИЛ» 1990 ГОДА

В. ГОЛЫШЕВ — за перевод повести Уильяма Фолкнера «Когда я умирала», № 8

В. ХАРИТОНОВ — за перевод романа Сола Беллоу «Герцог», № 11, 12

А. ЭППЕЛЬ — за перевод повести Бруно Шульца «Коричные лавки», № 12

Л. БЕРИНСКИЙ и **С. ЛИПКИН** — за публикацию, посвященную творчеству Хаима-Нахмана Бялика, № 4

Г. ГАЧЕВ — за статью «Образы Индии», № 2

Ю. Н. ДАВЫДОВ, МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ, А. КАРЕЛЬСКИЙ, Н. ГОЛУБОВСКАЯ — за публикацию «Достоевский глазами Ницше», № 4

С. ДОВЛАТОВ (посмертно) — за статью «Переводные картинки», № 9

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ,
В. С. ПЕРЕХВАТОВ, Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (ответственный секретарь),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция), КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ГРЭМ ГРИН (Великобритания), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия), МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа), ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США), АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония), ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), МАКС ФРИШ (Швейцария), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

1 январь 1991

СОДЕРЖАНИЕ

АНДРЕ ЖИД — Тесные врата *(Роман. Перевод с французского Ярослава Богданова)* 5

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ — Фердидурка *(Роман. Вступление и перевод с польского А. Ермонского)*. Славомир Мрожек — Гомбрович *(Эссе. Перевод с французского И. Истратовой)* 72

ОКТАВИО ПАС — Из книги «Восточный склон» *(Перевод с испанского Сергея Гончаренко)*. Эссе разных лет *(Перевод с испанского и составление Н. Богомоловой)* 213

А. КОФМАН — Утопия Октавио Паса 236

Публицистика

Вера и мораль

ДАЙСЭЦУ СУДЗУКИ — Две лекции о дзэн-буддизме *(Предисловие и перевод с английского Людмилы Ермаковой)* 241

Последние страницы Раисы Орловой 254

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.11.90. Подписано в печать **27.01.91.** Формат $70\times108^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 25,26.

Тираж 160 000 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1425.
Отпечатан и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44.
Зак. 5.

АНДРЕ ЖИД

Тесные врата

РОМАН

Перевод с французского
ЯРОСЛАВА БОГДАНОВА

НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
1947

Исходно движимое идеями свободы личности («Яства земные», 1897) и личной ответственности («Имморалист», 1902; драма «Саул», 1903), не раз побуждавшими писателя отстаивать свое кредо, в том числе и в социальной публицистике («Путешествие в Конго», 1927; «Возвращение из СССР», 1936), творчество А. Жида можно истолковать как талантливую и честную попытку художественного поиска некоей современной формы гуманизма, в котором уравновешивались бы противоречивые устремления индивида и требования общественной морали, альтруизм и эгоизм, логика доводов разума и жизненная мощь древнейших инстинктов («Подземелья Ватикана», 1914; «Пасторальная симфония», 1919; «Тезей», 1946; «Дневник. 1939—1950»). А. Жида любят называть «последним из классиков и первым из модернистов», имея в виду прежде всего крайне значимый для всей словесности XX века роман «Фальшивомонетчики» (1925), отличающийся сложной композицией и исследующий сам феномен литературного творчества, занимавший писателя с первых лет работы («Топи», 1895). О романе «Тесные врата» (1909), во многом автобиографичном и вошедшем в первый номер созданного при участии А. Жида журнала «Нувель ревю франсэз», сам автор отзывался как о самом любимом своем детище. Это произведение на русский язык перевести не успели, хотя в 1935—1936 гг. в Ленинграде вышло собрание сочинений А. Жида в 4-х тт. После появления книги «Возвращение из СССР», в которой недавний «друг Октября» попытался непредвзято, то есть сняв розовые очки, передать увиденное им при посещении страны победившего социализма, все его творчество немедленно оказалось «антисоветским и вредным». Более чем полувековой заговор молчания вокруг имени А. Жида был нарушен лишь в 1989 г., когда злополучное «Возвращение» опубликовал журнал «Звезда» (№ 8). Представительный однотомник новых переводов выходит в 1991 г. в издательстве «Прогресс». В одном из ближайших номеров «Иностранной литературы» будет опубликован «Литературный портрет Андре Жида».

Подвизайтесь войти сквозь тесные врата.
Евангелие от Луки, 13, 24

I

Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу; мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было; усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование.

Мне не было еще и двенадцати лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживало в Гавре, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда

одинаково нежных и печальных и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно спустя после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой.

— Мамочка! — воскликнул я.— Как не идет тебе этот цвет.

На следующий день на ней вновь была черная лента.

Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как уберечь меня от переутомления, я все же не сделался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный и меня как можно скорее надо увозить из города; к середине июня мы переезжали в Фонгезмар, в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена.

Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Бюколенов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток, в сад; столько же на противоположную сторону; по бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратиков; в тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые «пузыри»: взглянешь сквозь него на дерево — оно все искривится, взглянешь на проходящего мимо почтальона — у него вдруг вырастает горб.

Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев.

Позади усадьбы, с западной стороны, сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров несколькими деревьями и стеной густого кустарника, португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кузины всегда называли ее «темной аллеей» и с наступлением сумерек не отваживались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда через маленькую потайную дверь в стене попадаешь в молодой лесок, где смыкаются подходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жнивьем. А еще чуть дальше, на горизонте,— деревенская церквушка да вечером, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами.

Погожими летними вечерами мы спускались в «нижний сад», выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, откуда тоже было видно довольно далеко; там, возле соломенного навеса, оставшегося от брошенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались; неширокая долина перед нами наполнялась туманом, а вдали над лесом золотело небо. Обратно шли не спеша, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках... На этом для нас, детей, вечер заканчивался; однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока не слышались шаги взрослых, поднимавшихся по лестнице.

Кроме сада, местом, где мы проводили большую часть времени, была «классная» — дядин кабинет, куда поставили несколько школьных парт. Я сидел за одной партой с кузеном Робером, сзади нас садились Жюльетта и Алиса. Алиса была на два года старше, а Жюльетта на год младше меня. Робер из нас четверых был самым младшим.

Писать воспоминания о своем детстве я не намерен и расскажу лишь о том, что имеет отношение к этой истории. А началась она, могу сказать совершенно определенно, в год смерти отца. Горе, постигшее нас, и глубокая печаль матери, даже в большей степени, нежели моя собственная, обострили мою природную чувствительность и, вероятно, предрасположили меня к новым переживаниям: я возмужал прежде времени; поэтому, когда тем летом мы вновь приехали в Фонгезмар, Жюльетта и Робер показались мне совсем еще маленькими, однако, увидев Алису, я внезапно понял, что и она, так же, как и я, перестала быть ребенком.

Да, это было именно в год смерти отца; я не могу ошибиться, потому что хорошо помню один разговор матери и мисс Эшбертон, сразу после нашего приезда. Они оживленно беседовали, когда я внезапно вошел в комнату; речь шла о моей тете: моя мать была возмущена тем, что она то ли вовсе не носила траура, то ли слишком рано сняла его. (По правде сказать, мне одинаково невозможно вообразить как тетю Бюколен в черном, так и мою мать в светлом платье.) В день нашего приезда, сколько мне помнится, на Люсиль Бюколен было платье из муслина. Мисс Эшбертон, которая всегда стремилась к всеобщему согласию, пытаясь успокоить мою мать, осторожно заметила:

— Но ведь белый цвет тоже может быть знаком скорби...

— Это пунцовая-то шаль у нее на плечах — «знак скорби»? Да как вы могли сказать мне такое, Флора!

Я видел тетю только в летние месяцы, во время каникул, и вполне понятно, что из-за постоянной жары она и носила все эти очень открытые легкие платья; как раз глубокие вырезы и раздражали мою мать, гораздо больше даже, чем разные яркие накидки на тетиных обнаженных плечах.

Люсиль Бюколен была очень красива. На сохранившемся у меня маленьком портрете она изображена такой, какой была в ту пору, и лицо ее настолько юно, что ее можно принять за старшую сестру ее собственных дочерей, рядом с которыми она сидит в обычной своей позе: голова слегка опирается на левую руку, мизинец жеманно отогнут и касается губ. Густые, слегка волнистые волосы подвернуты и схвачены на затылке крупной сеткой; в полукруглом вырезе корсажа — медальон с итальянской мозаикой на свободной черной бархатке. Поясок, тоже из черного бархата, завязанный большим бантом, широкополая шляпа из тонкой соломки, которую она повесила за ленту на спинку стула,— все это еще больше делает ее похожей на девочку. В правой руке, опущенной вдоль тела, она держит закрытую книгу.

Люсиль Бюколен была креолкой; своих родителей она не знала совсем или потеряла очень рано. Позднее я узнал от матери, что родители то ли бросили ее, то ли умерли, и ее взяли к себе пастор Вотье с женой, у которых детей не было и которые вскоре после того вместе с девочкой уехали с Мартиники и поселились в Гавре, где уже жила семья Бюколен. Вотье и Бюколены сблизились; дядя мой был в ту пору за границей, служащим в каком-то банке, и лишь спустя три года, вернувшись домой, впервые увидел маленькую Люсиль; он влюбился в нее и немедленно попросил руки, к великому огорчению своих родителей и моей матери. Люсиль было тогда шестнадцать лет, и к тому времени г-жа Вотье родила уже двоих детей; она начинала опасаться влияния на них приемной дочери, чей характер день ото дня все более удивлял их своей необычностью; кроме того, достатком семейство не отличалось... в общем, моя мать назвала мне достаточно причин, по которым Вотье с радостью приняли предложение ее брата. Я склонен думать, ко всему прочему, что юная Люсиль грозила поставить их в ужасно неловкое положение. Я достаточно хорошо знаю гаврское общество и без труда могу себе представить, как там принимали эту прелестную девочку. Пастор Вотье, которого я узнал впоследствии как человека мягкого, осторожного и вместе наивного, бессильного перед интригами и совершенно безоруж-

ного против сил зла,— тогда эта благородная душа, видимо, была затравлена совершенно. О г-же Вотье не могу сказать ничего; она умерла в родах, на четвертом ребенке, и тот мальчик, почти одних со мною лет, позднее стал моим другом...

Люсиль Бюколен почти не участвовала в общей нашей жизни; она спускалась из своей комнаты после полудня, когда все уже выходили из-за стола, тотчас же устраивалась где-нибудь на софе или в гамаке, лежала так до самого вечера, после чего поднималась в полном изнеможении. Бывало, несмотря на то, что лоб у нее был абсолютно сухой, она прикладывала к нему платок, точно при испарине; платочек этот поражал меня своей необычайной тонкостью и запахом — каким-то не цветочным, а скорее даже фруктовым; иногда она брала в руки крошечное зеркальце со сдвигающейся серебряной крышечкой, висевшее у нее на поясе вместе с другими такими же вещицами на цепочке для часов; она долго разглядывала себя, потом, слегка послюнявив кончик пальца, что-то вытирала им в уголках глаз. Очень часто она держала книгу, хотя почти никогда ее не открывала; книга была заложена черепаховой закладкой. Когда вы подходили к ней, она вас не замечала, оставаясь погруженной в свои грезы. Нередко, по усталости или рассеянности, из ее рук или с подлокотника софы, или из складок юбки что-то падало на пол — платочек ли, книга, какой-нибудь цветок или ленточка. Однажды — это тоже воспоминание из детства — я поднял книгу и, увидев, что это стихи, густо покраснел.

По вечерам Люсиль Бюколен также не подходила к общему семейному столу, а садилась после ужина за фортепьяно и, словно любуясь собой, играла медленные мазурки Шопена; иногда, сбиваясь с такта, она вдруг застывала на каком-нибудь аккорде...

Рядом с тетей я испытывал какое-то тревожное волнение, в котором были и растерянность, и смутное восхищение, и трепет. Быть может, неведомый инстинкт предупреждал меня об опасности, исходившей от нее; вдобавок я чувствовал, что она презирает Флору Эшбертон и мою мать и что мисс Эшбертон боится ее, а мать относится к ней неприязненно.

Я бы очень хотел просить вас, Люсиль Бюколен, забыть хоть ненадолго о том, сколько зла вы сделали... постараюсь по крайней мере говорить о вас без раздражения.

Как-то раз тем же летом — а может быть, и следующим: ведь обстановка почти не менялась, и некоторые события в моей памяти могли смешаться,— я забежал в гостиную за книгой, там уже сидела она. Я было собрался уйти, как вдруг она, обычно будто и не замечавшая меня, произнесла:

— Почему ты так быстро уходишь, Жером? Ты меня испугался?

С бьющимся сердцем я подошел к ней, заставил себя улыбнуться и протянуть ей руку, которую она уже не отпускала, а свободной ладонью гладила меня по щеке.

— Бедный мальчик мой, как дурно одевает тебя твоя мать!..

На мне была тогда плотная блуза, типа матроски, с большим воротником, который тетя принялась собирать с обеих сторон.

— Отложной воротник так не носят, его весь нужно расстегнуть! — сказала она, отрывая верхнюю пуговицу.— Ну вот, взгляни-ка на себя теперь! — И, достав зеркальце, она почти прижала меня к себе, ее обнаженная рука обвила мою шею, скользнула за полурасстегнутый ворот и после насмешливого вопроса, не боюсь ли я щекотки, стала опускаться все глубже и глубже... Я вскочил так стремительно, что моя блуза треснула по шву; с пылающим лицом я бросился вон из комнаты, услышав

вдогонку: «Фу, какой глупый!» Я убежал в самый дальний конец сада, и там, смочив платок в бочке с дождевой водой, прикладывая его ко лбу, тер им щеки, шею — все, чего коснулась рука этой женщины.

Бывали дни, когда с Люсиль Бюколен случались «приступы». Это начиналось внезапно, и в доме все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей; но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир; вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим.

Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюколен звала к себе детей, то есть Робера и Жюльетту; Алису — никогда. В эти печальные дни Алиса почти не покидала своей комнаты, где ее изредка навещал отец; он вообще любил беседовать с ней.

Тетины приступы производили сильное впечатление на прислугу. Однажды приступ был каким-то особенно тяжелым, и я весь вечер провел вместе с матерью в ее спальне, где было меньше слышно то, что происходило в гостиной; вдруг из коридора донесся звук торопливых шагов и крик нашей кухарки:

— Барин, барин, спускайтесь скорее! Барыня, бедная, помирает!

Дядя как раз был в комнате у Алисы; моя мать пошла вместе с ним. Примерно через четверть часа они проходили мимо открытых окон комнаты, где сидел я, но они об этом забыли, и я услышал, как моя мать говорила:

— Позволь, я скажу тебе, мой друг: это всего лишь комедия.— И она повторила несколько раз по слогам: — Ко-ме-дия.

Это произошло ближе к концу каникул, два года спустя после нашего траура. Увидеть тетю в следующий раз мне предстояло уже очень нескоро. Однако, прежде чем пойдет речь о событии, перевернувшем окончательно жизнь нашей семьи, а также о небольшом происшествии, которое еще накануне основной развязки превратило в настоящую ненависть то сложное и до поры смутное чувство, что я испытывал к Люсиль Бюколен,— самое время рассказать вам о моей кузине.

Была ли Алиса Бюколен хороша, о том я еще не мог тогда судить; меня неизменно влекло к ней и удерживало подле нее какое-то особое очарование, а не просто красота. Конечно, она была очень похожа на мать; однако выражение глаз ее было настолько отличным, что самое сходство между ними я заметил лишь много позднее. Описывать лица я не умею, от меня ускользают не только черты, но даже цвет глаз; я хорошо помню только ее улыбку, уже тогда немного грустную, да изгиб бровей, необычно высоко поднятых, обрамлявших глаза большими полукружьями. Таких я не видел более ни у кого... впрочем, нет: у одной флорентийской статуэтки дантовских времен; мне и юная Беатриче представляется с такими же большими дугами бровей. Глазам Алисы, всему ее существу они придавали постоянно вопросительное выражение, в котором были и вера, и тревога — да, именно пылко-вопрошающее выражение. В ней все без исключения было вопрос и ожидание... Я расскажу вам, как этот вопрос овладел и мною, как выстроил он мою жизнь.

Жюльетта могла бы показаться даже более красивой; все в ней дышало веселостью и здоровьем, однако красота ее, рядом с грацией ее сестры, была как бы вся на поверхности, любому она являлась сразу и целиком. Что же касается моего кузена Робера, то в нем не было ничего примечательного. Просто он был почти мой ровесник, я играл с Жюльеттой и с ним; а с Алисой я разговаривал; она никогда не участвовала в наших играх; даже в самых ранних своих воспоминаниях я вижу ее неизменно серьезной, сдержанной, с мягкой улыбкой. О чем мы разговаривали? Да о чем могут говорить между собой двое детей?

Вскоре я вернусь и к этому, но прежде, чтобы дольше не задерживаться на моей тете, я докончу рассказ о ней и о том, что с ней связано.

Спустя два года после смерти отца мы с матерью приехали в Гавр на пасхальные каникулы. Остановились мы не у Бюколенов, которые в городе жили и без того достаточно стесненно, а у сестры моей матери, чей дом был попросторнее. Моя тетя Плантье, которую до этого я видел всего несколько раз, овдовела уже много лет назад; детей ее, которые были гораздо старше меня и совершенно иные по душевному складу, я тоже почти не знал. «Дом Плантье», как его окрестили в Гавре, стоял особняком, за чертой города, на склоне довольно высокого холма, который все здесь называют «косогором». Бюколены же жили неподалеку от деловых кварталов; путь от одного дома к другому можно было сократить по крутой тропинке, и я по нескольку раз на дню то сбегал по ней вниз, то карабкался наверх.

В тот день я обедал у дяди. Вскоре после еды он собрался уходить; я проводил его до самой конторы, а затем поднялся в дом Плантье, чтобы найти мать. Там я узнал, что она ушла вместе с тетей и вернется только к ужину. Я тут же вновь спустился в город, где мне очень редко удавалось спокойно побродить одному. Я пошел к порту, который из-за тумана выглядел очень мрачно, часа два прогуливался по набережным и причалам. Неожиданно у меня появилось желание вновь без предупреждения зайти к Алисе, с которой я, впрочем, расстался совсем недавно... Я побежал по улицам, позвонил в дверь Бюколенов и уже было бросился вверх по лестнице, как вдруг открывшая мне служанка стала меня удерживать:

— Не поднимайтесь, господин Жером, подождите! С хозяйкой нашей опять приступ!

Я, однако, не послушался, сказав, что иду не к тете. Комната Алисы была на четвертом этаже; на втором располагались гостиная и столовая, а на третьем — тетина спальня, откуда сейчас слышались голоса. Дверь, мимо которой мне нужно было пройти, оказалась открытой; из комнаты выбивался свет и пересекал лестничную площадку. Чтобы меня не заметили, я задержался в тени да так и застыл в изумлении при виде следующей сцены: окна зашторены, в двух канделябрах весело горят свечи, а посреди комнаты в шезлонге полулежит моя тетя; у ее ног сидят Робер и Жюльетта. Сегодня сам факт присутствия там детей кажется мне чудовищным, но в моем тогдашнем неведении он меня даже несколько успокоил.

Все смеются, глядя на этого неизвестного, который щебечет:

— Бюколен! Бюколен!.. Вот был бы у меня барашек, я непременно так и назвал бы его — Бюколен!

Тетя заливается смехом. Я вижу, как она протягивает молодому человеку сигарету, которую тот зажигает, и делает несколько затяжек. Тут сигарета падает на пол, он бросается, чтобы поднять ее, нарочно спотыкается и оказывается на коленях перед тетей... Благодаря этой суматохе я проскальзываю наверх незамеченным.

Наконец я перед дверью Алисы. Жду еще немного. Снизу по-прежнему слышны громкие голоса и смех; видимо, они заглушают мой стук, поэтому я не знаю, был ли ответ. Толкаю дверь, она бесшумно отворяется. В комнате уже так темно, что я не сразу различаю, где Алиса; она стоит на коленях у изголовья постели, спиной к перекрестью окна, в котором день почти совсем угас. Не поднимаясь с колен, она оборачивается на мои шаги, шепчет:

— Ах, Жером, зачем ты вернулся?

Я наклоняюсь, чтобы обнять ее; лицо ее все в слезах...

В эти мгновения решилась моя жизнь; я и сегодня не могу вспоминать о них без душевного волнения. Разумеется, я лишь приблизительно догадывался о причине страданий Алисы, но всем сердцем чувствовал, что муки эти невыносимы для ее неокрепшей трепетной души, для ее хрупкого тела, которое все сотрясалось в рыданиях.

Я все стоял рядом с ней, а она так и не поднималась с колен; я не способен был выразить тех новых чувств, что владели мною, и изливал душу в том, что прижимал к своей груди ее голову и целовал ее лоб. Опьяненный любовью, жалостью, непонятной смесью восторга, самоотречения и мужественной добродетели, я всеми силами души взывал к Богу и был готов посвятить себя без остатка единственно тому, чтобы это дитя не знало страха, зла и даже самой жизни. В каком-то благоговении я тоже опустился на колени, обнял ее еще крепче и тут услышал, как она прошептала:

— Жером, ведь они не заметили тебя, правда? Уходи скорее, прошу тебя! Пусть они не знают, что ты был здесь.

Потом совсем едва слышно:

— Жером, не говори никому... папа ведь ни о чем не знает...

Матери я ничего не сказал; однако бесконечные ее шушуканья с моей тетей Плантье, таинственный, озабоченный и удрученный вид обеих женщин, непременное «Ступай, сынок, поиграй» каждый раз, когда я оказывался рядом и мог услышать, о чем они шепчутся,— по всему было видно, что происходившее в доме Бюколенов не являлось для них тайной.

Не успели мы вернуться в Париж, как мать снова вызвали в Гавр: тетя убежала из дому.

— Одна или с кем-то? — спросил я у мисс Эшбертон, когда мать уже уехала.

— Мальчик мой, спроси об этом у своей матери; я не могу тебе ничего ответить,— сказала она, и я видел, как случившееся огорчило ее, давнего друга нашей семьи.

Два дня спустя мы с ней выехали вслед за матерью. Это было в субботу. На следующий день я должен был встретиться со своими кузинами в церкви, и мысль об этом только и занимала меня все время, так как в своих тогдашних детских рассуждениях я придавал большое значение тому, что наше свидание будет как бы освящено. До тети мне, в сущности, и дела не было, а потому я дал себе слово ни о чем не расспрашивать мать.

В маленькой часовне народу в то утро было немного. Пастор Вотье, скорее всего не без умысла, выбрал темой проповеди слова Христа: *«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».*

Алиса сидела несколькими рядами впереди меня. Я видел ее профиль и смотрел на нее так пристально и неотрывно, забыв обо всем на свете, что даже голос пастора, в который я жадно вслушивался, казалось, доходил до меня через нее.

Дядя сидел рядом с моей матерью и плакал.

Пастор прочитал сначала весь стих полностью: *«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их»* [1]. Затем, обратив внимание на заложенное в стихе противопоставление, он заговорил прежде о «пространном пути»... Точно в полуобмороке или во сне, я как будто вновь увидел ту сцену в тетиной спальне: тетя полулежит в шезлонге и смеется, рядом — тот блестящий офицер и тоже смеется... сама мысль о смехе, о веселье вдруг сделалась для меня неприятной, оскорбительной, предстала едва ли не крайним выражением греховности!..

«...И многие идут ими»,— повторил пастор Вотье; он приступил к описанию, и я увидел толпу прекрасно одетых людей, которые, смеясь и дурачась, шли и шли друг за другом, и я чувствовал, что не могу, не желаю присоединиться к ним, поскольку каждый шаг, сделанный вместе с ними, отдалял бы меня от Алисы.

---

[1] Евангелие от Матфея, 7, 13—14. *(Здесь и далее прим. ред.)*

Пастор вернулся к начальным строкам, и теперь я увидел тесные врата, которыми следовало входить. В моем тогдашнем состоянии они пригрезились мне отчасти похожими на машину для прокатывания стальных листов, я протискивался в нее, напрягая все силы и чувствуя страшную боль, к которой, однако, добавлялся привкус неземного блаженства. Одновременно эти врата были и дверью в комнату Алисы, и чтобы войти туда, я весь сжимался, выдавливая из себя остатки эгоизма... *«Потому что узок путь, ведущий в жизнь»,*— продолжал пастор Вотье, и вот уже печаль и умерщвление плоти оборачивались для меня предчувствием какой-то еще неведомой радости — чистой, мистической, ангельской,— той самой, какой жаждала моя душа. Она, эта радость, являлась мне словно пение скрипки — пронзительное и вместе нежное,— словно напряженное пламя свечи, в котором сгорали наши с Алисой сердца. Облаченные в белые одежды, о которых говорится в Апокалипсисе [1], мы шли вперед, взявшись за руки и не сводя глаз с цели нашего пути... Эти детские грезы могут вызвать улыбку — пускай! Я ничего не изменял в них. А некоторая несвязность возникает оттого, что слова и образы лишь весьма приблизительно способны передать чувства людей.

«...И немногие находят их»,— заканчивал пастор Вотье, объясняя, как отыскать эти узкие врата... *«Немногие»*. Я бы хотел стать одним из них...

К концу проповеди напряжение во мне достигло такой степени, что, едва все окончилось, я стремительно вышел, так и не увидевшись с Алисой: из гордыни я вознамерился немедленно подвергнуть испытанию свое решение (а я его уже принял), заключив, что стану более достойным ее, если сейчас с ней расстанусь.

II

Эти суровые наставления нашли благодатную почву в душе, изначально готовой к служению долгу и — под воздействием примера отца и матери, в сочетании с пуританской дисциплиной, коей они подчинили первые порывы моего сердца,— почти совершившей окончательный выбор, который я мог бы выразить в одном слове — добродетель. Для меня было так же естественно смирять себя, как для иных ни в чем себе не отказывать, причем строгость, к которой меня приучали, ничуть не отвергалась, а напротив, льстила моему самолюбию. Грядущее в моем представлении сулило не столько счастье, сколько вечное и напряженное стремление к нему, так что я уже едва ли видел различие между счастьем и добродетелью. Разумеется, как всякий подросток в четырнадцать лет, я еще не вполне определился и сохранял свободу выбора, но очень скоро любовь к Алисе решительно увлекла меня в том направлении. Благодаря этой внезапной вспышке, словно высветившей меня изнутри, я осознал сам себя: оказалось, что я замкнутый, со слабо выявленными способностями, весь в ожидании чего-то, довольно безразличный к окружающим, скорее вялый, нежели предприимчивый, и не мечтающий ни о каких победах, кроме как над самим собой. Учиться я любил; из всех игр более всего меня увлекали те, что требовали сосредоточенности или усилий ума. У меня почти не было приятелей среди однокашников, а в их затеях я участвовал лишь из вежливости или за компанию. Впрочем, я сошелся достаточно близко с Абелем Вотье, который год спустя переехал в Париж и стал учиться в одном классе со мной. Это был приятный, несколько апатичный мальчик, к которому я испытывал скорее нежность, чем уважение, но с ним по крайней мере я мог поговорить о Гавре и Фонгезмаре, куда постоянно улетала моя мысль.

Моего кузена Робера Бюколена отдали в тот же лицей, что и нас, правда, двумя классами младше, так что встречался я с ним только по

---

[1] Откровение Иоанна Богослова, 3, 4—5.

воскресеньям. Не будь он братом моих кузин, на которых, кстати, он почти не походил, мне и вовсе не доставляло бы удовольствия видеть его.

Я был тогда весь поглощен своей любовью, и только потому, что ее отсвет падал на мои дружеские отношения с Абелем и Робером, они еще что-то значили для меня. Алиса напоминала бесценную жемчужину, о которой говорится в Евангелии [1], а я — того человека, который распродает все что имеет, лишь бы завладеть ею. Пусть я был еще ребенком, но разве я не прав, называя любовью чувство, которое я испытывал к моей кузине? Оно достойно этого имени гораздо более, нежели все то, что я познал в дальнейшей моей жизни,— впрочем, и тогда, когда я вступил в возраст, которому присуще уже вполне определенное томление плоти, чувство мое не слишком изменилось по своей природе: я по-прежнему не искал более прямых путей к овладению той, добиваться чьего расположения в раннем отрочестве я почитал за великую честь. Все свои каждодневные занятия, усилия, богоугодные поступки я мистически посвящал Алисе, доводя свою добродетель до особой утонченности, когда, как нередко бывало, даже оставлял ее в полном неведении относительно того, что свершалось мною лишь ради нее. Все чаще упивался я подобного рода опьяняющей простотой и скромностью и привыкал — увы, не доискиваясь корней этого моего пристрастия,— находить удовольствие исключительно в том, что доставалось мне ценой определенных усилий.

Вполне возможно, что этим соревнованием был воодушевлен лишь я один. Непохоже, чтобы Алиса хоть в малой степени заинтересовалась им и сделала хоть что-нибудь из-за меня или для меня, я же только ради нее и усердствовал. Душа ее не ведала никаких ухищрений и была прекрасна в своей полнейшей естественности. В ее добродетели было столько легкости и грациозности, что она, казалось, ничего ей не стоила. Ее серьезный взгляд очаровывал, ибо сочетался с детской улыбкой; я вспоминаю сейчас этот взгляд, в котором читался такой мягкий, такой нежный вопрос, и понимаю, почему мой дядя в тогдашнем своем смятении и растерянности именно у старшей дочери искал поддержки, совета и утешения. Тем летом я очень часто видел их вдвоем. Горе сильно состарило его; за столом он почти не разговаривал, а если вдруг оживлялся, то видеть эту наигранную радость было еще тяжелее, чем сносить молчание. Он закрывался в кабинете и курил там до самого вечера, пока к нему не заходила Алиса; ей приходилось долго упрашивать его выйти на воздух; она гуляла с ним по саду, словно с ребенком. Спустившись по цветущей аллее, они усаживались неподалеку от ступенек, ведущих к огороду, на принесенные нами из дома стулья.

Однажды вечером я допоздна зачитался, лежа прямо на газоне в тени огромного пурпурного бука, отделенный от цветочной аллеи только живой изгородью из лаврового кустарника, из-за которой внезапно послышались голоса моего дяди и Алисы. Как я понял, разговор шел о Робере; Алиса упомянула мое имя, и поскольку я уже различал слова, то услышал, как дядя громко произнес:

— Ну, он-то всегда будет трудолюбив!

Невольно оказавшись в роли подслушивающего, я хотел было уйти или по крайней мере как-то обнаружить свое присутствие, но как? Кашлянуть? Или крикнуть: мол, я здесь и все слышу? Я промолчал, причем больше от смущения и застенчивости, чем из желания узнать, о чем они будут говорить дальше. К тому же они всего лишь проходили мимо, да и я мог разобрать далеко не все... Шли они медленно; наверняка Алиса, по своей привычке, несла легкую корзинку, по дороге обрывая увядшие цветы и подбирая опавшие после частых морских туманов завязи. Я услышал ее высокий, чистый голос:

— Папа, ведь правда же, дядя Палисье был замечательным человеком?

---

[1] Евангелие от Матфея, 13, 46.

Ответ дяди прозвучал приглушенно и неясно, я не разобрал слов. Алиса спросила настойчиво:

— Ну скажи, очень замечательным?

Ответ такой же невнятный; затем снова голос Алисы:

— А правда Жером умный?

Как же я мог удержаться и не прислушаться?.. Но нет, по-прежнему неразборчиво. Вновь она:

— Как ты думаешь, он может стать замечательным человеком?

Тут голос дяди наконец-то сделался погромче:

— Доченька, прежде я бы все-таки хотел узнать, кого ты называешь замечательным. Ведь можно быть замечательнейшим человеком, и это никому не будет заметно, я имею в виду глаза людские... замечательнейшим в глазах Божьих.

— Я именно так и понимаю это слово,— сказала Алиса.

— Ну, а к тому же... разве можно знать заранее? Он еще так молод... Разумеется, у него прекрасные задатки, но одного этого недостаточно...

— Что же еще нужно?

— Что я могу тебе ответить, доченька? И доверие нужно, и поддержка, и любовь...

— А что ты называешь поддержкой? — прервала его Алиса.

— Привязанность и уважение к любимому человеку... чего мне так не хватало,— с грустью ответил дядя; затем голоса окончательно стихли вдали.

Во время вечерней молитвы я все терзался своей невольной бестактностью и дал себе слово завтра же признаться кузине. Возможно, к этому решению примешивалось и желание узнать что-нибудь еще из их разговора.

На следующий день в ответ на первые же мои слова я услыхал:

— Но, Жером, ведь подслушивать — это очень дурно. Ты должен был нас предупредить или уйти.

— Уверяю тебя, я не подслушивал... просто я нечаянно услышал... Вы же проходили мимо.

— Мы шли очень медленно.

— Да, но слышно было очень плохо. А потом и вовсе ничего... Скажи, что тебе ответил дядя, когда ты спросила, что еще нужно?

— Жером,— рассмеялась она,— ты же все прекрасно слышал! Просто тебе хочется, чтобы я это повторила.

— Уверяю тебя, я расслышал только первые слова... когда он говорил о доверии и о любви.

— Потом он сказал, что нужно еще много всего другого.

— А ты что ответила?

Она вдруг посерьезнела:

— Когда он сказал, что в жизни нужна поддержка, я ответила, что у тебя есть мать.

— Ах, Алиса, ты же знаешь, что она не всегда будет со мной... Да и потом это совсем разные вещи...

Она опустила глаза.

— Он мне сказал то же самое.

Весь дрожа, я взял ее за руку.

— Чего бы я ни добился в жизни, знай, что это ради тебя одной.

— Но, Жером, я тоже могу когда-нибудь покинуть тебя.

Всю душу вложил я в свои слова:

— А я не покину тебя никогда!

Она слегка пожала плечами.

— Разве у тебя не хватит сил, чтобы идти вперед одному? Каждый из нас должен прийти к Богу самостоятельно.

— Нет, все равно только ты укажешь мне верный путь.

— Зачем тебе понадобилось искать другого проводника, кроме Христа?.. Неужели ты думаешь, что мы сможем когда-нибудь стать бли-

же друг другу, чем тогда, когда, забывая один о другом, мы возносим молитву Богу?

— Да, чтобы он соединил нас,— перебил я ее,— только об этом я и молю его утром и вечером.

— Разве ты не понимаешь, что бывает единение в Боге?

— Понимаю всем сердцем! Это значит, забыв обо всем, обрести друг друга в поклонении одному и тому же. Мне даже кажется, что я поклоняюсь тому же, что и ты, только ради того, чтобы обрести тебя.

— Значит, твоя любовь к Богу небезупречна.

— Не требуй от меня слишком многого. На что мне небеса, если я не смогу обрести там тебя.

Приложив палец к губам, она произнесла с торжественностью в голосе:

— *Ищите прежде Царства Божия и правды его*[1].

Передавая сейчас тот наш разговор, я понимаю, что он покажется отнюдь не детским тому, кто не знает, сколько нарочитой серьезности вкладывают в свои разговоры некоторые дети. Ну и что из того? Неужели же сейчас я стану искать оправдания тем словам? Ни в малейшей степени, так же как не собираюсь приглаживать их, чтобы они выглядели естественнее.

Оба мы раздобыли Евангелие в латинском переводе и уже знали наизусть целые страницы. Алиса выучила латынь вместе со мной под предлогом помощи брату, но я-то думаю, что она просто не хотела отставать от меня в чтении. И посему я отныне увлекался только теми предметами, про которые я точно знал, что они заинтересуют и ее. Если это и стало чему-либо помехой, то уж во всяком случае не моему рвению, как можно было бы предположить; напротив, мне тогда казалось, что она с легкостью опережает меня во всем. Просто дух мой избирал себе путь с постоянной оглядкой на нее, да и вообще все, что нас занимало тогда, все, что понималось нами под словом «мысль», чаще служило лишь предлогом к некоему единению душ, причем более изысканному, нежели обычная маскировка чувства или одно из обличий любви.

Мать моя поначалу, видимо, была обеспокоена возникшим между нами чувством, всей глубины которого она не могла пока и вообразить; однако со временем, видя, как убывают ее силы, она все более лелеяла надежду соединить нас своим материнским объятием. Болезнь сердца, от которой она страдала уже давно, давала о себе знать все чаще. Во время одного из особенно сильных приступов она подозвала меня.

— Бедный мой мальчик, видишь, как я постарела,— сказала она.— Вот так же однажды вдруг я и покину тебя.

Не в состоянии продолжать, она замолчала. Тогда я в неудержимом порыве почти выкрикнул слова, которых, как мне показалось, она и ждала от меня:

— Мамочка... ты знаешь, как я хочу, чтобы Алиса стала моей женой.— Этой фразой я, очевидно, выразил самые сокровенные ее мысли, потому что она сразу же подхватила:

— Конечно, Жером, именно об этом я и хотела поговорить с тобой.

— Мамочка,— всхлипнул я,— как ты думаешь, она меня любит?

— Конечно, мальчик мой.— И она несколько раз повторила с нежностью: — Конечно, мальчик мой.— Каждое слово давалось ей с трудом, и она добавила: — Пусть Господь решит.

Наконец, когда я наклонился к ней, она погладила меня по голове и сказала: — Храни вас Бог, дети мои! Храни вас Бог обоих! — а затем впала в какое-то сонное оцепенение, из которого я уже не пытался ее вывести.

К этому разговору мы больше не возвращались; на другой день матери стало лучше, я отправился на занятия, а те полупризнания словно

---

[1] Евангелие от Матфея, 6, 33.

бы забылись. Да и что еще я мог тогда для себя открыть? В любви Алисы ко мне я не сомневался ни на мгновение, а если бы даже и возникла хоть тень сомнения, она навек исчезла бы из моего сердца после печального события, которое случилось вскоре же.

В один из вечеров моя мать тихо угасла, почти на руках у меня и мисс Эшбертон. Сердечный приступ, который унес ее, поначалу не казался сильнее тех, что бывали раньше, и тревогу мы почувствовали лишь перед самым концом, поэтому никто из родных даже не успел ее застать. Первую ночь возле нашей дорогой покойницы мы провели также вдвоем с ее старой подругой. Я очень любил мать и, помню, был очень удивлен, что, несмотря на слезы, в глубине души я не чувствовал особой печали; да и плакал я больше от жалости к мисс Эшбертон, которая была безутешна от мысли, что ее подруга, будучи намного моложе ее самой, поспешила вперед нее предстать перед Богом. Тайная надежда на то, что это скорбное событие ускорит наш с Алисой брак, была во мне несравненно сильнее, чем чувство горя.

На следующий день приехал дядя. Он передал мне письмо от своей дочери, которая прибыла вместе с тетей Плантье еще днем позже.

...Жером, друг мой и брат,— писала она,— *мне так жаль, что я не смогла сказать ей перед смертью несколько слов, которые принесли бы ей то великое успокоение, коего она так ждала. Пусть же простит меня! И пусть отныне один только Бог ведет нас обоих! Прощай, бедный мой друг. Твоя, нежнее, чем прежде, Алиса.*

Что могло означать это письмо? Что это могли быть за слова — по поводу которых она так жалела, что вовремя не сказала их,— если не те, где она ясно определяла бы наше совместное будущее? Впрочем, я был тогда слишком юн, чтобы немедленно просить ее руки. Да и нуждался ли я в обещаниях с ее стороны? Разве не были мы уже как бы обручены? Для близких наша любовь не являлась тайной, ни дядя, ни тем более моя мать не чинили нам никаких препятствий, напротив, дядя вел себя со мной как с родным сыном.

Пасхальные каникулы, наступившие через несколько дней, я проводил в Гавре, в доме тети Плантье, но завтракал и обедал почти всегда у дяди Бюколена.

Тетя Фелиция Плантье была добрейшей женщиной, однако ни кузины, ни я не были с ней в особенно доверительных отношениях. Она пребывала в какой-то вечной суете, все ее движения были отрывистыми и беспорядочными, а голос начисто был лишен плавности и выразительности; среди дня она могла, застигнув кого-либо из нас врасплох, затискать в объятиях — столь бурным было переполнявшее ее чувство привязанности к нам. Дядя Бюколен очень любил ее, но достаточно было один раз услышать, каким тоном он разговаривал с ней, чтобы мы явственно ощутили, насколько ближе ему была моя мать.

— Бедный мой мальчик,— начала тетя однажды вечером,— не знаю, что ты собираешься делать этим летом, но я бы хотела знать твои планы, чтобы решить, чем я сама буду заниматься. Если я могу быть тебе чем-нибудь полезной...

— Я как-то об этом еще не думал,— ответил я.— Наверное, отправлюсь куда-нибудь попутешествовать.

Она не унималась:

— Просто имей в виду, что у меня тебе будет ничуть не хуже, чем в Фонгезмаре. Конечно, если ты поедешь туда, и твоему дяде, и Жюльетте будет очень приятно...

— Вы хотите сказать, Алисе.

— Разумеется! Извини, ради Бога... Поверишь ли, но я почему-то вообразила, что ты любишь Жюльетту! И только когда твой дядя все мне рассказал... примерно с месяц назад... Знаешь, я очень люблю вас всех, но не слишком-то знаю, какие вы; мне так редко удается вас ви-

деть!.. И потом, я совсем не наблюдательна, у меня совершенно нет времени на то, чтобы спокойно разобраться в том, что меня не касается. Я видела, ты всегда играешь с Жюльеттой... ну, и подумала... она ведь такая милая, веселая.

— Да, я до сих пор охотно играю с ней, но люблю все же Алису...

— Ну, и прекрасно! Замечательно, люби на здоровье... я же, пойми, просто почти совсем не знаю ее, она такая молчаливая, не то что ее сестра. Но уж если ты выбрал именно ее, то наверняка у тебя были на то какие-то веские причины.

— Но, тетя, я вовсе не выбирал ее, чтобы полюбить, и мне даже в голову не приходило, что нужно иметь какие-то причины, чтобы...

— Ну, не сердись, Жером, право, я не собираюсь хитрить с тобой... Вот теперь из-за тебя забыла, о чем хотела сказать... Ах да, слушай: я, конечно же, уверена, что все это закончится свадьбой, но у тебя траур и тебе сейчас все-таки не полагается обручаться... да и молод ты пока еще... Я и подумала, что твое нынешнее присутствие в Фонгезмаре без матери может быть превратно истолковано...

— Тетя, но я же именно поэтому и сказал, что собираюсь попутешествовать.

— Да-да. Так вот, мальчик мой, я подумала, что все уладится, если рядом с тобой буду я, и поэтому я так все устроила, чтобы часть лета у меня была свободной.

— Мне достаточно было бы попросить мисс Эшбертон, и она бы охотно приехала.

— Я уже знаю, что и она приедет. Но этого мало! Я тоже там побуду... Не подумай, я и не претендую на то, чтобы заменить твою мать, бедняжку,— здесь она вдруг начала всхлипывать,— но я смогу помочь по хозяйству... в общем, ни ты, ни дядя твой, ни Алиса ничем стеснены не будете.

Тетя Фелиция заблуждалась относительно пользы от ее присутствия. По правде говоря, если нас что-то и стесняло, то только оно. Как ею и было обещано, она с июля обосновалась в Фонгезмаре, куда вскоре переехали и мы с мисс Эшбертон. Вызвавшись помочь Алисе в хлопотах по дому, она наполняла этот самый дом — прежде такой тихий — несмолкающим шумом. Усердие, с каким она бралась за то, чтобы нам было хорошо с ней и чтобы, как она говорила, «все уладилось», настолько нас подавляло, что мы с Алисой не знали, как себя вести в ее присутствии, и чаще всего сидели, точно воды в рот набрав. Должно быть, она сочла нас очень угрюмыми и нелюдимыми... Но даже если бы мы и не молчали, разве она смогла бы хоть что-то понять в нашей любви?.. А вот Жюльетте с ее характером, напротив, оказалось довольно легко приспособиться к этому буйству чувств, и потому к нежности, которую я питал к тете, примешивалась некоторая обида на то, что младшая ее племянница пользовалась у нее совершенно очевидным предпочтением.

Однажды утром, получив почту, тетя позвала меня:

— Жером, бедняжка, если бы ты знал, как я расстроена: заболела моя дочь и просит срочно приехать, так что мне придется покинуть вас...

Терзаемый неуместной щепетильностью, я тут же отправился разыскивать дядю, дабы выяснить, приличествует ли мне оставаться в Фонгезмаре после отъезда тети. Но после первых же моих слов он прервал меня, воскликнув:

— Чего только не выдумает моя несчастная сестра, чтобы усложнить простейшее дело! Да с какой это стати ты вдруг от нас уедешь, Жером? Ведь ты для меня уже почти как сын родной!

Таким образом, тетя не пробыла в Фонгезмаре и двух недель. С ее отъездом в доме опять все пошло по-старому, вернулось прежнее спо-

койствие, которое так напоминало счастье. Траур мой совсем не омрачал нашу любовь, но делал ее строже, серьезнее. Началась размеренная, неторопливая жизнь, в которой, словно в пустом амфитеатре, было отчетливо слышно малейшее биение наших сердец.

Как-то вечером, спустя несколько дней после отъезда тети, за столом разговор зашел о ней, и, помнится, мы тогда говорили:

— Откуда такая суетливость! Чем объяснить, что душа ее беспрестанно клокочет от избытка жизни? Вот каким может предстать твое отражение, о прекрасный лик любви!..

Мы имели в виду изречение Гёте по поводу г-жи фон Штейн: «Было бы чудесно взглянуть на отражение мира в этой душе». Тут же мы выстроили неведомо какую иерархию, поставив на самую вершину качества, так или иначе связанные с созерцанием. Все время молчавший дядя вдруг заговорил, глядя на нас с грустной улыбкой:

— Дети мои, Господь узна́ет образ свой, даже если он разбит на тысячу осколков. Поостережемся же судить о человеке по одному-двум эпизодам его жизни. Те качества, что так не нравятся вам в моей несчастной сестре, развились у нее после целого ряда событий, о которых мне известно слишком много, чтобы я мог позволить себе судить ее так же строго, как это делаете вы. Не существует таких человеческих качеств, которые, будучи весьма милыми в молодости, к старости не становились бы неприятными. То, что вы назвали суетливостью, поначалу было у Фелиции очаровательной живостью, непосредственностью, открытостью и изяществом... Поверьте мне, мы не слишком отличались от вас сегодняшних. Я, например, походил на тебя, Жером,— наверное, даже больше, чем можно сейчас себе представить. Фелиция весьма напоминала нынешнюю Жюльетту... да-да, вплоть до физического сходства: бывает, ты что-то такое скажешь или засмеешься,— здесь он обернулся к Жюльетте,— и я вдруг ощущаю, что это она, но только та, давняя; у нее была точно такая же улыбка, как у тебя, и еще эта привычка — ты тоже иногда так делаешь, а у нее это довольно быстро прошло: просто сидеть, ничем не занимаясь, выставив вперед локти и упершись лбом в сплетенные пальцы рук.

Мисс Эшбертон наклонилась ко мне и почти прошептала:

— А Алиса очень напоминает твою мать.

Лето в тот год было великолепным. Казалось, все было проникнуто голубизной, купалось в ней. Жар наших сердец торжествовал над силами зла, над смертью, любая тень отступала перед нами. Каждое утро я просыпался с ощущением радости, вставал с первым лучом солнца, бросаясь в объятия нового дня... Когда я в мечтах вспоминаю те дни, они являются мне словно бы омытые росой. Жюльетта поднималась гораздо раньше сестры — Алиса обычно засиживалась допоздна — и спускалась вместе со мной в сад. Она сделалась посредницей между сестрой и мною; ей я мог до бесконечности рассказывать о нашей любви, а она, похоже, была готова без устали слушать меня. Я говорил ей то, что не осмеливался сказать самой Алисе, перед которой робел и терялся от избытка любви. Да и Алиса как бы приняла эту игру, ей, видимо, нравилось, что я с такой радостью о чем-то говорю с ее сестрой, хоть она и не знала — или делала вид, будто не знает,— что мы говорили только о ней.

О прелестное притворство любви, точнее, притворство от избытка любви! Какими тайными путями ты вело нас от смеха к слезам и от прозрачно-наивной радости к суровой требовательности добродетели!

Лето ускользало, призрачное и плавное настолько, что из тех перетекавших один в другой дней моя память сегодня почти ничего не в

состоянии воскресить. Из событий только и было, что разговоры да чтение...

— Мне приснился дурной сон,— сказала Алиса однажды утром, когда мои каникулы уже подходили к концу.— Как будто я живу, а ты умер. Нет, я не видела, как ты умирал, а просто знала: ты умер. Это было так ужасно, так невозможно, что я решила: буду думать, что ты исчез, тебя нет. Мы оказались разлучены, но я чувствовала, что остался какой-то способ снова увидеться с тобой, я все искала его, искала и от напряжения проснулась. И все утро, мне кажется, находилась под впечатлением от этого сна — как будто он продолжался. Мне по-прежнему представлялось, что нас с тобой разлучили и что я буду с тобой в разлуке еще долго-долго... всю мою жизнь,— добавила она едва слышно,— и что всю жизнь от меня будут требоваться какие-то большие усилия...

— Для чего?

— От нас обоих потребуются большие усилия — чтобы соединиться.

Я не принял всерьез эти ее слова или побоялся принять их всерьез. Словно оспаривая их, с отчаянно бьющимся сердцем, в приливе внезапной смелости я выпалил:

— А мне сегодня приснилось, что я женюсь на тебе, и ничто, ничто на свете не сможет нас разлучить — разве только смерть.

— Ты считаешь, что смерть разлучает? — тут же спросила она.

— Я хотел сказать...

— Я думаю, наоборот, она может сблизить... да, сблизить то, что при жизни было разъединено.

Все это вошло в нас так глубоко, что я до сих пор отлично помню даже интонацию, с которой те слова были сказаны. Вот только смысл их во всей полноте стал мне понятен лишь много позднее.

Лето ускользало. Почти все поля уже опустели, так что становилось как-то неожиданно далеко видно. Вечером, накануне моего отъезда, нет, даже за день до него, мы прогуливались с Жюльеттой в леске за нижним садом.

— Что это такое ты читал вчера Алисе? — спросила она меня.

— Когда именно?

— Когда вы остались на скамейке у карьера, а мы ушли вперед...

— А... кажется, что-то из Бодлера...

— А что? Ты не мог бы мне почитать?

— *Мы погружаемся во тьму, в оцепененье...* [1] — начал я неохотно, однако она тут же подхватила каким-то изменившимся, дрожащим голосом:

— *О лето жаркое, недолог праздник твой!*

— Как! Ты это знаешь? — воскликнул я в изумлении.— А мне казалось, что ты вообще не любишь стихов...

— Отчего же? Просто ты никогда не читал их мне,— ответила она и засмеялась, впрочем слегка натянуто.— Временами, я замечаю, ты принимаешь меня совсем за дурочку.

— Можно быть очень умным человеком и при этом не любить стихи. Я никогда не слышал, чтобы ты их сама читала или просила меня почитать.

— Я не могу соперничать с Алисой...— Она на мгновение замолчала и вдруг, словно спохватившись, произнесла: — Так ты уезжаешь послезавтра?

— Что делать...

— А чем ты будешь заниматься зимой?

— Буду на первом курсе Эколь Нормаль.

— А когда же ты собираешься жениться на Алисе?

---

[1] «Осенняя песнь». Перевод М. Донского.

— Не раньше, чем отслужу в армии. Даже, пожалуй, не раньше, чем станет более или менее ясно, что́ я буду делать в дальнейшем.

— А разве ты еще не решил?

— Я пока и не хотел бы решать. Слишком многое меня влечет. Я постоянно откладываю тот момент, когда нужно будет сделать выбор и заняться чем-то одним.

— А помолвку ты тоже откладываешь из-за того, что боишься определенности?

Я молча пожал плечами, однако она продолжала настаивать:

— Так чего же вы ждете? Почему не обручитесь уже сейчас?

— А зачем нам обручаться? Разве нам недостаточно знать, что мы принадлежим и будем принадлежать друг другу, не оповещая об этом всех вокруг? Если я посвящаю ей свою жизнь, неужели ты думаешь, что моя любовь станет крепче от каких-то обещаний? Я считаю, наоборот: всякие клятвы оскорбляют любовь... Помолвка мне была бы нужна лишь в том случае, если бы я не доверял Алисе.

— В ней-то я ни капельки не сомневаюсь...

Мы медленно шли по саду и были как раз в том месте, где я когда-то невольно подслушал разговор Алисы с ее отцом. Внезапно я подумал, что Алиса — а она тоже вышла в сад, я видел,— сейчас сидит на скамейке возле развилки аллей и вполне может нас услышать; я сразу же ухватился за возможность объяснить ей таким образом то, чего не смел сказать прямо; в восторге от своей выдумки, я стал говорить громче.

— О! — воскликнул я с несколько чрезмерной для моего возраста напыщенностью; поглощенный своими излияниями, я не улавливал в репликах Жюльетты того, что она намеренно недоговаривала.— О! Если бы люди могли, вглядевшись в душу любимого человека, увидеть там, словно в зеркале, свой собственный образ! Читать в другом, как в самом себе, и даже лучше, чем в себе! Какой безмятежной была бы тогда нежность! Какой чистой была бы любовь!

Волнение Жюльетты при этих словах я самодовольно отнес на счет моего ходульного лиризма. Она вдруг припала к моему плечу.

— Жером, милый! Я так хотела бы верить, что она будет счастлива с тобой! Если же ты принесешь ей страдания, мне кажется, я возненавижу тебя.

— Ах, Жюльетта,— воскликнул я, обняв ее и глядя ей в глаза,— я сам возненавидел бы себя за это. Как тебе объяснить... Ведь я не определяюсь в своей карьере именно потому, что хочу по-настоящему начать жизнь только с ней вместе! И я не думаю ни о каком будущем, пока она не со мной! Да и не собираюсь я никем становиться без нее...

— А что она отвечает, когда ты ей говоришь об этом?

— Да в том-то и дело, что я никогда с ней об этом не говорил! Ни разу! Вот еще одна причина, почему мы до сих пор не помолвлены. Мы даже никогда не заговаривали о свадьбе, ни о том, что будем делать дальше. Ах, Жюльетта! Жизнь вместе с ней кажется мне настолько прекрасной, что я не смею, понимаешь, не смею ей об этом говорить.

— Ты хочешь, чтобы счастье для нее было внезапным.

— Да нет же, вовсе нет! Просто я боюсь... испугать ее, понимаешь?.. Я боюсь, как бы это огромное счастье, которое мне уже видится, не внушило ей страха!.. Однажды я спросил, не хочется ли ей отправиться в путешествие. Она ответила, что не хочется, ей вполне достаточно знать, что та или иная страна существует, что там хорошо и что другие могут спокойно отправиться туда...

— Жером, а ты сам хочешь путешествовать?

— По всему свету! Мне и жизнь представляется как долгое-долгое путешествие — вместе с ней — по разным книгам, странам, людям... Вдумывалась ли ты когда-нибудь, что означают такие слова, как, например, «поднять якорь»?

— Да, я часто об этом думаю,— прошептала она.

Однако я почти не слышал ее и продолжал говорить сам, а те слова упали на землю, как несчастные подстреленные птицы.

— Отплыть ночью, проснуться в ослепительном блеске зари и почувствовать, что мы одни среди этих зыбких волн...

— А потом будет порт, который ты видел на карте еще ребенком, и все вокруг так ново, незнакомо... Я вижу, как вы с Алисой сходите на берег, она опирается на твою руку...

— Мы сразу побежим на почту,— подхватил я смеясь,— и спросим, нет ли для нас письма от Жюльетты...

— ...из Фонгезмара, где она останется одна, и этот уголок покажется вам таким маленьким, грустным и таким далеким-далеким...

Точно ли это были ее слова? Не берусь утверждать, так как, повторяю, я был настолько переполнен своей любовью, что, кроме ее голоса, никакой другой для меня словно не существовал.

Мы подошли тем временем к развилке аллей и собирались уже повернуть обратно, как вдруг, выйдя из густой тени, перед нами возникла Алиса. Она была так бледна, что Жюльетта вскрикнула.

— Мне в самом деле что-то нездоровится,— проговорила Алиса поспешно.— Уже стало свежо. Пожалуй, я лучше вернусь в дом.

И, повернувшись, она быстро пошла к дому.

— Она все слышала! — воскликнула Жюльетта, как только Алиса несколько удалилась.

— Но мы не сказали ничего такого, что могло бы ее огорчить. Напротив...

— Оставь меня,— бросила Жюльетта и побежала догонять сестру.

В ту ночь мне так и не удалось заснуть. Алиса еще выходила к ужину, но потом сразу ушла к себе, сославшись на мигрень. Что она все-таки слышала из нашего разговора? Я лихорадочно перебирал в памяти все сказанное нами. Потом я вдруг подумал, что, наверное, мне не следовало идти совсем рядом с Жюльеттой, да еще приобняв ее за плечи; однако то была не более чем детская привычка, мы часто так гуляем, и Алиса много раз нас видела. Ах, каким же я был слепцом, выискивая свои прегрешения и даже ни разу не подумав о том, что Алиса вполне могла — гораздо лучше, чем я,— услышать слова Жюльетты, на которые я едва обращал внимание и которые почти не мог припомнить. До них ли мне было! В страшной тревоге и растерянности, в ужасе от одной мысли, что Алиса может усомниться во мне, и не в состоянии вообразить, что опасность может исходить от чего-то иного, я решил, несмотря на все сказанное мною Жюльетте и, видимо, под впечатлением от того, что сказала мне она, отбросить свои опасения, свою щепетильность и завтра же обручиться.

Наступил мой последний день перед отъездом. Я мог предположить, что Алиса так грустна именно из-за этого. Мне даже показалось, что она меня избегает. День проходил, а я все не мог увидеться с нею наедине; испугавшись, что мне придется уехать, так и не поговорив с нею, я перед самым ужином решился войти прямо к ней в комнату; она надевала коралловое ожерелье, и, чтобы застегнуть его, подняла руки, и слегка наклонилась вперед, стоя спиной к двери и глядя через плечо в зеркало, по бокам которого горели два канделябра. Именно в зеркале она меня сначала и увидела, но не обернулась, а еще некоторое время так смотрела на меня.

— Надо же! Значит дверь была незаперта?

— Я стучал, ты не ответила, Алиса, ты знаешь, что я завтра уезжаю?

Она не ответила, только положила на камин ожерелье, которое ей так и не удалось застегнуть. Слово «помолвка» показалось мне слишком откровенным, слишком грубым, и уж не помню, что я сказал вместо него. Едва Алиса поняла, о чем я говорю, она точно потеряла рав-

новесие и оперлась о каминную полку... Впрочем, меня самого так трясло, что я был не в состоянии поднять на нее глаза.

Я стоял совсем близко и, по-прежнему глядя в пол, взял ее за руку; она не отняла ее, а напротив, слегка наклонившись и приподняв мою руку, прикоснулась к ней губами и прошептала, почти прижимаясь ко мне:

— Нет, Жером, нет, не будем обручаться, прошу тебя...

Сердце мое так сильно билось, что, по-моему, и ей было слышно. Еще более нежным голосом она добавила:

— Не будем пока...

— Но почему? — тут же спросил я.

— Это я тебя должна спросить «почему». Зачем все менять?

Я не осмелился задать ей вопрос о вчерашнем разговоре, но она, вероятно, догадалась, о чем я подумал, и как бы в ответ на мои мысли сказала, глядя мне прямо в глаза:

— Ты ошибаешься, мой друг: мне не нужно так много счастья. Ведь мы уже и так счастливы, правда?

Она хотела улыбнуться, но улыбки не получилось.

— Нет, потому что я должен покинуть тебя.

— Послушай, Жером, сегодня я не могу говорить с тобой об этом... Давай не будем омрачать наши последние минуты вместе... Нет-нет. Успокойся же, я люблю тебя сильнее, чем прежде. Я напишу тебе письмо и все объясню. Обещаю, что напишу завтра же... как только ты уедешь. А сейчас ступай, иди! Ну вот, я уже плачу... Оставь меня...

Она отталкивала меня, мягко отстраняясь от моих объятий, и, оказалось, это и было нашим прощанием, потому что в тот вечер мне больше не удалось ничего ей сказать, а на следующий день, когда я уже выходил из дома, она заперлась у себя. Я увидел только, как она помахала мне рукой, провожая взглядом увозивший меня экипаж.

III

В тот год я почти не виделся с Абелем Вотье: не дожидаясь призыва, он поступил добровольцем, а я заканчивал повторный курс в выпускном классе и готовился к кандидатским экзаменам. Будучи на два года моложе Абеля, я решил проходить службу после окончания Эколь Нормаль, куда мы оба должны были поступить в этом году.

Мы были рады вновь увидеть друг друга. По окончании службы в армии он больше месяца путешествовал. Я боялся, что найду его очень изменившимся, однако он лишь приобрел большую уверенность в себе, сохранив в полной мере прежнее свое обаяние. Всю вторую половину дня накануне начала занятий мы провели вместе в Люксембургском саду, и я, не удержавшись, подробно рассказал ему о своей любви, о которой он, впрочем, знал и без того. За прошедший год Абель приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами, вследствие чего общался со мной с некоторым самодовольством и высокомерием; я на это, однако, не обижался. Он высмеял меня за то, что я, как он выражался, не смог настоять на своем, и не уставал твердить, что главное — не давать женщине опомниться. Я не возражал ему, но все же думал, что его замечательные советы не годились ни для меня, ни для нее и что он просто показывал, насколько плохо он понял характер наших отношений.

На другой день после нашего приезда я получил такое письмо:

Дорогой Жером!

Я много думала над тем, что ты мне предлагал (что я предлагал! Так говорить о нашей помолвке!). *Боюсь что я слишком немолода для тебя. Вероятно, тебе это пока не так заметно, поскольку ты еще не встречался с другими женщинами, но я думаю о том, как мне придется страдать впоследствии, когда, уже будучи твоей, я увижу, что перестала тебе нравиться. Скорее всего, ты будешь очень возмущаться, читая эти строки: мне кажется, я даже слышу твои возражения,— но тем не*

менее прошу тебя подождать еще, пока ты не станешь немного старше.

Пойми, я говорю здесь лишь о тебе одном, ибо про себя я знаю точно, что никогда не перестану любить тебя.

Алиса.

Перестать друг друга любить! Да разве можно было хотя бы представить себе такое! Мое удивление было даже сильнее огорчения; в полной растерянности, захватив письмо, я помчался к Абелю.

— Ну и что же ты собираешься делать? — спросил он, качая головой и сжав губы, после того, как прочитал письмо. Я воздел руки в знак неуверенности и отчаяния.— Надеюсь по крайней мере, что отвечать ты не будешь! С женщинами только начни серьезный разговор — и пиши пропало... Слушай меня: если в субботу вечером мы доберемся до Гавра, то в воскресенье утром можем быть уже в Фонгезмаре и вернемся обратно в понедельник, к первой лекции. Твоих я в последний раз видел еще до армии, так что предлог вполне подходящий и для меня приятный. Если Алиса поймет, что это лишь предлог, тем лучше! Я беру на себя Жюльетту, а ты в это время поговоришь с ее сестрой, причем постараешься вести себя по-мужски... По правде говоря, есть в твоей истории что-то не очень мне понятное. Наверное, ты не все мне рассказал... Но не важно, я сам все выясню!.. Главное, не сообщай им о нашем приезде: твою кузину нужно застичь врасплох и не дать ей времени подготовиться к обороне.

Едва я толкнул садовую калитку, сердце мое так и забилось. Навстречу нам сразу же выбежала Жюльетта; Алиса была занята в бельевой и выходить явно не спешила. Мы уже вовсю беседовали с дядей и мисс Эшбертон, когда она наконец спустилась в гостиную. Если наш внезапный приезд и взволновал ее, то это ничуть не было заметно; я вспомнил слова Абеля и подумал, что она так долго не выходила именно потому, что готовилась к обороне. Ее сдержанность казалась еще более холодной на фоне необычайной живости Жюльетты. Я почувствовал, что она осуждает меня за это возвращение, по крайней мере весь ее вид выражал лишь неодобрение, а искать за ним какое-то тайное и более искреннее чувство я не решался. Она села в дальний угол у окна и, как бы отвлекшись от всего, полностью погрузилась в вышивание, сосредоточенно разбирая узор и слегка шевеля губами. К счастью, Абель не умолкал, ибо сам я был совершенно не в состоянии поддерживать разговор, так что без его рассказов о военной службе и о путешествии первые минуты встречи были бы крайне томительными. Похоже, и дядя был чем-то весьма озабочен.

Не успели мы пообедать, как Жюльетта взяла меня за руку и позвала в сад.

— Ты представляешь, меня уже сватают! — выпалила она, как только мы остались вдвоем.— Вчера папа получил письмо от тети Фелиции, она пишет, что какой-то виноградарь из Нима собирается просить моей руки. По ее уверениям, человек он очень хороший, этой весной видел меня несколько раз в гостях и вот влюбился.

— А ты сама его хотя бы заметила, этого господина? — спросил я с непроизвольной враждебностью по отношению к новоявленному поклоннику.

— Да, я поняла, кто это. Этакий добродушный Дон Кихот, неотесанный, грубый, очень некрасивый и довольно забавный, так что тете стоило немалых усилий держаться с ним серьезно.

— Ну, и как, есть ли у него... основания надеяться? — съязвил я.

— Перестань, Жером! Ты шутишь! Какой-то торговец!.. Если бы ты хоть раз его увидел, то не стал бы задавать таких вопросов.

— Ну, а... Дядя-то что ответил?

— То же, что и я: дескать, я еще слишком молода для замужества... К несчастью,— хихикнула она,— тетя предвидела подобное возра-

жение и написала в постскриптуме, что господин Эдуар Тессьер — так его зовут — согласен подождать, а сватается он так заранее просто для того, чтобы «занять очередь»... Как все это глупо! А что еще мне было делать? Не могла же я просить передать ему, что он страшен, как смертный грех!

— Нет, но могла сказать, что не хочешь мужа-виноградаря.

Она пожала плечами.

— Все равно для тети это было бы непонятно... Ладно, хватит об этом. Скажи лучше, ведь Алиса тебе писала?

Она буквально тараторила и вообще была очень возбуждена. Я протянул ей письмо Алисы, которое она прочла, густо краснея. Затем она спросила, и мне послышались в ее голосе гневные нотки:

— Ну, так что же ты собираешься делать?

— Даже и не знаю,— ответил я.— Оказавшись здесь, я сразу же понял, что мне было бы гораздо легче тоже написать ей. Я уже корю себя за то, что приехал. Но ты-то хоть понимаешь, что она хотела сказать?

— Я думаю, она хочет предоставить тебе полную свободу.

— Но на что она мне, эта свобода? Зачем она такое пишет, тебе ясно или нет?

Она ответила «нет», но так сухо, что я, совершенно не будучи ни в чем уверенным, все же именно с этой минуты заподозрил, что Жюльетте, должно быть, что-то известно. Внезапно на повороте аллеи, по которой мы шли, она обернулась.

— А сейчас оставь меня. Ты же приехал не для того, чтобы болтать со мной. Мы и так пробыли слишком долго вдвоем.

И она побежала к дому, а уже через минут я услышал ее фортепьяно.

Когда я вошел в гостиную, она, не переставая играть, разговаривала с подошедшим Абелем, но как-то вяло и довольно бессвязно. Я снова вышел в сад и долго бродил по нему в поисках Алисы.

Нашел я ее в той части сада, где росли фруктовые деревья; возле самой стены она собирала букет из первых хризантем, чей аромат мешался с запахом опавшей буковой листвы. Воздух весь был напоен осенью. Солнце отдавало свое последнее скудное тепло цветам на шпалерах, небо было безоблачным, ясным, как на Востоке. Лицо Алисы тонуло в большом, глубоком головном уборе, который Абель привез для нее из своего путешествия по Зеландии и который она немедленно надела. При моем приближении она не обернулась, но по тому, как она слегка вздрогнула, я понял, что она услышала мои шаги. Я внутренне напрягся, собирая всю свою смелость, чтобы вынести тот суровый укор, с которым она вот-вот должна была на меня взглянуть. Словно желая оттянуть это мгновение, я сбавил шаг и был уже совсем близко, как вдруг она, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом, а глядя в землю, точно обиженный ребенок, протянула почти за спину, навстречу мне, большой букет хризантем, как бы в знак того, что мне можно подойти. А поскольку я предпочел истолковать сей жест наоборот и остановился как вкопанный, она сама, наконец обернувшись, подошла ко мне, подняла голову, и я увидел... что она улыбается! В сиянии ее глаз мне вдруг все снова показалось таким простым и естественным, что я без всякого усилия и ничуть не изменившимся голосом сказал:

— Я вернулся из-за твоего письма.

— Я так и подумала,— сказала она и, смягчая голосом свой упрек, добавила: — Это как раз меня больше всего и рассердило. Почему ты так странно воспринял мои слова? Ведь речь идет о совсем простых вещах... (Мои огорчения и заботы в тот же миг и впрямь показались мне какими-то надуманными, рожденными лишь воображением.) Раз-

ве я не говорила тебе, что мы и так уже счастливы? Почему же тебя удивляет мой отказ что-либо менять, как ты это предлагаешь?

В самом деле, рядом с ней я чувствовал себя счастливым, я был на верху блаженства — настолько, что желал лишь одного: думать так, как она, жить ее мыслью; мне только и нужна была эта улыбка, да еще взять ее за руку и идти, идти вот так, вместе, прямо среди этих цветов, под этим ласковым солнцем.

— Если ты считаешь, что так будет лучше,— сказал я очень серьезно, раз навсегда смиряясь со своей участью и полностью отдавшись мимолетному блаженству,— если ты так считаешь, тогда не надо никакой помолвки. Когда я получил твое письмо, я сразу же понял, что действительно был счастлив, но что мое счастье скоро кончится. Прошу тебя, верни мне его, без него я не смогу жить. Я так сильно люблю тебя, что готов ждать всю жизнь, но пойми, Алиса, если ты должна будешь разлюбить меня или усомнишься в моей любви, я этого не перенесу.

— Увы, Жером, как раз в этом я не сомневаюсь.

Она произнесла это спокойно и в то же время с грустью, но лицо ее по-прежнему светилось такой прекрасной, покойной улыбкой, что меня охватил стыд за мои опасения и настойчивые попытки что-то изменить. Мне даже показалось, что только они и явились причиной грусти, нотки которой я расслышал в ее голосе. Без всякого перехода я заговорил о своих планах, об учебе и о том новом жизненном поприще, на котором я намеревался достичь немалых успехов. Тогдашняя Эколь Нормаль отличалась от той, в какую она превратилась с недавнего времени; ее довольно строгая дисциплина не подходила лишь ленивым или упрямым, а те, кто по-настоящему хотели учиться, получали для этого все возможности. Мне нравилось, что почти монастырский ее уклад оберегал бы меня от светской жизни, которая и без того не слишком меня влекла, а могла бы даже возбудить во мне отвращение, стоило только Алисе высказать на этот счет малейшее опасение. Мисс Эшбертон сохранила за собой парижскую квартиру, в которой они когда-то жили вместе с моей матерью. Ни у меня, ни у Абеля, кроме нее, в Париже знакомых не было, и каждое воскресенье мы по полдня проводили бы у нее; по воскресеньям же я писал бы Алисе подробнейшие письма о своем житье-бытье.

К этому времени мы уже присели на остов полуразобранного парника, из которого там и сям выбивались длиннейшие огуречные плети, пустые и увядающие. Алиса слушала внимательно, задавала вопросы. Никогда прежде ее привязанность не казалась мне такой прочной, а нежность такой чуткой. Все мои опасения, заботы, малейшие волнения улетучивались от ее улыбки, растворялись в той восхитительной атмосфере душевной близости, словно туман в небесной лазури.

Потом к нам присоединились Жюльетта с Абелем, и мы, сидя на скамейке под буками, провели остаток дня за перечитыванием «Триумфа времени» Суинберна: каждый по очереди читал по одной строфе. Наступил вечер.

— Пора! — сказала Алиса, целуя меня на прощанье как бы в шутку, но одновременно как бы припоминая — и довольно охотно — роль старшей сестры, к обязанностям которой ей пришлось вернуться в связи с моим неблагоразумным поведением.— Обещай же мне, что отныне ты будешь менее романтичен, ладно?..

— Ну как, состоялась помолвка? — спросил меня Абель, едва мы снова остались вдвоем.

— Дорогой мой, об этом больше не может быть и речи,— отвечал я, добавив не менее категоричным тоном: — Так будет намного лучше. Никогда еще я не был так счастлив, как сегодня вечером.

— И я тоже,— воскликнул он и вдруг бросился мне на шею.— Сейчас я скажу тебе нечто потрясающее, необыкновенное! Жером, я влюбился без памяти в Жюльетту! Я еще в прошлом году о чем-то таком

догадывался, но с тех пор столько воды утекло, и я не хотел ничего говорить тебе до сегодняшней встречи. А теперь все: моя жизнь решена.

Люблю, да что люблю — боготворю Жюльетту!

То-то мне давно уже казалось, что я не просто так к тебе привязан, а как к будущему шурину!..

Тут он начал петь, хохотать, изо всех сил сжимать меня в объятиях, прыгать, как ребенок, на своем диване в вагоне поезда, мчавшего нас в Париж. Я был буквально задушен его излияниями и одновременно несколько смущен присутствовавшей в них примесью литературности, но как, скажите мне, противостоять такому неистовому веселью?..

— Так что, ты уже объяснился? — вставил я наконец между двумя очередными приступами.

— Да нет же, как можно! — воскликнул он.— Я не собираюсь сжигать самую очаровательную главу в этой истории.

В любви и лучше есть мгновенья, 1
Чем те, что дарит объясненье...

Помилуй, кому другому, но только не тебе упрекать меня в медлительности!

— Ладно! — оборвал я его в некотором раздражении,— скажи лучше, что́ она?..

— Так ты не заметил, как она была взволнована, увидев меня! Как она поминутно краснела, как была возбуждена, как от смущения без умолку говорила!.. Да нет, разумеется, ты ничего не заметил, ты был занят одной Алисой... А как она расспрашивала меня, как ловила каждое мое слово! Она здорово поумнела за этот год. Не знаю, с чего ты взял, что она не любит читать; просто ты, как всегда, все достоинства приписываешь Алисе... Нет, ты бы просто поразился ее познаниям! Угадай, какое развлечение мы нашли после обеда? Припоминали одну из дантовских Canzone! Каждый говорил по стиху, и это она поправляла меня, когда я сбивался. Ты знаешь ее прекрасно:

Amor che nella mente mi ragiona.

И ведь ни разу не сказал мне, что она выучилась итальянскому!

— Я и сам этого не знал,— пробормотал я, немало удивленный.

— Да как же! Когда мы только начали эту Canzone, она сказала мне, что услышала ее впервые от тебя.

— Видимо, она слышала, как я читал ее Алисе. Обычно она садилась где-нибудь рядом с шитьем или вышивкой, но черт меня возьми, если она хоть раз обнаружила, что все понимает!

— Вот же! Вы с Алисой оба погрязли в эгоизме. Варитесь в своей любви и даже взглядом не удостоите этот чудный росток, эту расцветающую душу, этот ум! Не хочу расхваливать сам себя, но, как ни говори, а я появился очень вовремя... Нет-нет, ты же понимаешь, я нисколько не сержусь на тебя,— спохватился он, вновь стиснув меня в объятиях.— Но обещай: Алисе ни слова. Беру это дело целиком на себя. Жюльетта влюблена, это ясно, так что я могу спокойно оставить ее в этом состоянии до каникул. Причем я даже не буду ей писать. А на Новый год мы вдвоем приедем в Гавр и уж тогда...

— Что тогда?..

— Как что? Алиса вдруг узнает о нашей помолвке. У меня-то уж все пройдет как по маслу. А что будет потом, подумай-ка? Согласие Алисы, которого ты все никак не можешь добиться, ты получишь благодаря мне и нашему примеру. Мы убедим ее, что наша свадьба состоится только после вашей...

Он не закрывал рта и утопил меня в неиссякаемом словесном потоке, который не прекратился даже с прибытием поезда в Париж и даже с нашим приходом в Школу, потому что, хотя мы и проделали путь к ней от вокзала пешком и было уже далеко за полночь, Абель поднялся вме-

сте со мной в мою комнату, где разговор и продолжился до самого утра.

Воодушевленный Абель расписал уже все наше настоящее и будущее. Он увидел и изобразил нашу двойную свадьбу, живописал в деталях всеобщие удивление и ликование, восторгался тем, как прекрасна вся наша история, наша дружба и его собственная роль в наших отношениях с Алисой. Поначалу я еще слабо защищался от такой дурманящей лести, но в конце концов не устоял и незаметно был увлечен его химерическими прожектами. Любовь подогревала в нас обоих тщеславие и геройство; так, сразу по окончании Школы и нашей двойной свадьбы, благословленной пастором Вотье, мы намеревались все вчетвером отправиться в путешествие; затем мы приступали к каким-то титаническим свершениям, а жены наши охотно становились нам помощницами. Абель, которого не особенно влекла университетская карьера и который верил, что рожден писателем, созданием нескольких драматических шедевров быстро сколачивал себе состояние, которого ему так не хватало; я же, более увлеченный самими исследованиями, нежели выгодой, которую можно из них извлечь, собирался целиком отдаться изучению религиозной философии и написать ее историю... Да что проку вспоминать сейчас тогдашние наши надежды?

Со следующего дня мы окунулись в работу.

IV

До новогодних каникул оставалось так мало времени, что огонь моей веры, ярко воспылавший после последней встречи с Алисой, мог гореть, ничуть не ослабевая. Как мною и было обещано, каждое воскресенье я писал ей длиннейшие письма, а в остальные дни, сторонясь товарищей и общаясь чуть ли не с одним Абелем, я жил только мыслью об Алисе; поля полюбившихся мне книг были испещрены пометками в расчете на нее — так даже мой собственный интерес подчинялся возможному ее интересу. При всем этом ее письма вселяли в меня какую-то тревогу; хотя отвечала она довольно регулярно, я был склонен видеть в ее усердном внимании ко мне гораздо больше стремления подбодрить меня в моих занятиях, чем какой-то естественный душевный порыв; тогда как у меня все оценки, рассуждения, замечания служили лишь средством для наилучшего выражения моей мысли, у нее, как мне казалось, напротив, все это использовалось лишь для того, чтобы свою мысль от меня скрыть. Иногда я даже задавался вопросом: уж не играет ли она таким образом со мной?.. Как бы то ни было, твердо решив ни на что не жаловаться, я в своих письмах ничем не обнаруживал своей обеспокоенности.

Итак, в конце декабря мы с Абелем поехали в Гавр.

Остановился я у тети Плантье. Когда я приехал, ее не было дома, однако не успел я устроиться в моей комнате, как вошел кто-то из прислуги и передал, что тетя ждет меня в гостиной.

Наскоро осведомившись о том, как я себя чувствую, как устроился, как идет учеба, она без дальнейших предосторожностей дала волю своему участливому любопытству.

— Ты мне еще не рассказывал, мой мальчик, доволен ли ты остался пребыванием в Фонгезмаре? Удалось ли тебе продвинуться вперед в твоих делах?

Пришлось стерпеть неуклюжую тетину доброжелательность; но все же, как ни тягостно мне было столкнуться со столь упрощенным отношением к чувствам, о которых, как мне по-прежнему казалось, даже самые чистые и нежные слова способны были дать лишь весьма грубое представление, сказано это было настолько просто и сердечно, что обида выглядела бы глупо. Тем не менее поначалу я слегка воспротивился.

— Разве вы сами не говорили весной, что считаете нашу помолвку преждевременной?

— Да я помню, помню, вначале всегда так говорят,— закудахтала она, овладевая моей рукой и страстно сжимая ее в своих ладонях.— И к тому же из-за твоей учебы, а потом службы в армии вы сможете пожениться только через несколько лет, я все знаю. Я-то лично не очень одобряю такие помолвки, которые долго длятся; девушки просто устают ждать... Хотя иногда это бывает так трогательно... А объявлять о помолвке вовсе не обязательно... Но этим как бы дают понять — о, весьма осторожно! — что искать больше никого не надо. Да и вообще, ваши отношения, вашу переписку никто не посмеет осудить; наконец, если вдруг объявится какой-то другой претендент — а такое вполне может случиться,— намекнула она с выразительной улыбкой,— это позволит деликатно ответить, что... нет, дескать, не стоит и пытаться. Ты знаешь, что к Жюльетте уже сватались? Этой зимой ее очень многие приметили. Ну, правда, она еще очень молоденькая — так она и ответила,— но молодой человек согласен подождать. Не такой уж он, по правде сказать, молодой, но... в общем, отличная партия. Человек солидный, надежный. Кстати, ты его завтра увидишь, он придет ко мне на елку. Расскажешь мне потом о твоих впечатлениях.

— Боюсь, тетя, рассчитывать ему не на что. Вроде бы у Жюльетты есть кто-то другой на примете,— сказал я, сделав невероятное усилие, чтобы тут же не назвать имя Абеля.

— Гм-гм? — вопросительно промычала тетя, несколько скривившись и склонив голову набок.— Ты меня удивил! Почему же она мне ни о чем не рассказала?

Я прикусил язык, чтобы не проговориться.

— Ладно, там видно будет... Ей что-то нездоровится последнее время, Жюльетте-то,— снова начала она.— Впрочем, мы не о ней сейчас... Э-э... Алиса тоже очень милая девушка... Так скажи наконец определенно, ты объяснился с ней или нет?

Хоть я восставал всей душой против самого этого слова — «объяснился»,— казавшегося мне совершенно неподходящим и даже грубым, я был застигнут врасплох ее вопросом и, не умея как следует врать, пролепетал:

— Да,— чувствуя, как запылало мое лицо.

— И что же она?

Я уставился в пол и хотел было промолчать, но, словно помимо воли, еще более невнятно буркнул:

— Она не захотела обручаться.

— Ну, и правильно сделала! — воскликнула тетя.— Господи, у вас же еще все впереди...

— Ах, тетушка, не будем об этом,— вставил я в тщетной надежде остановить ее.

— Впрочем, меня это ничуть не удивляет. Она-то всегда мне казалась посерьезнее тебя, твоя кузина...

Не могу объяснить, что на меня нашло в тот миг; очевидно, тетин вопрос так меня взвинтил, что сердце мое было готово буквально разорваться; как ребенок, зарылся я лицом в тетушкины колени и зарыдал.

— Тетушка, право же, ну как вы не поймете... Она вовсе и не просила меня подождать...

— О Боже! Неужели она тебе отказала? — произнесла она с необычайной нежностью и сочувствием, приподняв мое лицо.

— Да нет... в общем, не совсем.

Я грустно покачал головой.

— Ты боишься, что она тебя разлюбила?

— Нет-нет, дело вовсе не в этом.

— Бедный мой мальчик, если хочешь, чтобы я тебя поняла, расскажи, будь добр, чуточку подробнее, в чем все-таки дело.

Мне было больно и стыдно оттого, что я поддался минутной слабости: ведь тетя все равно была не способна по-настоящему понять, чего я, собственно, опасался; однако если отказ Алисы был обусловлен ка-

кими-то скрытыми причинами, то тетя, осторожно расспросив ее, могла бы, вполне возможно, выведать их. Она и сама почти сразу же об этом заговорила:

— Вот послушай: Алиса должна прийти ко мне завтра помогать наряжать елку. Уж я-то быстро пойму, к чему тут все клонится, а за обедом все тебе расскажу, и ты сам увидишь, я уверена, что не о чем тебе тревожиться.

Обедать я пошел к Бюколенам. Жюльетта, которой в самом деле нездоровилось, заметно изменилась: в ее взгляде появилась какая-то настороженность, даже почти озлобленность, отчего она еще менее стала походить на сестру. Ни с одной из них в тот вечер я не смог поговорить наедине; признаться, я не очень к этому и стремился, и, поскольку дядя выглядел довольно усталым, я распрощался вскоре после того, как все вышли из-за стола.

На рождественскую елку к тетушке Плантье каждый год собиралось очень много детей, родни и друзей. Елку ставили в вестибюле у лестницы, куда выходили одна из прихожих, гостиная и застекленные двери небольшого зимнего сада, где устраивался буфет. Елку еще не успели до конца нарядить, и уже в день праздника, утром, то есть на следующий день после моего приезда, Алиса, как тетя меня о том и уведомила, пришла довольно рано, чтобы помочь ей развесить на ветвях украшения, огоньки, засахаренные фрукты, сладости и игрушки. Мне самому очень хотелось поучаствовать вместе с ней в этих приятных хлопотах, но нужно было дать возможность тете поговорить с ней, поэтому я ушел, даже не повидав ее, и всю первую половину дня пытался отвлечься от беспокойных мыслей.

Сначала я пошел к Бюколенам, думая увидеться с Жюльеттой, но там я узнал, что меня опередил Абель; не желая прерывать их важный разговор, я тут же вышел и до самого обеда бродил по набережным и улицам города.

— Голова ты садовая! — таким возгласом встретила меня тетя.— Это ж надо так усложнять себе жизнь! Что за ерунду ты наговорил мне с утра пораньше!.. Но, слава Богу, я человек прямой: только мисс Эшбертон подустала, я ее спровадила, мы с Алисой остались вдвоем, и тут я ее без обиняков и спросила, почему, дескать, она отказалась этим летом обручиться с тобой. Думаешь, она растерялась? Не тут-то было! Она спокойненько мне ответила, что не хочет выходить замуж раньше сестры. Она и тебе ответила бы то же самое, если бы ты ее спросил напрямик. Ну, скажи, стоило мучиться-то, а? Вот так-то, милый мой: прямота, она лучше всего... Алиса, бедняжка, и об отце своем мне говорила: не могу, мол, бросить его одного... О, да мы обо всем успели поболтать. До чего ж умненькая девочка! Я, говорит, не уверена, что подхожу ему: боюсь, слишком у нас большая разница в возрасте, и ему, мол, лучше найти девушку вроде Жюльетты...

Тетушка продолжала, но я ее больше не слушал; только одно мне было важно: Алиса не согласна выходить замуж раньше сестры. А на что ж тогда Абель! Значит, все-таки прав он был, не бахвалился, когда говорил, что одним махом устроит обе наши женитьбы...

Как мог скрывал я от тети то возбуждение, которое вызвало во мне это, в сущности, простое открытие, и всем своим видом выражал лишь радость, показавшуюся ей вполне естественной и вдобавок особенно ей приятной оттого, что именно она, как ей казалось, мне ее доставила; едва отобедав, я, не помню уж под каким предлогом, отпросился и кинулся к Абелю.

— Ага! Что я говорил?! — бросился он обнимать меня, когда я поведал ему о своей радости.— Слушай, скажу тебе сразу, что наш утренний разговор с Жюльеттой был почти решающим, хотя речь шла почти исключительно о тебе. Но она выглядела какой-то усталой, слегка

раздраженной... В общем, я боялся слишком взволновать ее и особенно далеко не заходил, да и долго оставаться у нее я не мог по той же причине. Теперь же, после того что ты мне рассказал, считай, дело сделано! Знаешь, я могу сейчас все что хочешь — прыгать, скакать, колесом ходить. Когда пойдем вместе к Бюколенам, держи меня крепче, не то я взлечу по дороге: я чувствую, что становлюсь легче Эвфориона... Когда Жюльетта узнает, что только из-за нее Алиса отказывается ответить тебе согласием; когда я немедленно сделаю предложение... Эх! Да ты послушай: я уже вижу, как преподобный отец сегодня же вечером перед рождественской елкой, вознося хвалы Господу, со слезами на глазах благословляет нас четверых, бросившихся к его ногам. Мисс Эшбертон испарится от охов и вздохов, тетушка Плантье растает в своем корсаже, а елка, сверкая огнями, воспоет славу Божию и вострепещет, как те горы у пророка Аввакума.

Елку собирались зажечь только к вечеру, когда соберутся дети, родственники и друзья. Выйдя от Абеля и не зная, чем заняться — настолько меня томило нетерпение,— я, чтобы убить время, пустился бродить по окрестностям возле скалы Сент-Адресс, заблудился, и вышло так, что, когда я вернулся к тете, праздник уже начался.

Едва войдя в вестибюль, я увидел Алису; она, похоже, ждала меня и сразу же подошла. В вырезе ее платья виднелся висевший на шее старинный аметистовый крестик, который я подарил ей в память о моей матери, но который она при мне еще не надевала. Ее осунувшееся лицо выражало такую боль, что мне стало не по себе.

— Почему ты опоздал? — быстро произнесла она, будто ей не хватало дыхания.— Я хотела поговорить с тобой.

— Я заблудился там, у скалы... Но что с тобой, тебе плохо?.. Алиса, ради Бога, что случилось?

Губы ее дрожали, и некоторое время она стояла молча, словно в каком-то ошеломлении; я не смел больше расспрашивать ее, потому что меня самого вдруг сдавило невероятной тоской. Она положила руку мне на шею, как будто хотела приблизить мое лицо. Я подумал, что она собирается что-то сказать, но в этот момент уже начали входить гости, и рука ее безвольно упала...

— Не получится,— прошептала она и, видя, что я чуть не плачу, и отвечая на немой вопрос, застывший в моих глазах, добавила, словно это смехотворное объяснение могло совершенно меня успокоить: — Нет-нет... не волнуйся, просто у меня болит голова: дети устроили такой ужасный шум... мне пришлось спрятаться здесь... Сейчас мне пора вернуться к ним.

Она быстро вышла. Вестибюль наполнился людьми. Я подумал, что разыщу ее в гостиной, и действительно заметил ее в противоположном конце комнаты посреди толпы детей, с которыми она затевала какие-то игры. Между ней и мною я заметил нескольких знакомых, мимо которых я скорее всего не мог проскочить, не рискуя быть задержанным, а раскланиваться, вести светские беседы я был не в состоянии. Разве что проскользнуть вдоль стены... Стоило попытаться.

Когда я проходил мимо большой застекленной двери, ведущей в сад, то почувствовал, что кто-то схватил меня за руку. Это оказалась Жюльетта, притаившаяся в дверном проеме за шторой.

— Пойдем в зимний сад,— выпалила она.— Мне нужно с тобой поговорить. Иди с другой стороны, я к тебе подойду.

Затем, быстро приоткрыв дверь, она скрылась в саду.

Что же все-таки произошло? Мне захотелось срочно увидеться с Абелем. Что он такого сказал? Что сделал?.. Через вестибюль я прошел в оранжерею, где меня уже ждала Жюльетта.

Лицо ее пылало; нахмуренные брови придавали взгляду пронзительно-страдальческое выражение; глаза болезненно блестели; даже голос

звучал сдавленно и резко. Она была точно вне себя от ярости; несмотря на мою тревогу, я с удивлением и даже некоторым смущением отметил про себя, как она красива. Мы были одни.

— Алиса говорила с тобой? — сразу же спросила она.

— Два слова, не больше: я ведь опоздал.

— Ты знаешь, что она хочет, чтобы я первая вышла замуж?

— Да.

Она пристально смотрела мне в глаза:

— А знаешь, за кого ей хочется, чтобы я вышла?

Я молчал.

— За тебя,— буквально выкрикнула она.

— Но это безумие!

— Вот именно! — Произнесено это было одновременно с отчаянием и торжеством. Она приняла какой-то вызывающий вид и вся даже откинулась назад...

— Теперь я знаю, что мне следует делать,— добавила она невнятно, затем распахнула дверь и, выйдя, со звоном захлопнула ее.

И в голове, и в душе у меня все смешалось. Кровь стучала в висках. Четко я помнил лишь одно: нужно разыскать Абеля; уж он-то наверное сможет объяснить мне странное поведение обеих сестер... Однако вернуться в гостиную я не осмелился, так как все непременно заметили бы, в каком я состоянии. Я вышел на воздух. В саду было холодно, и, побыв там некоторое время, я немного пришел в себя. Уже смеркалось, и город постепенно скрывался в морском тумане; деревья стояли голые; от земли и неба точно исходила какая-то безысходная тоска... Послышалось пение — очевидно, это был хор детей возле рождественской елки. Я вернулся в дом через вестибюль. Двери в гостиную и прихожую были распахнуты, и я заметил в гостиной свою тетю, которая, словно бы прячась за пианино, что-то говорила стоявшей рядом Жюльетте. Все гости толпились в прихожей, поближе к елке. Дети допели рождественскую песню, наступила тишина, и пастор Вотье, встав спиной к елке, начал читать нечто вроде проповеди: он никогда не упускал возможности «посеять семена добра», как он говорил. Мне стало душно, яркий свет резал глаза, и я повернулся, чтобы снова выйти, как вдруг возле дверей увидел Абеля; видимо, он стоял так уже несколько минут и глядел на меня весьма враждебно. Когда наши взгляды встретились, он пожал плечами. Я подошел к нему.

— Ну и дурак же ты! — процедил он сквозь зубы и тут же добавил: — Ладно, пошли отсюда, я уже по горло сыт этим сладкоречием! — Едва мы вышли, как он снова обрушился на меня, поскольку я продолжал молча и недоуменно смотреть на него: — Дурак! Олух! Да она же тебя любит! Ты что, не мог мне раньше сказать?

Я стоял как оглушенный. Все это не укладывалось у меня в голове.

— Нет, но это же надо! Самому такого не заметить!

Он схватил меня за плечи и яростно тряс. Голос его дрожал и прорывался сквозь стиснутые зубы с каким-то свистом.

— Абель, умоляю,— наконец произнес я таким же дрожащим голосом, когда он изо всех сил потащил меня куда-то,— чем так сердиться, ты бы лучше рассказал мне, что произошло. Я ничего не понимаю.

Внезапно остановившись под фонарем, он впился в меня глазами, затем крепко прижал к себе, положил голову мне на плечо и глухо зарыдал:

— Прости, прости, брат! Я сам был так же глуп и слеп и ничего не видел, как и ты.

Слезы немного успокоили его; он поднял голову и начал говорить, снова зашагав куда-то:

— Что произошло... Да стоит ли к этому возвращаться? Утром, как ты знаешь, у нас с Жюльеттой был разговор. Она была просто необыкновенно красива и возбуждена; я-то думал, что из-за меня, на самом деле потому, что мы говорили о тебе, вот и все.

— Так, значит, ты уже тогда догадался?..

— Нет, тогда еще не совсем, но сейчас это ясно даже по малейшим деталям...

— Ты уверен, что не ошибся?

— Ошибся?! Братец ты мой, да только слепой не увидит, что она любит тебя.

— А Алиса, значит...

— А Алиса приносит себя в жертву. Ей стала известна тайна сестры, и она собралась уступить место. Право, старина, это вовсе не так уж трудно понять!.. Я попытался было снова поговорить с Жюльеттой, но едва я начал, точнее, едва она начала догадываться, в чем дело, как тут же вскочила с дивана, на котором мы сидели рядом, и несколько раз повторила: «Я так и знала»,— хотя по голосу было понятно, что ничего она не знала...

— Ну, право, сейчас не до шуток!

— Отчего же? Вся эта история мне кажется ужасно забавной... Так вот, потом она бросилась в комнату к сестре, и я с тревогой слушал доносившиеся оттуда отголоски бурной сцены. Я-то надеялся, что Жюльетта еще выйдет, но вместо нее появилась Алиса. Она уже была в шляпе, очень смутилась, увидев меня, на ходу поздоровалась и ушла... Вот и все.

— Значит, Жюльетту ты с тех пор не видел?

После некоторого колебания Абель ответил:

— Видел. Когда Алиса ушла, я толкнул дверь ее комнаты. Жюльетта стояла словно в оцепенении перед камином, опершись локтями о мраморную полку, положив подбородок на ладони, и пристально смотрела на себя в зеркало. Я вошел, но она даже не обернулась, а только вдруг как притопнет да как крикнет: «Оставьте же меня наконец!» — причем так сердито, что я почел за лучшее удалиться. Вот и все.

— И что же теперь?

— А!.. Я с тобой поговорил, и мне уже лучше... Что теперь? Попробуй вылечить Жюльетту от этой любви, ибо или я совсем не знаю Алису, или до тех пор тебе ее не видать.

Мы еще довольно долго шли в полном молчании.

— Пойдем назад! — сказал он наконец.— Гости уже ушли. Боюсь, преподобный меня заждался.

Мы вернулись. Действительно, гостиная уже опустела; в прихожей, возле разоренной елки, на которой догорали последние свечки, остались только тетушка с двумя детьми, дядя Бюколен, мисс Эшбертон, пастор, обе мои кузины и еще какая-то личность, на вид довольно смешная; я видел, как он весь вечер беседовал с тетей, но тогда не признал в нем того самого жениха, о котором мне рассказывала Жюльетта. Крупный, плотный, загорелый, с большими залысинами, он был явно другого звания, другой среды, другой породы, да и сам он, похоже, чувствовал себя чужаком среди нас, отчего нервно крутил и мучил свою седеющую эспаньолку, выступавшую из-под пышных нависающих усов. Двери были по-прежнему распахнуты, а в вестибюле, куда мы вошли без лишнего шума, было темно, так что никто не заметил нашего присутствия. Внезапно меня пронзило страшное предчувствие.

— Стой! — прошипел Абель, хватая меня за руку.

Мы увидели, как незнакомец подошел к Жюльетте и взял ее за руку, которую та безвольно отдала ему, даже не взглянув на него. Сердце мое похолодело.

— Да что же это делается, Абель?! — пробормотал я, словно все еще не понимая или надеясь, что не до конца понимаю.

— Черт побери! Малышка поднимает ставку,— услышал я в ответ свистящий шепот.— Ей не хочется отстать от сестры. Держу пари, сейчас ей рукоплещут все ангелы на небесах!

Жюльетту уже обнимал и целовал дядя, ее обступили тетушка и мисс Эшбертон, подошел и пастор Вотье... Я рванулся вперед. Алиса, заметив меня, вся дрожа, бросилась мне навстречу.

— Жером, это совершенно невозможно. Она же не любит его! Она мне это сказала еще сегодня утром. Вмешайся, Жером! О Боже, что с нею будет?!

В отчаянной мольбе она повисла у меня на плече; я не пожалел бы жизни, чтобы облегчить хоть немного ее горе.

Вдруг возле елки кто-то вскрикнул, все сразу же засуетились... Мы подбежали и увидели, как тетушка подхватила упавшую без чувств Жюльетту. Все столпились вокруг, склонились над ней, и мне почти не было видно ее, только рассыпавшиеся волосы — они, казалось, откидывали назад ее смертельно побледневшее лицо. По пробегавшим по ее телу судорогам можно было предположить, что это не был заурядный обморок.

— Что вы, что вы! — громко успокаивала тетушка перепуганного дядю Бюколена, которого уже утешал пастор Вотье, указывая пальцем на небо.— Нет-нет, ничего страшного! Она просто переволновалась, перенервничала. Господин Тессьер, помогите-ка мне, вы ведь такой сильный. Сейчас отнесем ее ко мне в комнату, на мою постель... ко мне на постель...— Она наклонилась и что-то шепнула на ухо своему старшему сыну, и я увидел, как тот сразу убежал, очевидно за доктором.

Тетушка и жених поддерживали Жюльетту под плечи и спину, руки ее бессильно висели. Алиса осторожно и нежно несла сестру за ноги. Абель держал ее голову, которая иначе откинулась бы совершенно назад, и я видел, как он, весь согнувшись, осыпал поцелуями и собирал ее распущенные волосы.

Я остановился в дверях тетиной комнаты. Жюльетту положили на постель; Алиса что-то сказала г-ну Тессьеру и Абелю, но я не слышал ни слова, затем она проводила их до двери и попросила, чтобы мы дали ее сестре отдохнуть; она собиралась остаться возле нее вместе с тетей Плантье...

Абель схватил меня за руку, увлекая прочь, в ночную темноту, и мы еще долго шагали так, подавленные, не зная куда, не зная зачем.

V

Я не искал иного смысла в жизни, кроме любви, цеплялся за нее изо всех сил, не ждал ничего, да и не хотел ничего ждать, кроме того, что приходило ко мне от моей возлюбленной.

На следующий день, когда я уже был почти готов идти к ней, тетя остановила меня и протянула только что полученное ею письмо:

...Ночь прошла очень беспокойно, Жюльетта металась и успокоилась только к утру, когда подействовали прописанные доктором лекарства. Заклинаю Жерома несколько дней не приходить сюда. Жюльетта может случайно услышать его шаги или голос, а ей сейчас нужен полный покой...

Боюсь, что до выздоровления Жюльетты мне придется задержаться здесь. Если я не смогу принять Жерома до его отъезда, передай ему, дорогая тетя, что я ему обязательно напишу...

Запрет касался меня одного. И тетя, и вообще кто угодно могли звонить и приходить к Бюколенам; а тетя даже намеревалась пойти туда сегодня же утром. Какой еще от меня особенный шум? Что за нелепый предлог?.. Впрочем, не важно!

— Что ж, ладно. Я не пойду.

Мне дорогого стоило отказаться от встречи с Алисой; я желал этой встречи, но одновременно и боялся — боялся предстать в ее глазах виноватым в том, что случилось с ее сестрой, а потому мне было все-таки легче не увидеться с ней вовсе, чем увидеть ее раздраженной.

В любом случае мне хотелось видеть Абеля.

Открывшая дверь горничная протянула мне записку:

Пишу эту записку, чтобы ты не беспокоился. Оставаться долее в Гавре, совсем рядом с Жюльеттой, выше моих сил. Вчера вечером, вскоре же после того, как мы расстались, я сел на пароход в Саутхемптон. Поживу до конца каникул в Лондоне, у С... Увидимся в Школе.

...Так в один миг я лишился всякой людской поддержки. Дальнейшее пребывание в Гавре не сулило мне ничего, кроме новых страданий, и я вернулся в Париж задолго до начала занятий. Я обратился помыслами к Богу, к Тому, «от кого исходит всякое истинное утешение, всякая благодать и всякое совершенство». Ему принес я свою боль, и молитва моя ободрялась, вдохновлялась мыслью о том, что и она ищет прибежища в Нем и молится.

Потекло время в раздумьях и занятиях, без каких-либо иных событий, кроме писем Алисы и моих к ней. Я сохранил их все и именно на них опираюсь, восстанавливая в памяти последовавшие события...

Новости из Гавра доходили до меня через тетушку, поначалу даже исключительно через нее; так я узнал, какие серьезные опасения вызывало тяжелое состояние Жюльетты в первые дни. Лишь через двенадцать дней после моего отъезда я получил наконец первое письмо от Алисы:

Извини, пожалуйста, дорогой мой Жером, что я не написала тебе раньше: состояние нашей бедняжки Жюльетты не оставляло времени на письма. С тех пор как ты уехал, я почти неотлучно была возле нее. Я попросила тетю держать тебя в курсе наших дел. Думаю, она выполнила мою просьбу, и ты, наверное, знаешь, что вот уже третий день Жюльетте лучше. Я благодарю Бога, но радоваться пока не смею.

Также и Робер, о котором я здесь почти не упоминал и который приехал в Париж спустя несколько дней после меня, смог немного рассказать мне о том, как поживают его сестры. Собственно, ради них я и уделял ему гораздо больше времени, нежели мне бы того хотелось, следуй я склонностям своего характера; он поступил в сельскохозяйственную школу, и едва у него выдавался свободный день, как мне приходилось заниматься им и изобретать, чем бы его развлечь.

От него я узнал то, о чем не решался спросить ни у Алисы, ни у тети: оказывается, Эдуар Тессьер усердно заходил справляться о здоровье Жюльетты, однако до отъезда Робера из Гавра он еще не виделся с ней вновь. Узнал я также и то, что Жюльетта, с тех пор как я уехал, в общении с сестрой хранила упорное молчание, которое ничто не способно было нарушить.

Несколько позднее через тетю мне стало известно кое-что и о злополучной помолвке Жюльетты: Алиса, я это чувствовал, надеялась, что помолвка немедленно расстроится, однако Жюльетта сама настояла, чтобы о ней объявили как можно раньше. Ее решимость, о которую разбивались все советы, увещевания и мольбы, сделала ее упрямой, слепой и немой — точно замурованной в молчание.

Шло время. От Алисы, которой я уже и не знал, о чем писать, приходили короткие, скупые письма, лишь усугублявшие мою тоску. Я словно погружался в густой зимний туман; увы, ни настольная лампа, ни весь пыл моей любви, ни моя вера были не в силах одолеть мрак и холод в моем сердце. А время шло.

И вот однажды весенним утром я неожиданно получил письмо Алисы, адресованное тетушке, которая в это время куда-то уехала из

Гавра и переслала письмо мне; я выписываю из него то, что поможет лучше понять эту историю:

...Ты должна быть довольна моим послушанием: как я тебе и обещала, я приняла-таки г-на Тессьера и долго с ним говорила. Не скрою, держался он очень достойно, и я даже почти поверила, признаюсь честно, в то, что этот брак может оказаться не таким уж несчастливым, как я вначале опасалась. Разумеется, Жюльетта не любит его, но мне он кажется от раза к разу все менее недостойным любви. Судя по его словам, он отлично все понимает и ничуть не заблуждается относительно характера моей сестры, но он уверен, что его любовь к ней может многое изменить, и убеждает меня, что нет таких препятствий, которые смогли бы устоять перед его терпением и упорством. Ты уже поняла, что влюблен он без памяти.

Ты права, я была необычайно тронута, узнав, что Жером так много занимается с моим братом. Думаю, что он просто счел это своим долгом — ибо по характеру они с Робером совершенно непохожи,— а также, вероятно, хотел таким образом понравиться мне, но сам же он наверняка смог убедиться: чем больше усилий требует от нас исполнение долга, тем мудрее и возвышеннее становится наша душа. Подобные суждения кому-то могут показаться выспренними, но, тетушка, право же, не смейся над своей великовозрастной племянницей, ибо эти мысли поддерживают меня и облегчают мои попытки толковать брак Жюльетты как благо.

Я так благодарна за твою нежную заботу обо мне, дорогая тетушка!.. Но не думай, пожалуйста, что я несчастлива; я бы могла даже сказать: наоборот — ибо потрясение, испытанное Жюльеттой, отозвалось и во мне. Для меня вдруг прояснились те слова из Писания, которые я раньше повторяла почти бездумно: «Проклят человек, который надеется на человека»[1]*. Еще задолго до того, как я нашла это место в Библии, я прочла эти слова на рождественской открытке, которую прислал мне Жером, когда ему еще не было и двенадцати, а мне уже исполнилось четырнадцать. На той открытке рядом с цветочным венком, который тогда нам очень нравился, было помещено четверостишие — парафраз, кажется, Корнеля:*

Порыв, меня влекущий к Богу,
Победней всех земных страстей.
Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.

Признаться, та простая строка Иеремии мне бесконечно ближе. Жером, когда выбирал открытку, разумеется, не обратил особого внимания на эти слова, но сейчас, судя по письмам, его образ мыслей стал очень походить на мой, и я каждый день благодарю Бога за то, что Он одновременно приближает к себе нас обоих.

Памятуя о нашем с тобой разговоре, я больше не пишу ему таких длинных писем, как прежде, чтобы не отвлекать его от работы. Ты, наверное, уже подумала, что, как бы в возмещение за это, я бесконечно долго рассказываю о нем, поэтому, пока не поздно, заканчиваю письмо. Прошу тебя, не сердись.

Какую бурю переживаний вызвало во мне это письмо! Я проклинал неумелое тетушкино вмешательство (что же это был за разговор, о котором упомянула Алиса и после которого она почти перестала писать мне?), неуместную заботу, побудившую ее поставить меня обо всем этом в известность. Если мне и без того тяжело было переносить молчание Алисы, не лучше ли в тысячу раз было держать меня в неведении, что то, о чем она давно перестала говорить со мной, она спокойно пишет кому-то другому! Все раздражало меня: и то, что она так легко пересказывает тетушке наши самые заветные тайны, и естественный тон письма, и ее спокойствие, и серьезность, и готовность шутить...

---

[1] Книга пророка Иеремии, 17, 5.

— Нет-нет, дружище! Тебе прежде всего не дает покоя то, что письмо адресовано не тебе,— сказал Абель, непременный мой спутник, Абель, с которым только и мог я поговорить и к которому в моем одиночестве меня неизменно снова и снова пригоняли моя слабость, потребность выплакаться, неверие в собственные силы и, в минуты растерянности, доверие, которое я питал к его советам, несмотря на явную разность наших натур или скорее благодаря ей...

— Изучим внимательно этот документ,— произнес он, разложив страницы письма на своем столе.

К тому времени я уже промучился три ночи, а четыре дня, соответственно, носил все в себе, стараясь не подать виду! Я уже самостоятельно почти пришел к тем же умозаключениям, которые выдал мне мой друг:

— Давай так: посмотрим, что с этой блестящей партией сделает огонь любви. Уж мы-то знаем, как действует его пламя. Черт меня побери, если Тессьер не есть тот самый мотылек, который спалит в нем свои крылышки...

— Оставим это,— смутился я от его шуточек.— Поговорим лучше про то, что идет дальше.

— А что дальше? — удивился он.— Дальше все только о тебе. Право, стоит жаловаться! Нет ни строчки, ни единого слова, которые не были бы наполнены мыслью о тебе. По сути дела и письмо-то адресовано тебе: переслав его, тетя Фелиция лишь вернула его истинному получателю. Только из-за того, что ты далеко, Алиса и припадает к груди этой доброй тетеньки. Вот, к примеру, стихи Корнеля — которые, замечу в скобках, принадлежат Расину; для нее, для тетушки-то, они ведь пустой звук. Да говорю же тебе, с тобой она всем этим делится, тебе все это рассказывает. Ты будешь последним болваном, если уже через две недели твоя кузина не напишет тебе такое же подробное, легкое и приятное письмо...

— Да она вовсе не собирается это делать!

— Сейчас все в твоих руках! Хочешь совет? Еще в течение... ну, в общем, довольно долгое время даже не заикайся ни о любви, ни о женитьбе. Ведь после того, что случилось с ее сестрой, она именно за это на тебя и сердится, понимаешь? Упирай на братские чувства, без конца пиши о Робере, коли у тебя хватает терпения возиться с этим кретином. Короче, просто занимай ее чем-нибудь и все, а остальное само собой выйдет. Эх, вот бы мне можно было ей написать!..

— Ты был бы недостоин чести ее любить.

Тем не менее я все-таки последовал совету Абеля, и действительно письма Алисы постепенно начали становиться более живыми, хотя я не мог надеяться ни на подлинную радость с ее стороны, ни на решительное смягчение до тех пор, пока Жюльетта не обрела если уж не счастье, то по крайней мере определенное положение.

Алиса писала тем временем, что дела Жюльетты идут все лучше, в июле должна состояться свадьба, и жаль, что мы с Абелем не сможем приехать из-за нашей учебы... То есть, как я понял, она сочла, что наше присутствие на церемонии вовсе не обязательно, поэтому мы, сославшись на очередной экзамен, ограничились тем, что послали поздравительные открытки.

Примерно недели через две после свадьбы Алиса прислала мне такое письмо:

Дорогой Жером,

Суди сам о том, как я была поражена, открыв вчера наугад подаренный тобой прелестный томик Расина и обнаружив то самое четверостишие с твоей давнишней рождественской открытки, которую я вот уже скоро десять лет храню между страниц Библии.

Порыв, меня влекущий к Богу,
Победней всех земных страстей.
Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.

Я считала, что этот отрывок из какого-то корнелевского парафраза, и, по правде говоря, не находила в нем ничего особенного. Но, читая дальше «IV Духовное песнопение», я напала на такие прекрасные строфы, что не в силах удержаться, чтобы не переписать их сейчас для тебя. Не сомневаюсь, что они тебе известны, насколько я могу судить по инициалам, которые ты неосторожно оставил на полях. (В самом деле, у меня появилась привычка помечать в моих и ее книгах большой буквой «А» те пассажи, которые мне понравились или с которыми я хотел познакомить и ее.) *Но не важно! Я сама получу удовольствие, переписывая их. Сначала я даже слегка обиделась, когда поняла, что моя находка на самом деле была твоим подарком, но это гадкое чувство уступило место радости от мысли, что ты полюбил эти строфы так же, как и я. Когда я переписываю их, мне кажется, что мы вместе их читаем:*

Глас горний истины превечной
Из поднебесья к нам воззвал:
«Зачем, о люди, так беспечно
Земных вы ищете похвал?
Изъян ли слабых душ виною,
Что крови ваших жил ценою
Вы покупаете подчас
Не хлеб, который насыщает,
Но тень его, что лишь прельщает,
А голод пуще гложет нас.

Хлебы, что свыше вам дарятся,—
Созданье Божией руки.
Они для ангелов творятся
Лишь из отборнейшей муки.
Вас этим хлебом вожделенным
В столь вам любезном мире бренном
Вовек никто не угостит.
А кто за мною устремится,
Тот сможет вволю угоститься
И будет жив, здоров и сыт».
. . . . . .

В твоем плену душа обрящет
Покой блаженный навсегда,
Испив воды животворящей,
Что не иссякнет никогда.
Не скрыт от мира сей родник,
Чтоб всяк хоть раз к нему приник.
Мы ж пьем из мутного пруда,
Довольствуясь безумцев долей,
Иль из неверных суходолий,
Где не задержится вода.

Как это прекрасно, Жером, как прекрасно! Не правда ли, ты ощутил эту красоту так же, как и я? В моем издании дается маленькое примечание о том, что г-жа де Ментенон, услышав эту песнь в исполнении м-ль д'Омаль, пришла в восхищение, «уронила несколько слезинок» и просила исполнить один из отрывков еще раз. Я выучила ее наизусть и без устали повторяю ее про себя. Жалею я лишь об одном: что не слышала, как ее читаешь ты.

От наших путешественников продолжают приходить приятные вести. Ты уже знаешь, как понравилось Жюльетте в Байонне и в Биаррице, несмотря даже на ужасную жару. С тех пор они побывали в Фонтараби, останавливались в Бургосе, дважды переходили Пиренеи... Только что я получила от нее восторженное письмо из Монсеррата. Они рассчитывают побыть дней десять в Барселоне, а затем вернуться в

Ним: Эдуар хочет успеть до конца сентября, чтобы все подготовить к сбору винограда.

Мы уже целую неделю с отцом в Фонгезмаре; завтра должна приехать мисс Эшбертон, а через четыре дня Робер. Бедный мальчик, как ты знаешь, не сдал экзамен, причем не потому, что он был трудный, а просто экзаменатор задавал такие причудливые вопросы, что он растерялся. Не могу поверить, что Робер не был готов — после всего, что ты мне писал о его старании и усердии. Видимо, этому экзаменатору нравится таким образом приводить в смущение учеников.

Что же касается твоих успехов, дорогой друг, то мне даже как-то неловко поздравлять тебя — настолько они мне кажутся естественными. Я так верю в тебя, Жером! Едва я начинаю о тебе думать, как сердце мое наполняется надеждой. Сможешь ли ты уже сейчас приступить к той работе, о которой ты мне рассказывал?..

...У нас в саду ничего не изменилось, но дом как будто опустел! Ты ведь понял, не правда ли, почему я просила тебя не приезжать этим летом; я чувствую, что так будет лучше, и повторяю это каждый день, потому что мне очень тяжело не видеть тебя так долго... Иногда я непроизвольно начинаю тебя искать: вдруг прерываю чтение и оборачиваюсь... Мне кажется, что ты рядом!

Продолжаю письмо. Сейчас ночь, все легли спать, а я засиделась перед открытым окном; в саду очень тепло и все благоухает. Помнишь, в детстве, когда мы видели или слышали что-то очень красивое, мы думали: «Спасибо, Боже, за то, что ты это создал»... Вот и сегодня в моей душе лишь одна мысль: «Спасибо, Боже, за то, что ты подарил такую прекрасную ночь!» И вдруг мне так захотелось, чтобы ты оказался здесь, рядом, совсем близко, захотелось изо всех сил — так, что даже ты, наверное, это почувствовал.

Как ты хорошо сказал в одном письме: «есть такие счастливые души», в которых восхищение неотделимо от признательности... Мне столько еще хотелось бы сказать тебе! Вот я пытаюсь представить ту солнечную страну, о которой пишет Жюльетта. Мне видятся и совсем иные края — там еще просторнее, еще больше солнца, еще пустыннее. Меня не покидает какая-то странная уверенность, что однажды, не знаю, каким образом, но мы вместе увидим великую таинственную страну.

Вы, конечно, без труда можете себе представить, как я читал это письмо — с радостным замиранием сердца, со слезами любви. За ним последовали другие. Да, Алиса благодарила меня за то, что я не приехал в Фонгезмар; да, она умоляла меня не искать с ней встречи в этом году, но сейчас она жалела о том, что меня нет рядом с ней, она хотела видеть меня; этот призыв слышался с каждой страницы. Почему я не поддался ему? Что придавало мне силы? Советы Абеля, разумеется; боязнь одним махом разрушить мое счастье; плюс некое природное сдерживающее начало, боровшееся с влечением сердца.

Выписываю из этих писем то, что имеет отношение к моему рассказу:

Дорогой Жером,

Я в восторге от твоих писем. Как раз собралась ответить на письмо из Орвьето, а тут пришли еще сразу два — из Перуджи и Ассизи. Теперь я тоже мысленно путешествую; телом я как будто бы здесь, но на самом деле я иду рядом с тобой по белым дорогам Умбрии; чуть свет я вместе с тобой отправляюсь в путь и словно впервые любуюсь утренней зарей... Ты звал меня, поднявшись на развалины Кортоны, правда? Я слышала твой голос... Мы стояли на вершине горы, над раскинувшимся внизу Ассизи, и нам страшно хотелось пить! Зато каким блаженством был для меня стакан воды, которым нас угостил монах-францисканец! Поверь, друг мой, я точно на все смотрю твоими глазами! Мне

так понравилось то, что ты написал о святом Франциске! Да, именно: мысль должна стремиться к возвышенности, *а вовсе не к полному освобождению, которому неизменно сопутствует мерзостная гордыня. Все порывы свои употребить не на бунт и возмущение, но на служение...*

В Ниме, судя по письмам, все идет так хорошо, что, мне кажется, самому Богу угодно, чтобы я сейчас только и делала, что радовалась. Единственное, что омрачает это лето,— состояние моего несчастного отца; несмотря на все мои заботы, он по-прежнему о чем-то грустит, точнее, каждый раз возвращается к своей грусти, едва я оставляю его одного, и выводить его из этого состояния с каждым разом все труднее. Вся окружающая нас природа словно говорит с нами на языке счастья, но он уже как будто перестает понимать этот язык и даже не делает никаких усилий, чтобы расслышать его... У мисс Эшбертон все в порядке. Я читаю им обоим твои письма; одного письма хватает для разговоров дня на три, а там приходит следующее...

...Позавчера уехал Робер; остаток каникул он проведет у своего друга Р., отец которого служит управляющим на образцовой ферме. Конечно, в той жизни, какую мы здесь ведем, для него никаких особенных радостей нет, а потому, когда он заговорил об отъезде, я поддержала его...

...Столько еще хочется сказать тебе — говорила и говорила бы с тобой без конца! Иногда я никак не могу найти верных слов, да и мысли путаются: пишу словно во сне наяву и чувствую, почти до боли, лишь одно — как много, бесконечно много смогу еще отдать и получить.

Как случилось, что мы оба молчали столько долгих месяцев? Будем считать, что это была зимняя спячка. О, только бы она уже прошла навсегда, эта ужасная, страшная зима молчания! С тех пор как ты вновь нашелся, и жизнь, и мысли, и порывы наших душ — все кажется мне прекрасным, восхитительным, неисчерпаемо богатым.

12 сентября

Получила твое письмо из Пизы. У нас здесь тоже погода стоит просто замечательная, никогда еще Нормандия не казалась мне такой прекрасной. Позавчера я прошла пешком огромное расстояние, просто так, гуляя; вернулась усталая, но в очень приподнятом настроении, буквально опьяненная солнцем и радостью. Как хороши были мельницы в лучах палящего солнца! Мне даже не нужно было воображать себя в Италии, чтобы почувствовать прелесть всего этого.

Да, друг мой, в «многоголосии» природы для меня различим и внятен сейчас один только, как ты его называешь, призыв к радости. Я слышу его в пении каждой птицы, вдыхаю с ароматом каждого цветка и все отчетливее понимаю, что для меня единственно возможной формой молитвы может быть только поклонение: повторять, вслед за святым Франциском, «Боже! Боже!» — «и ничего больше», а сердце переполняется невыразимой *любовью.*

Но я не собираюсь превращаться в какую-нибудь невежествующую монашку, не бойся! В последнее время я прочла очень много — благо, выпало несколько дождливых дней; я как бы перенесла это свое поклонение на книги... Закончив Мальбранша, я тут же принялась за «Письма к Кларку» Лейбница; затем, просто для передышки, читала «Ченчи» Шелли — без особого удовольствия; прочла заодно и «Мимозу»... Наверное, ты возмутишься, но я бы отдала всего Шелли и всего Байрона за те четыре оды Китса, которые мы читали вместе прошлым летом; равно и всего Гюго отдам я за несколько сонетов Бодлера. Выражение «великий *поэт» бессмысленно: гораздо важнее быть* чистым *поэтом... Спасибо тебе, о брат мой, за то, что ты позволил мне узнать, понять и полюбить все это.*

...Не сокращай твоего путешествия только ради того, чтобы мы могли эти несколько дней провести вместе, не надо. Нет, серьезно: будет лучше, если мы еще какое-то время не увидимся. Поверь, даже если

бы ты был рядом со мной, я не смогла бы думать о тебе больше, чем сейчас. Не хочу огорчать тебя, но именно сейчас во мне почти пропало желание встречи. Не знаю, хорошо ли это, но, честное слово, узнай я, что ты приедешь сегодня вечером... куда-нибудь убежала бы.

Ради Бога, только не требуй от меня объяснить это... чувство. Я знаю лишь одно: я о тебе постоянно думаю (для твоего счастья этого должно быть достаточно) и тем счастлива.

. . . . . .

Вскоре после получения этого письма я возвратился из Италии, был немедленно призван на военную службу и отправлен в Нанси. Там я не знал ни одной живой души, но радовался, что остался один, ибо в этой ситуации и для меня, гордого своей любовью, и для Алисы становилось еще очевиднее, что ее письма были моим единственным прибежищем, а ее образ в моей памяти — «единственной моей энтелехией», как сказал бы Ронсар.

По правде говоря, я весьма бодро переносил ту довольно суровую дисциплину, в которой нас держали. Я закалял свою стойкость, и если и жаловался на что-то Алисе, то лишь на разлуку. Но даже саму длительность разлуки мы превратили в достойное испытание лучших наших качеств. «Ты же никогда не жаловался,— писала мне Алиса.— Я даже не могу вообразить такое: ты — и вдруг упал духом...» После подобных слов чего только не вынесешь!

Прошел почти целый год с нашей последней встречи. Она, похоже, не задумывалась об этом, а как будто только начала отсчитывать дни. Однажды я упрекнул ее за это.

А разве я не была рядом с тобой в Италии? — писала она в ответ.— *Неблагодарный! Да я ни на один день не покидала тебя! Пойми, что только сейчас и впредь на какое-то время я не смогу следовать за тобой: вот это — и только это — я и называю разлукой. Правда, я честно пытаюсь вообразить тебя в военной форме... Но у меня не получается. Самое большее, на что я способна, это представить тебя вечером в комнатке на улице Гамбетта: ты что-то пишешь или читаешь... Даже нет: на самом деле я вижу тебя только в Фонгезмаре или в Гавре — через год.*

Через год! Те дни, что уже прошли,— не в счет; все мои надежды устремлены к некоему дню в будущем, и он приближается — медленно-медленно. Помнишь, у нас в глубине сада есть низкая стена, вдоль которой посажены хризантемы и по которой мы однажды рискнули пройти. Вы с Жюльеттой прошли поверху, как мусульмане, прямиком направляющиеся в рай, а у меня с первых же шагов закружилась голова, и ты кричал мне снизу: «Не смотри под ноги!.. Только вперед! Иди, иди, не останавливайся! Смотри прямо перед собой!» Потом наконец — и это было лучше, чем все твои слова,— ты вспрыгнул на стену и стал ждать меня впереди. У меня же прошли и дрожь, и головокружение: я смотрела только на тебя и бежала навстречу твоим раскрытым объятиям...

Что станется со мной без веры в тебя, Жером? Мне необходимо чувствовать, что ты сильный; ты моя опора. Не слабей же.

Словно бросая самим себе некий вызов и словно получая удовольствие от продления нашего ожидания, а также из боязни, что встреча может не получиться, мы условились, что несколько дней увольнения, которые мне дали перед Новым годом, я проведу в Париже, у мисс Эшбертон...

Я уже говорил: я привожу здесь далеко не все письма. Вот то, которое я получил где-то в середине февраля:

Проходя вчера по парижской улице, испытала сильное волнение, увидев в витрине магазина М... весьма нарочито выставленную книгу Абеля, о выходе которой ты меня предупреждал, но в чью реальность *я никак не могла поверить. Не смогла удержаться, зашла, однако заглавие показалось мне настолько смешным, что я не знала, сумею ли сказать его продавцу; я уже представляла, как выйду из магазина с первой попавшейся, любой другой книжкой. К счастью, небольшая стопка* «Вольностей и шалостей» *уже лежала на прилавке в ожидании покупателя, так что мне не пришлось ничего говорить: я просто взяла один экземпляр, бросив на прилавок пять франков.*

Я очень благодарна Абелю за то, что он не прислал мне эту свою книгу! Листая ее, я испытывала стыд, причем стыд не столько из-за книги как таковой — в ней, кстати сказать, больше глупостей, чем непристойностей,— но стыд при мысли, что ее написал Абель, Абель Вотье, твой друг. Тщетно искала я от страницы к странице тот «большой талант», который обнаружил в ней критик из «Тан». Из разговоров в нашем маленьком гаврском обществе, где частенько вспоминают Абеля, я узнала, что книга имеет настоящий успех. Я услышала, что неизлечимое ничтожество этого ума называют здесь «легкостью» и «изяществом»; разумеется, я вела себя осторожно, и о том, что я прочла эту книгу, знаешь только ты один. Бедный пастор Вотье, который — я это видела — сначала был по-настоящему расстроен, в конце концов спросил меня, не будет ли ему уместнее всем этим гордиться; именно в этом стараются его уверить все вокруг. Вчера у тети Плантье г-жа В. вдруг возьми да и скажи ему: «Вы, наверное, господин пастор, на седьмом небе от такого блестящего успеха вашего сына». Он даже смутился: «Боже мой, мне пока еще далеко до этого...» «А вы приближаетесь, приближаетесь»,— вставила тут тетя, без всякой задней мысли, конечно, но таким ободряющим тоном, что все засмеялись, и он в том числе.

То ли еще будет, когда поставят «Нового Абеляра» — пьесу, которую он, как мне стало известно, пишет для какого-то театра на Бульварах и о которой, по-моему, уже трубят во всех газетах!.. Бедный Абель! Неужто это и вправду тот успех, которого он желал и которым удовольствуется!

Вычитала вчера в «Вечном Утешении»: «Кто взаправду желает славы истинной и долгой, не стремится к славе преходящей; кто же ту последнюю не презирает в сердце своем, воистину показывает, что не любит он славы небесной»,— прочла эти слова и подумала: спасибо, Господи, что избрал ты Жерома для славы небесной, рядом с которой все прах.

Недели, месяцы протекали в однообразных занятиях, однако я даже не торопил время, не подгонял часы, ибо жил одними лишь воспоминаниями и надеждами.

Мой дядя и Алиса собирались в июне отправиться в окрестности Нима к Жюльетте, у которой к этому сроку должен был родиться ребенок. Встревоженные последними новостями от нее, они решили выехать несколько раньше.

Твое последнее письмо,— писала мне Алиса,— *пришло в Гавр, когда мы уже уехали, а сюда его доставили только через неделю, представляешь? Я просто измучилась за эту неделю, у меня внутри все словно сжалось, окоченело, будто у меня отняли часть души. Брат мой! Только когда есть ты, я становлюсь собой и даже больше самой себя...*

У Жюльетты снова все хорошо, со дня на день ожидаем родов и не особенно волнуемся. Она знает, что я тебе пишу сегодня; она уже на следующий день после нашего приезда в Эг-Вив спросила: «А как дела у Жерома?.. Он тебе по-прежнему пишет?..» Я не посмела ей соврать, и тогда она добавила: «Когда будешь ему отвечать, передай, что я...»— Тут она потупилась, но почти сразу же закончила, даже с легкой улыб-

кой: — Что я выздоровела». У меня иногда закрадывалось сомнение, что она в своих письмах, всегда таких веселых, разыгрывала передо мной комедию счастья, причем сама уже начинала в нее верить... То, из чего она строит сегодня свое счастье, настолько отлично от прежних ее мечтаний, от всего, что, как тогда казалось, только и может сделать ее счастливой!.. Ах, до чего же это так называемое счастье *тесно связано с состоянием души, и как мало на самом деле значит для него все внешнее, из чего оно вроде бы и складывается! Впрочем, избавляю тебя от многих мыслей по этому поводу, которые возникли у меня во время прогулок в одиночестве по здешним «ландам» и которые более всего удивляют меня тем, что я не чувствую никакой особенной радости: ведь счастье Жюльетты должно было бы передаться и мне... почему же моим сердцем все больше овладевает непонятная меланхолия, с которой я никак не могу справиться? Сама красота здешних мест, которую я чувствую, которую я по крайней мере осознаю, лишь усугубляет эту мою необъяснимую грусть... Когда приходили твои письма из Италии, я умела видеть все твоими глазами, а сейчас мне кажется, что я будто бы краду у тебя все, чем любуюсь здесь одна. Помню, в Фонгезмаре и Гавре я выработала в себе некую особую стойкость, специально для дождливых дней; здесь это замечательное качество совершенно не нужно, и я беспокоюсь оттого, что оно останется вообще без применения. А еще меня шокирует то, как здесь все смеются: наверное, быть менее шумным, чем они, и означает для меня «грустить»... Теперь мне ясно, что ко всем моим прежним радостям неизменно примешивалась гордыня: оказавшись здесь, среди этого чуждого мне веселья, я чувствую себя так, словно меня унизили.*

С тех пор как я приехала сюда, я почти ни разу не молилась: не могу избавиться от какого-то детского ощущения, что Бог тоже не на прежнем своем месте. Прощай, тороплюсь закончить; ужасно стыдно и за эти кощунственные слова, и за слабость свою, и за грусть, и за то, что сама это признаю и что пишу тебе обо всем этом в письме, которое завтра непременно порвала бы, не уйди оно с вечерней почтой...

Следующее ее письмо целиком было посвящено рождению племянницы, которой она собиралась стать крестной матерью, а также описанию радости Жюльетты, дядюшки... И ни слова о ее собственных переживаниях.

Затем снова пошли письма из Фонгезмара, куда в июле приезжала и Жюльетта.

Сегодня утром Эдуар с Жюльеттой уехали. Особенно жалко мне было расставаться с моей маленькой крестницей: через полгода, когда я вновь увижу ее, многие ее движения, жесты будут мне совершенно незнакомы; пока же почти все они были придуманы, открыты ею на моих глазах. Как удивительно и таинственно любое развитие, становление! *Только лишь по невнимательности нашей мы не изумляемся ему всякий раз. Я проводила целые часы, склонившись над колыбелькой стольких надежд. Почему же развитие останавливается так скоро и любое создание окончательно застывает, будучи еще таким далеким от Бога? Что причиной тому — эгоизм, самоуспокоенность, потеря влечения к совершенству? О, если бы мы могли, если бы хотели стать еще ближе к Нему!.. Это было бы настоящее соревнование!*

Жюльетта выглядит очень счастливой. Первое время я огорчалась, видя, что она забросила и чтение, и фортепьяно; но действительно Эдуар Тессьер не любитель музыки, да и к книгам особого вкуса не имеет, и Жюльетта, видимо, поступает мудро, не ища радостей там, куда он не мог бы за ней последовать. Более того, она весьма интересуется занятиями мужа, и тот держит ее в курсе всех своих дел, которые, кстати, с этого года пошли в гору; он шутит, что именно женитьба помогла ему приобрести весьма обширную клиентуру в Гавре. В последний раз, когда он ездил по делам, его сопровождал Робер. Эдуар вообще очень

внимателен к нему, уверяет, что понял его характер, и не теряет надежды привить ему прочный вкус к такого рода занятиям.

Отцу гораздо лучше; он даже помолодел, наблюдая счастье дочери, вновь увлекся фермой, садом, а на днях попросил меня возобновить чтение вслух, которое мы когда-то начинали с мисс Эшбертон и которое прервалось в связи с приездом Тессьеров. Так что читаю им о путешествиях барона Хюбнера — мне и самой это интересно. Сейчас у меня появится больше времени читать и для себя, но пока я подожду твоих указаний; сегодня утром полистала одну за другой несколько книжек и поняла, что читать их у меня нет ни малейшего желания!..

С этого времени письма Алисы становились все тревожнее и настойчивее.

Боязнь тебя побеспокоить не позволяет мне сказать, как я жду тебя,— писала она ближе к концу лета.— *Каждый день, который мне предстоит прожить до встречи с тобой, давит на меня тяжким грузом. Еще целых два месяца! Мне кажется, они будут тянуться дольше, чем все то время, которое уже прошло без тебя! Чем бы я ни занялась, лишь бы отвлечься от ожидания,— все кажется мне до смешного временным, и в конце концов я все бросаю. Книги вдруг лишились всех достоинств, всякого очарования, прогулки — всякой привлекательности, природа вообще — всякого значения, сад словно выцвел и растерял все свои запахи. Я завидую тяготам твоей службы, этим обязательным упражнениям, которых ты сам не выбирал и которые беспрестанно отрывают тебя от тебя самого, изматывают тебя, убыстряют бег времени и по вечерам бросают тебя, предельно уставшего, в сон. Твое описание маневров было настолько живым, что я долго не могла от него отойти: дурно спала ночами и вскакивала от звука побудки. Положительно, я слышала, как горнист играл зорю! Я так хорошо представляю теперь то состояние, похожее на легкое опьянение, о котором ты пишешь, эту утреннюю веселую бодрость, это едва заметное головокружение... До чего же прекрасным был, наверное, тот холодный, сверкающий инеем рассвет на холмах вблизи Мальзевиля!..*

С недавнего времени я что-то неважно себя чувствую. Нет-нет, ничего серьезного, просто слишком сильно жду тебя — очевидно, поэтому.

А вот еще через полтора месяца:

Это мое последнее письмо к тебе, друг мой. Пусть неизвестна еще точная дата твоего возвращения, ясно, что ее сообщат в самом скором времени, и я уже не успею ни о чем написать. Я бы очень хотела увидеться с тобой в Фонгезмаре, но погода совсем испортилась, на дворе очень холодно, и отец настаивает, что пора перебираться в город. Теперь, когда ни Жюльетта, ни Робер больше не живут с нами, мы легко могли бы поселить тебя, но все-таки лучше, если ты остановишься у тети Фелиции, которая тоже будет счастлива тебя принять.

По мере того как приближается день нашей встречи, мое ожидание становится все более мучительным и даже переходит в какую-то боязнь; твой приезд, которого я так ждала, теперь как будто внушает мне страх; изо всех сил я стараюсь о нем не думать, но едва представлю звонок в дверь, звук твоих шагов по лестнице, и сердце мое буквально замирает или начинает болеть... Самое главное, не ожидай услышать от меня каких-то особенных слов... Я чувствую, что на этом заканчивается мое прошлое; дальше я не вижу ничего; жизнь для меня останавливается...

Четыре дня спустя, то есть за неделю до увольнения, я все же получил еще одно, очень короткое письмо:

Друг мой, я всецело поддерживаю твое решение не искать способов во что бы то ни стало продлить срок твоего пребывания в Гавре и время, отпущенное на нашу первую встречу. Разве есть у нас друг для дру-

га какие-то слова, которых мы еще не написали? Поэтому если тебе будет нужно уже к 28 числу вернуться в Париж, чтобы успеть записаться на лекции, не раздумывай и не жалей даже в том случае, если на нас у тебя останется два дня. Впереди у нас целая жизнь, разве не так?

VI

Наша первая встреча произошла у тетушки Плантье. Почему-то я вдруг ощутил всю тяжесть, весь груз оставшейся за плечами службы... Потом мне показалось, что она нашла меня изменившимся. Но какое значение могло иметь для наших отношений это первое обманчивое впечатление? Я, со своей стороны, боясь не узнать в ней ту Алису, которую запомнил, поначалу даже едва осмеливался взглянуть на нее... Нет, все же главное, чем мы тяготились, так это навязанной нам глупейшей ролью жениха и невесты, той нарочитостью, с которой все окружающие торопились удалиться и оставить нас наедине.

— Право же, тетушка, ты нас нисколько не стесняешь, мы и не собирались секретничать,— громко сказала наконец Алиса, когда тетины попытки незаметно исчезнуть стали уж вовсе неприличными.

— Наоборот, наоборот, дети мои! Я отлично вас понимаю: после долгой разлуки молодым людям так хочется кое о чем порассказать друг дружке...

— Ну пожалуйста, тетя, нам будет крайне неприятно, если ты уйдешь.— И произнесено это было почти с раздражением, так что я едва узнал голос прежней Алисы.

— Тетя, уверяю вас, как только вы уйдете, мы станем немы, как рыбы! — прибавил я со смехом, но на самом деле мне уже было не по себе от мысли, что мы можем остаться одни. И между нами троими продолжился разговор — пустой, фальшиво оживленный, подхлестываемый натужной веселостью, за которой каждый скрывал свою растерянность. На следующий день мы должны были встретиться вновь — дядя позвал меня на обед,— так что в тот первый вечер мы расстались без сожаления, счастливые тем, что закончилась вся эта комедия.

Я пришел задолго до обеденного времени, но застал Алису болтающей с подругой, которую у нее не хватило сил выпроводить и которая сама не была настолько тактичной, чтобы вовремя уйти. Когда она оставила нас одних, я выразил притворное удивление, что Алиса не задержала ее еще и на обед. Измученные бессонной ночью, мы оба нервничали. Явился дядя. Я нашел его сильно постаревшим, и Алиса это почувствовала. Он стал туговат на ухо, плохо слышал, что́ я говорю; приходилось кричать, чтобы и он понял, поэтому все речи мои выглядели довольно глупо.

После обеда, как и было уговорено, тетушка Плантье усадила нас к себе в экипаж и повезла в Орше с тем расчетом, чтобы мы с Алисой, возвращаясь, прошли пешком самую приятную часть пути.

Было очень жарко для этого времени года. Участок берега, по которому мы шли, оказался совершенно открытым и ничем не примечательным; сбросившие листву деревья не давали ни малейшей тени. Подгоняемые непонятной заботой о том, как бы тетя не заждалась нас в экипаже, мы совсем некстати ускоряли шаг. Голова моя, словно обручем сдавленная мигренью, не выдавала ни единой мысли; просто для приличия или оттого, что это хоть как-то могло заменить слова, я, продолжая идти, взял Алису за руку. От волнения, утомленности ходьбой и от тягостности молчания нам обоим кровь ударила в лицо: у меня стучало в висках, а Алиса покрылась неприятными красными пятнами. Наши сцепленные влажные руки уже доставляли нам неудобство, и очень скоро они расцепились и грустно распались.

Из-за нашей неуместной спешки мы дошли до условленного перекрестка гораздо быстрее экипажа: тетя поехала по другой дороге и притом еле-еле, чтобы дать нам время наговориться. Мы сели ждать на

обочину; вдруг поднялся ледяной ветер, а поскольку до этого мы взмокли, он продул нас до костей; нам ничего не оставалось, как встать и пойти навстречу экипажу... Однако нас ждало нечто еще худшее — назойливые расспросы бедной тетушки, уверенной, что мы все это время не замолкали, и страстно желавшей узнать поподробнее о нашей помолвке. Алиса, которая уже едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, молчала, сославшись на страшную головную боль. До самого возвращения никто больше не проронил ни слова.

На другой день я проснулся с болью во всем теле, простуженный, словом, совершенно больной, а потому к Бюколенам собрался лишь во второй половине дня. К моему несчастью, Алиса была не одна: с ней была Мадлен Плантье, одна из внучек нашей тети Фелиции, с которой, как мне было известно, Алиса частенько любила поболтать. Сейчас она несколько дней гостила у бабушки; не успел я войти, как она бросилась мне навстречу:

— Если ты отсюда собираешься на берег, я пойду с тобой.

Я машинально согласился; так мне и не удалось застать Алису одну. Впрочем, присутствие этой милой девочки, безусловно, только помогло нам; я совершенно не чувствовал давешнего смущения, между нами троими вскоре легко возникла общая беседа и, кстати, не такая уж пустая, как я поначалу опасался. Когда я прощался, Алиса улыбнулась мне довольно странно; мне показалось, она так и не осознала, что на следующий день я уезжаю. Но все же перспектива очень скорой встречи заметно смягчала некоторый трагизм нашего расставания.

Тем не менее после обеда, под воздействием вдруг нахлынувшего смутного беспокойства, я снова отправился в город и около часа бродил по улицам, прежде чем решился вторично зайти к Бюколенам. Принял меня дядя. Алисе нездоровилось, она уже поднялась к себе и скорее всего сразу же легла. Я еще немного поговорил с дядей и вышел...

Как ни досадны были эти помехи и препятствия, я бы не стал все сваливать на них. Даже сойдись все на редкость удачно, мы непременно выдумали бы свое смущение и неловкость. Более же всего прочего меня огорчало то, что и Алиса почувствовал то же самое. Вот письмо, которое я получил немедленно по возвращении в Париж:

О мой друг, какая жалкая, нелепая встреча! И не говори, пожалуйста, что виной тому другие — ведь ты и сам в это не веришь. Я думаю, точнее, знаю наперед, что теперь всегда будет так! Поэтому давай больше не встречаться, прошу тебя!

Откуда вдруг это смущение, эта неловкость, скованность, наконец эта немота, тогда как нам столько нужно сказать друг другу? В первый день я была даже рада этому молчанию и думала, что оно непременно будет нарушено, что ты мне скажешь какие-то необыкновенные слова — без этого ты просто не сможешь уехать.

Однако когда в таком же молчании прошла вся наша унылая прогулка в Орше и особенно когда так обреченно расцепились, распались наши руки, мне показалось, что сейчас от горечи и муки у меня разорвется сердце. И самым горьким было даже не то, что ты отпустил мою руку, а то, что я сама почувствовала: не сделай этого ты, я первая убрала бы ее — мне уже неприятно было держать свою руку в твоей.

На другой день, то есть вчера, я места себе не находила, все утро ждала тебя. Я была в таком состоянии, что больше не могла просто сидеть дома и пошла на мол, оставив для тебя записку, где меня искать. Довольно долго я стояла и смотрела, как бушует море, но боль от того, что тебя нет рядом, не проходила; тогда я вдруг вообразила, что ты мог остаться ждать меня в моей комнате, и вернулась домой. Я знала, что во второй половине дня буду занята: Мадлен еще накануне предупредила меня о том, что хочет зайти, и я согласилась, поскольку рассчитывала увидеться с тобой утром. Но, возможно, лишь ее присутствию мы обязаны единственными приятными моментами этой встречи. У меня даже промелькнуло какое-то странное ощущение,

что мы будем так сидеть и разговаривать еще долго-долго... И вот ты подходишь к софе, на которой мы сидим, наклоняешься ко мне, говоришь мне «прощай», *а я просто не в состоянии ответить: я только тогда вдруг осознала, что ты уезжаешь, что все кончено.*

Не успели вы с Мадлен уйти, как меня пронзила мысль, что это невозможно, я этого не перенесу. Ты только представь: я бросилась следом! Я хотела поговорить с тобой еще, сказать тебе наконец все то, о чем никогда не говорила, я уже бежала к дому Плантье... Но тут мне показалось, что уже слишком поздно, вся моя решимость куда-то исчезла... В полном отчаянии я поспешила назад, чтобы написать тебе... что это мое последнее письмо... прощальное... потому что я не могла избавиться от ощущения, что вообще вся наша переписка не более чем мираж, что как ни жаль, но каждый из нас писал письма сам себе и что... ах, Жером, Жером... мы так и не стали ближе один другому.

Правда, то письмо я порвала, но сейчас я пишу его снова, и получается почти то же самое. Пойми, моя любовь нисколько не ослабла, напротив, я впервые так ясно почувствовала — хотя бы по тому волнению, смущению, которое овладевало мною при твоем приближении,— как глубоко я люблю тебя. Но вместе с тем и безнадежно, ибо стоит ли скрывать от самой себя: когда ты был далеко, я любила тебя сильнее. Увы, я об этом догадывалась и раньше! Эта встреча, которую мы так ждали, прояснила все окончательно, и тебе тоже, мой друг, нужно трезво взглянуть на то, что произошло. Прощай, горячо любимый брат; да хранит и направляет тебя Господь: к Нему одному человек может приближаться, ничего не опасаясь.

И, словно сочтя боль, уже доставленную мне этим письмом, недостаточной, она на следующий день приписала:

Прежде чем отправить это письмо, я бы все-таки хотела попросить тебя быть впредь несколько более сдержанным в том, что касается только нас двоих. Уже много раз ты больно ранил меня тем, что посвящал Абеля или Жюльетту в то, что должно было остаться между нами, и, кстати, именно это обстоятельство задолго до того, как ты сам начал об этом догадываться, навело меня на мысль, что любовь твоя была по преимуществу головной, замечательным в своем роде самовнушением нежности и верности.

Последние строки были, несомненно, продиктованы опасением, что я покажу это письмо Абелю. Неужели же недоверие ко мне настолько обострило ее проницательность? Или она и раньше распознавала в словах моих отзвуки его дружеских советов?..

Но с некоторого времени я весьма отдалился от него! Наши дороги разошлись окончательно, и ее просьба была совершенно излишней: я и без того уже учился нести в одиночку мучительное бремя своих горестей.

Три дня кряду я страдал, сочиняя ответ; более всего я боялся каким-нибудь напыщенным рассуждением, слишком бурными возражениями да и вообще любым неловким оборотом разбередить кровоточащую рану; раз двадцать начинал я письмо, в котором изливал свою любовь. Я и сейчас не могу сдержать рыданий, перечитывая этот листок бумаги, омытый слезами,— черновик того, что я в конце концов решился отправить:

Алиса! Сжалься надо мной, над нами обоими!.. Твое письмо причинило мне боль. Как бы хотел я с чистой душой улыбнуться твоим опасениям! Да, я испытывал все те чувства, о которых ты пишешь; но я боялся признаться в них самому себе, а ты сделала до жути осязаемым то, что нам лишь померещилось и что теперь сгущается между нами!

Если ты чувствуешь, что твоя любовь ко мне ослабла... Но нет, прочь от меня это жестокое предположение, которое опровергается всем твоим письмом! И чего стоят тогда твои мимолетные страхи? Алиса!

Не успеваю я настроиться на спокойное рассуждение, как снова все во мне цепенеет, и я слышу лишь стоны своего сердца. Я слишком сильно люблю тебя, и чем сильнее люблю, тем слабее становлюсь в красноречии. «Головная любовь»... Что тебе возразить на это? Если я люблю тебя всеми силами души своей, то как, скажи мне, различу я, что идет от ума, а что — от сердца? Но коль скоро причиной твоих оскорбительных обвинений явилась наша переписка, коль скоро именно она вознесла нас на такую высоту, падение с которой в действительность едва не стало для нас смерти подобным, коль скоро отныне, собираясь писать мне, ты будешь думать, что пишешь себе самой, а также потому, что у меня уже недостанет сил вынести еще хоть одно письмо, подобное последнему, я прошу тебя: прекратим на какое-то время всякую переписку.

В остальном письме мое, кроме возражений ее поспешным суждениям, содержало слезную мольбу довериться самим себе и свидеться еще раз. Прошлой нашей встрече не благоприятствовало все: обстановка, случайные люди, время года — вплоть до неосмотрительно экзальтированной переписки накануне. На этот раз мы будем молчать, пока не повидаемся, а произойти это должно, по моим прикидкам, весной, в Фонгезмаре, где, как я надеялся, мне поможет все былое и где дядя с охотою позволит мне пожить на пасхальных каникулах так долго — или так недолго,— как Алисе самой заблагорассудится.

Решение мое было тщательно продуманным, и потому, отослав письмо, я мог с головой окунуться в работу.

Однако увидеться с Алисой мне привелось еще до конца года. За четыре дня до Рождества умерла мисс Эшбертон, чье здоровье уже несколько месяцев все ухудшалось. Со времени окончания моей военной службы мы снова жили вместе; я почти не отходил от нее и застал ее последние мгновения. От Алисы пришла открытка, из которой явствовало, что она отнеслась к принятому нами обету молчания гораздо серьезнее, чем к постигшему меня горю: дядя приехать не сможет, а она приедет, но исключительно ради того, чтобы быть на похоронах, поэтому в Париже пробудет лишь от поезда до поезда.

Кроме нас с нею, почти никого не было ни на отпевании, ни на проводах; следуя за гробом, мы едва обменялись несколькими фразами, однако в церкви, когда она сидела рядом со мной, я не раз чувствовал на себе ее нежный взгляд.

— Значит, как договорились,— сказала она на прощанье,— до Пасхи ничего.

— Да, но на Пасху...

— Я буду ждать тебя.

Мы вышли из ворот кладбища. Я предложил проводить ее на вокзал, но она махнула извозчику и уехала, не сказав больше ни слова.

VII

— Алиса ждет тебя в саду,— сказал дядя, отечески обняв меня, когда, уже к концу апреля, я наконец приехал в Фонгезмар. В первое мгновение я был даже несколько уязвлен тем, что она не выбежала мне навстречу, но почти сразу же это сменилось чувством признательности ей за избавление нас обоих от необходимости заполнять первые минуты банальными приветствиями и расспросами.

Она была где-то в глубине сада. Я решил сразу пойти к той клумбе на пересечении дорожек, которую с разных сторон словно обступали, в эту пору все в цвету, сирень, рябина, ракитник; чтобы не заметить ее слишком издалека и чтобы она не видела, как я подхожу, я направился в обход, другой стороной сада, по тенистой аллее, где в гуще ветвей воздух был влажен и свеж. Я шел очень медленно; небо над головой было

сродни моей радости — ясное, прозрачное, оно лучилось светом и теплом. Алиса, конечно, не ожидала, что я подойду этой аллеей, и я уже был совсем рядом, за ее спиной, а она все еще не слышала моих шагов; я остановился... Вместе со мной словно бы остановилось и время: вот оно, то мгновение, подумал я, быть может, самое сладостное, то, что предваряет счастье и с которым само счастье не сравнится...

Мне захотелось упасть перед ней на колени, я шагнул вперед, и тут она услышала меня. Резко поднявшись и уронив прямо на землю лежавшее на коленях вышивание, она протянула ко мне руки и положила их мне на плечи. На какое-то время мы словно застыли — она, по-прежнему вытянув руки, слегка склонив набок голову, улыбаясь и молча, с нежностью глядя на меня. Она была вся в белом. Лицо казалось, как всегда, слишком серьезным, но эту улыбку на нем я помнил с детства...

— Алиса, выслушай меня,— заговорил я вдруг с жаром.— У меня есть целых двенадцать дней, но я не останусь ни на день дольше, чем тебе того захочется. Давай выберем какой-нибудь условный знак, по которому я сразу понял бы: завтра я должен уехать из Фонгезмара. И я уеду на следующий же день, без всяких упреков и жалоб. Ты согласна?

Ничего заранее не подготовив, я говорил совершенно свободно. Она немного подумала и ответила:

— Если вечером я выйду к ужину и на шее у меня не будет аметистового крестика, который так тебе нравится... ты поймешь?

— ...Что это будет мой последний вечер.

— И ты уедешь,— продолжала она,— без слов, без вздохов...

— ...Даже не прощаясь. Мы расстанемся в тот вечер как обычно, причем настолько обыкновенно, что ты еще подумаешь: а вдруг он не понял? Но когда на другой день ты будешь меня искать, я просто исчезну.

— Я не буду искать тебя на другой день.

Она подала мне руку, я поднес ее к губам и произнес:

— Но до того рокового вечера — никаких намеков, чтобы я ни о чем не догадывался.

— А ты тогда — никаких намеков на предстоящее расставание.

Теперь необходимо было преодолеть скованность, которая могла возникнуть после столь торжественных первых минут встречи.

— Как бы мне хотелось,— снова начал я,— чтобы эти несколько дней вместе показались нам такими же, как и все прочие... То есть, я хочу сказать, нам не надо воспринимать их как нечто необыкновенное. И потом... может быть, поначалу даже не нужно непременно заводить какой-то разговор...

Она засмеялась. Я прибавил:

— Не найдется ли, скажем, для нас обоих какого-нибудь занятия?

Нам и прежде всегда нравилось возиться в саду, а недавно к тому же старого садовника заменил новый, и сад, брошенный на два месяца, требовал серьезного ухода. Нужно было подрезать розовые кусты: одним из них, уже вовсю пошедшим в рост, мешали сухие ветви; другим, вьющимся, пора было ставить новые опоры, иначе они падали; ненасытные волчки ослабляли ветки, которым предстояло цвести. Большинство этих роз было когда-то привито нашими руками, и сейчас мы узнавали своих питомцев; уход за ними поглотил нас надолго и позволил нам, особенно в первые три дня, много разговаривать, не касаясь серьезных тем, и даже когда мы молчали, в этом не было ничего тягостного.

Так мы немного попривыкли друг к другу. На это постепенное привыкание я и рассчитывал гораздо больше, чем на любое объяснение. Само воспоминание о долгой нашей разлуке уже начало стираться, отступал понемногу и тот смутный страх, который я нередко чувствовал в ней, тот самый душевный спазм, которого она так боялась во мне. Со времени нашего скорбного осеннего свидания Алиса даже помолодела, никогда раньше не находил я ее такой красивой. Я еще ни разу не поцеловал ее. Каждый вечер я снова и снова видел висящий у нее на

груди на тонкой золотой цепочке сверкающий аметистовый крестик. От этого доверия в моем сердце возрождалась надежда, да что надежда — уверенность, причем и в душе Алисы, как мне представлялось, происходило то же самое: мог ли я сомневаться в ней, коль скоро уже не сомневался в себе? Наши беседы тоже становились все откровеннее.

— Алиса,— начал я однажды утром, когда все вокруг казалось как-то особенно восхитительным и наши сердца словно расцветали вместе с природой,— теперь, когда Жюльетта счастлива, не находишь ли ты, что и мы тоже...

Я говорил медленно, не сводя с нее глаз, но тут она вдруг так сильно побледнела, что я запнулся на полуслове.

— Мой друг! — произнесла она, не поднимая на меня глаз.— Рядом с тобой я чувствую себя настолько счастливой, что никогда не поверила бы, что такое может быть... Но знай: мы с тобой рождены не для счастья.

— Что душа человека может предпочесть счастью?

Эти слова я буквально выкрикнул.

— Святость...— шепнула она так тихо, что я скорее угадал, чем услышал ее ответ.

Счастье мое, широко расправив крылья, уносилось от меня ввысь, к небесам.

— Но и ее я смогу достичь только с тобой,— вырвалось у меня. Уткнувшись лбом в ее колени и рыдая, как дитя, но вовсе не от горя, а от любви, я все твердил: — Только с тобой! Только с тобой!

Этот день прошел как и все предыдущие, а вечером Алиса вышла без аметистового крестика. Верный данному обещанию, я уехал, едва рассвело.

Два дня спустя я получил странное письмо с эпиграфом из Шекспира:

That strain again,— it had a dying fall,
O, it came o'er my ear like a sweet sound,
That breathes upon a bank of violets,
Stealing and giving odour.— Enough; no more,
'Tis not so sweet now as it was before... [1]

Да, я невольно искала тебя все утро, брат мой! Я не могла поверить, что ты уехал, сердилась на тебя за то, что ты сдержал слово, думала: это была просто игра. Я заглядывала за каждый куст, ждала, что ты вот-вот выскочишь. Но нет! Ты действительно уехал. Спасибо.

Остаток дня я провела целиком во власти некоторых мыслей, которые мне бы и хотелось изложить тебе, и какого-то непонятного, но отчетливого страха, что если вдруг ты о них не узнаешь, у меня навсегда останется такое чувство, будто я подвела тебя и ты с полным правом осудишь меня...

С первых же часов твоего пребывания в Фонгезмаре я с удивлением, а затем и с беспокойством заметила, что рядом с тобой испытываю совершенно непривычное для меня состояние удовлетворенности; «это такое чувство,— говорил ты мне,— когда не желаешь больше ничего!» Увы, именно это меня и тревожит...

Я бы очень хотела, мой друг, чтобы ты правильно меня понял и в особенности чтобы ты не принял за некие рассудочные ухищрения (насколько нескладными они предстали бы в этом случае!) эту попытку выразить в словах самое могучее устремление моей души.

---

[1] И пусть желанье, утолясь, умрет!
Вновь повторите тот напев щемящий —
Он слух ласкал мне, точно трепет ветра,
Скользнувший над фиалками тайком,
Чтоб к нам вернуться, ароматом вея.
Довольно! Он когда-то был нежнее...
(Перевод Э. Линецкой)

«Это не настоящее счастье, если чего-то не хватает»,— сказал ты мне однажды, помнишь? И тогда я не нашлась, что ответить. Нет, Жером, все-таки чего-то нам не хватает. Жером, милый, так и должно быть. Эту сладостную удовлетворенность я не могу считать подлинной. Разве не поняли мы прошлой осенью, какие муки она таит в себе?..

Да упаси нас Господь принять такое счастье за подлинное! Мы рождены для иного счастья...

Подобно тому как наша прежняя переписка повредила осенней нашей встрече, так и сейчас воспоминание о том, что ты еще вчера был здесь, мешает мне писать это письмо. Когда я раньше писала тебе, я испытывала восторг — куда он исчез? Тем, что мы переписывались, тем, что были вместе, мы исчерпали все самое чистое, что было в радости, на которую могла претендовать наша любовь. И я невольно восклицаю вслед за Орсино из «Двенадцатой ночи»: «Довольно! Хватит! Здесь уже больше нет еще недавно бывшего блаженства».

Прощай, же, мой друг. Hic incipit amor Dei [1]. *Узнаешь ли ты когда-нибудь, как я люблю тебя?.. Твоя до самого конца*

Алиса.

Едва речь заходила о добродетели, о необходимости проявить лучшие свои качества, я был готов на все. Меня неудержимо влек к себе ослепительный блеск героизма, неотделимого в моих глазах от любви. Письмо Алисы наполнило меня пьянящей отвагой. Видит Бог, на любые подвиги добродетели я был готов ради нее. Чем круче вверх уходила тропа, тем вернее она могла привести меня к Алисе. И я верил, что она не станет, не успеет стать такой узкой, чтобы мы не смогли идти по ней вдвоем! Увы, я и не подозревал, какой за всем этим крылся тонкий замысел, мне даже в голову не приходило, что она может вновь ускользнуть от меня, достигнув вершины первой.

Я написал ей длиннейшее письмо, из которого помню лишь один пассаж, но достаточно показательный:

Я часто думаю,— обращался я к ней,— *что моя любовь — это то, что есть во мне самого лучшего; она служит опорой всем остальным моим достоинствам, позволяет мне подняться над самим собой, тогда как без тебя я навек застыл бы на уровне серой посредственности. Я всегда предпочту самую крутую тропу, ибо по ней меня будет вести надежда присоединиться к тебе.*

Уж и не припомню, что там было еще, но ответ я заслужил следующий:

Пойми, мой друг, святость — это не выбор: это обязанность (последнее слово было подчеркнуто трижды). *Если ты тот, за кого я тебя принимала, ты тоже не сможешь уклониться от нее.*

И все. Я понял, точнее почувствовал, что переписке между нами конец и что здесь бессильны любые, самые хитроумные советы, равно как и самая терпеливая настойчивость.

И тем не менее я продолжал писать — так же длинно и нежно. После третьего моего письма пришла короткая записка:

Мой друг,

Не думай, пожалуйста, что я приняла какое-то особое решение не писать тебе: просто я потеряла к этому вкус. Мне по-прежнему доставляет удовольствие читать твои письма, но я все чаще корю себя за то, что до такой степени занимаю твои мысли.

Уже не за горами лето. Давай пока прекратим переписку, а лучше приезжай во второй половине сентября ко мне в Фонгезмар, недели на две, согласен? Если да, то можешь не отвечать. Твое молчание будет означать для меня согласие, а потому я даже желаю, чтобы ты мне не отвечал.

---

[1] Здесь начало любви к Богу (*лат.*).

Я не ответил. Было очевидно, что это молчание — лишь некое заключительное испытание, которому она меня подвергает. И когда после нескольких месяцев работы, а затем нескольких недель путешествия я вернулся в Фонгезмар, на душе у меня было легко и спокойно.

Удастся ли мне, оставаясь в границах этого бесхитростного повествования, сделать более или менее понятным то, что вначале казалось мне почти необъяснимым? Впрочем, способен ли я описать что-либо другое, кроме ситуации, положившей начало тем бедам, натиску которых я уже был не в силах противостоять? Как бы ни казнил я себя сегодня за то, что не сумел различить за внешней и притом весьма поверхностной видимостью трепета живой тогда еще любви, все же вначале я одной лишь видимости и доверился, а именно, не узнав прежней своей подруги, принялся обвинять ее... Нет, даже тогда я не винил вас, Алиса! Я только рыдал в отчаянии от того, что вы так изменились. Теперь, когда силу вашей любви я оцениваю по коварству ее молчания и по ее жестокой изобретательности, должна ли будет моя любовь равнять себя по той беспощадности, с которой вы губили меня?..

Пренебрежение? Холодность? Отнюдь. Не было ничего такого, что можно преодолеть, победить, против чего можно хотя бы бороться; подчас я был просто в недоумении и задавался вопросом: уж не выдумал ли я сам свои собственные несчастья, настолько неуловимой оказывалась каждый раз их причина и настолько умело Алиса делала вид, что она совершенно ни при чем. На что же мне было сетовать? При встрече она улыбалась, как никогда раньше; выказывала небывалую для нее услужливость и предупредительность; так что после первого дня я был почти готов принять все за чистую монету... Так ли уж важно, в конце концов, что она впервые почему-то гладко зачесала и стянула сзади в пучок волосы, отчего черты ее лица приобрели какую-то несвойственную ей жесткость; или что она надела платье, которое ей совсем не шло, огрубляло изящные линии ее тела, а вдобавок было сшито из на редкость невзрачной и даже неприятной на ощупь ткани,— все это вполне поправимо, думал я по слепоте своей, и уже завтра она сама или вняв моей просьбе... Несравненно больше удручали меня эти ее старания предстать услужливой и предупредительной, чего между нами не было заведено вовсе; тогда я просто побоялся признаться себе, что за всем этим проглядывало больше следование некоему решению, нежели естественный порыв, и, с трудом смею вымолвить, скорее простая вежливость, чем любовь.

Выйдя вечером в гостиную, я был немало удивлен, не обнаружив на привычном месте фортепьяно, однако на вырвавшийся у меня возглас разочарования Алиса ответила самым безмятежным тоном:

— Его отдали в настройку, мой друг.

— Сколько раз я говорил тебе, дочка,— вмешался дядя, и в его голосе слышался явный укор,— раз оно до сего дня тебя вполне устраивало — значит, можно было потерпеть и до отъезда Жерома, а уж потом отдавать настройщику. Ну а сейчас что получилось: из-за твоей спешки мы лишены такого удовольствия...

— Нет, папа,— возразила она, отворачиваясь, чтобы не было заметно, как она покраснела,— уверяю тебя, в последнее время оно так расстроилось, что даже Жером ничего не сумел бы с ним сделать.

— Не знаю, не знаю,— не унимался дядя,— когда ты играла, оно звучало совсем неплохо.

Она постояла еще некоторое время, не поднимая лица к свету и словно бы сосредоточившись на том, чтобы верно снять мерку с чехла для кресла, затем поспешно вышла и возвратилась довольно нескоро, неся поднос, на котором стоял стакан с обычным вечерним дядиным отваром.

На другой день она не переменила ни прически, ни платья; устроившись рядом со своим отцом на скамейке перед домом, она снова принялась за шитье, точнее за штопку, начатую еще накануне. Сбоку от нее стояла большая корзина, в которой горой лежали старые чулки и носки. Через несколько дней их сменили салфетки и простыни... Создавалось впечатление, что работа эта поглощала ее целиком: губы ее часами оставались поджатыми, взгляд — потухшим.

— Алиса! — окликнул я ее в первый вечер, едва ли не в ужасе от того, каким неузнаваемо-скучным стало ее лицо, в которое я перед тем пристально всматривался, так что она наверняка чувствовала на себе мой взгляд.

— Что? — подняла она голову.

— Ничего. Я просто хотел проверить, услышишь ли ты меня. Мне показалось, что твои мысли где-то далеко-далеко.

— Нет-нет, я здесь, но дело в том, что починка требует большой собранности.

— А может быть, сделаем так: ты шей, а я тебе почитаю?

— Боюсь, что я не смогу внимательно слушать.

— Зачем же ты выбрала такую работу?

— Но ведь и ее кому-то нужно делать.

— Помилуй, вокруг столько бедных женщин, для которых это могло бы стать заработком. Ведь не из экономии же ты обрекла себя на такое неблагодарное занятие!

Тут она принялась уверять меня, что именно это занятие доставляет ей больше всего удовольствия, что уже долгое время она ничем другим и не занимается, да и саму привычку к чему-то другому потеряла... Говоря все это, она не переставала улыбаться, а голос звучал так ровно и спокойно, что я был в отчаянии. «Разве я сказала что-то для меня неестественное? — было, казалось, написано на ее лице.— Почему же ты так этим огорчен?» Не находя слов, чтобы выразить поднимавшийся во мне протест, я задыхался.

На второй день она попросила меня помочь ей отнести срезанные нами розы к ней в комнату, куда в этом году я не входил еще ни разу. Какие надежды вдруг пробудились во мне! Ведь я до сих пор в своей печали винил лишь себя самого, а потому оказалось бы достаточно одного ее слова, чтобы сердце мое воспряло.

С волнением переступал я всякий раз порог этой комнаты; непонятно, каким образом все здесь словно складывалось в тихую, плавную мелодию, в которой я узнавал мою Алису. Мягкая голубизна занавесей на окнах и вокруг постели, матовый блеск мебели красного дерева, неизменные порядок, чистота, тишина — во всем этом слышна была ее тонкая душа, ее грациозная задумчивость.

В то утро я с удивлением обнаружил, что на стене возле ее постели больше не висят две фотографии фресок Мазаччо, привезенные мною из Италии; я хотел было спросить, что с ними сталось, но тут взгляд мой перешел на стоявшую рядом этажерку, куда она обычно ставила любимые свои книги. Библиотечка эта собиралась медленно, частью из книг, которые я ей дарил, частью из тех, которые когда-либо были читаны нами вместе. Только сейчас я заметил, что ни одной из тех книг там больше не стояло, а все их заменили дешевые, дурного вкуса благочестивые брошюрки, к которым она, как мне всегда представлялось, питала лишь презрение. Внезапно подняв глаза, я увидел, что Алиса смеется — да-да, смеется, глядя на меня.

— Прости меня, пожалуйста,— поспешила она извиниться.— Просто при виде моей библиотеки лицо у тебя вытянулось прямо на глазах. Меня это насмешило.

Мне в ту минуту было совершенно не до шуток.

— Постой, Алиса, неужели ты действительно все это сейчас читаешь?

— Ну да. Что же тебя так удивляет?

— Мне казалось, что, когда ум привыкает питаться чем-то существенным, подобная безвкусица способна вызвать в нем только тошноту, не более.

— Я с тобой не соглашусь,— ответила она.— Да, души этих людей просты и смиренны, беседуют они со мной без затей, как умеют, и мне приятно общаться с ними. Причем я заранее знаю, что они не впадут в искушение говорить красиво и витиевато, а я, внимая им, не впаду слепо в восхищение чем-то нечистым.

— Так, значит, ты читаешь только это?

— В общем, да. Вот уже несколько месяцев. Впрочем, теперь у меня не слишком много времени остается на чтение. К тому же, должна тебе признаться, когда я на днях решила снова взяться за одного из тех самых больших писателей, восхищаться которыми ты меня долго приучал, я ощутила себя в положении человека, о котором рассказывается в Писании: он все хотел прибавить хотя бы локоть к своему росту.

— И что же это за «большой писатель», который навязал тебе такое странное ощущение?

— Он как раз ничего мне не навязывал, оно само у меня появилось при его чтении... Это был Паскаль. Возможно, я наткнулась на какое-то не вполне удачное место...

Я даже всплеснул руками. Она говорила монотонно и очень отчетливо, словно рассказывая урок, но при этом не поднимала глаз от цветов, бесконечно что-то в них поправляя. Лишь при моем нетерпеливом жесте она на мгновение запнулась, а затем продолжала прежним тоном:

— Просто удивительно: какое красноречие, сколько усилий приложено, а результат между тем весьма скромный. По-моему, весь его пафос идет скорее от сомнения, чем от веры. Истинная вера не нуждается ни в этих потоках слез, ни в этой дрожи в голосе.

— Но именно эта дрожь, эти слезы и составляют неповторимую красоту его голоса,— попытался я заступиться, не чувствуя, однако, особого подъема, ибо в том, что я услышал, отсутствовало все, некогда для меня самое дорогое в Алисе. Тот наш разговор я восстанавливаю по памяти и не привношу в него задним числом никакой логической стройности или завершенности.

— Если бы он с самого начала не лишил обычную жизнь всякой радости,— доказывала она,— то она была бы несравненно весомей, чем...

— Чем что? — не удержался я, все больше изумляясь неслыханным ее рассуждениям.

— Чем ненадежное счастье, которое он предлагает.

— Так, значит, ты не веришь в счастье? — воскликнул я.

— Разве это настолько важно? — продолжала она.— Пусть уж оно остается неопределенным: тогда по крайней мере не возникнет подозрений, что за этим кроется какая-то сделка. Душа, возлюбившая Бога, стремится к добродетели по естественному своему благородству, а вовсе не в надежде на вознаграждение.

— Но здесь-то и появляется тот самый скептицизм, в котором ищут спасения благородные души вроде Паскаля.

— Это не скептицизм, а янсенизм,— возразила она с улыбкой.— Да что мне за дело до всего этого? Вот эти убогие,— она обернулась к своим книгам,— едва ли смогли бы вразумительно ответить, кто они — янсенисты, квиетисты или еще кто-нибудь в этом роде. Они склоняются перед Богом, как трава, которую прижимает к земле ветер, без всяких расчетов, сомнений, без заботы о том, насколько красиво это будет выглядеть. Они считают себя людьми ничем не выдающимися и твердо знают, что единственное их достоинство — самоуничижение перед Богом.

— Алиса! — вырвалось у меня.— Зачем же ты подрезаешь себе крылья?

Насколько ровно и естественно продолжал звучать ее голос, настолько мне же самому мой возглас показался высокопарным и смешным.

Еще раз улыбнувшись, она покачала головой.

— Единственное, что я вынесла из этой последней встречи с Паскалем...

— Что же все-таки? — спросил я, так как она остановилась.

— ...Это слова Христа: «Кто хочет спасти свою жизнь, тот погубит ее». А в остальном,— добавила она с еще более широкой улыбкой, глядя мне прямо в глаза,— сказать по правде, я даже не очень-то разобралась. Поживешь какое-то время с сирыми да убогими и просто поражаешься, насколько быстро потом любой из великих утомляет тебя своей возвышенностью.

Мог ли я, будучи в тот момент в сильнейшем замешательстве, найти достойный ответ на все это?..

— Если бы мне пришлось сегодня читать вместе с тобой эти поучения, молитвы и прочее...

— О нет,— прервала она меня,— я бы очень страдала, если бы ты стал читать их при мне! Я искренне считаю, что ты достоин гораздо лучшего удела.

Она говорила это без малейшего усилия и как бы совершенно не подозревая, какую боль причиняла она моему сердцу этими словами, разлучавшими нас навсегда. Я был точно в бреду, хотел сказать что-то еще, зарыдать, наконец,— возможно, она не выдержала бы моих слез,— но, не произнеся ни звука, так и остался стоять, опершись локтями о каминную полку и обхватив ладонями лоб. Она же преспокойно продолжала поправлять свои цветы, нимало не замечая моего горя — или делая вид, что не замечает...

Тут раздался первый колокол к обеду.

— Вот опять я, как всегда, не готова,— захлопотала она.— Уходи скорее.— И, словно речь шла о какой-то игре, добавила: — Потом договорим.

Но мы так и не договорили: Алисе постоянно было некогда; не то чтобы она избегала встреч со мной, но просто всякий раз находились какие-нибудь важнейшие дела, не терпящие отлагательства. Я смирялся со всем, приходил лишь тогда, когда наступал просвет в неисчислимых домашних делах, когда заканчивались работы на гумне и не нужно было больше за ними наблюдать, когда был посещен последний фермер или последний бедняк, коим она уделяла все больше времени. А на меня этого времени не осталось почти совсем; я только видел, что она вечно в заботах — хотя, вероятно, именно из-за этого, а также из-за того, что я решил не ходить за ней по пятам, я почти не чувствовал себя обделенным. Правда, едва между нами возникал малейший разговор, как я начинал смутно о чем-то догадываться. Когда Алиса уделяла мне несколько минут, наша беседа каждый раз выходила на редкость неуклюжей, и она соглашалась на нее с таким видом, точно уступала просьбе капризного ребенка поиграть с ним. Часто она проходила мимо меня с отсутствующим видом и блуждающей улыбкой, и в эти минуты она была для меня такой далекой, как если бы я ее не знал вовсе. В ее улыбке чудилось мне иногда нечто похожее на вызов или по крайней мере на легкую иронию, как будто она находила своеобразное развлечение в том, что всячески уклонялась от моих домогательств... Но тут же я приписывал все грехи себе, не имея привычки в чем-либо упрекать ее, а кроме того, уже толком и не понимая, чего я, собственно, от нее жду и в чем могу ее упрекнуть.

Так проходили дни, сулившие мне столько счастья. Точно завороженный наблюдал я за тем, как они просачиваются между пальцев, но не желал ни прибавить их, ни хотя бы попридержать, настолько каждый из этих дней делал меня несчастнее. Тем не менее за два дня до отъезда, воспользовавшись тем, что Алиса прошлась вместе со мной до той самой скамейки у брошенной мергельной разработки,— стоял ясный осенний вечер, тумана не было, и в разлитой кругом голубизне очень отчетливо просматривались мельчайшие детали, и не только пейзажа, но и полузабытого прошлого,— я наконец не выдержал и излил свою печаль, разъяснив, из скорби о каком именно счастье рождалось мое нынешнее несчастье.

— Но что я могу поделать, мой друг? — почти прервала она меня.— Ты влюбился в призрак.

— Нет, Алиса, совсем не в призрак.

— Ладно: в выдуманный образ.

— Увы, я ничего не выдумывал. Она была моей подругой, я прекрасно это помню. Алиса! Алиса! Вы когда-то были той, кого я любил. Что вы с собой сделали? Что сталось с вами?

Она помолчала, низко опустив голову и медленно обрывая лепестки у цветка, затем произнесла:

— Жером, а почему просто не признаться, что ты любишь меня уже не так сильно?

— Да потому, что это неправда! Неправда! — возмутился я.— Да я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас!

— Ты любишь меня... и одновременно жалеешь, что я стала не такой! — сказала она, пробуя улыбнуться и слегка пожав плечами.

— Я не могу говорить о своей любви в прошедшем времени.

Почва уходила у меня из-под ног, и я был готов уцепиться за что угодно.

— И все же придется ей уйти в прошлое, как и всему прочему.

— Эта любовь уйдет лишь вместе со мной.

— Она будет ослабевать постепенно. Та Алиса, которую, как тебе кажется, ты любишь, уже не более чем твое воспоминание, а настанет и такой день, когда ты вспомнишь только, что любил ее, и все.

— Ты говоришь так, словно что-то может заменить ее в моем сердце или мое сердце может вообще перестать любить. Очевидно, сама ты — коли тебе доставляет удовольствие мучить меня,— сама ты забыла, что когда-то любила меня?

Я увидел, как дрогнули ее побледневшие губы, и она прошептала едва внятно:

— Нет-нет, это в Алисе не изменилось.

— В таком случае ничего не изменилось! — воскликнул я, сжав ее руку.

Но к ней уже возвращалась прежняя уверенность:

— Почему ты боишься произнести одно-единственное слово, которое бы все объяснило?

— О чем ты?

— Я постарела.

— Даже не смей говорить об этом...

И я пустился в жаркие рассуждения о том, что стал старше настолько же, насколько и она, что разница в возрасте между нами осталась прежней... Она же за это время оправилась совершенно; благоприятнейшая возможность была упущена; ввязавшись в спор, я растерял все свое преимущество, а с ним и всякую надежду.

Через два дня я уехал из Фонгезмара, недовольный и ею, и собой, смутно ненавидящий «добродетель» — как я все еще продолжал ее называть — и злой на беспомощное постоянство моего сердца. Употребив последние силы на поддержание непомерно высокого пламени любви, я не вынес из этой нашей встречи ничего, кроме чувства опустошен-

ности; спокойные доводы Алисы, вызывавшие сначала мой бурный протест, не только продолжали жить во мне, но и торжествовали, тогда как все мои возражения давно умолкли. Пожалуй, она в самом деле была права! Я привязался всем сердцем к какому-то призраку, а той Алисы, в которую я был влюблен, которую и сейчас любил,— ее больше не было... Пожалуй, мы и вправду постарели! Эта ужасная, скучная проза, от которой цепенела моя душа, на поверку оказывалась не более чем возвратом к естественному порядку вещей; ценой многолетних усилий я возвел для нее пьедестал, сотворил из нее кумира, наделенного всеми мыслимыми достоинствами, а что в итоге? Одна усталость... Будучи предоставлена самой себе, Алиса не замедлила вернуться на свой шесток, на заурядный свой уровень, где обретался и я тоже, но к ней меня уже не влекло. Ах, какой же бессмысленной химерой предстала вдруг передо мной эта самая добродетель, требовавшая постоянного напряжения всех сил, без чего я не мог соединиться с нею в тех заоблачных высях, куда и вознесена-то она была исключительно моими стараниями! Не возгордись мы чрезмерно, и любили бы себе друг друга... А какой смысл упорствовать в беспредметной любви? Упрямство вовсе не означает верность. Да и — чему верность? Собственной ошибке? Не разумнее ли было в самом деле признать, что я просто-напросто ошибся?..

Тем временем я получил рекомендацию в Институт археологии и согласился немедленно поступить туда; ничто меня там не привлекало, но я все равно был рад, замышляя свой отъезд точно побег.

VIII

Тем не менее я все же увиделся еще раз с Алисой... Произошло это спустя три года, на исходе лета. Месяцев за десять перед тем она известила меня о смерти дяди, но письмо, довольно длинное, которое я послал ей тогда же из Палестины, где я в ту пору путешествовал, осталось без ответа...

Оказавшись по каким-то делам в Гавре, я, разумеется, не мог не заехать и в Фонгезмар. Я знал наверное, что Алиса сейчас там, однако боялся застать ее не одну. О своем приезде я ее не уведомлял, являться просто так, как бы между прочим, мне тоже не хотелось, а потому я пребывал в размышлении: все-таки зайти или же уехать, так и не повидавшись с нею и даже не попытавшись ее увидеть?.. Да, несомненно, второе: я лишь пройдусь по буковой аллее, посижу на скамейке, куда она, может быть, еще приходит... И я уже искал, какой знак мне оставить после себя, чтобы по нему она догадалась о моем здесь кратком появлении... С этими мыслями я продолжал медленно идти вперед и, утвердившись окончательно в решении не видеться с нею, почувствовал, как пронзившая было меня тоска сменяется какой-то мягкой печалью. Дойдя до буковой аллеи, я, из опасения быть случайно замеченным, пошел по обочине вдоль откоса, который служил границей хозяйственного двора. В одном месте откос был покруче, и можно было, поднявшись на него, заглянуть через двор в сад, что я и сделал. Незнакомый мне садовник разравнивал граблями одну из дорожек; вскоре я потерял его из виду. Двор был заново огорожен. При моем приближении залаяла собака. Аллея кончилась, и я повернул направо, намереваясь, теперь уже вдоль стены сада, пройти через буковую рощицу, но тут заметил ту самую дверку, выходившую из огорода, и меня вдруг осенило, что в сад можно попасть через нее.

Она была заперта, но засов с внутренней стороны едва держался, так что нажми я посильнее плечом... В этот момент послышались шаги; я отскочил за угол стены.

Мне не было видно, кто вышел из сада, но я знал, я чувствовал, что это была Алиса. Она сделала еще несколько шагов и еле слышно позвала:

— Жером! Это ты?..

Мое сердце, которое перед тем отчаянно билось, тут вдруг замерло, а к горлу подступил ком, так что я не мог произнести ни слова; она позвала погромче:

— Это ты, Жером?..

При звуке ее голоса меня охватило такое сильное волнение, что я рухнул на колени. Поскольку я по-прежнему ничего не отвечал, Алиса прошла еще вперед, повернула за угол и остановилась прямо передо мной — хотя я мог только слышать это, ибо лицо закрыл рукой, словно боясь внезапно увидеть ее. Она так и стояла еще некоторое время, наклонившись ко мне, а я, схватив хрупкие кисти ее рук, осыпал их поцелуями.

— Зачем ты прятался? — сказала она так просто, как будто разлука наша длилась не три года, а всего несколько дней.

— Как ты догадалась, что это я?

— Я ждала тебя.

— Ждала? — только и мог я повторить вслед за ней, настолько это поразило меня...

— Пройдемся до нашей скамейки,— предложила она, потому что я все еще не мог подняться с колен.— Да, я знала, что мне предстоит встреча с тобой. Я прихожу сюда по вечерам уже в третий раз и зову тебя, как и сегодня... Почему ты не отзывался?

— Если бы ты не застала меня сейчас, я бы так и ушел, не увидевшись с тобой,— ответил я, начиная понемногу справляться с волнением, которое в первый момент застигло меня врасплох.— Я был проездом в Гавре, и мне просто захотелось прогуляться по буковой аллее, обойти снаружи сад, немного посидеть на той скамейке — мне подумалось, что ты, наверное, бываешь там иногда,— ну а потом...

— Взгляни, что я читаю все эти три вечера, приходя туда,— перебила она меня, протягивая пачку писем, которые я узнал: это были мои письма из Италии. Только сейчас я поднял на нее глаза. Она изменилась невероятно; сердце мое сжалось при виде ее худобы и бледности. Сильно опершись на мою руку, она прижималась ко мне, точно от страха или от холода. Она до сих пор еще носила строгий траур, поэтому черный кружевной платок у нее на голове, обрамляя ее лицо, несомненно, добавлял ему бледности. Она улыбалась, но какой-то слабой, угасающей улыбкой. Я поспешил осведомиться, одна ли она сейчас в Фонгезмаре. Нет, с нею вместе живет Робер, а на август приезжали Жюльетта и Эдуар с тремя детьми... Мы дошли до скамейки, присели, и еще какое-то время разговор вертелся вокруг обычных житейских новостей. Затем она спросила о моей работе. Я отвечал весьма неохотно: мне хотелось, чтобы она поняла, что работа меня больше не интересует. Я хотел обмануть ее ожидания, как когда-то она обманула мои. Не знаю, достиг ли своей цели; по ней во всяком случае ничего не было заметно. Во мне теснились одновременно и любовь, и желание отомстить, а посему я изо всех сил пытался говорить как можно более сухо, досадуя на волнение, порой заставлявшее мой голос дрожать.

Из-за небольшого облачка, почти над горизонтом и прямо напротив нас, снова появилось заходившее солнце, заливая трепещущим сиянием опустевшие поля и наполняя распростертую у наших ног узкую долину невесть откуда возникшим изобилием; затем все исчезло. Я сидел молча, совершенно потрясенный; я чувствовал, как всего меня обволакивает и пронизывает такое же золотое сияние восторга, отчего злопамятство мое бесследно испарялось и лишь голос любви продолжал звучать. Вдруг Алиса, до того сидевшая, положив голову мне на плечо, поспешно поднялась, достала из корсажа какой-то очень маленький предмет, завернутый в тонкую бумагу, протянула было мне, остановилась в нерешительности и произнесла, видя мое удивленное лицо:

— Жером, послушай меня. Это мой аметистовый крестик. Все эти три вечера я приношу его с собой, потому что давно хотела отдать его тебе.

— Но зачем он мне? — не выдержал я.

— Чтобы ты хранил его в память обо мне и отдал своей дочери.

— Какой еще дочери? — вскричал я, глядя Алисе в глаза и не понимая, что все это значит.

— Пожалуйста, выслушай меня спокойно и не смотри на меня так, прошу тебя, не смотри. Мне и так очень трудно говорить, но это я должна сказать тебе обязательно. Итак, Жером, когда-нибудь ты женишься, ведь так?.. Нет, не отвечай мне и не перебивай, умоляю. Просто я хотела бы, чтобы ты помнил, что я очень любила тебя и... уже давно... три года назад... решила, что этот крестик, который тебе всегда нравился, может однажды надеть твоя дочь в память обо мне... нет, пусть даже не знает о ком... и, может быть, даже случится так, что ты назовешь ее... моим именем...

У нее словно перехватило горло, и она замолчала; громко, почти со злостью я спросил:

— А почему тебе самой ее так не назвать?

Она попыталась еще что-то сказать. Губы ее задрожали, как у ребенка, который вот-вот расплачется, но она не заплакала; необыкновенный блеск ее глаз преобразил ее лицо — оно сияло какой-то сверхчеловеческой, ангельской красотой.

— Алиса! На ком еще я смогу жениться? Ты же знаешь, что лишь тебя я люблю!..— В безумном порыве я крепко, до боли сжал ее в объятиях и впился губами в ее губы. Голова ее запрокинулась, она ничуть не противилась мне; я увидел только, как вдруг потускнел ее взгляд, затем веки ее совсем сомкнулись, и я услышал ее голос — ни с чем не мог бы я сравнить его по чистоте и плавности:

—Сжалься над нами, мой друг! Не губи нашу любовь!

Возможно, она добавила еще: «Не поддавайся своей слабости!» — а может быть, я сказал это сам себе,— не помню, но я бросился перед ней на колени, страстно обхватив ее руками.

— Если ты так любишь меня, почему же ты всегда меня отталкивала? Вспомни: сначала я ждал до свадьбы Жюльетты; я понимал, что ты хотела для нее счастья; и вот она счастлива, ты сама мне это говорила. Долгое время я думал, что ты не хочешь бросать отца, но сейчас мы оба остались одни.

— О, не будем жалеть о том, что ушло,— прошептала она.—Я уже перевернула страницу.

— Но еще не поздно, Алиса!

— Нет, мой друг, уже поздно. Поздно стало в тот самый день, когда благодаря любви мы на мгновение почувствовали, что каждому из нас суждено нечто большее чем любовь. Благодаря тебе, мой друг, я в мечтах своих поднялась так высоко, что все, чем обычно довольствуются люди, означало бы для меня падение. Я часто думала над тем, какой могла бы быть наша совместная жизнь, и поняла, что как только из нее исчезло бы совершенство, я не вынесла бы дольше... нашу любовь.

— А не думала ли ты над тем, какой будет наша жизнь друг без друга?

— Нет! Никогда!

— Так вот, посмотри! Уже три года я блуждаю по свету в тоске, потому что со мной нет тебя...

Становилось все темнее.

— Мне холодно,— сказала она, поднимаясь и так плотно закутываясь в шаль, что я даже не смог снова взять ее за руку.— Помнишь тот стих из Писания, который когда-то так встревожил нас? Мы еще испугались, верно ли мы поняли его смысл. «Они не добились того, что было им обещано, ибо нечто лучшее уготовил нам Господь...»

— И ты по-прежнему веришь в эти слова?

— Иначе нельзя.

Какое-то время мы шли рядом и молчали. Потом она снова сказала:

— Ты только представь себе, Жером: лучшее! — И тут на глаза у нее навернулись слезы, а она все повторяла: «Лучшее!»

Мы снова стояли у той маленькой двери, из которой она вышла незадолго до того. Повернувшись ко мне, она сказала:

— Прощай! Нет, не провожай меня дальше. Прощай, любимый мой. Сейчас и должно начаться... это лучшее.

Она еще постояла так, положив вытянутые руки мне на плечи, в одно и то же время словно удерживая и отталкивая меня, и взгляд ее был полон какой-то невыразимой любви...

Едва дверь закрылась, едва я услышал, как скрипнул с той стороны засов, я припал к этой двери в таком безысходном отчаянии, что слезы брызнули у меня из глаз, и я еще долго рыдал в кромешной тьме.

Но удержать ее, но выбить эту дверь, каким угодно способом проникнуть в дом, который к тому же никто от меня и не запирал,— нет, еще и сегодня, когда я возвращаюсь памятью к прошлому и переживаю его вновь и вновь... нет, для меня это было невозможно, и тот, кто не понимает этого, тот, значит, не понимал меня и раньше.

Через несколько дней, мучимый неослабевавшим беспокойством, я написал Жюльетте. Я рассказал о том, что был в Фонгезмаре, что меня необычайно встревожила худоба и бледность Алисы, умолял ее что-нибудь предпринять и известить меня, потому что от самой Алисы ждать вестей мне уже не приходилось.

Не прошло и месяца, как я получил следующее письмо:

Дорогой Жером,

Должна сообщить тебе печальное известие: нет больше с нами бедной Алисы... Увы, слишком обоснованными оказались опасения, которыми ты поделился со мной. Не страдая какой-либо определенной болезнью, вот уже несколько месяцев она угасала, и, только вняв моим мольбам, она согласилась пойти на прием к доктору А... из Гавра, который отписал мне, что не нашел у нее ничего серьезного. Через три дня после вашей встречи она внезапно уехала из Фонгезмара. О ее отъезде я узнала из письма Робера: сама она пишет мне так редко, что без него я так ничего и не знала бы о ее исчезновении, потому что прошло бы еще много времени, прежде чем меня бы встревожило ее молчание. Робера я отчитала — за то, что он отпустил ее просто так и не проводил ее в Париж,— но, поверишь ли, мы не имели никакого представления о том, где она могла остановиться. Представь себе мое состояние: невозможно не только увидеться с ней, но даже написать! Спустя несколько дней Робер все же ездил в Париж, но обнаружить ничего не сумел. Зная его небрежное отношение к любому делу, мы засомневались в его рвении и на этот раз. Нужно было уже обращаться в полицию — не могли же мы оставаться в такой жуткой неизвестности. Эдуар поехал и так энергично взялся за дело, что разыскал-таки небольшую частную лечебницу, где нашла себе приют Алиса. Увы, было уже слишком поздно. Я получила одновременно извещение о ее смерти от директора лечебницы и телеграмму от Эдуара, который не успел застать ее в живых. Она оставила два конверта: один с нашим адресом, чтобы нас известили, а в другой вложила копию письма нашему гаврскому нотарицусу, где сообщала о своих последних распоряжениях. По-моему, там есть что-то касающееся и тебя; обязательно дам тебе знать в ближайшем письме. Похороны состоялись позавчера; были Эдуар и Робер, но не только: пришли и несколько больных из той лечебницы; они и в церкви были, и провожали гроб до кладбища. Сама я сейчас со

дня на день жду пятого ребенка и, к сожалению, никуда отправиться не могу.

Дорогой мой Жером, я знаю, как глубоко опечалит тебя это скорбное известие, и очень за тебя переживаю, пока пишу. Вот уже два дня, как я не встаю с постели, и пишу с трудом, но все же мне не хотелось никого, даже Эдуара или Робера, просить написать тебе о той, которую не знал по-настоящему ни один человек, кроме нас с тобой. Теперь, когда я уже почти превратилась в престарелую мать семейства, а от костра всего былого осталась одна зола, я могу позволить себе позвать тебя к нам. Если однажды, по делам или просто так, окажешься в Ниме, заезжай в Эг-Вив. Эдуар будет очень рад с тобой познакомиться, а мы вдвоем сможем поговорить об Алисе. Прощай, дорогой мой Жером. Целую тебя и искренне грущу.

Еще несколько дней спустя я узнал, что Алиса оставила Фонгезмар брату, но просила все, что было в ее комнате, и еще кое-какую мебель отправить Жюльетте. Вскоре я должен был получить какие-то бумаги, которые она положила на мое имя в запечатанном конверте. Узнал я и то, что она распорядилась похоронить ее с аметистовым крестиком на шее — тем самым, что я отказался взять в мой последний приезд,— и Эдуар сообщил мне, что это было исполнено.

В запечатанном конверте, который переслал мне нотариус, оказался дневник Алисы. Я привожу здесь очень многие страницы из него. Привожу без всяких комментариев: вы и без того достаточно хорошо представите себе те размышления, которые вызвало во мне его чтение, и переживания, о которых я так или иначе мог бы дать здесь лишь самое поверхностное представление.

ДНЕВНИК АЛИСЫ

Эг-Вив

Позавчера выехали из Гавра, вчера — уже в Ниме; первое мое путешествие! В отсутствие всяких хлопот по хозяйству или по кухне, а значит, в некотором смысле, от нечего делать, сегодня, 23 мая 188... года, в день моего двадцатипятилетия, начинаю вести дневник — не то чтобы мне очень этого хотелось, но надо же делиться хоть с кем-то; по-моему, со мной такое впервые в жизни — чувствую себя одинокой, на какой-то другой, почти чужой земле, с которой пока еще не познакомилась как следует. То, что она хочет сказать мне, вероятно, не очень отлично от того, что говорила мне Нормандия, которую я без устали слушала в Фонгезмаре — Господь един повсюду,— но она, южная эта земля, говорит на языке, для меня пока незнакомом, и к нему я с удивлением прислушиваюсь.

24 мая

Жюльетта дремлет в шезлонге возле меня, на открытой галерее, придающей подлинное очарование этому дому в итальянском стиле и сделанной в уровень с песчаным двором, за которым начинается сад... Из своего шезлонга Жюльетта может видеть вытянутую зеленую лужайку, а за ней пруд, в котором плещется стайка пестрых уток и с достоинством плавает пара лебедей. Пруд питает ручеек, не пересыхающий, как говорят, даже в самое жаркое лето; дальше он течет через сад, постепенно переходящий в густые заросли, зажатый с двух сторон между виноградником и выжженной солнцем пустошью, а потому довольно скоро обрывающийся.

...Вчера Эдуар Тессьер показывал отцу сад, ферму, винные погреба, виноградники, а я целый день провела рядом с Жюльеттой, поэтому в первый раз погулять по парку, познакомиться с ним я смогла только

сегодня утром, рано-рано. Здесь много совершенно неизвестных мне растений и деревьев, названия которых я все-таки хотела бы выяснить. От каждого я оторвала по маленькой веточке, чтобы за завтраком мне сказали, как они называются. В некоторых из них я признала те самые каменные дубы, которые так восхитили Жерома на вилле Боргезе или Дориа-Памфили,— очень дальнюю родню наших северных дубов и совершенно другие по виду; в дальнем конце парка они укрывают крохотную таинственную полянку и нависают над шелковистой травой, словно приглашая нимф водить хороводы. Я изумлена, почти испугана тем, как мое чувство природы, такое глубоко христианское в Фонгезмаре, здесь, помимо моей воли, приобретает мифологический оттенок. Хотя тот гнетущий страх, который овладел мною, был еще вполне религиозным. Я все шептала: hic nemus [1]. *Воздух был кристально-прозрачен, и стояла какая-то странная тишина. Мне уже начали грезиться то Орфей, то Армида, как вдруг совсем рядом со мной раздалось пение птицы — совершенно непередаваемое, и было в нем столько восторга, столько чистоты, что у меня возникло ощущение, будто вся природа ждала этой песни. С сильно бьющимся сердцем я стояла еще некоторое время, прислонившись к дереву, а затем поспешила вернуться, пока никто еще не встал.*

26 мая

По-прежнему никаких вестей от Жерома. Если бы он написал мне в Гавр, его письмо непременно уже переслали бы сюда... Только этому дневнику могу доверить я свою тревогу, от которой вот уже целых три дня ничто не может меня отвлечь — ни вчерашняя экскурсия в Бо, ни даже молитва. Сегодня я просто не в состоянии писать ни о чем другом, но, вероятно, никаких других причин и нет у той странной меланхолии, которая овладела мной с самого приезда в Эг-Вив; хотя я чувствую ее настолько глубоко внутри, что мне теперь кажется, будто она укоренилась там уже давно и что радость, которой я так гордилась, была всего лишь тонким налетом на ней.

27 мая

К чему лгать самой себе? Не сердцем, а умом радуюсь я счастью Жюльетты. Я так желала его, что ради него пожертвовала своим собственным счастьем, и вот теперь страдаю, видя, как легко оно ей досталось и насколь отлично оно от того, каким мы представляли его себе. До чего же все это сложно! Если только... Вполне отчетливо слышу я в себе обиженный голос вновь вернувшегося отвратительного эгоизма: она, дескать, обрела счастье помимо моей жертвы, ей вовсе и не потребовалась моя жертва, чтобы стать счастливой.

И я задаюсь вопросом — это к тому, в каком тревожном состоянии я нахожусь из-за молчания Жерома: принесла ли я в самом деле эту жертву в сердце своем? Я чувствую точно какое-то унижение оттого, что Господь больше не требует ее от меня. Неужели я оказалась неспособной на жертву?

28 мая

Как, оказывается, опасно заниматься анализом причин своей грусти! Я уже привыкаю к этому дневнику. То самое кокетство, которое, как мне казалось, я уже давно в себе победила,—неужели оно возобладает здесь? Нет, пусть не будет этот дневник льстивым зеркалом, перед которым моя душа начнет прихорашиваться! Я пишу вовсе не от нечего делать, как думала сначала, а оттого, что мне грустно. Грусть же есть состояние греховное, *от которого я уже избавилась, которое я ненавижу, от которого хочу* разусложнить *свою душу. Этот дневник призван помочь мне вновь достичь счастья в себе самой.*

Грусть есть усложнение. Не пыталась же я никогда анализировать свое счастье.

---

[1] Тот самый лес *(лат.)*.

В Фонгезмаре я тоже была одинока, еще больше, чем здесь... Почему же я этого не чувствовала? И когда от Жерома приходили письма из Италии, я соглашалась с тем, что он живет без меня, как жил без меня и раньше, я просто мысленно сопровождала его, так что его радости становились одновременно и моими. А сейчас, сама того не желая, я постоянно зову его; без него вся эта новизна вокруг только докучает мне...

10 мая

Надолго прервала дневник, едва успев начать; родилась малютка Лиза; многие часы провожу у постели Жюльетты; нет никакого желания описывать здесь то, о чем я и так пишу Жерому. Я хотела бы избежать этого несносного порока, который свойствен стольким женщинам,— писать слишком много. Считать дневник инструментом самосовершенствования.

Следует порядочно страниц, заполненных выписками из книг, заметками по ходу чтения и т. п. Затем идет запись, помеченная уже Фонгезмаром:

16 июля

Жюльетта счастлива; она сама это говорит, да и всем видом своим показывает; у меня нет ни права, ни оснований сомневаться в этом... Откуда же возникает у меня, когда я с ней рядом, довольно тягостное ощущение неудовлетворенности? Вероятно, я воспринимаю это ее блаженство как чересчур обыденное, слишком легко доставшееся, слишком уж точно «по мерке» — так, словно душе в нем тесно и она задыхается...

И я задаюсь вопросом: счастья ли желаю я в самом деле или скорее вечного приближения к счастью? Господи! Убереги меня от такого счастья, которое я смогла бы достичь слишком быстро! Научи меня, как отсрочить, сделать ближе к Тебе мое счастье.

Дальше немало страниц выдрано — очевидно, с описанием нашего мучительного свидания в Гавре. Дневник возобновляется лишь со следующего года; даты не указаны, но нет сомнений, что писалось это все во время моего пребывания в Фонгезмаре.

Иногда, слушая его, я ловлю себя на том, что начинаю видеть, как во мне самой рождаются мысли. Он объясняет, открывает меня самой себе. Что была бы я без него? Я существую только вместе с ним...

Иногда я просто не знаю, можно ли назвать любовью то, что я испытываю к нему, настолько обычные описания любви отличаются от того, которое могла бы сделать я. Мне бы хотелось не говорить об этом вообще и любить его, словно бы и не зная, что я его люблю. А больше всего мне бы хотелось, чтобы он не догадывался о моей любви.

Из всего того, что предстоит мне без него, я ни в чем больше не вижу радости. Все мои добродетели и достоинства лишь затем и существуют, чтобы нравиться ему, но едва я оказываюсь с ним рядом, как они тускнеют и меркнут.

Игра на фортепьяно нравилась мне тем, что давала ощущение пусть небольшого, но каждодневного продвижения вперед. Видимо, с этим связано и особое удовольствие, которое я испытываю при чтении книги на иностранном языке: не то чтобы я предпочитала какой-либо другой язык своему родному, или те из наших писателей, которыми я восхищаюсь, уступали бы в чем-либо иностранным авторам — но легкое затруднение в проникновении в смысл и в следовании чувству, неосознанная гордость оттого, что справляешься с этим все лучше и лучше, добавляют к удовольствию, получаемому умом, некое труднопередаваемое душевное удовлетворение, обойтись без которого мне, пожалуй, было бы нелегко.

Я никогда не соглашусь на то, чтобы застыть в каком угодно, пусть даже самом блаженном, состоянии. Радость небесную я представляю

себе не как растворение в Боге, а как вечное, не имеющее конца приближение... И если бы не боязнь игры слов, я бы сказала, что заранее отказываюсь от любой радости, за исключением прогрессивной.

Сегодня утром мы сидели вдвоем на скамейке у буковой аллеи, не говоря ни слова и не испытывая потребности в словах... Внезапно он спросил меня, верю ли я в будущую жизнь.

— А как иначе, Жером! — воскликнула я непроизвольно.— Во мне это даже сильнее, чем надежда,— это твердая уверенность...

И мне вдруг показалось, будто вся моя вера излилась в этом возгласе.

— Я просто хотел знать...— Он на мгновение запнулся, но затем продолжил: — Ты вела бы себя по-другому, не будь в тебе этой веры?

— Как я могу знать? — ответила я и добавила: — Ты и сам, как бы того ни хотел, не сумел бы поступить иначе, чем вел себя в том случае, когда тобой руководила самая искренняя вера. А ко всему прочему я не полюбила бы тебя другого.

Нет, Жером, нет, добродетель наша стремится не к вознаграждению в будущем, и вообще наша любовь отнюдь не вознаграждения взыскует. Одна мысль о какой бы то ни было награде за труды и муки оскорбительна для благородной души. Да и добродетель для нее вовсе не украшение, нет — это форма, в которой является ее красота.

Папе снова стало похуже; надеюсь, ничего страшного, но вот уже три дня, как ему пришлось возобновить молочную диету.

Вчера вечером Жером поднялся к нему в комнату; папа в это время был еще у меня и вышел к нему ненадолго. Я сидела на софе, точнее, уж не знаю почему, полулежала — чего со мной почти никогда не бывает. Свет из-под абажура падал только на нижнюю часть моего тела, и я машинально взглянула на свои ноги, не до конца прикрытые платьем и особенно ярко освещенные лампой. Когда папа вернулся, он еще некоторое время постоял в дверях, глядя на меня как-то странно, с грустной улыбкой. Я почему-то смутилась и встала; тогда он подозвал меня и сказал.

— Посиди рядом со мной.— И хотя было уже поздно, он принялся рассказывать мне о моей матери, чего с ним не случалось с тех самых пор, как они развелись. Он рассказал мне, как женился на ней, как сильно любил ее и чем она поначалу была для него.

— Папа,— прервала я его наконец,— умоляю, скажи мне, почему ты рассказываешь мне это сегодня вечером, что побудило тебя именно сегодня вечером все это мне рассказать...

— Потому что, когда я за минуту перед тем вернулся в гостиную и увидел, как ты лежишь на софе, мне вдруг показалось, что я снова вижу твою мать.

Я так настаивала, потому что в тот самый вечер... Жером стоял у меня за спиной и читал, глядя мне через плечо, опершись на спинку кресла и наклонившись надо мной. Я не могла его видеть, но чувствовала на себе его дыхание, тепло и легкую дрожь его тела. Я делала вид, что продолжаю читать, но уже ничего не понимала, не различала даже строчек; мною овладело такое странное и сильное волнение, что я поспешила подняться с кресла, пока еще была в состоянии это сделать. Я даже ненадолго вышла из комнаты, и он, к счастью, ничего особенного не заметил... Но когда, очень вскоре, я прилегла на софу в гостиной и папа нашел, что я была похожа на мать, я ведь именно о ней в этот момент и думала.

Этой ночью я очень плохо спала, меня мучило какое-то беспокойство, чувство подавленности, отверженности, я была целиком во власти одного воспоминания, которое словно грызло меня изнутри. Господи, внуши мне отвращение ко всему, на чем лежит печать зла!

Бедный Жером! Если бы он только знал, что порой ему достаточно сделать всего одно движение и что порой этого движения я как раз и жду...

Еще когда я была совсем ребенком, я хотела быть красивой только ради него. Мне даже кажется сейчас, что само «стремление к совершенству» возникло во мне только благодаря ему. Но то, что достичь этого совершенства возможно лишь без него,— эта твоя заповедь, Господи, более всего смущает душу мою.

Как же счастлива должна быть душа, для которой добродетель неотличима от любви! Иногда я бываю почти уверена, что не существует иной добродетели, кроме любви — любить изо всех сил и еще, еще сильнее... Но, увы, добродетель видится мне только как сопротивление любви. Да и разве осмелюсь я принять за добродетель самое естественное устремление моего сердца! О привлекательный софизм, манящий обман, коварный мираж счастья!

Вычитала сегодня утром у Лабрюйера:

«В жизни встречаются запретные удовольствия и утехи, которые, однако, нам столь любезны и сладостны, что желание сделать их позволительными по меньшей мере естественно: сильнее этих чар может оказаться лишь соблазн развить в себе умение отвергать их из одной только добродетели».

Зачем же мне искать для себя какую-то особую защиту? Разве то, что влечет меня к себе исподволь, не таит в себе чары еще более могущественные, более сладостные, чем у самой любви? О, как, используя силу любви, увлечь наши души еще выше, за ее пределы?..

Увы, сейчас я понимаю уже слишком отчетливо: между Богом и им нет других препятствий, кроме меня. Вполне вероятно, что сначала — как он мне сам говорит — любовь ко мне направила его к Богу, однако сейчас любовь мешает ему; он цепляется за меня, предпочитает меня всему, почему и я становлюсь тем кумиром, который не дает ему идти все дальше вперед по пути добродетели. А хотя бы один из нас двоих должен дойти обязательно; поэтому, отчаявшись перебороть в моем недостойном сердце любовь, прошу Тебя, Господи, придай мне силы сделать так, чтобы он перестал любить меня и чтобы я смогла ценой своих ничтожных заслуг принести Тебе несравненно более предпочтительные... Сегодня душа моя рыдает, теряя его, но когда-нибудь мы непременно обретем друг друга в Тебе...

Ответь, Господи, какая другая душа более достойна Тебя? Разве не для лучшего он рожден, чем только для любви ко мне? И разве смогла бы я ответить ему равной любовью, если бы он остановился на мне? Как же мельчает в обыкновенном счастье то, что достойно героического удела!..

Воскресенье

«Ибо нечто лучшее уготовил нам Господь».

Понедельник, 3 мая

До чего же близко, совсем рядом может оказаться счастье, если задаться только этой целью... Протяни руку и бери...

Разговор с ним сегодня утром — вот принесенная мною жертва.

Понедельник, вечер

Завтра он уезжает...

Дорогой Жером, мой навсегда-бесконечно-нежно-любимый... Никогда больше я не смогу сказать тебе этих слов. Мне так трудно принуждать мои глаза, губы, сердце, что расставание с тобой несет мне избавление от мук и горькое удовлетворение.

Я стараюсь действовать разумно, но в самый момент совершения поступка все разумные доводы, которые побуждали меня к действию, вдруг исчезают или кажутся мне безумными — я им больше не верю...

Что за доводы заставляют меня избегать его? Я им больше не верю... И, однако же, продолжаю избегать его — с печалью в душе и не в силах понять, почему так поступаю.

Господи! А если Жерому и мне идти к Тебе вместе, помогая друг другу? Идти по жизни, как двое паломников, и один бы иногда говорил другому: «Обопрись на меня, брат, если ты устал»; а другой отвечал бы: «Мне достаточно того, что ты идешь рядом...» Но нет! Дорога, которую ты, Господи, завещал нам, узка — так узка, что двоим не пройти по ней бок о бок.

4 июля

Не открывала дневник больше полутора месяцев. Как-то недели две назад, перечтя несколько страниц, обнаружила в том, что написано, бессмысленную, даже преступную заботу о хорошем слоге... которой я обязана ему...

Как будто я использовала этот дневник, который и начала единственно с целью помочь самой себе обходиться без него, для того, чтобы продолжать ему писать.

Выдрала страницы, которые показались мне хорошо написанными. (Я знаю, что имею в виду.) Нужно было бы выдрать все, где речь идет о нем. Нужно было вообще все порвать... Не смогла.

И вот, выдрав те несколько страниц, я ощутила некоторую гордость... Гордость, над которой посмеялась бы, если бы так не болело сердце.

Было и вправду такое чувство, будто я как-то отличилась и будто уничтоженное мною действительно имело какое-то значение!

6 июля

Пришлось снова изгонять с книжной полки...

Бегу от него из одной книги в другую и везде встречаюсь с ним. Даже с тех страниц, которые я открываю впервые, мне слышится его голос, и он читает мне их. Меня влечет лишь к тому, что интересует его, и моя мысль принимает форму его мысли, причем до такой степени, что я не в состоянии различить, где чья,— как и в те времена, когда я могла находить удовольствие в таком их слиянии.

Порой я нарочно пытаюсь писать плохо, чтобы перестать следовать ритму его фраз; но разве бороться против него не значит продолжать заниматься им? Принимаю решение временно не читать ничего, кроме Библии (возможно, еще Подражания), а в дневник заносить каждый день по одному особенно запомнившемуся мне стиху.

Далее следует этот своего рода «хлеб насущный»: начиная с первого июля под датой записан только стих, и все. Я привожу те из них, за которыми следует хоть какой-то комментарий.

20 июля

«Продай все, что имеешь, и раздай бедным». Как я понимаю, бедным нужно отдать мое сердце, которое у меня остается для Жерома. Не подам ли я ему таким образом пример?.. Господи, пошли мне смелости.

24 июля

Закончила читать «Internelle Consolacion» [1]. *Этот старинный язык весьма позабавил меня и развлек, но та почти языческая радость, которую я там почерпнула, не имеет ничего общего со способами укрепления души, которые я очень рассчитывала обнаружить.*

Снова взялась за Подражание; конечно, не за латинский текст, который мне не стоит и пытаться понять. Мне нравится, что перевод, в котором я его читаю, даже не подписан; хотя перевод и протестантский,

[1] «Вечное Утешение».

но, как гласит подзаголовок, «приспособленный к любому христианскому вероисповеданию».

«О, если бы знать тебе, какой мир обретешь ты и какую подаришь другим радость, усердствуя в добродетели, я уверен, что старания твои только умножились бы от этого».

10 августа

Даже если бы вознесся к Тебе, Господи, мой зов и слышались бы в нем по-детски пылкая вера и ангельски неземной голос...

Все это, знаю, приходит ко мне не от Жерома — от Тебя.

Почему же между мной и Тобой ставишь Ты его образ?

14 августа

Больше двух месяцев понадобилось мне на эту книгу. Помоги мне, о Господи!

20 августа

Чувствую, по грусти своей чувствую, что сердце мое еще не принесло себя в жертву. Господи, сделай так, чтобы Тебе одному была я обязана той радостью, которую прежде приносил мне только он.

28 августа

Как жалка и ущербна та добродетель, на которую я пока способна! Не переоценила ли я свои возможности?.. Хватит страдать.

До чего же нужно быть немощным, чтобы постоянно вымаливать сил у Бога! Сейчас каждая моя молитва — жалоба.

29 августа

«Посмотрите на полевые лилии...»

От этих удивительно простых слов сегодня утром мною вдруг завладела такая грусть, что не отпускала целый день. Я бродила по полям, и эти слова, которые я непроизвольно повторяла про себя, наполняли слезами мои глаза и сердце. Долго смотрела на широкую опустевшую равнину, по которой брел, склонясь над плугом, пахарь... «Полевые лилии...» Где они, Господи?..

15 сентября,
10 часов вечера

Снова встреча с ним. Он здесь, в нашем доме... Я вижу на газоне прямоугольник света из его окна. Когда я пишу эти строки, он еще не спит и, наверное, думает обо мне. Он не изменился; он сам это говорит, и я тоже это чувствую. Сумею ли я быть с ним такой, какой решила казаться, чтобы он, повинуясь своей же любви, отрекся от меня?..

24 сентября

О, каким же тяжким был этот разговор, мне удалось сыграть холодность и равнодушие, хотя сердце мое едва не остановилось... Раньше все, на что я была способна, это избегать его. Но сегодня утром мне показалось, что Господь даст мне силы победить и что с моей стороны было бы трусостью постоянно уклоняться от борьбы. Одержала ли я победу? Любит ли теперь меня Жером хоть немного меньше?.. Боже, я одновременно надеюсь на это и боюсь этого... Никогда прежде я не любила его сильнее, чем сейчас.

Но если тебе, Господи, чтобы избавить его от меня, потребуется моя погибель, да будет воля Твоя!..

«Войдите в сердце мое и в душу мою и несите туда страдания и претерпите во мне то, что осталось вам терпеть от Страстей ваших».

Зашел разговор о Паскале... Что я такое наговорила! Какой стыд, какая бессмыслица! Я мучилась уже, когда произносила те слова, а вечером и вовсе раскаиваюсь в них, будто совершила кощунство. Снова

взяла тяжелый том «Мыслей», который сразу открылся на фразе из письма к м-ль де Роаннэ:

«Когда мы следуем за кем-то, кто идет впереди, мы не чувствуем, насколько прочна наша связь с ним; но едва мы начинаем сопротивляться или пробовать пойти в другую сторону, как нам становится по-настоящему трудно».

Эти слова так непосредственно затронули меня, что я просто не смогла читать дальше, однако, открыв книгу в другом месте, я напала на незнакомые мне и совершенно замечательные строки, которые решила переписать.

На этом заканчивается первая тетрадь дневника. Следующая тетрадь, по всей вероятности, была уничтожена, поскольку в оставленных Алисой бумагах дневник возобновляется лишь три года спустя, по-прежнему в Фонгезмаре, в сентябре, то есть незадолго до последней нашей встречи.

Вот первые его страницы:

17 сентября

Господи, ты же знаешь, что с ним сильнее моя любовь к Тебе.

20 сентября

Господи, пошли мне его, чтобы я отдала Тебе мое сердце.

Господи, сделай так, чтобы мне хоть раз еще увидеть его.

Господи, обещаю, что отдам Тебе мое сердце, только пошли мне то, что просит у Тебя любовь моя. Лишь Тебе одному отдам я остаток жизни моей...

Прости мне, Господи, эту достойную презрения молитву, но не могу я изгнать его имя с губ моих и не могу забыть муку сердца моего.

Взываю к Тебе, Господи, не покинь меня в тоске моей.

21 сентября

«Все, чего не попросите вы у Отца моего именем моим...»

Господи Иисусе! Нет, Твоим именем не смею...

Но разве оттого, что я не произношу своей молитвы, от Тебя укроется самое страстное желание моего сердца?

27 сентября

Начиная с сегодняшнего утра — полное успокоение. Почти всю ночь провела в благоговении и молитве. Вдруг мне показалось, что меня обволакивает, нисходит на меня некое покойное сияние — почти таким мне в детстве виделся Святой Дух. Я немедленно легла, боясь, что этот мой восторг вызван просто нервным переутомлением; заснула быстро, все в том же состоянии блаженства. Оно и сегодня утром никуда не исчезло. Теперь я твердо уверена, что он приедет.

30 сентября

Жером, друг мой! Ты, кого я по-прежнему еще называю братом, но кого люблю бесконечно сильнее брата... Сколько раз выкрикивала я твое имя в буковой роще!.. Каждый вечер, ближе к закату, я спускаюсь через огород к той дверке и выхожу через нее на темную уже аллею... Вот-вот ты отзовешься, появишься оттуда, из-за каменистого откоса, по которому я слишком быстро скользнула взглядом, или я еще издалека увижу, как ты сидишь на скамейке, ждешь меня, и у меня даже сердце не замрет... Наоборот, я удивлена, что не встретила тебя.

1 октября

По-прежнему ничего. Солнце зашло при удивительно чистом и ясном небе. Я еще жду. Знаю, что очень скоро, на этой же скамейке, буду сидеть рядом с ним... Я уже слышу его голос. Мне так нравится, как он произносит мое имя... Он будет здесь! Я положу свою ладонь на его ла-

донь, уткнусь лбом в его плечо, мы будем слышать дыхание друг друга. Уже вчера я брала с собой некоторые его письма, чтобы перечесть их, но так на них и не взглянула, слишком погруженная в мысли о нем. Взяла я и аметистовый крестик, который он очень любил и который, в одно из прошлых лет, я надевала каждый вечер все то время, пока не хотела, чтобы он уезжал.

Мне бы хотелось возвратить ему этот крестик. Когда-то давно я видела сон, будто он женился, а я стала крестной матерью его первой дочери и подарила ей это украшение... Почему у меня никогда не хватало смелости рассказать ему об этом?

2 октября

Легко и радостно сегодня моей душе — словно она птица, которая свила гнездо на небесах. Сегодня он обязательно придет, я это чувствую, я это знаю, я хочу всем об этом кричать, я не могу удержаться, чтобы не написать об этом здесь. Я больше не хочу прятать свою радость. Ее заметил даже Робер, обычно такой невнимательный и безразличный ко мне. Его расспросы повергли меня в замешательство, я не знала, что и ответить. Как мне дождаться вечера?..

Повсюду я вижу перед собой его лицо, как-то странно увеличенное и словно отделенное от меня почти прозрачным занавесом, от которого отражаются лучи любви и, собираясь в пучок, направляются в одну сверкающую точку — мое сердце.

О, как томит меня это ожидание!..

Господи, приоткрой передо мной хоть на мгновение широкие врата счастья!

3 октября

Все погасло. Увы, он ускользнул из моих объятий, как бесплотная тень. Он был здесь! Он был здесь! Я еще чувствую его тепло, я зову его. Мои руки, губы тщетно ищут его в ночной тьме...

Не могу ни молиться, ни уснуть. Снова вышла в темный сад. Мне было страшно в моей комнате, во всем доме. В тоске я бросилась к той двери, за которой оставила его, распахнула эту дверь в отчаянной надежде — а вдруг он вернулся! Я звала, шла на ощупь в темноте. Возвратилась, чтобы написать ему. Не могу смириться с тем, что потеряла его навсегда.

Да что же это такое? Что я наделала, что я ему наговорила? И зачем я вновь и вновь преувеличиваю перед ним свою добродетель? Да велика ли цена добродетели, которую изо всех сил отвергает мое сердце? Я тайно переврала те слова, которые сам Господь вкладывал в мои уста... Ни звука не вырвалось из моего переполненного сердца. Жером, Жером, друг мой, боль моя! Ты, с кем рядом разрывается мое сердце и от кого вдалеке я умираю, из всего, что я тебе наговорила, не слушай ничего, кроме того, что сказала тебе моя любовь.

Порвала письмо: написала новое... Вот и рассвет — серый, омытый слезами, тоскливый, как мои мысли... Доносятся первые звуки с фермы; все уснувшее возвращается к жизни... «Вставайте же. Час пришел...»

Я не отправлю свое письмо.

5 октября

Боже завидущий, лишивший меня всего, забирай же мое сердце. Ничто больше не теплится в нем, и ничто его больше не увлечет. Помоги мне только справиться с жалкими останками меня самой. Этот дом, этот сад придают моей любви новых сил, что недопустимо. Я хочу бежать в такое место, где буду видеть лишь Тебя.

Ты поможешь мне распорядиться в пользу твоих бедняков тем имуществом, которым я владела; позволь только оставить Роберу Фонгезмар — я просто не смогу быстро продать его. Завещание я написала, но не уверена, что по форме; более или менее подробной беседы с

нотариусом вчера не получилось, потому что я боялась, как бы он не заподозрил чего-нибудь неладного в моем решении и не дал знать Жюльетте или Роберу... Докончу все эти дела в Париже.

10 октября

Приехала сюда такой усталой, что два первых дня не вставала с постели. Врач, которого прислали помимо моей воли, долго говорил о том, что необходима какая-то операция. К чему было возражать? Все-таки мне не составило труда убедить его, что эта операция меня очень пугает и что я предпочла бы подождать, чтобы «немного прийти в себя».

И имя, и адрес мне удалось скрыть. При поступлении в эту лечебницу я внесла достаточную сумму, чтобы меня без особых трудностей приняли и держали здесь столько, сколько Господь сочтет еще необходимым.

Комната мне понравилась. Все очень скромно, но зато чистота безукоризненная. Я была немало удивлена, ощутив даже нечто вроде радости. Это значит, что от жизни я более не жду ничего. Отныне один Бог будет довлеть мне, а любовь его ни с чем не сравнима лишь тогда, когда заполняет нас целиком, без остатка.

Я не взяла с собой никаких книг, кроме Библии, но сегодня громче даже, чем все, что я в ней читаю, эхом отзываются во мне исступленные рыдания Паскаля:

«Ничто, кроме Бога, не способно наполнить собой пустоту моего ожидания».

Слишком человеческой радости возжелало мое неосторожное сердце... Неужели, Господи, ты лишил меня всякой надежды затем только, чтобы добиться от меня этого признания?

12 октября

Да приидет царствие Твое! Да сойдет оно на меня, чтобы Ты один царствовал надо мной, целиком и безраздельно. Я больше не хочу выторговывать у Тебя свое сердце.

Сама устала, словно глубокая старуха, а душа продолжает почему-то сохранять детские привычки. Я все та же маленькая девочка, какой была очень давно,— та, что не могла лечь спать, пока в комнате все не будет на своем месте, а на спинке кровати не будет висеть аккуратно сложенное платье...

Точно так же я хотела бы приготовиться к смерти.

13 октября

Прежде чем сжечь дневник, перечитала его. «Великим сердцам не пристало делать свои треволнения достоянием других». Кажется, эти прекрасные слова принадлежат Клотильде Де Во.

Уже собиралась бросить дневник в огонь, но что-то удержало мою руку в последний момент. Мне вдруг подумалось, что этот дневник больше мне не принадлежит, что я не вправе отбирать его у Жерома, что я и вела-то его только для него. Все мои сомнения и тревоги кажутся мне сегодня просто смехотворными; я не придаю им значения и не думаю, чтобы они всерьез смутили Жерома. Господи, позволь мне донести до него неумелую исповедь сердца, забывшего обо всем на свете, кроме желания подтолкнуть его к вершине добродетели, которую сама я отчаялась достичь.

«Господи, помоги мне взойти на этот высокий утес, куда мне одному не подняться».

15 октября

«Радость, радость, радость, слезы радости...»

Выше любой человеческой радости, по ту сторону любых страданий — да, я предчувствую светлую эту радость. Тот утес, на который мне

не подняться, я точно знаю теперь, что имя ему — счастье. Я поняла: напрасна вся моя жизнь, если в конце ее нет счастья... Но ведь ты обещал его, Господи, обещал душе самоотверженной и чистой. «Счастливы отныне,— сказано в святых наставлениях твоих,— счастливы отныне те, кто умирают в Господе». Значит, и мне нужно ждать смерти? Здесь-то и может пошатнуться моя вера. Господи! Взываю к тебе изо всех моих сил. Я во тьме ночи и жду зарю. Взываю к Тебе из последних сил. Приди и утоли жажду моего сердца. Жажду немедленного счастья... Или я сама должна убедить себя в том, что уже достигла его? И словно нетерпеливая птица, подающая голос задолго до зари, не столько возвещая, сколько призывая наступление дня, должна ли и я тоже, не дожидаясь, пока побледнеет ночная тьма, начать свою песнь?

16 октября

Жером, мне бы хотелось научить тебя высшей радости.

Сегодня утром — жесточайший приступ рвоты. Сразу после него почувствовала такую слабость, что мелькнула надежда сейчас же и умереть. Но нет; сначала я всем существом своим ощутила какое-то великое спокойствие; затем и плоть, и душа точно затрепетали в невыразимой тоске, и вдруг вспышка — беспощадное прояснение всей моей жизни. Я как будто впервые увидела нестерпимо голые стены моей комнаты. Мне стало страшно. Я и сейчас еще пишу только для того, чтобы прийти в себя, успокоиться. О Господи! Только бы мне дойти до конца, избежав богохульства.

Все-таки могла подняться. Встала на колени, как в детстве...

Я бы хотела умереть сейчас, как можно быстрее, чтобы не успеть вновь понять, как я одинока.

В прошлом году я виделся с Жюльеттой. Больше десяти лет прошло со времени ее последнего письма, в котором она сообщала мне о смерти Алисы. Поездка в Прованс дала мне удобный случай остановиться ненадолго в Ниме. Дом, в котором живут Тессьеры, довольно приятный на вид, находится в шумном центре города, на улице Фешер. Хотя я и предупредил в письме о том, что заеду, я все же изрядно волновался, переступая порог.

Няня проводила меня в гостиную, куда очень вскоре поднялась и Жюльетта. Передо мной точно вновь возникла тетушка Плантье: та же походка, то же сложение, то же запыхавшееся радушие. Она тут же засыпала меня вопросами, не ожидая ответов: о моей карьере, о том, как я устроился в Париже, чем я занимаюсь, с кем поддерживаю отношения, что привело меня на Юг, почему я не собираюсь заехать в Эг-Вив, где меня так счастлив будет видеть Эдуар... Потом она сама рассказала мне обо всех: о своем муже, о детях, о своем брате, о последнем урожае, об ожидающихся убытках... Я узнал, что Робер продал Фонгезмар и переехал насовсем в Эг-Вив; он стал теперь компаньоном Эдуара, что позволяет тому больше ездить и заниматься главным образом коммерческой стороной дела, тогда как Робер остается при землях, улучшая и расширяя плантации.

Слушая ее, я с беспокойством искал глазами то, что могло напомнить о былом. Сразу узнал я среди новой обстановки гостиной несколько вещей из Фонгезмара, однако то самое прошлое, что будило во мне трепет, похоже, нимало не заботило Жюльетту — или она нарочно старалась о нем не заговаривать.

На лестнице играли двое мальчиков, двенадцати и тринадцати лет; она подозвала их, чтобы мне представить. Лиза, самая старшая среди детей, поехала вместе с отцом в Эг-Вив. Еще один мальчик, десяти лет, должен был вот-вот вернуться с прогулки; это о его скором рождении сообщала мне Жюльетта вместе с той скорбной для нас вестью. Для

Жюльетты та беременность оказалась весьма тяжелой, и она еще очень долго оправлялась после нее, пока в прошлом году, словно спохватившись, не произвела на свет еще одну малышку, которой, судя по тому, как она о ней рассказывала, она отдавала предпочтение перед остальными детьми.

— Она сейчас спит в моей комнате, это рядом. Хочешь посмотреть? — И добавила, когда я пошел за ней: — Жером, я как-то не осмелилась написать тебе об этом... Ты бы не согласился стать для маленькой крестным отцом?

— Да, разумеется, я согласен, если тебе это доставит удовольствие,— ответил я, слегка удивленный, склоняясь над колыбелью.— А как назвали мою крестницу?

— Алиса...— сказала Жюльетта очень тихо.— Она чем-то похожа на нее, тебе не кажется?

Ничего не ответив, я только сжал ее руку. Маленькая Алиса, которую мать уже подняла, открыла глазки; я взял ее на руки.

— Каким бы ты был любящим отцом! — попыталась пошутить Жюльетта.— Почему ты не женишься, чего ждешь?

— Пока забудутся многие вещи,— ответил я и увидел, что она покраснела.

— Которые ты собираешься забыть уже вскоре?

— Которые я вообще не собираюсь забывать.

— Пойдем со мной,— вдруг сказала она, входя первой в небольшую комнатку, одна дверь которой выходила в ее спальню, а другая в гостиную. В комнатке было уже довольно темно.— Вот где я скрываюсь, когда выпадает свободная минутка. Это самая тихая комната во всем доме. Придешь сюда — и как будто спрячешься от жизни.

Окна этой крошечной гостиной выходили не на шумную улицу, как у других комнат, а на скрытый за деревьями зеленый лужок.

— Посидим немножко,— сказала она, почти рухнув в кресло.— Если я тебя правильно поняла, ты хочешь хранить верность памяти Алисы.

Я ответил не сразу.

— Скорее, видимо, тому представлению, которое у нее было обо мне... Нет-нет, не ставь мне это в заслугу. Думаю, я все равно не мог бы поступить иначе. Если бы я женился на какой-то другой женщине, я бы только делал вид, что люблю ее.

— А...— протянула она как бы безразлично, потом почему-то отвернулась и опустила лицо вниз, словно что-то обронила.— Значит, ты полагаешь, что возможно так долго носить в своем сердце безнадежную любовь?

— Да, Жюльетта.

— И что жизнь, даже если будет дуть на нее каждый день, не сможет ее погасить?..

Серым приливом набухал вечер, захватывая и поглощая предметы, которые, едва погрузившись в тень, точно оживали и принимались вполголоса рассказывать о своем прошлом. Я вновь попал в комнату Алисы — Жюльетта воссоздала до мелочей всю обстановку. Она вновь повернула ко мне свое лицо, черт которого я уже не мог различить и даже не мог бы сказать, открыты ли ее глаза. Я лишь видел, что она очень красива. Так мы и сидели молча.

— Ну-с,— произнесла она наконец,— пора просыпаться...

Я увидел, как она встала, сделала шаг и вновь опустилась без сил на стоявший рядом стул, закрыв лицо ладонями; мне показалось, что она плачет...

Вошла служанка, держа в руках лампу.

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ

Фердидурка

РОМАН

Перевод с польского и вступление А. ЕРМОНСКОГО

Имя Витольда Гомбровича большинству наших читателей пока, пожалуй, не говорит ничего. А между тем это один из крупнейших польских (да, наверное, не только польских) писателей XX столетия.

Увы, сегодня подобный казус вряд ли кого-нибудь очень уж удивит. Ведь в последние годы мы обнаружили в собственном прошлом, обнаруживаем в настоящем, обнаруживаем в мире вокруг нас столько пресловутых «белых пятен», что порой кажется, будто мы пробудились вдруг на одиноком острове в безбрежном белом океане. И принялись отчаянно, нередко беспорядочно приращивать себе земли, постигать то, что другими уже постигнуто, освоено, присвоено.

Дело это необходимое, но тяжкое неимоверно. Ибо время упущено, и то, что могло (и должно было) при нормальном порядке вещей стать частью нашей собственной духовной культуры давно, нам еще только предстоит «переварить» как нечто едва явившееся на свет. А вокруг совсем иной мир, иные берега, иные вкусы...

Впрочем, Гомбровичу не сразу повезло и с признанием современников. Он дебютировал в тридцатые годы, и нельзя сказать, чтобы удачно. Молодого прозаика встретили поначалу чуть ли не в штыки. Он шокировал, издевался, раздражал. А «Фердидурку» (1937) — на мой взгляд, один из самых лучших, парадоксальных и трагически-тревожных романов этого писателя — польская предвоенная критика всех направлений (и правого, и левого) почти единодушно отвергла. И лишь годы спустя книги Гомбровича были по-настоящему поняты и приняты — но сначала не на родине.

В канун рокового сентября 1939 года Гомбрович отправился за границу и волею обстоятельств расстался с Польшей навсегда. Без малого четверть века прожил он в Аргентине, затем перебрался в Западную Европу и окончил свои дни во Франции — писателем, известным всему миру. Но путь к известности начался именно с «Фердидурки». Этот роман в 1947 году вышел в Аргентине по-испански, после чего переводы его стали появляться в одной стране за другой.

Почему так? Почему второе польское издание «Фердидурки» увидело свет только в 1957 году, а первое русское появляется лишь сегодня? Думаю, что роман этот — своего рода манифест антитоталитаризма — способен и постоять за себя сам, и сам лучше всего это объяснить. Но вот как «объяснить» сам роман? Или хотя бы только его название — «Фердидурка»,— ведь такого слова ни в одном языке нет[1], и автор не упоминает его ни разу? Или — чего уж вроде бы проще — о чем, собственно, книга эта написана?

«В искусстве,— замечает Гомбрович в «Дневниках»,— пожалуй, нет важнее задачи, как именно эта: высказать себя». Или в другом месте: «Я — единственная и, кажется, важнейшая проблема для самого себя: это единственный из всех моих героев, который действительно меня интересует». И в самом деле — сюжетной канвой творчества Гомбровича, главной его темой, в сущности, стала одна мысль: может ли человек в современном обществе существовать как таковой? Или он всего лишь производное от тех представлений, которые составляют о нем другие? Способен ли он освободиться от насилия и гнета чужих мнений о нем или ему суждено покориться, позволить другим напялить на себя маску по их вкусам?

В «Фердидурке» такую маску Гомбрович называет «рожей», которая может намертво прирасти к лицу, заменить его собой. Как понять эту метафору, прочно вошедшую в польскую литературу и критику? Может, ключ к ней в том, что герой романа испытывает на себе «диктатуру усредненной массы», враждебной к личности, стремящейся приладить ей рожу по образу и подобию собственной, да еще прилепить ей «попочку», ибо в представлениях «серьезных людей» чистота и свобода — всего лишь наивность, невинность, незрелость.

В 30-е годы, когда писался роман «Фердидурка», то, что мы называем сегодня массовой культурой, только-только зарождалось. И Гомбрович был среди первых,

[1] Я рискнул приспособить к русскому уху эту бессмыслицу, которая по-польски звучит так: Фэрдыдуркэ.

кто сумел понять, предугадать, прочувствовать те сложнейшие проблемы, с которыми стандартизированное общество XX века, защищающее себя стандартизированной «культурой» мысли, социального поведения, искусства, столкнет человека, индивидуальность, личность. Он увидел угрозу в жесткой и нетерпимой «зрелости» конформизма, способного лишить человека искренности, самостоятельности, свободы.

«Фердидурка» — чтение захватывающее, но не простое. Это и философская повесть, и гротеск, и литературное эссе, и лирическая исповедь, изрядно приправленная сарказмом и самоиронией,— единственной, пожалуй, надежной интеллектуальной защитой души в век безудержного прогресса всего и вся. Но, конечно же, «Фердидурка» — это прежде всего настоящая литература.

Глава I

ПОХИЩЕНИЕ

Во вторник я проснулся в тот бездушный и призрачный миг, когда ночь, собственно, уже кончилась, а рассвет еще не успел как следует устояться. Внезапно вырванный из сна, я чуть было не помчал в такси на вокзал, ибо представлялось мне, я уезжаю,— и тут только с горечью осознал, что поезда на вокзале для меня нет, никакой час для меня не пробил. Я лежал в тусклом свете, и тело мое непереносимо боялось, стискивая страхом мой дух, дух стискивал тело, и каждый прекрошечный нервик сжимался в ожидании того, что ничего не произойдет, ничего не переменится, ничего никогда не наступит и — на что бы ни решиться — не начнется ровным счетом ничего. Это был ужас несуществования, страх небытия, боязнь нежизни, опасение нереальности, биологический вопль всех моих клеток, напуганных внутренним раздором, раздроблением и распылением. Ужас непристойной мелкости и мелочности, переполох распада, паника, порождаемая созерцанием обломка, страх перед насилием, тем, которое гнездилось во мне самом, и тем, которое угрожало извне,— а самое главное, мне постоянно сопутствовало, не отставая ни на шаг, нечто, что я мог бы определить как ощущение непрекращающегося передразнивания и издевок клеточек моего существа, насмешливости, присущей разнузданным частям моего тела и аналогичным частям моего духа.

Сон, который докучал мне ночью и разбудил меня, был выражением ужаса. Время хлынуло вспять, что должно быть воспрещено природе, я увидел себя таким, каким был в пятнадцать и шестнадцать лет,— я перенесся в юность,— и, стоя на ветру, на камне, возле самой мельницы над рекой, я что-то говорил, слышал свой давно погребенный петушиный, писклявый голосок, видел нос, не вытянувшийся еще на недолепленном лице, и чересчур большие руки — я чувствовал неприятную вязкость той промежуточной, переходной фазы развития. Я пробудился, смеясь и страшась, ибо мне казалось, что тот, каков я сейчас, а мне за тридцать, передразнивает и высмеивает собой неоперившегося молокососа, каким я был, а он, в свою очередь, передразнивает меня, и что оба мы — на равных — друг другом передразнены. О ты, несчастная память, которая велишь знать, какими путями пришли мы к нынешнему своему достатку! И потом, почудилось мне в полусне, но уже по пробуждении, что тело мое не единообразно, что некоторые его части еще ребячьи и что моя голова язвит и издевается над коленкой, а коленка над головой, что палец измывается над сердцем, сердце — над мозгом, нос — над глазом, глаз потешается и гогочет над носом,— и все эти части дико набрасываются друг на друга в атмосфере всеохватного и трогательного всеиздевательства. А когда я уже совсем пришел в себя и принялся размышлять над собственной жизнью, ужас не уменьшился ни на йоту, но стал еще сильнее, хотя порой его перебивал (или подкреплял) смешок, от которого рот не способен был удержаться. На полдороге жития моего очутился я в чаще темного леса. Лес этот, что хуже всего, был з е л е н ы й.

Ибо наяву я был тоже неустоявшийся, разрозненный — как и во сне. Недавно я перешел Рубикон неотвратимого тридцатилетия, миновал верстовой столб, по метрике, по внешности я был человек зрелый, однако же я им не был — ибо чем же я был? Тридцатилетним игроком в бридж? Случайным и временным работником, который устраивал свои мелкие житейские дела и набивал себе шишки? Каково же было мое положение? Я ходил по кафе и барам, встречался с людьми, обмениваясь с ними словами, иногда даже мыслями, но положение мое оставалось непроясненным, я и сам не знал, человек ли я, молокосос ли; и вот на рубеже лет я не был ни тем, ни другим — я был ничем,— а ровесники, которые уже обзавелись семьями и заняли определенные позиции, не столько в жизни, сколько в различных государственных учреждениях, относились ко мне с оправданным недоверием. Тетушки мои, эти многочисленные четвертьматери сбоку припека, но искренне любящие, с давних пор старались повлиять на меня, побуждая остепениться, скажем, стать адвокатом или чиновником,— неопределенность моя необыкновенно их огорчала, они не знали, как говорить со мною, не зная, кто я такой, они все больше бубнили.

— Юзек,— говаривали они между одним бу-бу и другим,— самое время, деточка. Что люди скажут? Ну, не хочешь быть доктором, так стань хоть бабником или лошадником, но пусть будет известно... пусть будет известно...

И я слышал, как одна нашептывала другой, что я не умею вести себя в обществе и неопытен в жизни, а потом они опять принимались бубнить, измученные опустошением, которое я учинял в их головах. В сущности, такое состояние не могло продолжаться вечно. Стрелки часов природы были неумолимы и категоричны. Когда последние зубы, зубы мудрости, у меня выросли, надлежало признать — развитие состоялось, пришло время неизбежного душегубства, мужчина должен убить неутешное в скорби дитя, вспорхнуть, словно бабочка, покинув труп куколки, которая завершила свой путь. Из тумана, из хаоса, из мутных пойменных вод, водоворотов, шумов, течений, из лозняка и камышей, из лягушачьего кваканья мне предстояло переместиться в мир форм прозрачных, строгих — причесаться, привести себя в порядок, войти в общественную жизнь взрослых и присоединиться к их болтовне.

Как бы не так! Я пробовал уже, старался — и меня передернуло смешком при мысли о результатах этой пробы. Дабы причесаться и по мере сил прояснить, я засел за написание книги — странно, но мне показалось, что мое пришествие в мир не может обойтись без прояснения, хотя никто еще не видел прояснения, которое не было бы затемнением. Я стремился книгой наперед купить их благоволение, чтобы потом, когда произойдет личная встреча, вступить на почву уже подготовленную, и — рассчитывал я — коли сумею взрастить в их душах благоприятное представление о себе, представление это в свою очередь сформирует и меня самого; таким способом я, даже если и не захотел бы того, сделаюсь взрослым. Почему, однако, перо подвело меня? Отчего священный стыд не позволил мне написать расхоже-легковесный роман, и вместо того, чтобы вытягивать возвышенные сюжеты из сердца, из души, я вытянул их из нижних конечностей, вставил в текст каких-то лягушек, ноги, вещи все сплошь незрелые и бродящие, единственно стилем, тоном, холодным и сдержанным, изолируя их на бумаге, свидетельствуя, вот, мол, жажду расстаться с брожением? Почему, словно наперекор собственным намерениям, дал я книге название «Дневник времен возмужания»? Тщетно друзья отговаривали меня от такого заглавия и советовали вообще поостеречься малейших намеков на незрелость.— Не делай этого,— просили меня,— незрелость — понятие рискованное, если ты сам себя признаешь незрелым, кто же тебя признает зрелым? Неужто не понимаешь, что первое условие зрелости, без которого ни-ни,— самому признать себя зрелым? Но мне казалось, что просто не стоит слишком легко и задешево изгонять из себя сопля-

ка, что Взрослые чересчур сметливы и проницательны, чтобы дать провести себя, и что тому, за кем сопляк без устали ходит по пятам, нельзя публично показываться без сопляка. У меня, возможно, было сверхмеры серьезное отношение к серьезности, я изрядно переоценил взрослость взрослых.

Воспоминания, воспоминания! Уткнув голову в подушку, спрятав ноги под одеяло, сотрясаясь то от смеха, то от ужаса, я подводил итог своему пришествию в мир взрослых. Слишком упорно молчат об интимных, душевных царапинах и язвах этого пришествия, последствия которого не изживаются никогда. Литераторы, эти люди, обладающие божественным даром рассказывать о вещах самых от них далеких и самых им безразличных, таких, к примеру, как драма императора Карла II, доведенного до отчаяния замужеством Брунгильды, и в мыслях не позволяют себе обратиться к наиважнейшей проблеме собственного их превращения в человека публичного, общественного. Им, видимо, страстно хотелось бы, дабы каждый думал, будто они писатели милостью Божьей, а не — человеческой, будто вместе со своим талантом они свалились на землю с неба; они стесняются открыть, какими собственными своими уступками, каким личным поражением оплатили они право расписывать Брунгильду или хотя бы жизнь пчеловодов. Нет, о собственной жизни ни слова — только о жизни пчеловодов. Наверняка, сочинивши двадцать книг о жизни пчеловодов, можно сделаться изваянием,— но какая же связь, где единение короля пчеловодов с мужчиною, скрывающимся под личиною короля, где единение этого мужчины с юношей, юноши — с подростком, подростка — с ребенком, которым ведь всякий некогда был, какой прок вашему сопляку от вашего короля? Жизнь, которая не принимает в расчет этих связей и единений, которая не реализует собственного развития во всей полноте, напоминает дом, строящийся с крыши, и она неотвратимо должна привести к шизофреническому раздвоению личности.

Воспоминания! Проклятие человечества состоит в том, что существование наше на этом свете не терпит никакой четкой и устойчивой иерархии, что, напротив, все постоянно течет, переливается, движется, и каждый должен быть прочувствован и оценен каждым, а представление о нас людей темных, ограниченных и тупых не менее важно, чем представление людей умных, светлых и тонких. Ибо человек крепчайшим образом скован своим отражением в душе другого человека, даже если это и душа кретина. И я решительно возражаю против точки зрения тех моих собратьев по перу, которые, заслышав мнение тупиц, принимают позу аристократическую и надменную, провозглашая, что «odi profanum vulgus» [1]. Какой дешевый, простецкий способ уклонения от действительности, какое жалкое бегство в фальшивое высокомерие! Я же, в противовес этому, утверждаю, что чем суждение тупее и ничтожнее, тем оно для нас существеннее и необходимее, это совершенно так же, как тесный башмак дает нам знать о себе куда откровеннее, чем башмак, сделанный по ноге. Ох, уж эта молва людская, эта бездна соображений и мнений о твоем уме, сердце, характере, о всех подробностях твоей натуры — бездна, отверзающаяся перед храбрецом, который мысли свои приодел типографским шрифтом и пустил гулять в люди на бумаге, о бумага, бумага, печать, печать! И я не веду тут речь о самых сердечных, самых приятных суждениях семейных тетушек наших, нет, я, скорее, намеревался коснуться суждений тетушек иных — тетушек от культуры, тех многочисленных четвертьавторш и за волосы притянутых полукритикесс, публикующих свои приговоры в газетах и журналах. Ибо мировую культуру облепил рой старушенций, пришпиленных, прилатанных к литературе, чрезмерно погруженных в духовные ценности и подкованных эстетически, чаще всего обладающих какими-то своими взглядами и мыслями, просвещенных насчет того, что Оскар

---

[1] Презираю невежественную толпу *(лат.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Уайльд устарел, а Бернард Шоу — мастер парадокса. Ах, они-то знают, что надобно быть независимой, категоричной и глубокой, и потому, как правило, они независимы, глубоки и категоричны в меру, да вдобавок их распирает тетушкина доброта. Тетя, тетя, тетя! О, кто никогда молча и без стонов не лежал на рабочем столе тетушки от культуры и не был кромсаем этой их ментальностью, все усредняющей и отнимающей у жизни всякую жизнь, кто не прочитал в газете тетушкиного о себе суждения, тот не знает пустячка, тот не ведает, что такое в тетушке пустячок.

А теперь возьмем суждения помещиков и помещиц, суждения гимназисток, никчемные суждения мелких чиновников и бюрократические суждения высокопоставленных чиновников, суждения провинциальных адвокатов, преувеличенные суждения учащихся, самонадеянные суждения старцев, равно как и суждения публицистов, суждения общественных деятелей, суждения жен докторов, наконец, суждения детей, прислушивающихся к суждениям родителей, суждения горничных, служанок и кухарок, суждения двоюродных сестричек, суждения гимназисток — целое море суждений, каждое из которых вычерчивает тебя в другом человеке и творит тебя в его душе. Ты будто рождаешься в тысяче меленьких душ! Но мое положение тут было труднее и непристойнее ровно настолько, насколько моя книга была труднее, непристойнее обычной взрослой литературы. Правда, она помогла мне обзавестись кружком незаурядных друзей, и если бы тетушки от культуры, а также иные представители черни могли слышать, как в узком и даже не доступном их воображению кружке Признанных и Великолепных потчуют меня великолепием и признанием, как я веду интеллектуальные беседы в заоблачных высях, они, верно, пали бы передо мною ниц и принялись вылизывать мои пятки. С другой же стороны, в книге, по-видимому, должно было быть нечто незрелое, такое, что располагало к доверительности и притягивало существа желеобразные, ни рыба ни мясо, самый страшный слой полуинтеллигентов — период возмужания приманивал к себе полусвет культуры. Вероятно, чересчур изысканная для темных умов книга в то же самое время была недостаточно надменной и напыщенной в глазах толпы, которая чувствительна только к внешним признакам серьезности. И не однажды, выйдя из мест священных и прекрасных, где я бывал обласкан уважением, я встречал на улице какую-нибудь жену инженера или гимназистку, которые видели во мне родственную душу, недозрелого побратима и земляка, похлопывали меня по плечу и восклицали: — Привет, Юзек, ты глупый, ты — ты незрелый! — Вот так для одних я был умный, для других глупый, для одних — значительный, для других — едва приметный, для одних — заурядный, для других — аристократичный! Распятый между превосходством и ничтожеством, сродненный и с тем и с другим, уважаемый и пренебрегаемый, гордый и презираемый, способный и неспособный, как придется, как сложатся обстоятельства! С той поры жизнь моя стала еще раздвоеннее, чем в те дни, которые я провел в тиши дома. И я не знал, чей я — тех, кто ценит меня, или тех, кто меня не ценит.

Но всего хуже то, что, ненавидя толпу полуинтеллигентов, как, пожалуй, никто никогда еще ее не ненавидел, ненавидя непримиримо, я сам себе изменял с толпой; отбивался от элиты и аристократии и бежал ее дружески распахнутых объятий, бросаясь в хамские лапы тех, кто считал меня молокососом. В сущности, первостепенное значение, предрешающее дальнейшее развитие, имеет то, с о о б р а з у я с ь с ч е м человек определяет свою позицию и себя лепит — к примеру, действуя, говоря, меля чепуху, сочиняя, он либо берет в расчет, принимает во внимание одних только взрослых, состоявшихся людей, мир понятий ясных и четких, либо же его постоянно преследует видение толпы, незрелости, учеников, гимназисток, помещиков и землевладельцев, тетушек от культуры, публицистов и фельетонистов, видение подозрительного, взбаламученного полусвета, который где-то там подстерегает тебя и неспешно

обвивает тебя зеленью, наподобие вьюнов, лиан и иных растений в Африке. Ни на миг не мог я забыть о недосвете недочеловеческих людей,— и, панически страшась, ужасно презирая его, содрогаясь от одной только мысли о его болотной зелени, я, однако же, не умел от него оторваться, был им заворожен, как кролик удавом. Словно какой-то демон искушал меня незрелостью! Словно в антимирах я благоволил низшей сфере и любил ее — за то, что она удерживает меня подле себя молокососом. Я и секунды не мог говорить умно, хотя бы настолько, насколько меня хватает, ибо я знал, что где-то в неведомой провинции некий доктор считает меня глупцом и ждет от меня одних только глупостей; и я никак не мог вести себя в компании пристойно и серьезно, ибо знал, что некоторые гимназистки ждут от меня сплошных непристойностей. Воистину, в духовном мире вершится перманентное насилие, мы не самостоятельны, мы только функция других людей, мы обязаны быть такими, какими нас видят, а уж личным моим провалом было то, что с каким-то болезненным наслаждением охотнее всего я шел в зависимость к недоросткам, переросткам, подросткам да тетушкам от культуры. Ах вечно, вечно тетка на шее — быть наивным того ради, что некто наивный полагает, что ты наивный,— быть глупцом того ради, что глупец считает тебя глупцом, быть зеленым того ради, что кто-то незрелый погружает тебя в собственную зелень и полощет тебя в ней,— ах, так и сбрендить можно, если бы не это словечко «ах», которое хоть как-то позволяет жить! Чуть не рукой касаться этого высшего и взрослого мира — и не пробиться в него, находиться в шаге от изысканности, элегантности, ума, серьезности, от зрелых суждений, от взаимного одобрения, иерархия ценностей — и всего лишь через стекло лизать эти конфетки, не иметь доступа ко всему этому, быть приложением. Общаться со взрослыми и по-прежнему, как в шестнадцать лет, оставаться под впечатлением, что ты только прикидываешься взрослым? Притворяться писателем и сочинителем, пародировать литературный стиль и зрелые, изысканные обороты речи? Вступать как художник в беспощадную публичную схватку во имя собственного «я», тайком помогая своим врагам?

О да, перешагнув порог общественной жизни, я был рукоположен в полусвет, щедро натерт благовониями низшей сферы. Но еще больше запутывало дело то, что мое поведение в обществе тоже оставляло желать лучшего, было никчемным, невыразительным и не защищало меня от львов полусвета. Некая неумелость, порожденная упрямством, а может опаской, мешала мне спеться с какой-нибудь зрелостью, и не раз, бывало, я со страху просто щипал ту особу, которая льстиво лезла своим духом в мой дух. Как же завидовал я тем литераторам, уже в колыбели возвышенным и, видимо, предрасположенным к избранности, писателям, Душа которых неустанно карабкалась ввысь, будто ее щекотали шилом в ягодицу,— писателям солидным, Душа которых воспринималась всерьез и которые с врожденной легкостью, в великих творческих муках орудовали в сфере понятий столь высоких, заоблачных и раз навсегда освященных, что сам Господь Бог был для них чем-то чуть ли не простонародным и недостаточно благородным. Отчего же не всякому позволено написать еще один роман о любви либо с безмерной болью разодрать какую-нибудь общественную рану и стать Борцом за дело угнетенных? Либо слагать стихи и сделаться Поэтом и верить в «лучезарное будущее поэзии»? Быть талантливым и своим духом насыщать и взбадривать массы духов неталантливых? Ах, какое же удовольствие казниться и мучаться, приносить себя в жертву и сгорать, но неизменно в сферах возвышенных, в категориях таких утонченных, таких взрослых. Удовлетворение для себя и удовлетворение для других — самовыражаться, черпая из богатств тысячелетних культурных институтов с такою уверенностью, будто это твой собственный счетец в банке. Но я, к сожалению, был молокосос, и молокососие мое было единственным моим культурным институтом. Дважды пойманный и связанный — один

раз собственным младенческим прошлым, о котором я позабыть не мог, другой раз младенчеством воображения людей обо мне, той карикатурой, которой я запечатлевался в их душах,— печальный, невольник зелени, э, насекомое в зарослях, беспредельных и густых.

Положение не только тягостное, но и угрожающее. Ибо Взрослые ни к чему иному не питают такого отвращения, как к незрелости, и нет для них ничего ее ненавистнее. Они легко снесут любое, самое страстное бунтарство, лишь бы оно укладывалось в рамки зрелости, им не страшен революционер, который один зрелый идеал повергает другим зрелым идеалом и, к примеру, Монархию разрушает Республикой либо же, наоборот, Республику надкусит и сожрет Монархией. Да, конечно, они с удовольствием наблюдают за тем, как приходит в движение зрелое, возвышенное дело. Но если они пронюхают у кого-нибудь незрелость, если почуют запах молокососа и сопляка, тотчас же набросятся на него, заклюют, как лебеди утку,— сарказмом, иронией, издевкой ухайдакают, не допустят, чтобы паскудил им гнездо подкидыш из мира, от которого они давно уже отреклись. Так чем же это кончится? Куда я так зайду? На какой почве (думал я) возросло это мое рабство недоделанности, это самозабвение в зелени — оттого ли, что я родился в краю, необычайно обильном существами неприспособленными, ущербными, промежуточными, где никто и воротничка толком носить не умеет, где не столько Печаль и Судьба, сколько Растяпа и Раззява шагают по полям и постанывают? А может, оттого, что жил я в эпоху, которая каждые пять минут горазда на новые лозунги и причуды и судорожно, во всю мочь, кривит лик свой,— в эпоху промежуточную?.. Белесый свет сочился сквозь неплотно прикрытые шторы, ну а я, подводя таким вот образом итоги собственной жизни, заливался краской, непристойный смешок подкидывал меня под простыней — и я разражался беспомощным животным смехом, механическим, ножным, будто мне щекотали пятку, будто не лицо мое хохотало, а нога. Надлежало поскорее с этим покончить, порвать с младенчеством, принять решение и начать сызнова — надлежало что-то делать! Позабыть, наконец, позабыть о гимназистках! Порвать с влюбленностью тетушек от культуры и сельских жительниц, позабыть о мелких, злых чиновниках, позабыть о ноге и собственном позорном прошлом, запрезирать молокососа и сопляка — прочно консолидироваться на взрослой платформе, ах, занять в конце концов эту крайне аристократическую позицию, запрезирать, запрезирать! Не то чтобы, как это было до сих пор, незрелостью возбуждать, притягивать, приманивать незрелость других, но, напротив,— извлечь из себя зрелость, зрелостью подвигнуть их к зрелости, душой заговорить с душой! Душой? Но разве позволительно запамятовать о ноге? Душой? А нога где? Позволительно ли запамятовать о ногах тетушек от культуры? И потом — что будет, если вопреки всему не удастся сладить с распускающейся повсюду, пульсирующей, растущей зеленью (почти наверняка не удастся), что будет, если я к ним обращусь зрело, а они по старинке воспримут меня незрелым, если я к ним с умом, а они ко мне с глупостью? Нет, нет, в таком случае незрело предпочитаю первым начать я, не хочу ставить свою мудрость под удар их глупости, лучше уж против них двинуть глупость! А впрочем, не хочу, не хочу, желаю с ними, люблю, люблю эти почки, ростки, эти зеленые кустики, о! — я почувствовал, что опять меня похищают, заключают в любовные объятия, я снова залился смехом механическим, ножным и запел непристойную песенку:

В Сколимове, у Фарамушки на вилле,
В комнатке бонны, барышни Миты,
Были в шкафу два бандита укрыты —

...и вдруг во рту моем сделалось горько, горло пересохло — я обнаружил, что не один. Кто-то, кроме меня, был в углу, подле печки, куда свет пока не добрался — в комнате был другой человек.

Однако же дверь заперта на ключ. Так, значит, не человек, всего только призрак? Призрак? Черт? Страх? Покойник? И тотчас же я ощутил, что не покойник, а живой человек, и вмиг весь сжался в комок — я почувствовал человека, как собака собаку. И опять во рту сушь, сердце колошматит, дыхание прерывается — это сам я стоял у печки. На сей раз то не был сон — у печки действительно стоял мой двойник. Я, правда, заметил, что он напуган еще больше меня; стоял, опустив голову, глаза долу, руки по швам — его страх придал мне смелости. Из-под одеяла рассматривал я украдкой вроде бы самого себя и видел это лицо, которое было мое и не мое. Оно проступало сквозь густую, темную зелень, само же не такое зеленое,— это личина, которую я носил на себе. Вот нос мой... вот мой рот... вот уши мои, дом мой. Приветствую вас, знакомые углы! И какие знакомые! Как хорошо знал я это искривление губ, выдающее укрываемый страх. Вот уголки рта — вот подбородок — вот ухо, которое когда-то порвал мне Здзись,— знаки и признаки двоякого рода воздействий, лицо, которое смяли две силы, внутренняя и внешняя. Было это мое — или же я этим был — или все-таки это было чужое — а я, однако, этим был.

Мне вдруг показалось невероятным, чтобы это мог быть я. Когда в зеркале мы неожиданно увидим себя, какой-то миг мы еще сомневаемся, мы ли это,— вот точно так же меня удивила и покоробила поразительная конкретность этой фигуры. Со странно укороченными и причесанными волосами, с веками, в брюках, с устройством для слуха, зрения и дыхания — да, ведь это же все мое, но я ли это был? Уточненный — четкий в очертаниях и до мелочей прорисованный, подробный... чересчур четкий. Он, должно быть, заметил, что я вижу его подробности, поскольку еще больше сконфузился, еле приметно усмехнулся и сделал робкое движение рукой, растворившееся во мраке.

Но свет в окне набирал силу, и фигура прочерчивалась все резче — уже пальцы рук были видны и ногти — и я все это видел... а дух, видя, что я вижу, как-то нахохлился и, не поднимая глаз, делал мне рукою знаки, чтобы я не смотрел на него. Не мог я не смотреть. Так вот, значит, каким я был. Чудной, и вправду, как мадам Помпадур. И случайный. Почему такой, а не иной? Химера. Все его недостатки и несовершенства обнажались при свете дня, а он стоял съежившись, словно ночная тварь какая-нибудь, которую солнце обрекает на роль добычи,— вроде крысы, пойманной посреди комнаты. И подробности проступали все осязаемее, все страшнее, отовсюду вылезали наружу у него части тела, разрозненные части, и части эти были старательно вычерчены, конкретизированы... до пределов позорной выразительности... до пределов позора... Я видел палец, ногти, нос, глаз, бедро и ступню, и все это было вывернуто наружу,— будто загипнотизированный подробностями, я встал и сделал шаг ему навстречу. Он вздрогнул и замахал рукой — словно извинялся передо мной за себя и говорил, что, мол, это не то, что, мол, все равно — позволь, прости, оставь... но жест его, начатый предостерегающе, завершился как-то пошло,— я двинулся на него и не в силах уже сдержать вытянутой руки со всего маху вмазал ему по физиономии. Вон! Вон! Нет, да это же не я вовсе! Это что-то случайное, что-то чужое, навязанное, какой-то компромисс между внешним и внутренним мирами, это вовсе не м о е тело! Он застонал и исчез — дал стрекача. А я остался один, да, собственно, не один — ибо меня не было, я не чувствовал, чтобы я был, и каждая мысль, каждый мой порыв, поступок, слово — все казалось мне не моим, а вроде как помещенным вне меня, сделанным для меня,— а на самом-то деле я другой! И тогда охватило меня страшное возмущение. Ах, создать собственную свою форму! Выплеснуться наружу! Самовыразиться! Пусть же мой образ рождается из меня, пусть никто его мне для меня не лепит! Возмущение бросает меня к бумаге. Я вытаскиваю стопку листков из ящика, и вот уже наступает рассвет, солнце заливает комнату, служанка вносит утренний кофе и булочки, а я в окружении блистательных и отточенных

форм принимаюсь за первые страницы собственного моего творения, такого, как я, идентичного мне, источающегося прямо из меня, творения, суверенно выражающего собственную мою правду, обращенную против всего и против всех, но тут вдруг раздается звонок, служанка открывает, в дверях появляется Т. Пимко, доктор и профессор, а точнее говоря, преподаватель, эрудированный филолог из Кракова, крохотный, низенький, худосочный, плешивый и в пенсне, в полосатых брюках, в коротеньком сюртучке, с выпуклыми и желтыми ногтями, в шевровых штиблетиках, желтых.

Вы знаете профессора?
Вам известен профессор?
Профессор?

Ой, ой, ой, ой, ой! При виде этой Формы, так несносно банальной и донельзя опошленной, я бросился на свои тексты, накрыв их всем телом, но он сел, так что и мне пришлось сесть, а сев, я выразил ему соболезнования в связи со смертью некой тетушки, которая умерла довольно давно и о которой я совершенно позабыл.

— Память об усопших,— сказал Пимко,— это ковчег завета над прошлым и грядущим поколеньем, как и песнь народа (Мицкевич) [1]. Мы проживаем жизнь умерших (О. Конт) [2]. Тетушка ваша скончалась, и это причина, по которой можно и даже нужно посвятить ей фрагмент культурной мысли. У покойницы были свои недостатки (он их перечислил), но она обладала и достоинствами (он их перечислил), принося тем самым пользу всем, в целом книга неплоха, то есть, я хотел сказать, скорее на троечку с плюсом — ну, в конце концов, коротко говоря, покойница была фактором положительным, суммарная оценка вышла позитивной, и я посчитал для себя приятным долгом сказать вам об этом, я, Пимко, стоящий на страже культурных ценностей, к которым, без сомнения, принадлежит и тетушка, тем более что она уже покойная. А впрочем,— добавил он снисходительно,— de mortuis nihil nisi bene, о мертвых либо ничего, либо хорошее,— так что, хоть и можно было бы еще указать на то да на се, но зачем же расхолаживать молодого автора — прошу прощения, племянника... Но что это? — воскликнул он, заметя на столе начатую рукопись.— Не только, стало быть, племянник, но и автор! Вижу, пробуем свои силенки на ниве? Цып, цып, цып, автор! Посмотрю вот сейчас и приободрю...

И, не поднявшись с места, Пимко потянулся через стол за листками, при этом он надел пенсне и продолжал сидеть.

— Это не... Это просто так,— пробормотал я сидя. Все вдруг пошло кувырком. Тетушка и автор вывели меня из себя.— Ну, ну, ну,— проговорил он,— цып, цып, курочка.

Приговаривая так, он протирал глаз, а затем вынул сигарету и, держа ее двумя пальцами левой руки, двумя пальцами правой руки стал разминать; тут он чихнул, ибо табачинки попали ему в нос, и, сидя, взялся за чтение. И сидел он умно, читая. А мне, когда я увидел, что он читает, сделалось дурно. Мир мой пошел прахом и стал тотчас же заново отстраиваться на началах классического учителишки. Я не мог кинуться на него, ибо я сидел, а сидел я, ибо сидел он. Ни с того ни с сего сидение это вылезло на первый план и превратилось в самую большую преграду. И я ерзал на стуле, не зная, что сделать и как себя повести, начал водить ногой по полу, разглядывать стены и грызть ногти, а он тем временем последовательно и логично сидел, и это его сидение было упорядоченным и отдавало читающим учителишкой. Тянулось это кошмарно долго. Минуты тяжелели часами, а секунды раздувались, и

---

[1] См. строки из поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод»:
О песнь народа! Ты — ковчег завета
Над прошлым и грядущим поколеньем!
(Перев. Н. Асеева)

[2] Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, представитель позитивизма.

я чувствовал себя нелепо, словно море, которое кто-то захотел высосать через трубочку. Я простонал:

— Бога ради, только не учителишка! Только не учителишкой!

Колючий, недвижный учителишка убивал меня. Но он продолжал учительски читать и утюжить мой живой текст, типично по-учительски поднося лист близко к глазам, а за окном дом стоял, двенадцать окон вдоль и поперек! Сон?! Явь?! Зачем он сюда пришел? Зачем сидел, зачем я сидел? Каким это чудом все, что было перед тем, сны, воспоминания, тетушки, муки, дýхи, начатое сочинение — все оборотилось сидением заурядного учителишки? Мир съежился в учителишку. Это становилось невыносимым. Он сидел осмысленно (ибо читал), а я сидел бессмысленно. Я было судорожно встрепенулся, чтобы встать, но в этот именно миг он снисходительно и цепко взглянул на меня из-под пенсне — я уменьшился, нога стала ножкой, рука — ручкой, персона — персонкой, человек — человечком, сочинение — сочиненьицем, тело — тельцем, а он вырастал и сидел, посматривая на меня и читая рукопись мою веки вечные, аминь,— он сидел.

Знакома ли вам такая поразительная вещь, когда вы в ком-нибудь уменьшаетесь? Ах, мельчать в тетушке — это нечто дивно непристойное, но мельчать в великом пустопорожнем учителишке — вершина непристойного ничтожества. И я заметил, что учителишка, словно корова, пасется на моей зелени. Престранное чувство — когда учителишка пощипывает твою зелень на лугу, однако же в квартире, сидя на стуле и читая,— однако же пощипывает и пасется. Со мною творилось что-то ужасное, но вне меня — что-то дурацкое, что-то нахально иррациональное.— Дух! — завопил я.— Я! Дух! А не бяка-автор! Дух! Дух живой! Я! — Но он сидел, а сидя, сидел, сидел как-то сидя, он так в сидении своем засиделся, так был в этом сидении абсолютен, что сидение, будучи окончательно глупым, было тем не менее одновременно могущественным. И, снявши с носа пенсне, он протер его платочком, после чего снова водрузил на нос, а нос был чем-то неодолимым. Это был носатый нос, пустой и тривиальный, нос учителишки, довольно длинный, составленный из двух параллельных трубочек, доведенных до совершенства. И он изрек:

— Какой еще дух?

Я заорал:

— Мой!

Он тогда спросил:

— Свойский? Отечественный?

— Не свойский, а свой!

— Свой? — добродушно переспросил он.— Мы говорим о своем духе? А известен ли нам по крайней мере дух короля Владислава? — И все сидел.

Какой еще король Владислав? Я был словно поезд, нежданно переведенный на боковую ветку короля Владислава. Я затормозил и открыл рот, сообразив, что не знаю духа короля Владислава.

— А духа истории мы знаем? А духа эллинской цивилизации? А духа галльской, духа умеренности и хорошего вкуса? А духа никому, кроме меня, не ведомого автора идиллий XVI века, который первым употребил выражение «пупок»? А духа языка? Как говорят: «влажу» или «влезаю»?

Вопрос застал меня врасплох. Сто тысяч духов вдруг задушили мой дух, я пробормотал, что не знаю, а он спросил, что мне известно о духе Каспровича[1] и каково было отношение поэта к крестьянам, после чего спросил еще про первую любовь Лелевеля[2]. Я откашлялся и незаметно покосился на ногти — ногти были чистые, шпаргалки не было. Тогда я

---

[1] Ян Каспрович (1860—1926) — польский поэт, драматург, переводчик, ученый-филолог.

[2] Иоахим Лелевель (1786—1861) — польский историк, видный деятель национально-освободительного движения.

оглянулся — словно ждал, что кто-нибудь мне подскажет. Но сзади ведь никого не было. Не верь снам своим. Что происходит? Господи? Я быстренько вернул голову в прежнюю позицию и взглянул на него, но взгляд был не мой, был то взгляд насупленный, детский, полный ученической ненависти. Неуместное и анахроничное желание возникло у меня — запустить учителю в нос бумажным шариком. Видя, что со мной творится неладное, я судорожно попытался взять себя в руки и светским тоном спросил Пимку, что нового в городе, но услышал не свой, обычный голос, а писклявый, с хрипотцой, будто он у меня снова ломался, и смолк; а Пимко спросил, что я знаю о наречиях, велел просклонять «mensa, mensae, mensae», проспрягать «amo, amas, amat» [1], поморщился, сказал:

— Ну, ладно, надо будет немножко поработать,— вытащил записную книжку и поставил мне плохую отметку, а при этом все сидел, и сидение его было окончательным, абсолютным.

Что? Что? Мне хотелось крикнуть, что я не школьник, что произошла ошибка, я было ринулся удирать, но где-то сзади что-то схватило меня будто клещами и пригвоздило к месту — детская, инфантильная попочка меня схватила. С попочкой мне было не шевельнуться, а учителишка все сидел и сидя воплощал собою такую совершенную учительковатость, что, вместо того чтобы закричать, я поднял вверх руку, как это делают в школе ученики, когда хотят, чтобы их вызвали. Пимко поморщился и сказал:

— Сиди, Ковальский. Опять в клозет?

И я сидел в нереальной бессмысленности, словно во сне, с замурованным ртом, ошколенный и вышколенный, сидел на детской попочке,— а он сидел как на Акрополе и что-то заносил в записную книжку. Наконец проговорил:

— Ну, Юзек, вставай, пойдем в школу.

— В какую школу?

— В школу дир. Пюрковского. Первоклассное учебное заведение. Там есть еще свободные места в шестом классе. У тебя в образовании прорехи — и надо прежде всего их заполнить.

— Но в какую школу?!

— В школу дир. Пюрковского. Не бойся, мы, преподаватели, любим малышню, цып, цып, цып, не мешайте крохам приходить ко мне.

— Но в какую школу?!!

— В школу дир. Пюрковского. Именно дир. Пюрковский просил меня заполнить все свободные места. Школа должна работать. Без учеников не было бы школы, а без школы не было бы преподавателей. В школу! В школу! Там-то уж сделают из тебя ученика.

— Но в какую школу?!!!

— Э, только, пожалуйста, без капризов. В школу! В школу! — Он позвал служанку, велел подать мне пальто, девушка, не понимая, почему это чужой господин меня выпроваживает, заголосила, но Пимко ее ущипнул — ущипнутая служанка не могла больше голосить, оскалилась, фыркнув смехом ущипнутой служанки. Пимко взял меня за руку и вывел из дому, а на улице стояли дома и ходили люди!

Полиция! Чересчур глупо! Чересчур глупо, чтобы такое могло быть! Невозможно, ибо чересчур глупо! Но чересчур глупо, чтобы мне упираться... Я не мог, потому что рядом замухрышка-учителишка, который был учителишкой заурядным. Совершенно так, как если с вами заговорит кто-нибудь чересчур плоско и банально, вы не можете, ну, вот потому именно и я не мог. Идиотская, инфантильная попочка меня парализовала, не оставила никаких сил к сопротивлению; семеня подле гиганта, который пер широким шагом, я из-за этой попочки ни гугу. Прощай, Дух, прощай, начатое сочинение, прощай, собственная и истинная форма, здравствуй, здравствуй, форма страшная, инфантильная, зеленая и неоперившаяся! По́шло ошколенный кроха подле великана-учителишки,

---

[1] Стол; любить *(лат.)*.

который только и бормочет без устали: — Цып, цып, курочка... Сопливенький носик... Люблю, э, э... Человечек, малыш, малыш, э, э, цып, цып, цып, цыпочка. Юзек, Юзек, Юзюня, Юзечка, маленький-маленький, цып, цып, цып, попочка, попочка, чка...— Перед нами элегантная дама вела на поводке маленького пинчера, собачонка зарычала, бросилась на Пимку, разодрала ему брючину. Пимко закричал, выставил неудовлетворительный балл собачонке и ее хозяйке, заколол брючину булавкой, и мы пошли дальше.

Глава II

ВОДВОРЕНИЕ В УЗИЛИЩЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМАЛЕНИЕ

И вот перед нами — нет, не верю собственным глазам — довольнотаки приземистое здание, школа, в которую Пимко, не обращая внимания на рыдания и протесты, тянет меня за ручку, а теперь через калитку и вталкивает. Мы прибыли как раз во время большой перемены, на школьном дворе ходили по кругу существа промежуточные, от десяти до двадцати лет, уписывая второй завтрак, состоявший из хлеба с маслом или сыром. В заборе, окаймлявшем двор, были щелки, и через те щелки глазели матушки и тетушки, которые никогда не могут наглядеться на своих чад. Пимко с наслаждением втянул в свои аристократические трубочки школьный воздух.

— Цып, цып, цып,— закричал он.— Малыш, малыш, малыш...

А между тем какой-то колченогий интеллигент, наверное дежурный педагог, подошел к нам, выражая величайшую почтительность Пимке.

— Господин учитель,— начал Пимко,— вот маленький Юзя, которого я хотел бы включить в реестр учеников шестого класса, Юзя, поздоровайся с господином учителем. Я поговорю сейчас с Пюрковским, а пока передаю его вам, пусть он осваивается со школьной жизнью.— Мне хотелось запротестовать, но я шаркнул ногой, подул легкий ветерок, зашевелились ветки деревьев, а с ними вместе и пучок волос на голове Пимки.— Надеюсь, он будет вести себя хорошо,— проговорил старый педагог, гладя меня по голове.

— Ну, а как там молодежь? — понизив голос, спросил Пимко.— Вижу, гуляют по кругу — очень хорошо. Гуляют, толкуют между собой, а матери на них в щелочки посматривают — очень хорошо. Нет ничего краше, чем матушка паренька школьного возраста за забором. Никто не сумеет извлечь из него такую свеженькую, младенческую попочку лучше, нежели матушка, надлежащим образом помещенная за забором.

— И все же они пока недостаточно наивны,— кисло пожаловался педагог.— Не хотят быть молодыми картофелинками. Наслали мы на них матушек, но дело двигается плохо. Мы все еще не можем высечь из них младенческой свежести и наивности. Вы не поверите, коллега, как они упорны и упрямы. Не хотят, и все тут.

— Падает у вас педагогическое мастерство! — резко упрекнул его Пимко.— Что? Не хотят? Должны хотеть. Я вот покажу сейчас, как стимулировать наивность. Давайте пари, что через полчаса будет двойная порция наивности. План мой состоит в следующем: я начну наблюдать за учениками и дам им по возможности наиболее наивным образом понять, что считаю их наивными и невинными. Это, естественно, их взбесит, они пожелают продемонстрировать, что не наивны, вот тут-то они и впадут в истинную наивность и невинность, столь сладкую для нас, педагогов!

— Однако же, не полагаете ли вы,— спросил педагог,— что внушать ученикам наивность — педагогический прием несколько несовременный и анахроничный?

— Вот именно! — ответил Пимко.— Побольше бы таких анахроничных приемов! Анахроничные — самые лучшие! Нет ничего лучше истин-

но анахроничных педагогических приемов! Эта милая мелюзга, воспитываемая нами в идеально нереальной атмосфере, более всего тоскует по жизни, по действительности, и потому нет для нее ничего горше собственной невинности. Ха-ха-ха, я им вмиг внушу невинность, запру их в этом добродушном понятии, словно в коробочке, и вы посмотрите, какие же они станут невинные!

И он спрятался за ствол большого дуба, стоявшего неподалеку, а меня воспитатель взял за ручку, и не успел я объясниться и запротестовать, как он ввел меня в ряды учеников. А введя, отпустил мою руку и оставил в самой их гуще.

Школьники ходили. Одни обменивались тумаками или щелчками, другие, уткнув носы в книги, беспрерывно что-то зубрили, заткнув пальцами уши, третьи дразнили товарищей либо подставляли им ножки, и их взгляды, безумные и затуманенные, скользили по мне, не открывая во мне тридцатилетнего. Я обратился к первому же попавшемуся мне под руку — был уверен, что циничный фарс вот-вот кончится.

— Извините, коллега,— начал я.— Как вы видите, я не...

Но тот заорал:

— Глядите! Новус коллегус!

Меня обступили, кто-то возопил:

— Каковым, сударь, злокозненным капризам натуры обязаны мы тому, что персона ваша столь поздно в конуре сей объявилась?

А еще кто-то запищал, кретинически смеясь:

— Неужли амуры с некоей дамой воздвигли преграды на пути почтенного коллеги? Иль спесивый коллегус нерасторопен столь?

Слыша эту диковинную речь, я смолк, будто кто мне язык прищемил, а они не унимались, словно не могли остановиться,— и чем ужаснее были эти выражения, с тем бóльшим сладострастием, с маниакальным упрямством обмазывали они ими себя и все вокруг. И говорили — благоверная девица, дама, цирюльник, Фебус, любовный огнь, карапуз, профессорус, лекциус польскус, идеалус, в охотку. Движения их были неуклюжи, лица изрыты и прыщавы, а главной темой им служили или — малолеткам — половые органы, или — старшим — половые проблемы, что в сочетании с архаизацией и латинскими окончаниями составляло невыразимо омерзительный коктейль. Казалось, их плохо во что-то воткнули, куда-то небрежно вставили, неверно разместили в пространстве и во времени, они беспрестанно поглядывали на педагога или на матерей за забором, судорожно хватались за попочки, а сознание, что за ними постоянно подсматривают, мешало им даже поглощать завтрак.

Ошеломленный, я торчал среди всего этого, не в силах решиться на объяснения и видя, что конца фарсу не предвидится. Когда школяры заметили спрятавшегося за дубом незнакомого господина, который пристально и изучающе наблюдал за ними, возбуждение их достигло предела, пополз шепот, что в школу пришел инспектор, он за дубом и подглядывает.— Инспектор! — говорили одни, хватались за книги и демонстративно приближались к дубу.— Инспектор! — говорили другие, удаляясь от дуба, но и те, и другие не могли оторвать глаз от Пимки, который, укрывшись за деревом, что-то царапал карандашом на вырванном из записной книжки листочке.— Пишет что-то,— перешептывались тут и там.— Заносит свои наблюдения.— Затем Пимко так ловко подкинул им листок, что, казалось, это ветер вырвал бумажку из рук. На листочке было написано:

«На основании своих наблюдений, проведенных в школе «Х» во время большой перемены, я констатирую, что молодежь мужского пола невинна! Таково мое глубочайшее убеждение. Доказательством тому —

внешний вид учеников, их невинные разговоры, а также их невинные и премиленькие попочки.

Т. Пимко

29.IX.193... Варшава».

Когда ученики ознакомились с содержанием записки, школьный муравейник заклокотал.— Мы невинны? Мы — сегодняшняя молодежь? Мы, которые уже ходим к женщинам? — Насмешки и смех набирали силу бурно, хотя и исподтишка, и со всех сторон понесло сарказмом. А, наивный дедушка! Какая наивность! Ха, ну и наивность! Вскоре, однако, я уразумел, что смех продолжается слишком долго... что, вместо того чтобы прекратиться, он крепчает и делается все самонадеяннее, а делаясь самонадеяннее, становится сверх меры искусственным в своем негодовании. Что же происходило? Отчего смех не утихал? И меня вдруг осенило, какую отраву впрыснул им чертоподобный и макиавеллиобразный Пимко. Ибо правда состояла в том, что эти щенята, запертые в школе и удаленные от жизни,— были невинны. Да, они были невинны, хотя и не были невинны! Они были невинны в своей страсти не быть невинными. Невинны в женских объятиях! Невинны в борьбе и драке. Невинны, когда декламировали стихи, и невинны, когда играли в бильярд. Невинны, когда ели и спали. Невинны, когда вели себя невинно. Угроза святой наивности неумолимо тяготела над ними и даже тогда, когда они проливали кровь, истязали, насиловали или ругались — все это они делали, чтобы не впасть в невинность!

Потому-то их смех, вместо того чтобы стихать, набирал и набирал силу, одни покуда еще остерегались грубой реакции, но другие сдержать себя не могли — и сперва потихоньку, потом все скоропалительнее принялись выплевывать самую грязь и словечки, которых не постыдился бы пьяный извозчик. И возбужденно, торопливо, исподтишка посыпали они жуткими ругательствами, прозвищами и прочей мерзостью, а некоторые рисовали все это мелом на заборе в виде геометрических фигур; и в осеннем прозрачном воздухе зароилось от слов, стократ худших, чем те, которыми они меня угостили ради встречи. Мне казалось, я сплю — ибо во сне случается, что мы попадаем в ситуации, глупее которых и придумать нельзя. Я пробовал их образумить.

— Зачем вы говорите ж...? — возбужденно спросил я одного.— Зачем вы говорите это?

— Заткнись, щенок! — ответил какой-то хам, награждая меня тумаком.— Это восхитительное слово! Скажи его сейчас же,— прошипел он и больно наступил мне на ногу.— Скажи его сейчас же! Это единственная наша защита от попочки! Разве не видишь, что инспектор за дубом и пристраивает нам попочку? Ты, дохлятины кусок, воображала, если сию же минуту не скажешь самых паскудных слов, я тебе штопор сделаю. Эй, Мыздраль, поди-ка сюда, пригляди, чтобы этот новенький вел себя прилично. А ты, Гопек, запусти-ка анекдотец поперченнее. Господа, поднатужимся, а то он нам тут такую популечку пристроит!

Отдав эти распоряжения, вульгарный тип, которого все называли Ментусом, подобрался к дереву и вырезал на нем четыре буковки таким образом, что они не были видны ни Пимке, ни мамашам за забором. Тихий смех, в котором отозвалось тайное удовлетворение, зазвучал вокруг, матушки за забором и Пимко за дубом также принялись добродушно посмеиваться, заслыша смех молодежи,— и воцарился смех двойной. Ибо молодые задорно смеялись тому, что провели старших, а старшие дружески смеялись над беззаботным весельем молодых,— и обе эти силы схатились друг с другом в тихом осеннем воздухе, среди листьев, падающих с дуба, в шуме школьных голосов, а старик швейцар сметал метлой мусор в мусорную яму, трава желтела, и небо было белесым...

Но Пимко за деревом в мгновение ока сделался таким наивным, сорванцы, захлебывающиеся от удовольствия,— такими наивными, подлизы с носами, воткнутыми в книги,— такими наивными, и вся вообще ситуация — такой отвратительно-наивной, что я со всеми своими так и

не высказанными протестами пошел ко дну. И не знал, кого мне спасать — себя, коллег или Пимку? Я незаметно подкрался к дереву и прошептал:

— Господин профессор.

— Что? — спросил Пимко тоже шепотом.

— Господин профессор, вы бы вышли оттуда. На другой стороне дуба они нехорошее слово написали. Вот и смеются. Вы бы вышли оттуда.

И когда я шептал в воздух эти глуповатые фразы, мне показалось, что я какой-то мистический заклинатель глупости, и я поразился собственной позиции — прикрыв рукой рот, подле дуба шепчу что-то Пимке, который стоит за дубом, да еще на школьном дворе...

— Что? — спросил профессор, сжавшийся в комочек за деревом.— Что они там написали?

Где-то далеко заиграл клаксон автомобиля.

— Нехорошее слово! Нехорошее слово они написали! Вы бы, профессор, вышли!

— Где написали?

— На дубе. С другой стороны! Вы бы, профессор, вышли! Кончайте вы с этим, профессор! Не дайте им провести вас, профессор! Вы хотели им внушить, что они невинны и наивны, а они вам четыре буквы написали... Перестаньте же дразниться, профессор. Довольно. Не могу я больше этого в воздух говорить. Я с ума сойду. Профессор, да выходите же! Хватит! Хватит!

Лениво катило бабье лето, пока я так шептал, и падали листья...

— Что, что? — закричал Пимко.— И это мне усомниться в чистоте нашей молодежи? Да никогда! И в жизни, и в педагогике я калач тертый!

Он вышел из-за дерева, а ученики, завидя это совершенство, издали дикий вопль.

— Возлюбленная молодежь! — заговорил Пимко, когда они немного угомонились.— Не думайте, будто я не знаю, что вы употребляете в разговорах между собой непристойные и нехорошие выражения. Я прекрасно знаю это. Но не бойтесь, никакие, даже самые гадкие ваши выходки не в состоянии поколебать глубокого моего убеждения, что вы, в сущности, скромны и невинны. Старый друг ваш всегда будет считать вас чистыми, скромными и невинными, он всегда будет верить в вашу скромность, чистоту и невинность. А что до нехороших словечек, то я знаю, что вы повторяете их, не понимая, просто так, похвальбы ради, кто-нибудь, верно, выучился им у служанки. Ну, ну, ничего в том дурного нет, напротив — это невиннее, чем вам самим представляется.

Он чихнул и, удовлетворенно вытерев нос, отправился в канцелярию потолковать с дир. Пюрковским по моему делу. А матушки и тетушки за забором пребывали в восторге и, бросаясь в объятия друг другу, повторяли: — Какой он искусный педагог! У наших малышей попочки, попочки! — А учеников речь Пимки привела в отчаяние. Онемев, провожали они глазами уходящего Пимку, и только когда он скрылся из виду, градом посыпались ругательства.— Вы слышали? — заревел Ментус.— Мы невинные! Невинные, черт бы его побрал, сука, зараза! Он думает, мы невинные — невинными нас считает! Всё мы ему невинные! Невинные! — и никак не мог отцепиться от этого словечка, которое его опутывало, вязало, убивало, делало наивным, невинным. И тут, однако, плотный, высокий юноша, которого товарищи звали Сифоном, как бы тоже впал в наивность, разлившуюся в воздухе, ибо сказал, будто обращаясь к самому себе, но так, что слышали все,— в воздухе ясном, прозрачном, где голос звенел, словно колокольчики на коровах в горах:

— Невинность? Зачем? Именно невинность и есть достоинство... Надо быть невинным... Зачем?

Едва он кончил, Ментус поймал его на слове:

— Что? Ты признаешь невинность?

И отступил на шаг, так это глупо прозвучало. Но взволнованный Сифон поймал его на слове.

— Признаю! Интересно, с чего бы мне не признавать? Не такой уж я в самом деле мальчишка.

Ментус, взволнованный, бросил насмешку в эхоносное пространство.

— Слышали? Сифон невинный! Ха, ха, ха́, невинный Сифон!

Раздались восклицания:

— Сифон невиннус! Неужли спесивый Сифон жены не отведал?

Посыпались фривольные рецепты на манер Рея [1] и Кохановского [2], и мир вновь на миг сделался изгаженным. Сифона, однако, рецепты эти задели за живое, и он разозлился.

— Да, я невинный! Скажу больше, я не посвящен и не понимаю, с чего бы мне этого стыдиться. Коллеги, пожалуй, никто из вас не станет всерьез утверждать, будто грязь лучше чистоты.

И он отступил на шаг, так это чудовищно прозвучало. Воцарилось молчание. Наконец послышался шепот:

— Сифон, ты не шутишь? Ты в самом деле не посвящен? Сифон, это неправда!

И каждый отступил на шаг. А Ментус сплюнул.

— Господа, это правда! Вы только посмотрите на него! Сразу видно! Тьфу! Тьфу!

Мыздраль закричал:

— Сифон, не может этого быть, ты покрываешь всех нас позором, дай просветить себя!

СИФОН

Что? Я? Я должен позволить просветить себя?

ГОПЕК

Сифон, Пресвятая Богородица, Сифон, да подумай, не о тебе же только одном речь, ты нас компрометируешь, нас всех — я не смогу глаз поднять ни на одну девушку.

СИФОН

Девушек нет, есть только отроковицы.

МЕНТУС

Отр... слышали? Так, может, и отроки, а? Может, отроки?

СИФОН

Да, коллега мысли мои прочитал, отроки! Друзья, отчего нам стыдиться этого слова? Разве оно хуже других? С чего бы нам в возрожденной отчизне стыдиться отроковиц наших? Напротив, лелеять их надо в себе. Чего бы, спрашиваю я вас, искусственного цинизма ради надо стыдиться чистых слов, таких как отрок, орел, рыцарь, сокол, дева — они ведь наверняка ближе молодым сердцам нашим, нежели трактирный лексикон, коим к о л л е г а Ментальский засоряет собственное свое воображение.

— Ладно говорит! — поддакнуло несколько человек.

— Подлиза! — заорали другие.

— Коллеги! — воскликнул Сифон, уже ожесточившийся в собственной невинности, захваченный ею, ею воспламененный.— Возвысим сердца наши! Предлагаю здесь и сейчас дать клятву, что никогда не отречемся мы ни от отроковят, ни от орлят! Не отдадим земли, откуда род наш! Род наш от отроков и отроковиц ведется! Земля наша — это отроки и девы! Кто молод, кто благороден — за мной! Пароль — юношеский жар! Отзыв — юношеская вера!

На этот призыв с десяток сторонников Сифона, опаленных юношеским жаром, подняли руки и поклялись, и лица их вдруг посерьезнели и засветились. Ментус кинулся на Сифона в воздухе чистом, Сифон набычился, однако, к счастью, их развели, до драки не дошло.

---

[1] Миколай Рей (1505—1569) — первый из писателей, писавших только по-польски.

[2] Ян Кохановский (1530—1584) — выдающийся польский поэт.

— Господа,— попытался вырваться Ментус,— почему вы не дадите пинка этой орлятине, отроковятине? Или уж кровь в вас совсем застыла? Самолюбия нет? Пинка, пинка почему не дадите? Только пинок может спасти вас! Да будьте же мальчишками! Покажите ему, что мы мальчишки и девчонки, а не какие-то отроковята да отроковицы!

Он бушевал. Я смотрел на Ментуса — капельки пота покрыли лоб его, бледность разлилась по щекам. У меня теплилась надежда, что после ухода Пимки я сумею как-нибудь прийти в себя и объясниться — ха, как тут придешь в себя, когда в двух шагах в воздухе свежем и живительном все крепли и крепли наивность и невинность. Попочка преобразилась в отрока и мальчика. Мир словно распался и теперь опять срастался на началах отроковятины, мальчика. Я отступил на шаг.

Взволнованный Сифон в бледно-голубоватом пространстве, на твердой земле школьного двора, испещренной нитками теней и пятнами света, воскликнул:

— Прошу прощения, но Ментальский сеет смуту! Предлагаю не обращать на него внимания, поступим так, как будто его и нет, отступимся от него, коллеги, это изменник, предатель собственной молодости, он не признает никаких идеалов!

— Какие идеалы, осел? Какие идеалы? Твои идеалы сродни тебе, какие бы распрекрасные ни были,— барахтался Ментус в сетях собственных слов.— Неужели вы не чувствуете, не видите, что его идеалы должны быть розовыми и жирными, с огромным носом? Скоты! Скоро стыдно будет на улице показаться! Неужто не понимаете, что истинные мальчишки, сыновья сторожей и мужиков, разные там подмастерья и ученики, парни в нашем возрасте смеются над нами! Ни во что нас не ставят! Защитите мальчишку от отроковятины! — просил он всех вокруг.— Мальчишку защищайте!

Возмущение росло. Раскрасневшиеся ученики наскакивали друг на друга, Сифон стоял неподвижно, сложив руки на груди, а Ментус сжимал кулаки. За забором матушки и тетушки тоже пришли в сильное возбуждение, плохо понимая, что происходит. Но большинство учеников пребывало в нерешительности и, набивая себе рты хлебом с маслом, только и твердили:

— Неужли спесивец Ментус пакостник? Сифонус идеалистус? Зубрите же, зубрите, не то пару схватим!

Другие, не желая во все это вмешиваться, вели благопристойные беседы о спорте и прикидывались, будто их страсть как интересует какой-то футбольный матч. Но то и дело кто-нибудь, будучи, по-видимому, не в силах устоять перед жаркой и дразнящей темой спора, прислушивался, раздумывал, заливался румянцем и присоединялся к группе Сифона или же Ментуса. Преподаватель на скамейке вздремнул на солнышке и сквозь сон издалека наслаждался юношеской наивностью.— Эй, попочка, попочка,— бормотал он. Лишь одного ученика не захватило всеобщее идейное возбуждение. Он стоял в сторонке и преспокойно грелся на солнышке в своей сетчатой майке и мягких фланелевых брюках, с золотой цепочкой на запястье левой руки.— Копырда! — кричали ему обе партии.— Копырда, иди к нам! — Казалось, он возбуждал всеобщую зависть, враждебные лагери хотели его привлечь к себе, он, однако, не слушал ни тех, ни других. Выдвинул вперед одну ногу и стал ею притоптывать.

— Мы презираем мнения сторожей, подмастерьев и всяких уличных мальчишек! — крикнул Пызо, друг Сифона.— Они не интеллигентны.

— А гимназистки? — озабоченно отозвался Мыздраль.— Вы и мнения гимназисток презираете? Подумайте, что подумают гимназистки?

Раздались крики:

— Гимназистки любят чистых!

— Нет, нет, они предпочитают грязных!

— Гимназистки? — презрительно оборвал Сифон.— Нас заботит лишь мнение благородных девиц, а они с нами!

Ментус подошел к нему и срывающимся голосом сказал:

— Сифон! Ты нам этого не сделаешь! Отступи, и я отступлю! Давай отступим вместе, хочешь? Я готов... извиниться перед тобой, готов все сделать... только ты отступись от этих слов... и позволь просветить тебя. Отступись от отроковят. А я от мальчишек отступлюсь. Это не только твое личное дело.

Пылашчкевич, прежде чем ответить, смерил его ясным и мягким, но полным внутренней силы взглядом. А с таким взглядом он не мог ответить иначе, как сильно. И он ответил, отступив на шаг:

— За идеалы я готов отдать жизнь!

Но Ментус уже несся на него с кулаками.

— Айда! Айда! На него, ребята! Бить отрока! Бей, убей, бейте, убивайте отрока!

— Ко мне, отроки, ко мне! — крикнул Пылашчкевич.— Защищайте меня, я не просвещен, я отрок ваш, защищайте меня! — пронзительно орал он. И, слыша этот призыв, многие почувствовали в себе отрока, восстающего против мальчишки. Окружив Сифона плотным кольцом, они оборонялись от приспешников Ментуса. Посыпались удары, а Сифон вскочил на камень и вопил, вдохновляя своих сторонников,— но ментусовцы стали брать верх, дружина же Сифона отступала и слабела. Уже казалось, что отроку пришел конец. Но тут Сифон, почувствовав, что поражение близко, из последних сил запел на мотив «Марша соколов»:

Эй, братья, ребятки, подбавьте-ка сил,
Чтоб отрок из мертвых восстал, чтобы жил!

Песнь, тотчас же подхваченная, разумеется, крепла и вздымалась ввысь, ширилась и покатила волной. Они пели, стоя недвижно, устремив по примеру Сифона взоры свои одновременно к какой-то далекой звезде и прямо в носы неприятеля. У неприятеля из-за этого опускались сжатые в кулаки руки. Нападавшие не знали, как подобраться к обороняющимся, как их зацепить и чем, а те пели — звезда против носа,— пели все мощнее, все жарче и все восторженнее. То один, то другой ментусовец вдруг еле слышно прошепчет что-то, покрутится на месте, сделает несколько бессмысленных движений и отойдет в сторонку, наконец, и сам Ментус вынужден был робко откашляться и отойти.

...Бывает, нездоровый сон переносит нас в край, где все смущает, искажает и душит, поскольку все из времен молодости — молодое, а потому слишком уж старое для нас, отшумевшее и анахроничное, и никакая мука не сравнится с мукой такого сна, такого края. Не может быть ничего страшнее, чем возвращение к проблемам, из которых ты вырос, к проблемам таким старым, юношеским, незрелым, давно уже заброшенным в угол и решенным ... как, например, проблема невинности. О, трижды мудры те, кто живет единственно сегодняшней проблематикой, проблематикой взрослой, зрелой, а старым тетушкам оставляет проблемы, уже не актуальные. Ибо выбор тематики и проблематики бесконечно важен для личности и целых народов, и мы нередко видим, как разумный и доросший до взрослой темы человек в мгновение ока превращается в человека горько незрелого, когда ему подсовывают тему чересчур старую или чересчур молодую — не созвучную духу времени, ритму истории. Воистину, легче всего заразить мир наивностью и опрокинуть его в детство, спровоцировав его на решение подобных вопросов, и надо признать, что Пимко мастерски, как и подобает самым превосходным и искусным учителишкам, с ходу спеленал меня и моих коллег диалектикой и проблематикой, которые надежнее, чем что-нибудь еще, способны затолкнуть в детство. Казалось, я находился на самом дне сна, который меня без устали умалял и дисквалифицировал.

Туча голубей пронеслась в осеннем небе под осенним солнцем, по-

висла над крышей, присела на дуб и опять ринулась дальше. Не в силах вынести триумфальной песни Сифона, Ментус потащился вместе с Мыздралем и Гопеком в противоположный угол двора. Спустя какое-то время он настолько овладел собою, что обрел дар речи. Тупо уставился в землю. Взорвался:

— Ну и что теперь?

— Что теперь? — откликнулся Мыздраль.— Нам не остается ничего иного, как еще энергичнее употреблять самые мерзкие наши присловья! Четыре буквы, четыре буквы — вот наше единственное оружие. Это оружие нашего мальчишки!

— Опять? — спросил Ментус.— Опять? До тех пор, пока не обрыднет? Повторять и повторять одно и то же? Петь и петь эту песенку потому, что тот поет иную песнь?

Он расклеился. Вытянул руки, отступил на несколько шагов и огляделся по сторонам. Небо в вышине висело легкое, побледневшее, холодное и язвительное, дерево, рослый дуб посреди двора, повернулось задом, а старый швейцар неподалеку от ворот улыбнулся под усами и ушел.

— Парень,— прошептал Ментус.— Парень... Подумайте — если бы какой-нибудь парень услышал этот наш интеллигентский выпендреж...— И вдруг, поразившись самому себе, он бросился прочь, захотел — в воздухе прозрачном — дать стрекача.— Хватит, хватит, не хочу ни отроков, ни мальчишек, хватит этого...

Друзья его попридержали.

— Что с тобой, Мента? — говорили они, крещенные воздухом.— Ты же вождь! Без тебя мы пропадем!

Ментус, которого они держали за руки и не выпускали, уронил голову и горько произнес:

— Трудно...

Мыздраль и Гопек, потрясенные, молчали. Мыздраль, разволновавшись, поднял кусок проволоки, машинально просунул его в щель забора и ткнул им в глаз одной из матушек. Но тотчас же отбросил проволоку прочь. Матушка застонала за забором. Наконец Гопек робко спросил:

— И что же будет, Мента?

Ментус поборол минутное колебание.

— Делать нечего! — сказал он.— Придется сражаться! Сражаться до победного конца!

— Браво! — закричали они.— Вот таким мы и хотим видеть тебя! Теперь ты опять наш, наш старый Ментус!

Но вождь безнадежно махнул рукой:

— Ох уж эти ваши восклицания! Они не лучше песни Сифона! Но куда денешься — раз надо, так надо. Сражаться? Но сражаться нельзя. Ибо, допустим даже, мы отделаем его как следует, и что? Ему только того и надо — превратим его в мученика, увидите тогда, какую он преподнесет нам непоколебимую и угнетенную невинность. Да если бы мы и хотели наброситься на них, вы же видели,— они нам такое геройство выдадут, что и самый храбрый смоется. Нет, это ни к чему! И вообще все — ругательства, проделки, грязь ни к чему, ни к чему! Говорю вам, это только вода на его мельницу, это только молочко для его отроковятины. На это наверняка он и рассчитывает! Нет, нет, но, к счастью,— в голосе Ментуса зазвучала странная злоба,— к счастью, есть другой способ... более действенный... мы раз навсегда отобьем у него охоту петь.

— Как? — В вопросе приятелей Ментуса послышался отзвук надежды.

— Господа,— проговорил Ментус сухо и деловито,— если Сифон не хочет сам, мы должны силой просветить его. Надо будет его умыкнуть и связать. К счастью, есть еще уши, вот через них и доберемся до него. Мы его свяжем и так просветим, что Сифона родная матушка не узнает! Раз и навсегда испортим цацку! Но тихо! Приготовьте веревку!

Я следил за рождением этого заговора, затаив дыхание, с сердцем, готовым вырваться из груди, но тут Пимко появился в дверях школы и кивнул мне, чтобы я шел с ним к директору Пюрковскому. Снова показались голуби. Шумя крыльями, они уселись на забор, за которым были матушки. Идя по длинному школьному коридору, я лихорадочно обдумывал, как бы мне объясниться и запротестовать, однако же придумать ничего не мог, ибо Пимко сплевывал в каждую попадавшуюся по пути плевательницу и мне велел делать то же самое — в общем я не мог... и так, плюясь, мы дошли до кабинета дир. Пюрковского. Пюрковский, великан прямо-таки гигантских размеров, принял нас, сидя абсолютно и мощно, но милостиво, не мешкая, по-отцовски он ущипнул меня за щеку, создал сердечную атмосферу, взял меня рукой за подбородок, я поклонился, вместо того чтобы протестовать, а директор басом обратился над моей головой к Пимке:

— Попочка, попочка, попочка! Благодарствую за память, дорогой профессор! Бог вас не забудет, коллега, за нового ученика! Если бы все умели так умалять, мы были бы еще вдвое больше, чем сейчас! Попочка, попочка, попочка. Поверите ли, но взрослые, которых мы искусственно заталкиваем в детство и умаляем, представляют собою элемент еще лучший, чем дети в естественном состоянии? Попочка, попочка, без учеников не было бы школы, а без школы жизни бы не было! Я и впредь буду полагаться на память, заведение мое, без сомнения, заслуживает поддержки, наши методы выделки попочки не имеют себе равных, и члены педагогического коллектива подобраны с этой точки зрения самым тщательным образом. Вы не хотели бы взглянуть на членов?

— С величайшим удовольствием,— ответил Пимко,— ибо известно, что ничто так не воздействует на дух, как члены.— Директор приоткрыл дверь в канцелярию, и оба осторожно заглянули туда, за ними и я. Неподдельный ужас охватил меня! В большой комнате за столом сидели учителя и пили чай с булочками. Никогда не доводилось мне видеть вместе стольких и таких безнадежных стариков. Большинство из них шумно втягивало в себя чай, один чавкал, другой чмокал, третий сопел, четвертый хлюпал, пятый был печален и лыс, а у преподавательницы французского слезились глаза, и она вытирала их уголком платка.

— Да, господин профессор,— с гордостью отозвался директор,— члены подобраны старательно, и все они исключительно мерзки и отвратительны, тут ни одного приятного члена, все сплошь педагогические, как видите,— а если необходимость побуждает меня порой пригласить какого-нибудь преподавателя помоложе, я неизменно пекусь о том, чтобы он обладал хотя бы одной отталкивающей чертой. Так, к примеру, преподаватель истории, к сожалению, в самом соку, весьма, на первый взгляд, сносен, но обратите внимание, как он косит.— Да, но преподавательница французского выглядит премило,— фамильярно заметил Пимко.— Она заикается, и глаза слезятся.— Ну, тогда другое дело! Верно, я и не заметил в первую минуту. Но не очень ли увлекательно рассказывает она на уроке? — Да что вы, я и сам не могу минуты проговорить с нею, дважды не зевнув.— Ну, тогда другое дело! Однако достаточно ли они тактичны, достаточно ли подготовлены и понимают всю важность миссии, дабы учить? — Это самые башковитые в столице,— ответил директор,— ни у одного из них ни единой собственной мысли; а уж коли у кого и родится собственная мысль, я прогоню либо мысль, либо мыслителя. В целом все они безвредные недотепы, учат только тому, что в программах, нет, в них своя собственная мысль не удержится.— Попочка, попочка,— сказал Пимко,— вижу, моего Юзека я отдаю в надежные руки. Ибо нет ничего хуже педагогов обаятельных, особенно если у них случайно оказывается свое мнение. Лишь по-настоящему неприятный педагог способен привить ученикам ту приятную незрелость, те симпатичные беспомощность и никчемность, то неумение жить, которые должны отличать молодежь, дабы она представляла собою объект для нас, истинных педагогов по призванию. Только

с помощью надлежащим образом подобранного персонала мы сумеем вогнать в детство весь мир.— Тсс, тсс, тсс,— ответил директор Пюрковский, потянув его за рукав,— конечно, попочка, но тише, не надо об этом слишком громко.— В эту минуту один член повернулся к другому члену и спросил: — Хе, хе, гм, ну, что там? Что там, коллега? — Что там? — ответил тот член.— Подешевело.— Подешевело? — проговорил первый член.— Пожалуй, подорожало? — Подорожало? — спросил второй член.— Кажется, что-то подешевело.— Булки не хотят дешеветь,— пробормотал первый член и спрятал недоеденный кусок булки в карман.— Я их держу на диете,— шепнул директор Пюрковский,— ибо только при этом условии они достаточно анемичны. Лишь на анемичной почве вовсю расцветают фурункулы age ingrat, сиречь неблагодарного возраста.

И тут преподавательниця чистописания, увидя в дверях директора с незнакомым господином весьма важного вида, поперхнулась чаем и пронзительно запищала:

— Инспектор!

Заслышав это слово, все члены задрожали, вскочили и сбились в кучку, словно стайка куропаток, а директор, не желая пугать их еще больше, осторожно притворил дверь, после чего Пимко поцеловал меня в лоб и торжественно произнес:

— Ну, Юзя, ступай-ка в класс, скоро уже урок, а я пока поищу тебе комнату и после занятий приду сюда, чтобы отвести тебя домой.— Я хотел было запротестовать, но жестокий учителишка так стремительно вышколил меня своим абсолютным школярством, что я не смог и, поклонившись, отправился в класс, унося с собой невысказанные протесты и грохот, в котором протесты тонули. Класс тоже грохотал. Устроив всеобщую кутерьму, ученики рассаживались за парты и орали так, словно через минуту им предстояло замолкнуть навеки.

И неведомо когда на кафедре появился преподаватель. Это был тот самый член, поблекший и печальный, который в канцелярии высказал веское мнение, что, дескать, подешевело. Усевшись на стул, преподаватель раскрыл журнал, стряхнул пыль с жилетки, закатал рукава пиджака, чтобы на локтях не потерлись, сжал губы, что-то заглушил в себе и положил ногу на ногу. Затем вздохнул и попытался заговорить. Шум возобновился с удвоенной силой. Кричали все, за исключением, кажется, одного Сифона, который положительно раскладывал тетради и книги. Преподаватель посмотрел на класс, поправил манжет на брючине, собрал губы в узелок, открыл рот и опять его закрыл. Ученики заорали. Учитель поморщился, искривился, оглядел брючные манжеты, побарабанил пальцами, подумал о чем-то своем — вытащил часы, положил их на стол, вздохнув, опять что-то заглушил в себе или что-то проглотил, а может, зевнул, долго собирался с силами, наконец треснул журналом по столу и крикнул:

— Довольно! Прошу успокоиться! Урок начинается.

Тогда весь класс (кроме Сифона и нескольких его сторонников) хором выразил желание безотлагательно посетить уборную.

Преподаватель, которого прозвали Бледачкой из-за очень нездорового и землистого цвета кожи, кисло улыбнулся.

— Довольно! — привычно выкрикнул он.— Отпустить вас? Душа в рай рвется? А почему меня никто не отпускает? Почему я должен сидеть? Сесть, никого не отпущу, Ментальского и Бобковского записываю в журнал, а если еще кто рот откроет, вызову отвечать! — Тогда по меньшей мере семеро учеников представили справки, что по причине таких-то и таких-то болезней они не смогли выучить урок. Кроме того, четверо объявили, что у них болит голова, еще у одного оказалась сыпь, а кто-то пожаловался на тик и судороги.— Так,— завистливо произнес Бледачка,— а почему это мне никто не даст справку, что по независящим от меня причинам я не приготовился к уроку? Почему мне нельзя иметь судорог? Почему, спрашиваю, я не могу иметь судорог, а должен

просиживать тут каждый день, кроме воскресенья? Хватит, справки фальшивые, болезни надуманные, садитесь, нам это все знакомо! — Но трое учеников, наиболее приближенных и языкастых, подошли к кафедре и принялись рассказывать увлекательную историю про евреев и птичек. Бледачка заткнул уши.— Нет, нет,— стонал он,— не могу, помилосердствуйте, не искушайте, урок же, а что будет, если нас директор накроет.

Тут он весь затрясся, робко оглянулся на дверь, и бледный страх разлился у него по щекам.

— А если бы нас накрыл господин инспектор? Господи, предупреждаю, в школе инспектор! Вот именно!.. Я вас предупреждаю... Не время на глупости! — испуганно простонал он.— Надо немедля организоваться перед лицом высшей власти. Ну... гм... кто из вас лучше всех знает предмет? Только без паясничества, сейчас не до шуток! Поговорим совершенно серьезно. Что?! Никто ничего не знает? Вы меня погубите! Ну, может, все же кто-нибудь, ну, друзья, смелей, смелей... А-а, Пылашчкевич, говорите? Бог тебя отблагодарит, Пылашчкевич, я всегда считал тебя стоящим человеком. Ну, а что ты лучше всего выучил? «Конрада Валленрода»? Или «Дзяды»? А может, общие черты романтизма? Сознайся же, Пылашчкевич.

Сифон, уже окончательно уверовавший в отрока, встал и сказал:

— Извините, господин учитель. Если вы меня вызовете при господине инспекторе, я отвечу наилучшим образом, но сейчас я не могу предать гласности то, что я выучил, ибо, предавая, я предал бы самого себя.

— Сифон, ты нас погубишь,— в ужасе отозвались остальные.— Сифон, скажи правду!

— Ну-ну, Пылашчкевич,— примирительно заметил Бледачка.— Почему ты не хочешь сознаться? Мы же разговариваем неофициально. Откройся мне. Ты, надеюсь, не собираешься погубить меня, да и себя самого? Если не хочешь говорить прямо, тогда намекни.

— Извините, господин учитель,— ответил Сифон,— я не могу идти ни на какие компромиссы, ибо я бескомпромиссен и не могу ни отступать от данного себе слова, ни предавать себя.

И сел.

— Тю-тю,— забормотал преподаватель,— эти чувства делают тебе честь, Пылашчкевич. Но не надо принимать этого слишком близко к сердцу, это я так, пошутил частным образом. Конечно же, конечно, ломать себя не надо, что там у нас на сегодня? — сурово проговорил он и заглянул в программу.— Ах да! Рассказать и объяснить ученикам, почему Словацкий вызывает у нас любовь и восторг? Итак, господа, я продекламирую вам свой урок, а затем вы продекламируете свой! Тихо! — крикнул он, и все повалились на парты, подперев рукой головы, а Бледачка, незаметно открыв надлежащий учебник, сжал губы, вздохнул, заглушил что-то в себе и начал декламацию:

— Гм... гм... А стало быть, почему Словацкий возбуждает в нас восторг и любовь? Почему мы плачем вместе с поэтом, читая эту чу́дную, сладкозвучную поэму *«В Швейцарии»?* Почему, вслушиваясь в героические, отлитые в бронзе строфы *«Короля-Духа»,* нас охватывает порыв? И почему мы не можем оторваться от чудес и очарования *«Балладины»,* а когда зазвенят жалобы *«Лиллы Венеды»,* наше сердце разрывается на куски? И мы готовы лететь, кидаться на помощь несчастному королю? Гм.. почему? Потому, господа, что Словацкий великим был поэтом! Валкевич! Почему? Повтори, Валкевич, почему? Почему восторг, любовь, мы плачем, порыв, сердце и лететь, кидаться? Почему, Валкевич?

Казалось, снова я слышу Пимку, но Пимку с более скромным жалованьем и более узким кругозором.

— Потому, что великим был поэтом! — сказал Валкевич, ученики ковыряли перочинными ножами парты или скатывали бумажные шарики, следя, чтобы они получались совсем крошечными, и бросали их в

чернильницу. Это вроде бы был пруд, и рыбы в пруду, вот они и забрасывали леску из волоса, но дело шло плохо, бумага не хотела клевать. Тогда волосом щекотали нос или расписывались в тетрадях, без конца, кто с завитушкой, кто без, а кто-то на целую страницу вывел: — По-чему, по-че-му, по-че-му, Сло-вац-кий, Сло-вац-кий, Сло-вац-кий, вацкий, вац-кий, Ва-цек, Ва-цек-Сло-вац-кий-и-муш-ка-бло-ха. Лица у всех посерели. Улетучилось недавнее возбуждение. Ни следа от прежних споров и дискуссий — лишь двум-трем счастливчикам удалось позабыть обо всем на свете, погрузившись в Уоллеса[1]. Даже Сифону пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не поступиться своими принципами самосовершенствования и самообразования, но он умел так устроиться, что именно горечь становилась для него источником наслаждения, эдаким пробным камнем силы характера. Остальные делали на ладошке холмики и ямки и разухабисто дули в ямки — эх, эх, ямки, горки, ямки, горки. Преподаватель вздохнул, заглушил, взглянул на часы и заговорил:

— Великим поэтом! Запомните это, ибо важно! Почему любим? Ибо был великим поэтом. Великим поэтом был! Лентяи, неучи, я ведь добром вам говорю, вбейте это хорошенько в свои головы —итак, я еще раз повторю, господа: великий поэт Юлиуш Словацкий, великий поэт, возлюбим Юлиуша Словацкого и восхитимся его стихами, ибо был он великим поэтом. Запишите тему домашнего сочинения: «Почему в стихах великого поэта Юлиуша Словацкого живет бессмертная красота, которая вызывает восторг?»

Тут один ученик нервно завертелся и заныл:

— А если я вовсе не восхищаюсь? Вовсе не восхищаюсь? Не интересно мне! Не могу прочесть больше двух строф, да не интересно мне это. Господи, спаси, как это восхищает, когда меня не восхищает? — Он вытаращил глаза и осел, словно погружаясь в какую-то бездонную пропасть. Этим наивным признанием учитель чуть не подавился.

— Тише, Бога ради! — цыкнул он.— Я ставлю Галкевичу кол. Он меня хочет погубить! Галкевич, видимо, и сам не понимает, что он такое сказал?

ГАЛКЕВИЧ

Но я не могу понять! Не могу понять, как это восхищает, если не восхищает.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Как это может Галкевича не восхищать, если я тысячу раз объяснял Галкевичу, что его восхищает.

ГАЛКЕВИЧ

А меня не восхищает.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Это твое личное дело, Галкевич. По всему видно, ты не интеллигентен. Других восхищает.

ГАЛКЕВИЧ

Но, честное слово, никого не восхищает. Как может восхищать, если никто не читает, кроме нас, школьников, да и мы только потому читаем, что нас силой заставляют...

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Тише, Бога ради! Это потому, что немного людей по-настоящему культурных и на высоте...

ГАЛКЕВИЧ

Да культурные тоже не читают. Никто. Никто. Вообще никто.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Галкевич, у меня жена и ребенок! Ты хоть ребенка пожалел бы! Не подлежит сомнению, Галкевич, что великая поэзия должна нас восхищать, а ведь Словацкий был великим поэтом... Может, Словацкий

[1] Э. Р. Г. Уоллес (1875—1932) — английский писатель, автор популярных в свое время детективных романов, рассказов.

тебя и не трогает, но ведь ты, Галкевич, не скажешь, что душу твою не пронзают насквозь Мицкевич, Байрон, Пушкин, Шелли, Гёте...

ГАЛКЕВИЧ

Никого не пронзает. Никому до этого дела никакого нет, на всех они скуку наводят. Никто не в состоянии больше двух или трех строф прочитать. О Боже! Не могу...

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Галкевич, это непозволительно. Великая поэзия, будучи великой и будучи поэзией, не может не восхищать нас, а стало быть, она захватывает.

ГАЛКЕВИЧ

А я не могу. И никто не может! О Боже!

Обильный пот оросил лоб преподавателя, он вытащил из бумажника фотографию жены с ребенком и пытался тронуть ими сердце Галкевича, но тот лишь твердил и твердил свое: «Не могу, не могу». И это пронзительное «не могу» растекалось, росло, заражало, и уже из разных углов пополз шепот: «Мы тоже не можем» — и нависла угроза всеобщей несостоятельности. Преподаватель оказался в ужаснейшем тупике. В любую секунду мог произойти взрыв — чего? — несостоятельности, в любой момент мог раздаться дикий рев нежелания и достичь ушей директора и инспектора, в любой миг могло обрушиться все здание, погребя под развалинами ребенка, а Галкевич как раз и не мог, Галкевич все не мог и не мог.

Несчастный Бледачка почувствовал, что ему тоже начинает угрожать несостоятельность.

— Пылашчкевич! — крикнул он.— Ты должен немедленно доказать мне, Галкевичу и всем вообще красоту какого-нибудь замечательного отрывка! Поторопись, ибо periculum in mora! [1]. Всем слушать! Если кто пикнет, устрою контрольную! Мы должны мочь, мы должны мочь, ибо иначе с ребенком будет катастрофа!

Пылашчкевич встал и начал читать отрывок из поэмы.

И он читал. Сифон ни в малейшей степени не поддался всеобщей и столь внезапной несостоятельности, напротив — он мог всегда, поскольку именно в несостоятельности черпал он свою состоятельность. Итак, он декламировал, и декламировал взволнованно, да еще с выражением и воодушевлением. Больше того, он декламировал красиво, и красота декламации, подкрепленная красотой поэмы и величием ее автора, а также царственностью искусства, незаметно преображалась в изваяние всех мыслимых красот и величий. Больше того, он декламировал загадочно и набожно; декламировал старательно, вдохновенно; и пел песнь поэта-пророка так именно, как песнь пророка и должна петься. О, какая же красота! Какое величие, какой гений и какая поэзия! Муха, стена, чернила, ногти, потолок, доска, окна, о, угроза несостоятельности была уже отброшена, ребенок спасен, и жена тоже, уже каждый соглашался, каждый мог и только просил — кончить. И тут я заметил, что сосед мажет мне руки чернилами — свои собственные уже намазал, а теперь подбирается к моим, ибо ботиночки снимать было трудно, а чужие руки тем ужасны, что, в сущности, такие же, как собственные, ну так что же с того? Ничего. А что с ногами? Болтать? И какой толк? Спустя четверть часа сам Галкевич застонал: довольно, мол, он, дескать, уже признает, схватил, сдается, соглашается, извиняется и может.

— Ну вот видишь, Галкевич! Что сравнится со школой, когда речь идет о внедрении поклонения великим гениям!

А со слушателями происходило что-то несообразное. Различия исчезли, все, сторонники ли Сифона, приверженцы ли Ментуса, одинаково извивались под бременем пророка, поэта, Бледачки и ребенка, а также отупения. Голые стены и голые черные школьные парты с чернильни-

---

[1] Опасность в промедлении *(лат.)*.

цами уже потеряли для них всякий интерес, в окно была видна часть стены с одним выступающим кирпичом и выбитой на нем надписью: «Вылетел». Выбор был только один — либо тело учительское, либо свое собственное. И потому те, кто не затруднял себя подсчетом волос на черепе Бледачки и исследованием спутанных шнурков на его ботинках, старались пересчитать свои волосы или вывихнуть шею. Мыздраль елозил, Гопек машинально барабанил по парте, Ментус раскачивался, словно в болезненной прострации, кто-то погрузился в мечты, кто-то никак не мог отделаться от рокового желания шептать себе под нос, кто-то обрывал пуговицы, дырявил одежду, и то тут, то там зацветали джунгли и пустыни неестественных жестов и диковинных поступков. Один-единственный коварный Сифон благоденствовал тем больше, чем кошмарнее была всеобщая недоля, ибо он обладал особым внутренним устройством, с помощью которого умел наживаться даже на нищете. А преподаватель, помнящий о жене и ребенке, не закрывал рта: — Товяньский [1], Товяньский, Товяньский, мессианизм, Христос Народов, могильная лампада, жертва, сорок и четыре, вдохновение, страдание, искупление, герой и символ.— Слова влетали в уши и истязали мозг, а лица все чудовищнее искривлялись, переставая быть лицами, и, скомканные, искаженные скукой и истерзанные, готовы были принять любое выражение,— из этих лиц можно было сделать все что заблагорассудится — о, какая же тренировка воображения! А действительность, тоже истерзанная, тоже иссушенная скукой, смятая, ободранная, незаметно, потихоньку преображалась в мир идеала, дай мне теперь помечтать, дай!

Бледачка: — Пророком был! Пророчествовал! Господа, заклинаю вас, повторим-ка еще раз: мы восхищаемся, ибо он был великим поэтом, а почитаем, ибо пророком был! Незаменимое слово. Чимкевич, повтори! — Чимкевич повторил: — Пророком был!

Я понял, что мне надо удирать. Пимко, Бледачка, пророк, школа, коллеги — все пережитое с утра вдруг завертелось у меня в голове, и выпало — как в лотерее — удирать. Куда? В какие края? Я и сам точно не знал, но знал, что удирать должен, если не хочу стать жертвой странностей, которые напирали на меня со всех сторон. Но вместо того чтобы удирать, я принялся шевелить пальцем в ботинке, а шевеление это обладало парализующим свойством и гасило намерение удрать, ибо как удерешь, когда шевелишь пальцем ноги? Удирать — удирать! Удрать от Бледачки, от фикции, от скуки — но в голове у меня сидел пророк — поэт, которого мне впихнул туда Бледачка, на ноге шевелился палец, я не мог удирать, а несостоятельность моя была большей, нежели недавняя несостоятельность Галкевича. Теоретически говоря, нет ничего легче, надо просто выйти из школы и не вернуться, Пимко не стал бы разыскивать меня с полицией, щупальца попочной педагогики не были, пожалуй, так уж беспредельно длинны. Достаточно было одного — хотеть. Но хотеть я не мог. Ибо для побега необходима воля к побегу, а откуда взять волю, если шевелишь пальцем и лицо стирается гримасой скуки. И я вдруг понял, почему никто из них не мог убежать из этой школы,— это их лица и весь их облик убивали в них возможность побега, каждый был пленником собственной гримасы, и хотя они обязаны были удирать, они этого не делали, поскольку уже не были теми, кем должны были быть. Удирать — значило удирать не только из школы, но прежде всего от самого себя, ох, удрать от самого себя, от сопляка, каковым сделал меня Пимко, покинуть его, опять стать мужчиной, которым я был! Как же, однако, удирать от чего-то, чем ты е с т ь, где отыскать точку опоры, источник сопротивления? Форма наша пронизывает нас, она сковывает нашу душу так же, как и тело. Я был убежден, что, если хотя бы на миг реальность вновь обрела свои права, неправдоподобная гротесковость моего положения бросилась бы в глаза

---

[1] Анджей Товяньский (1799—1878) — представитель одного из течений польского мессианизма, оказал большое влияние на А. Мицкевича.

с такой очевидностью, что все воскликнули бы: «Что делает тут этот мужчина?!» Но во всеобщей диковинности растворялась частная диковинность моего конкретного случая. О, дайте мне хотя бы одно не искаженное гримасой лицо, рядом с которым я смог бы почувствовать гримасу своего собственного,— но вокруг были одни только лица вывихнутые, расплющенные и вывернутые наизнанку, в которых мое лицо отражалось, словно в кривом зеркале,— и цепко держала меня зеркальная действительность! Сон? Явь? И тут Копырда, тот, загорелый, во фланелевых брюках, который на школьном дворе снисходительно усмехнулся, когда прозвучало слово «гимназистка», попал в поле моего зрения. Одинаково равнодушный и к Бледачке, и к спору между Ментусом и Сифоном, он сидел, небрежно развалившись, и выглядел хорошо, выглядел нормально — руки в карманах, чистенький, бодрый, простой, рассудительный и пристойный, сидел довольно-таки пренебрежительно, нога на ногу и смотрел на ногу. Словно ногами заслонялся от школы. Сон? Явь? «Неужели? — подумал я.— Неужели наконец обычный мальчик. Не отрок, не мальчишка, а обыкновенный мальчик? С ним, возможно, вернулась бы утраченная состоятельность...»

Глава III

ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМИНАНИЕ

Преподаватель все чаще поглядывал на часы, ученики тоже повытаскивали свои часы и смотрели на них. Наконец прозвенел спасительный звонок, Бледачка смолк на полуслове и исчез, аудитория очнулась, и поднялся страшный гам — один только Сифон оставался тихим и спокойным, погруженным в себя. Едва, однако, Бледачка ушел, проблема невинности, придавленная во время урока скукой великого поэта, поднялась вновь. Ученики прямо из официальных грез плюхнулись лицами в отрока и мальчишку, а действительность потихоньку преображалась в мир идеалов, дай мне теперь помечтать, дай! Сам Сифон не принимал участия в диспуте, а только сидел и себя пестовал — сотоварищами его предводительствовал Пызо, а Ментусу помогал Гопек. И вот опять в воздухе душном и сгустившемся запылал румянец, спор разгорался — имена множества доктринеров, разнообразные теории вылетали, словно выпущенные из рогатки, кидались в схватку, над разгоряченными головами сошлись в бою мировоззрения, и тут же дружина дам, просвещенных и просвещающих, с жаром сексуальных неофиток атаковала реакционность консервативной прессы. «Эндеки! — Большевизм! — Фашизм! — Католическая молодежь! — Рыцари меча! — Ляхичи! — Соколы! — Харцеры! — Бодрись! — Привет! — Бди!» — слышались слова все более заковыристые. Оказалось, каждая политическая партия нафаршировала слова эти своим специфическим идеалом мальчика, а кроме того, отдельные мыслители фаршировали их на свой страх и риск собственными вкусами и идеалами, да к тому же они были еще нафаршированы кино, романом, газетой. И вот всевозможные типы отрока, мальчишки, комсомольца, спортсмена, подростка, юноши, прощелыги, эстета, философа, скептика носились над полем брани и оплевывали друг друга, необычайно возбужденные и раскрасневшиеся, а снизу доносились только стенания и крики: «Ты наивный!», «Нет, это ты наивный!» Ибо идеалы эти, все без исключения, были беспредельно мелки, тесны, неудобны, несуразны; в горячке спора ученики метали эти слова, будто из катапульты, и отскакивали назад, ужаснувшись тому, что метнули, бессильные забрать назад уже вылетевшие из них незрелые выражения. Утерявшие какие бы то ни было связи с жизнью, с действительностью, уминаемые всеми фракциями, направлениями и течениями, трактуемые всеми, как школяры, окруженные фальшью, они давали концерт

фальши! И куда ни кинь, все глупо! Фальшивые в своем пафосе, ужасные в лиризме, кошмарные в сентиментализме, беспомощные в иронии, шутке и остроте, претенциозные во взлетах, омерзительные в своих падениях. Так и катился мир. Так он катился и разбухал. Раз их не считали естественными, могли ли они не быть неестественными? А будучи неестественными, разве могли они не говорить языком, позорящим их? Вот и расцветала в душном воздухе страшная несостоятельность, действительность потихоньку преображалась в мир идеала, и только один Копырда не поддавался, равнодушно подбрасывая пилочку для ногтей и глядя на ноги...

Тем временем Ментус и Мыздраль в сторонке возились с какими-то веревками, а Мыздраль даже подтяжки снял. У меня мороз по спине пробежал. Если Ментус осуществит свой план просвещения Сифона через уши, то воистину — действительность... действительность превратится в кошмар, диковинность разрастется так, что о побеге нечего будет и думать. Надо было любой ценой помешать. Мог ли я, однако, действовать в одиночку против всех, да вдобавок еще с пальцем в ботинке? Нет, не мог. О, дайте мне хотя бы одно невывернутое лицо! Я подошел к Копырде. Он стоял у окна, глядя во двор, и насвистывал сквозь зубы, во фланелевых брюках, и, казалось, он-то уж не носится ни с какими идеалами. Как начать?

— Они хотят изнасиловать Сифона,— прямо сказал я.— Может, было бы лучше отсоветовать им это. Если Ментус изнасилует Сифона, атмосфера в школе станет совершенно невыносимой.

Весь в тревоге, ждал я, как зазвучит, как зазвенит, каким голосом отзовется Копырда... Но Копырда не произнес в ответ ни слова, только стремительно выпрыгнул в окно на школьный двор. И продолжал во дворе насвистывать сквозь зубы.

А я остался, так ничего и не поняв. Что это было? Он уклонился. Почему выпрыгнул, а не ответил? Странно все это. И почему ноги — почему ноги выпирали в нем на первый план, лезли на лоб? Ноги у него были на лбу. Я потер рукою лоб. Сон? Явь? Но времени на размышления не оставалось. Ментус подскочил ко мне. Я теперь только сообразил — Ментус стоял неподалеку, подслушал, что я сказал Копырде.

— Ты чего вмешиваешься? — крикнул он.— Кто тебе разрешил болтать о наших делах с Копырдой? Его это совершенно не касается! Не вздумай говорить с ним обо мне!

Я отступил на шаг. Он разразился самыми грязными ругательствами.

Я стал молить его шепотом:

— Ментус, не делайте этого с Сифоном.

Не успел я кончить, как он заорал:

— Знаешь, кто он для меня, да и ты с ним вместе? Вы — го...лубчики мои милые!

— Не делайте этого,— упрашивал я.— Не влипайте в это! Ты что, не видишь себя при всем при этом? Послушай, а ты себе это представил? Ты это увидел? Тут Сифон на земле, связанный, а тут ты его просвещаешь — насильно, через уши! Неужели ты не видишь себя при всем при этом?

Он еще гаже скривился.

— Я вижу только, что и из тебя неплохой отрок! И тебя Сифон облапошил! А знаешь, кто он для меня, весь ваш этот отрок? Он — го...лубчик мой милый!

И двинул меня носком ботинка по щиколотке.

Я искал слов, которых, как всегда, не было.

— Ментус,— прошептал я.— Брось это... Перестань делать из себя... Разве оттого, что Сифон невинный, тебе надо быть развратным? Брось это.

Он взглянул на меня.

— Чего тебе от меня надо?

— Перестань дурить!

— Перестань дурить? — пробурчал он.— Глаза его затуманились.— Перестань дурить,— произнес он тоскливо.— Есть мальчики, которые не дурят. Есть мальчики — сыновья сторожей, подмастерья и парни — воду возят или мостовую подметают... Им-то и смеяться над Сифоном и надо мною, над нашими выкрутасами! — Он на миг погрузился в горестную задумчивость, временами нападавшую на него, отбросил было вульгарность и поддельное хамство, лицо его разгладилось. А потом подскочил словно ужаленный.— Попочка! Попочка! — крикнул он.— Нет, не хочу допустить, чтобы учеников считали невинными. Сифонову душу изнасилую через уши! Ж...ж...ж...! — Он опять поуродовел до отвращения и изверг из себя поток гнусностей, я даже отступил на шаг.

— Ментус,— бездумно прошептал я в отчаянии.— Бежим! Бежим отсюда!

— Бежать?

Он навострил уши. Перестал извергать и вопросительно взглянул на меня. Сделался понормальнее — я ухватился за это, как утопающий за соломинку.

— Бежим, бежим, Ментус,— шептал я.— Брось это и бежим!

Он заколебался. Лицо его как бы в нерешительности обвисло. А я, заметя, что мысль о побеге действует на него благотворно, дрожа от страха, что он опять ударится в безобразие, судорожно искал, чем бы его прельстить.

— Удрать! На свободу! Ментус, к парням!

Зная о его тоске по истинной жизни подмастерьев, я думал, что он клюнет на парня. Ах, мне все равно было, что я говорю, только бы удержать его от гротеска, только бы он вдруг не скривился! Глаза у него заблестели, и он по-братски дал мне под ребра.

— Ты бы хотел? — спросил он тихо, доверчиво. Рассмеялся тихо и чисто. Я тоже рассмеялся тихим смехом.

— Бежать,— пробормотал он,— бежать... К парням. ...К тем настоящим парням, которые пасут лошадей над рекой и купаются...

И тут я заметил вещь страшную — на лице его явилось что-то новое, тоска какая-то, какая-то особая красота школьника, удирающего к парням. От грубости он шарахнулся к мелодичности. Приняв меня за своего, он перестал прикидываться и извлек из себя тоску и лиризм.

— Гей, гей,— проговорил он певуче, тихо.— Гей, вместе с парнями есть черный хлеб, на неоседланных лошадях скакать по лугу...

Губы его расползлись в горькой и странной улыбке, тело стало гибче и стройнее, а в шее и в плечах появилась какая-то преданность. Он был теперь школьником, размечтавшимся о вольности парней,— и уже открыто, отбросив прочь всякую осторожность, улыбнулся мне. Я отступил на шаг. Я попал в положение жуткое. Надо ли и мне улыбнуться? Если я не улыбнусь, он снова разразится ругательствами, но если улыбнусь... не была ли улыбка еще хуже, не была ли скрытная красота, которую он мне тут демонстрировал, еще более гротескной, чем его уродство? К черту, к черту, зачем же я поманил его в мечтательность этим парнем? В конце концов, я не улыбнулся, только сложил губы и тихо присвистнул, и так стояли мы друг против друга, улыбаясь и насвистывая либо тихо смеясь, а мир будто разрушился и стал строиться заново на началах мальчика, улыбающегося и удирающего, как вдруг издевательский рев раздался в двух шагах от нас, навалился со всех сторон! Я отступил на шаг. Сифон, Пызо и еще с полдюжины сифонистов, держась за невинные животики, хохотали и ревели, и выражение лиц их было снисходительным и язвительным.

— Чего?! — заорал Ментус, пойманный с поличным. Но было уже слишком поздно.

Пызо рявкнул:

— Ха, ха, ха!

А Сифон заголосил:

— Поздравляю, Ментальский! Наконец-то мы знаем, что в вас сидит! Поймали тебя, приятель! О парне мечтает! По лужку захотелось поскакать с парнем! Прикидываетесь реалистом, знающим жизнь, жестоким, изничтожаете чужой идеализм, а сами в глубине души сентиментальны. Парнишечка слюнявый!

Мыздраль как мог грубее завопил: — Молчи! Сволочь! Холера! Зараза! — Но было уже слишком поздно. Никакие, даже самые грязные ругательства не могли спасти Ментуса, схваченного «in flagranti» [1] с его тайными грезами. Он покрылся кровавым румянцем, а Сифон торжествующе и ехидно добавил: — С чужим идеализмом борется, а сам к парням подлизывается. Теперь по крайней мере известно, почему чистота ему мешает!

Казалось, Ментус кинется на Сифона — но он не кинулся. Казалось, размозжит архиграндиозным ругательством, но он не размозжил. Пойманный «in flagranti», он не мог — и окаменел в холодной, ядовитой вежливости.

— Ах, Сифон,— начал он, на первый взгляд небрежно, чтобы выиграть время,— так ты полагаешь, будто я мины строю? А ты мин не строишь?

— Я? — отозвался Сифон, застигнутый врасплох.— Я их не строю парням.

— Только идеалам? А мне, значит, нельзя парням, а тебе можно, ибо ты их строишь идеалам? Не соблаговолишь ли взглянуть на меня? Мне хотелось бы, если тебе это не доставит неудовольствия, окинуть взглядом твой лик с фасада.

— Зачем? — тревожно спросил Сифон и вытащил носовой платок, а Ментус неожиданно вырвал у него этот платок и швырнул его на землю: — Зачем? Затем, что терпеть не могу твоего лица! Простись с этой благородной чистой миной! Ах, так тебе можно?.. Перестань, говорю, не то я так скривлюсь, что тебе расхочется... уж я тебе покажу... я тебе покажу...

— Что ты мне покажешь? — отозвался Сифон. Но Ментус вопил как в бреду: — Покажу! Покажу! Покажи мне, я тебе тоже покажу! Хватит болтать, ну-как покажи нам этого твоего отрока, вместо того чтобы языком о нем чесать, а я тоже покажу, вот и увидим, кто от кого убежит! Покажи! Покажи! Довольно красивых фраз, довольно этих половинчатых, застенчивых мин, миночек, минят деликатных, девичьих, когда человек сам от себя с ними прячется,— черт, черт,— я вызываю тебя на великие, истинные минищи, на мины всей рожей и увидишь, я тебе такие покажу, что отрок твой даст тягу туда, куда Макар телят не гонял! Хватит болтовни! Покажи, покажи, я тебе тоже покажу!

Сумасшедшая идея! Ментус вызвал Сифона на мины. Все стихли и смотрели на него как на безумца, а Сифон готовился к язвительной инвективе. Но на лице Ментальского гуляла такая дьявольская насмешка, что постепенно все осознали страшный реализм его предложения. Мины! Мины — оружие, а с тем вместе и пытка! На сей раз бой должен был вестись всерьез! Кое-кто испугался, видя, что Ментальский вытаскивает на свет божий то страшное оружие, которым до того каждый пользовался с величайшей осмотрительностью, а свободно и открыто, пожалуй, лишь за запертой дверью и перед зеркалом. А я отступил на шаг, ибо понял, что, доведенный до точки, разбушевавшийся, он хочет испоганить минами не только отрока и Сифона, но также парня, мальчика, себя, меня и все окрест!

— Труса празднуешь? — спросил он Сифона.

— Мне стыдиться своих идеалов? — ответил тот, не сумев, однако, скрыть легкого замешательства.— Мне бояться? — Но голос его слегка подрагивал.

---

[1] С поличным *(лат.)*.

— Ну вот и хорошо, Сифон! Время — сегодня после уроков! Место — тут, в классе! Выбери своих судей, я своими назначаю Мыздраля и Гопека, а главным судьей (дьявольские нотки в голосе Ментуса зазвучали отчетливее), главным судьей я предлагаю... этого новенького, который сегодня прибыл в школу. Он будет объективен.— Что? Меня? Меня он предлагал в главные судьи? Сон? Явь? Но я же не могу! Не могу ведь! Не хочу видеть этого! Не могу на это смотреть! Я бросился протестовать, но всеобщий страх уступил место великому возбуждению, все завопили: «Хорошо! Дальше! Быстрей!» — и тут же зазвенел звонок, в класс вошел маленький человечек с бородкой и уселся на кафедре.

Это был тот самый член, который в канцелярии выразил в свое время мнение, что подорожало, старичок необычайно дружелюбный, седой голубок с крохотным дождевиком на носу. Мертвая тишина установилась в классе, когда он открыл журнал — бросил свой просветлевший взор на верхнюю часть списка, и все, кто на «А», затряслись, бросил взгляд вниз, и все, кто на «Z», замерли от страха. Поскольку никто ничего не знал, из-за дискуссии все забыли списать латинский перевод, и кроме Сифона, который еще дома приготовил урок и мог всегда, по каждому требованию, никто больше не мог. А старичок, вовсе не догадываясь о страхе, который он наводил, благодушно озирал столбик фамилий, не решался, раздумывал и препирался сам с собою, наконец, уверенно изрек:

— Мыдлаковский!

Но тотчас же выяснилось, что Мыдлаковский не способен перевести заданного на сегодня Цезаря, хуже того, не знает, что animis oblatis — это ablativus absolutus [1].

— О, господин Мыдлаковский,— сказал милый старик с искренним укором,— вы не знаете, что значит animis oblatis и какая это форма? Почему вы не знаете?

И поставил ему единицу, ужасно расстроенный, затем просветлел и опять, подхваченный приливом доверия, вызвал на «К» Коперского, полагая, что этим отличием он осчастливливает, и взором и жестами, пронизанными грубочайшим доверием, пригласил к благородному соперничеству. Но ни Коперский, ни Котецкий, ни Капущинский, ни Колек и понятия не имели, что такое animis oblatis, они выходили к доске и молчали неприязненно, каменно, а старик выражал мимолетное свое разочарование четким колом и снова, будто он вчера прибыл с луны, будто он не от мира сего, впадая в еще более сильную доверчивость, вызывал, каждый раз ожидая, что отличенный и осчастливленный достойно ответит на брошенный вызов. Никто не отвечал. И уже около десятка колов поставил он в журнал, а все никак не мог понять, что доверие его отторгается мертвым и холодным ужасом, что никому не по вкусу это доверие — беспредельно доверчивый старикашка! От этого доверия ничем нельзя было отвертеться! Тщетно прибегали к различным способам убеждения, напрасно предъявляли справки, объяснения, болезни, преподаватель сочувственно и понимающе парировал:

— Что, господин Бобковский! Вы по причинам, от вас не зависящим, не смогли приготовить урок? Не волнуйтесь, я спрошу вас из прошлых текстов. Что? И головка болит? Ну, это прекрасно, у меня тут как раз есть любопытная максима de malis capitis [2], прямо специально для вас. Что — и вы чувствуете необходимость немедленно отправиться в уборную? О, господин Бобковский! И зачем же это? Ведь это тоже есть у древних! Я сейчас покажу вам известный passus из книги пятой, где все войско Цезаря, съевши несвежей моркови, обрекло себя на ту же судьбу. Все войско! Все войско, Бобковский! И зачем же самому делать кое-как, если под рукой такое гениальное и классическое описание? Эти книги, господа, сама жизнь, сама жизнь!

---

[1] Здесь и далее речь идет о различных грамматических формах латинского языка.

[2] О головной боли *(лат.)*.

Все забыли о Сифоне и Ментусе, оставили споры — старались не быть, старались не существовать, ученики съеживались, серели и никли, втягивали в себя животы, руки и ноги, но никто не скучал, о скуке не могло быть и речи, ибо все мрачно боялись, и каждый с болезненным страхом ожидал, когда его настигнет вызов детской веры, возросшей на текстах. А лица — как это бывает с лицами — под бременем тревоги превращались в тень, в иллюзию лиц, и неизвестно, что, в конце концов, было более безумно, безжизненно, химерично — лица, непонятные accusativi cum infinitivo, либо же дьявольская доверчивость помешавшегося старца, и действительность потихоньку преображалась в мир идеала, дай мне теперь помечтать, дай!

А преподаватель, выставив кол Бобковскому и окончательно исчерпав animis oblatis, придумал себе другую проблему — как будет passivum futurum conditionalis в третьем лице множественного числа от возвратного глагола colleo, colleavi, colleatum, colleare, и идея эта захватила его без остатка.

— Неслыханно интересная вещь! — воскликнул он, потирая руки.— Вещь любопытная и поучительная! Ну, господа! Проблема чрезвычайно изысканная! Вот прекрасное поле, дабы выказать интеллектуальные способности! Ибо если от olleare будет ollandus sim, то... ну, ну, ну... господа...— господа готовы были провалиться от страха.— О, вот именно! Ну, ну? Collan... collan...

Никто не отозвался. Старик, еще не потеряв надежды, повторял свое «ну, ну» и «collan, collan», весь светился, интриговал загадкой, приглашал, побуждал и — как умел — взывал к знанию, к ответу, к счастью и удовлетворению. И тут увидел, что никто не хочет, что все как о стенку горох. Он как-то сник и глухо сказал:

— Collandus sim! Collandus sim! — Он повторил еще раз, омраченный и оскорбленный всеобщим молчанием, и добавил: — Как же так, господа? Неужели вы действительно недооцениваете! Неужели не видите, что collandus sim оттачивает интеллигентность, развивает интеллект, вырабатывает характер, всесторонне совершенствует и роднит с мыслью древних? Ибо рассудите, если от olleare будет ollandus, то ведь от colleare должно быть collandus, ибо passivum futurum третьего спряжения кончается на dus, dus, us за исключением единственно исключений. Us us us, господа! Не может быть ничего более логичного, чем язык, в котором все, что нелогично, относится к исключениям! Us, us, us, господа,— закончил он не без сомнения.— Какой же это фактор развития!

И тут вскочил Галкевич и застонал:

— Тра-ля-ля, мама, тетя! Как это развивает, когда не развивает? Как это совершенствует, когда не совершенствует? Как это вырабатывает, когда не вырабатывает? О, Боже, Боже — Боже, Боже!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Что, господин Галкевич? Us не совершенствует? Вы говорите, что это окончание не совершенствует? Что это окончание passivi futuri третьего спряжения не обогащает? Как же так, Галкевич?

ГАЛКЕВИЧ

Этот хвостик меня не обогащает! Этот хвостик меня не совершенствует! Совсем! Тра-ля-ля. О, Боже! Мама!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Как это не обогащает? Господин Галкевич, если я говорю, что обогащает, значит, обогащает! Ведь я говорю, что обогащает. Вы, Галкевич, мне поверьте! Заурядный ум не поймет этой великой выгоды! Дабы понять, надо самому после многолетнего обучения стать совсем незаурядным умом! Господи Иисусе, ведь в прошлом году мы прошли семьдесят три строки Цезаря, в каковых строках Цезарь описывает, как он расставил свои когорты на холме. Неужели эти семьдесят три строки, а также вокабулы не стали для вас, Галкевич, мистическим откро-

вением всех богатств античного мира? Неужели они вас не научили стилю, ясности мысли, точности выражения и военному искусству?

ГАЛКЕВИЧ

Ничему! Ничему! Никакому искусству. Я только кола боюсь. Я только кола боюсь! О, не могу, не могу!

Нависла угроза всеобщей несостоятельности. Преподаватель заметил, что нависла она и над ним, хуже того, если удвоенной верой он не переборет вдруг нахлынувшее на него самого недоверие, несостоятельность, он погиб.— Пылашчкевич! — в отчаянии закричал покинутый всеми отшельник.— Немедленно кратко перескажите все то, чем мы обогатились за последние три месяца, продемонстрируйте всю глубину мысли и приводящие в восторг красоты стиля — и я полагаюсь на вас, полагаюсь, Иисусе, Мария, полагаюсь!

Сифон, который, как уже было сказано, мог всегда по каждому требованию, встал и гладко, с необыкновенною свободою начал:

— *На следующий день Цезарь, созвав собрание и укорив солдат за несдержанность и алчность, поскольку ему казалось, что они сами, по собственным представлениям, установили, куда им идти и что делать, и что они после сигнала к отступлению решили, что не могут быть сдерживаемы войсковыми трибунами и легатами, объяснял, как много значит неудобство местности, что относилось к Аварику, когда, захватив врага без вождя и без конницы, он упустил верную победу, и немалый даже ущерб случился в сражении из-за неудобства местности. Какое же восхищение вызывает величие души тех, которых не может сразить грабеж обоза, высота гор или стены города, равным образом надлежит искоренять чрезмерное самовольство и храбрость тех, которые полагают, что более вождя знают о победе и результатах дела, и не меньше следует ценить у солдата скромность и умеренность, чем мужество и великодушие. И потом, идя вперед, он решил и приказал, чтобы затрубили к отступлению, дабы десять легионов тотчас же воздержались от сражения, что было исполнено, но солдаты из остальных легионов не услышали звука труб, поскольку отделяла их от оставленной местности довольно большая долина. Потому с помощью войсковых трибунов и легатов, ибо так приказал Цезарь, они были остановлены, но были возбуждены надеждой на победу, превозможение врагов и их бегство в ходе успешного сражения до такой степени, что не казалось им трудным то, чего они могли добиться мужеством без бегства, и они остановились не раньше, чем дошли до стен города и ворот, тогда же во всех частях города можно было услышать шум, вследствие чего те, которые были испуганы внезапным криком, сочли, что враг был уже в воротах, и стали выбегать из города.*— Collandus sim,— господа! Collandus sim! Какая прозрачность, какой язык! Какая глубина, какая мысль! Collandus sim, какая сокровищница мудрости! Ах, я дышу, дышу! Collandus sim и впредь, и всегда, и до самого конца collandus sim, collandus sim, collandus sim, collandus sim, collandus sim,— но тут зазвенел звонок, и ученики издали дикий рев, а старик удивился и вышел.

И в эту же секунду все рухнули с официальных фантазий лицом в фантазии частные об отроках, мальчике, закипели, дискуссии, а действительность менялась в мир тихонько идеала, дай мне теперь помечтать, дай! Он нарочно это сделал! Нарочно назначил меня главным судьей. Чтобы мне пришлось смотреть, чтобы я видел. Он завелся — поганя себя, и меня тоже хотел испоганить, не мог перенести, что я довел его до минутной слабости с парнем. Вправе ли я рисковать своим лицом, предлагая ему такую картину? Я знал, если проглочу это обезьянничанье, лицо мое никогда не вернется к норме, бегство навсегда станет невозможным, нет, нет, пусть они выделывают что им вздумается, но не при мне, не при мне! Нервно пошевеливая пальцем в ботинке, я схватил Ментуса за рукав, посмотрел с мольбою и прошептал:

— Ментус...

Он меня оттолкнул.

— О нет, мой мальчиш! Не отвертишься! Ты главный судья, и точка!

Мальчишем меня назвал! Какое омерзительное слово! Это была жестокость с его стороны, я понял, что все потеряно и что мы на всех парах мчим к тому, чего я опасался больше всего, к совершеннейшему уродству, к гротеску. А тем временем дикое, нездоровое любопытство овладело даже теми, которые до последнего момента равнодушно повторяли: — Неужли Сифонус...— Послышалось сопенье, буйно зацвел румянец, и стало ясно, что поединок на мины станет настоящей схваткой, не на жизнь, а на смерть, не на пустые словеса! Окружили обоих плотным кольцом и кричали в воздухе тяжком:

— Начинать! Бери его! Куси! Дальше!

Один лишь Копырда преспокойненько потянулся, взял тетрадь и пошел ногами своими...

Сифон сидел на своем отроке осовевший и нахохлившийся, как наседка на яйцах,— видно было, что он, однако, чуток струхнул и не прочь бы увильнуть! Зато Пызо с ходу оценил беспредельные шансы, которыми наградили Сифона его высшего полета убеждения и взгляды.— Он у нас в руках! — шептал Пызо на ухо Сифону, подбадривая его.— Не тушуйся! Подумай о своих принципах! У тебя принципы, и, полагаясь на принципы, ты сможешь скорчить сколько хочешь каких угодно мин, а у него принципов нет, и ему придется корчить мины, полагаясь на самого себя,— не на принципы полагаясь.— Под влиянием такого нашептывания мина Пылашчкевича стала выправляться и вскоре засияла совершенным покоем, ибо действительно принципы наделяли его таким могуществом, что он мог всегда в любом количестве. Видя это, Мыздраль и Гопек оттянули Ментуса в сторону и молили его не идти на заведомое поражение.

— Не губи себя и нас, лучше сразу же сдайся — он гораздо минястее тебя. Ментус, притворись, что заболел, упади в обморок, а уж потом все как-нибудь образуется, выгородим тебя!

Он только и ответил:

— Не могу, кости уже брошены! Прочь! Прочь! Хотите, чтоб я труса отпраздновал? Выбросьте этих зевак! Это меня нервирует! Чтобы никто сбоку ко мне не приглядывался, кроме судей и главного судьи.— Но мина его посерела, а решимость смешалась на ней с очевидным волнением, и это так бросалось в глаза на фоне спокойной уверенности в себе Сифона, что Мыздраль шепнул: — Паршиво с ним,— и всем сделалось страшно, и все бочком повыходили, молча, старательно прикрывая за собою двери. И вот в опустевшем и запертом классе мы оказались всемером, т. е. кроме Пылашчкевича и Ментуса — Мыздраль, Гопек, Пызо, некий Гузек, второй судья Сифона, ну и я посередке как главный судья, онемевший главный судья судей. И послышался ироничный, хотя и угрозой дышавший голос Пызо, который, несколько побледнев, читал по бумажке условия встречи:

— *Противники встанут друг против друга и выпустят серию мин, одна за другой, причем на каждую вдохновляющую и красивую мину Пылашчкевича Ментальский ответит разрушительной и грязной контрминой. Мины — самые интимные, своеобразные и уникальные, самые разящие и изничтожающие — должны применяться без глушителя — до результата.*

Он умолк,— а Сифон и Ментус заняли предназначенные для них места, Сифон потер щеки, Ментус подвигал челюстью,— и Мыздраль, позванивая зубами, произнес:

— Можете начинать!

И в тот именно миг, когда он это говорил, дескать, «могут начинать», в тот именно миг, когда он сказал, мол, «начинать могут», реальность окончательно переступила свои границы, ничтожность возвысилась до кошмара, а неподлинность обернулась совершеннейшим

сном,— ну, а я торчал в самой середке, пойманный словно муха в сетку, и не мог шевельнуться. Впечатление было такое, будто в результате долгих тренировок они достигли наконец того, что лицо исчезает. Фраза преобразилась в гримасу, а гримаса — пустая, бессодержательная, полая, бесплодная — сцапала и не отпускала. Не было бы ничего удивительного, если бы Ментус и Сифон взяли лица в руки и напялили бы их на себя — нет, ничто уже не могло удивить. Я забормотал: — Сжальтесь над своими лицами, сжальтесь хотя бы над моим, лицо не объект, лицо — это субъект, субъект, субъект! — Но Сифон уже выставил лицо и завернул первую мину так круто, что мое лицо сжалось, словно гутаперчивое. А именно — он заморгал, как человек, выходящий на свет из темноты, осмотрелся по сторонам с благочестивым изумлением, начал ворочать глазами, стрельнул глазами вверх, выкатил глаза, раскрыл рот, тихо вскрикнул, будто что-то увидел там, на потолке, изобразил восхищение и так застыл упоенно, вдохновенно, после чего приложил руку к сердцу и вздохнул.

Ментальский скорчился, съежился и ударил в него снизу следующей, передразнивающей, разрушительной контрминой: так же ворочал, так же поднимал, таращил, так же раззявил в телячьем восторге и вертел подобным манером сварганенным лицом, пока в пасть ему не влетела муха; он тут же съел ее.

Сифон не обращал на это внимания, словно бы пантомимы Ментуса и вовсе не существовало (ибо у него было то перед ним преимущество, что действовал он ради принципов, не себя ради), но разразился горючими, страстными слезами и рыдал, достигая таким образом вершин покаяния, откровения и волнения. Ментус тоже зарыдал, и рыдал долго и обильно, пока на носу у него не появилась капелька,— тогда он стряхнул ее в плевательницу, достигнув таким образом вершины гадливости. Это дерзкое кощунство над самыми святыми чувствами вывело, однако, Сифона из равновесия — он не выдержал, невольно взглянул и, движимый возмущением, как бы на полях этих рыданий, испепелил смельчака сердитым взором! Неосторожный! Ментус того только и ждал! Когда он почувствовал, что ему удалось приманить к себе с вершин взгляд Сифона, он мгновенно ощерился и такую поганую состроил рожу, что тот, задетый за живое, зашипел. Казалось, Ментус выиграл! Мыздраль и Гопек издали еле слышный вздох! Рановато! Рановато издали!

Ибо Сифон, вовремя спохватившись, что зря он вперился в лицо Ментуса и что, поддавшись возмущению, он теряет власть над своим собственным лицом,— стремительно отступил, привел в порядок свои черты, опять стрельнул взглядом вверх, да больше того, еще выдвинул вперед одну ногу, слегка взъерошил волосы, челочку чуть приспустил на лоб и так замер, опираясь на собственные только свои силы, с принципами и идеалами; после чего поднял руку и неожиданно вытянул палец, указуя ввысь! Удар был очень мощный!

Ментус моментально вытянул тот же самый палец и поплевал на него, поковырял им в носу, поскребся им, стал очернительствовать в меру сил своих и уменья, он защищался, нападая, нападал, защищаясь, но палец Сифона продолжал, неодолимый, торчать высоко. И не помогало, что Ментус свой палец грыз, ковырял им в зубах, чесал им пятку и делал все, что в человеческих возможностях, дабы его испакостить,— увы, увы — неумолимый, неодолимый палец Пылашчкевича торчал, нацеленный ввысь, и не сдавался. Положение Ментальского делалось страшным, ибо он исчерпал уже все свои пакости, а палец Сифона все указывал и указывал ввысь. Ужас поверг в трепет судей и главного судью. Последним судорожным усилием Ментус смочил свой палец в плевательнице и — отвратительный, потный, красный — потряс им отчаянно перед Сифоном, но Сифон не только не обратил внимания, не только даже пальцем не пошевелил, но вдобавок ко всему лицо у него расцвело, словно радуга после грозы, и запечатлелся на нем в семи красках

чудный Орлик — Сокол, а также чистый, невинный, непросвещенный Отрок!

— Победа! — крикнул Пызо.

Ментус выглядел кошмарно. Отступил к самой стене и дышал хрипло, и сипел, и пену изо рта выпускал, схватился за палец и тянул его, тянул, желая вырвать, вырвать с корнем, отбросить, изничтожить эту общность свою с Сифоном, обрести независимость! Не мог, хотя и тянул изо всех сил, не обращая внимания на боль! Несостоятельность снова дала о себе знать! А Сифон мог всегда, мог без устали, спокойный, как Небеса, с пальцем, вытянутым ввысь не благодаря Ментусу, естественно, и не благодаря себе, но принципам благодаря! О, какая же чудовищность! Вот один исковерканный, ощерившийся в одну сторону, вот другой — в другую сторону! А между ними я, главный судья, навеки, наверное, заточенный узник чужой гримасы, чужого лика. Лицо мое, словно зеркало их лиц, тоже одичало, страх, отвращение, ужас выдавливали на нем свое несмываемое клеймо. Паяц меж двух паяцев, как же мог я решиться на что-нибудь, что не было бы гримасой? Мой палец на ноге трагично повторял движения их пальцев, а я гримасничал, гримасничал и знал, что теряю себя в этой гримасе. Пожалуй, я уже никогда не убегу от Пимки. Не вернусь к себе. О, какая чудовищность! И какая страшная тишина! Ибо тишина порой бывала абсолютной, никакого бряцания оружием, только мины и немые движения.

И вдруг тишину разорвал пронзительный вопль Ментуса:

— Держи! Хватай! Бей! Убей!

Что это? Неужели опять что-то новенькое? Неужели еще что-то? Не довольно ли? Ментус опустил палец, бросился на Сифона и треснул его по роже — Мыздраль и Гопек кинулись на Пызо, Гузека и треснули их по роже! Закипело. Куча мала на полу, над ней неподвижно возвышался я как главный судья. Не прошло и минуты, а Пызо и Гузек лежали как колоды, связанные подтяжками, Ментус же сел верхом на грудь Сифона и принялся ужасно выкобениваться:

— Ну, что, червячок, ты, Отрок невинный, думал, что одолел меня? Пальчик вверх и счастлив, а? Так ты, цыпочка (он употребил самые чудовищные выражения), строил надежды, что Ментус не сумеет? Позволит обвести себя вокруг твоего пальчика? А я тебе скажу, что, если нельзя иначе, пальчик пригибают книзу силой!

— Пусти...— просипел Сифон.

— Пустить! Сейчас я тебя выпущу! Сейчас выпущу, вот не знаю только, совсем ли таким, каков ты теперь. Давай поболтаем! Подставь ушко! К счастью, до тебя еще можно добраться... силком... через уши. Я уж доберусь до твоего нутра! Подставь, говорю, ушко! Подожди, мой невинный, я тебе кое-что скажу...

Склонился над ним и пошептал — Сифон позеленел, взвизгнул, как поросенок, которого режут, и заметался, словно вытянутая из воды рыба. Ментус придушил его! И началась погоня на полу, ибо он стал ловить ртом то одно, то другое ухо Сифона, который, вертя головой, удирал вместе с ушами,— и зарычал, видя, что не может удрать, зарычал, дабы заглушить убийственное, просвещающее слово, и рычал мрачно, ужасно, голос его густел, он забылся в отчаянном и первобытном реве, просто верить не хотелось, чтобы идеалы могли издать рев, подобно буйволу в пуще. Мучитель тоже зарычал:

— Кляп! Кляп! Кляп всаживай! Раззява! Чего раззявился? Кляп! Носовой платок всаживай!

Это на меня он так орал. Это я должен был платок всаживать! Ибо Мыздраль и Гопек сидели, каждый на своем судье верхом, и двинуться не могли! Я не хотел! Я не мог! Я замер, и отвращение отняло у меня способность к движению, к слову и ко всякому вообще выражению.

О, главный судья! Тридцать лет, тридцать лет, где мои тридцать лет, где мои тридцать лет? Нет тридцати лет! А тут вдруг Пимко появ-

ляется в дверях класса и стоит — в желтых штиблетах, шевровых, в коричневом плаще и с палкой в руке — стоит... стоит. И так абсолютно, будто бы он сидел.

Глава IV

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФИЛИДОРУ, ПРИПРАВЛЕННОМУ РЕБЯЧЕСТВОМ

Прежде чем продолжить эти правдивые воспоминания, я хочу — в качестве отступления — поместить в следующей главе рассказ под названием *«Филидор, приправленный ребячеством»*. Вы видели, как дидактичный Пимко каверзно меня уконтропопил; видели идеалистические тайники интеллигентской нашей молодежи, несостоятельность жизни, отчаяние диспропорции, ничтожность искусственности, мрачность скуки, смехотворность выдумки, муку анахронизма, безумство попочки, лица и других частей тела. Вы слышали слова, слова, слова низкие, сражающиеся со словами высокими, и другие слова, столь же мелкие, произносимые на уроках преподавателями, и вы были немыми свидетелями того, как вещь, составленная из слов мелких, обернулась пошлодиковинной гримасой. Так уже на заре юности своей человек впитывает фразу и гримасу. В такой кузнице выковывается зрелость наша. Сейчас вы увидите иную действительность, иной поединок — смертный бой профессоров Г. Л. Филидора из Лейдена и Момсена из Коломбо (с дворянской частицей «анти-Филидор»). Там тоже действуют слова, а равно и отдельные части тела, не следует, однако, доискиваться тесной связи между двумя этими частями представленного здесь целого; и тот, кто подумал бы, что, включая в свое сочинение рассказ «Филидор, приправленный ребячеством», я не руководствовался целью всего лишь как-то заполнить место на бумаге, незначительно уменьшить стопку чистых листков перед собою, тот впал бы в ошибку.

Но если первостатейные знатоки и исследователи, профессионально обученные Пимкой специалисты по конструированию попочки посредством указания на композиционные недостатки в художественном произведении, предъявят мне обвинение, что, по их мнению, стремление к заполнению места — причина частного свойства и несерьезная, что не положено в художественное произведение впихивать все, что некогда было написано, я отвечу: по-моему скромному убеждению, отдельные части тела, а также слова представляют собой достаточный эстетическо-художественный связующий элемент композиции. И я докажу, что моя конструкция по точности и логике не уступает наиточнейшим и наилогичнейшим конструкциям. Смотрите — основная часть тела, добрая, привычная попочка составляет основу, ведь именно с попочки начинается действие. От попочки, как от главного ствола, ответвляются и тянутся во все стороны отдельные части тела, скажем, палец ноги, руки, глаза, зубы, уши, причем одни части плавно переходят в другие благодаря тонким и искусным превращениям. А лицо человеческое, каковое в Малой Польше[1] зовется «папа», она же морда,— это крона, лиственный покров дерева, которое отдельными своими частями вырастает из ствола попочки; так, «папа», стало быть морда, завершает цикл, начатый попочкой. И что же мне еще остается, добравшись до «папы», т. е. до морды, как только обратиться к отдельным частям, дабы по ним снова вернуться к попочке? — и как раз этому призвана помочь новелла *«Филидор»*. *«Филидор»* — это композиционное возвращение, пассаж, а лучше сказать — кода, это трель, а точнее, поворот, заворот кишок, без которого я никогда не добрался бы до левой коленки. Разве это не

[1] Историческая область Польши в бассейне верхнего и среднего течения Вислы, ее центр — Краков.

железный композиционный скелет? Разве этого недостаточно, чтобы удовлетворить самым тонким профессиональным требованиям? А что вы скажете, когда доберетесь до более глубоких связей между отдельными частями, до различных переходов от пальца к зубам, до мистических значений некоторых любимых частей, до смысла — далее — отдельных суставов, до целого части, равно как и до всех частей части? Уверяю вас, это конструкция бесценная с точки зрения заполнения места, обстоятельным ее исследованием можно заполнить триста томов, заполняя все больше места и занимая все более высокое место и усаживаясь все удобнее и вольготнее на своем месте. А вы любите пускать мыльные пузыри над озером в закатный час, когда карпы плещутся в воде и рыбак молча сидит, всматриваясь в зеркальную гладь?

И я рекомендую вам свою методу усиления посредством повторения, благодаря которой, последовательно повторяя некоторые слова, выражения, ситуации и части, я усиливаю их, одновременно доводя впечатление о монолитности стиля чуть ли не до границ нелепости. Посредством повторения, посредством повторения всего проще творится всякая мифология! Обратите, однако, внимание на то, что такая конструкция из частей не только конструкция, это, в сущности, целая философия, которую я излагаю здесь в щеголеватой и прозрачной манере беззаботного фельетона. Скажите мне, как вы полагаете — не усваивает ли читатель, по вашему мнению, части только и только частично? Он читает часть или отрывок, затем бросает, чтобы спустя какое-то время прочитать следующий отрывок, а нередко случается и так, что он начинает с середины или с конца, двигаясь назад, к началу. Частенько прочтет он несколько отрывков и отложит, не потому даже, что это ему наскучило, а просто что-то другое его увлекло. Да хоть бы он вдруг и прочитал целиком — неужели же вы думаете, что он охватит взором целое и разберется в пропорциях и гармонии отдельных частей, если не обратится к специалисту? И для того, стало быть, автор годами мучается, кроит, подгоняет, распарывает, латает, в поту купается, дабы специалист объявил читателю, что конструкция хороша? Но пойдем дальше, дальше, обратимся к сфере повседневного личного опыта! Разве какой-нибудь телефонный звонок или какая-нибудь муха не оторвет его от чтения как раз в том самом месте, где все разрозненные части сходятся в целостность драматической развязки? Ну, а если в этот именно момент его брат (допустим) войдет в комнату и скажет что-нибудь? Благородный труд писателя пойдет насмарку из-за брата, мухи или телефонного звонка — фи, гадкие мушки, зачем вы кусаете людей, которые уже лишились хвостов, и нечем им вас отгонять? Но и еще одно обстоятельство надо нам взять в расчет — не есть ли это ваше произведение, единственное, исключительное и доведенное до совершенства, всего лишь частичка тридцати тысяч иных произведений, тоже единственных в своем роде, являющихся на свет по принципу: что ни год, то пророк? Ужасные части! Неужто того ради мы конструируем целое, дабы частичка части читателя проглотила частичку части произведения, да и то лишь частично?

Трудно не поиграть шуточкой на эту тему. Шуточка сама просится на язык. Ибо давно уже мы научились отделываться шуточкой от того, что само чересчур язвительно шутит над нами. Родится ли когда-нибудь гений серьезности, который взглянет в глаза реальным жизненным мелочам и не разразится глуповатым смешком? Чье же величие в конце концов окажется под стать мелочам? Эх ты, тон мой, тон легкого фельетона! Но заметим далее (дабы до дна испить чашу частички), что эти правила и принципы композиции, которым мы рабски подчиняемся, и сами-то порождение всего лишь части, да к тому же и крошечной. Ничтожная часть мира, малюсенькая группа специалистов и эстетов, мирок не больше мизинца, который целиком мог бы расположиться в одном кафе, беспрестанно ведет междоусобную войну, выдавливая из себя все более и более рафинированные правила. Но, что еще хуже, вкусы эти, в сущности, и не вкусы вовсе — нет, ваша конструкция нравится им

лишь отчасти, куда как в большей части нравится им собственное их знание предмета конструкции. Так это затем, стало быть, художник старается выказать свои способности в композиции, дабы знаток мог выказать свои знания в этом предмете? Тихо, цыц, мистерия, вот пятидесятилетний художник творит, преклонив колена перед алтарем, с мыслью о шедевре, гармонии, точности, красоте, духе и преодолении, вот знаток знает, углубляя творение художника в процессе углубленного исследования, после чего произведение идет в мир к читателю — и то, что было зачато в величайших и абсолютных муках, воспринимается не более как отчасти, между телефоном и котлетой. Тут писатель душой, сердцем, искусством, трудом, муками угощает — а тут читатель и не хочет вовсе, а коли захочет, то от нечего делать, так просто, пока не зазвонит телефон. Мелкие жизненные реалии губят нас. Вы напоминаете человека, который вызвал на бой дракона, но которого крохотная комнатная собачонка загонит под стол.

И дальше спрошу я вас (дабы еще один глоток отпить из чаши части): разве — по вашему мнению — произведение, сконструированное по всем правилам, выражает целое, а не часть только? Ба! Разве любая форма не отбрасывание лишнего, разве композиция не ограничение, разве слово может передать что-нибудь кроме части действительности? Остальное — молчание. Наконец, мы создаем форму или она нас создает? Нам кажется, что это мы конструируем,— иллюзия, в равной мере конструкция конструирует нас. То, что ты написал, диктует тебе дальнейшее, произведение родится не в тебе, ты хотел написать одно, а написалось нечто совершенно иное. Части тяготеют к целому, каждая часть пробирается к целому тайком, стремится к законченности, ищет дополнения, требует недостающего ей по образу и подобию своему. Мысль наша вылавливает из бурного океана явлений какую-то часть, скажем ухо или ногу, и сразу же в начале сочинения нам лезет под перо ухо или нога, и потом уж мы не можем выпутаться из части, дописываем к ней продолжение, она нам навязывает все остальные члены. Мы вьемся вокруг части, словно плющ вокруг дуба, начало предопределяет конец, а конец — начало, середина же возникает между началом и концом. Абсолютная несостоятельность целого — вот отличие души человеческой.

Что же нам тогда делать с такой частью, которая родилась не похожей на нас, словно тысяча страстных, огненных коней обрушились на ложе матери ребенка нашего,— ха, пожалуй, единственно ради спасения видимости отцовства мы должны, призвав на помощь все нравственные силы, уподобиться нашему творению, если оно не хочет уподобиться нам. Да, да, помню, знал некогда писателя, у которого в начале его литературной карьеры написалась героическая книга. Совершенно случайно на первой же строчке он ударил по героической клавише, хотя с тем же успехом мог взять скептическую или лирическую ноту, но первые фразы получились героические, вот и пришлось ему, заботясь о гармоничности конструкции, все усиливать и наращивать героизм до самой последней точки. И он до тех пор оттачивал, отглаживал, отделывал, перекраивал и приспосабливал начало к концу, конец к началу, пока не вышло из всего этого произведение живое и глубоко убедительное. Что же ему было делать со своим глубочайшим убеждением? Можно ли отпереться от глубочайшего убеждения? Разве серьезно относящийся к своему слову художник может признаться, что это просто написалось у него так, героически, вышло героически, и все тут, что его глубочайшее убеждение никак не его глубочайшее убеждение, а откуда-то извне налезло, залезло, прилезло, влезло? Исключено! Ибо такие мелочи, как налезло, написалось, вышло, залезло, чужды высшему культурному стилю, самое большое, они могут стать суррогатом игриво легкомысленного и щеголеватого фельетона. Тщетно несчастный певец героизма стыдился и таился, пробовал отбояриться от части, часть, уцепившись за него, не хотела отпускать, пришлось ему прилаживаться к

своей части. И до тех пор уподоблялся он части, пока в конце литературной карьеры не уподобился совсем и стал героем — заложником своего героизма. И только, как огня, избегал он своих приятелей времен возмужания, ибо те не могли надивиться целому, которое так хорошо сидело на части. И они ему кричали: — Эй, Болек! А помнишь этот ноготь... этот ноготь... Болек, Болек, Боленька, ноготь на зеленом лужку помнишь? Ноготь? Ноготь, Боленька, где?

Таковы принципиальные, основополагающие и философские причины, которые склонили меня к постройке сочинения на фундаменте отдельных частей,— я рассматриваю при этом сочинение, как часть сочинения, а человека как союз частей, тогда как все человечество я считаю мешаниной частей и кусков. Но если бы кто-нибудь сделал мне упрек: эта частичная концепция, по совести говоря, не представляет собой никакой концепции, а всего лишь вздор, издевка, насмешка над частями, а я вместо того, чтобы подчиниться жестким правилам и канонам искусства, пытаюсь поиздеваться над ними с помощью такой издевки,— я ответил бы, что да, именно, таковы как раз мои намерения. И, ейбогу, я не поколеблюсь признать: я хочу уклониться столько же от вашего Искусства, господа, которого не могу вынести, сколько от вас самих... поскольку я не могу вынести и вас со всеми вашими концепциями, со всей вашей художественной позицией и со всем вашим художественным мирком.

Господа, существуют на земле профессиональные группы более или менее смешные, менее или более позорные, постыдные и оскорбительные — да и количество глупости не везде одно и то же. Так, к примеру, парикмахеры на первый взгляд более податливы глупости, чем сапожники. Но то, что творится в художественной среде мира, бьет все рекорды глупости и позора — причем до такой степени, что человек относительно порядочный и уравновешенный не может не склонить стыдом горящего чела перед этой ребяческой и претенциозной оргией. Ох, уж эти вдохновенные песнопения, которых никто не слушает! Ох, уж эти мудрствования знатоков и энтузиазм на концертах и поэтических вечерах, и обряды посвящения, оценки, дискуссии, и лица этих особ, когда они декламируют или слушают, вкупе торжественно разыгрывая мистерию красоты! В силу какого же болезненного противоречия все, что вы делаете или говорите, в этой именно сфере становится смешным? Когда в течение веков какую-нибудь профессиональную среду то и дело сводят судороги глупости, можно со всей определенностью сделать вывод, что концепции ее не соответствуют реальности, что она попросту пичкает себя фальшивыми концепциями. И ваши художественные концепции, вне всякого сомнения, достигли вершин концептуальной наивности; и если вы хотите знать, как и в каком смысле следовало бы их пересмотреть, так я вам могу это сказать без проволочек — надо, однако, чтобы вы навострили ушки.

О чем, собственно, страстно мечтает тот, кто в наше время почувствовал призвание к перу, кисти или кларнету? Он прежде всего жаждет быть художником. Жаждет творить Искусство. Грезит, что Красотой, Добром и Правдой будет насыщать себя и сограждан, хочет быть жрецом и пророком, жертвуя сокровищницу своего таланта страждущему человечеству. А также, возможно, он мечтает поставить талант свой на службу Идее и Народу. Какие возвышенные цели! Какие восхитительные намерения! Разве не такова была роль Шекспиров, Шопенов? Но рассудите, и тут вся загвоздка, вы же еще не Шопены и не Шекспиры — вы еще не реализовались полностью как художники и жрецы искусства — вы на нынешней ступени вашего развития в лучшем случае только полушекспиры и четвертьшопены (о, проклятые части!) — а потому ваша претенциозность обнажает лишь вашу убогую незначительность — и это похоже на то, как если бы вы захотели одним прыжком вскочить на пьедестал памятника, подвергая опасности свои драгоценные и чувствительные части тела.

Поверьте мне: существует огромная разница между художником, который уже состоялся, и стаей полухудожников и четвертьпророков, которые еще только хотели бы состояться. И то, что к лицу художнику, уже обладающему собственным лицом, на вас смотрится по-иному. Но вы вместо того, чтобы создать для себя концепцию по росту, по мерке вашей действительности, рядитесь в чужие перья — вот потому вы и становитесь кандидатами, вечными неумехами, вечными троечниками, вы, слуги и эпигоны, почитатели и поклонники Искусства, которое не пускает вас дальше передней. Воистину, страшно смотреть, как вы стараетесь и как вам не удается, как всякий раз вам говорят, что еще не совсем, а вы снова лезете с новым произведением, как пытаетесь навязывать эти произведения, как спасаетесь кошмарно второсортными успехами, расточаете друг другу комплименты, устраиваете художественные вечерочки, водите за нос себя и окружающих все новыми и новыми поделками вашего неумения. Вы даже лишены радости сознавать, что то, что вы пишете и варганите, имеет хоть какое-то значение. Ибо все это, повторяю, только подражательство, все подсмотрено у мастеров — одна лишь скороспелая иллюзия, будто это уже чего-то стоит, будто это уже ценность. Положение ваше ложно, и, будучи ложным, оно неизбежно приносит горькие плоды — и в вашей среде уже расцветают взаимная неприязнь, пренебрежение, злословие, всякий презирает других и себя в придачу, вы братство самопрезрения — так что в конце концов ваше самопренебрежение убьет вас. Ибо на чем еще, в сущности, зиждется положение второсортного писателя, если не на всеохватном великом отпоре? Первый и безжалостный отпор дает ему рядовой читатель, который решительно не желает наслаждаться его произведениями. Второй и позорный отпор дает ему собственная его действительность, которую он не сумел выразить. А третий отпор и пинок, самые позорные изо всех, он получает от искусства, в которое он укрылся, но которое презирает его, как неумеху и недоросля. И это переполняет чашу позора. Тут уже начинается полная бездомность. Это доводит до того, что второстепенный становится объектом всеобщих насмешек, ибо попадает под перекрестный огонь отторжений. Воистину, чего ждать от человека, трижды получившего отпор, причем один другого позорнее? Разве отторгнутый таким образом человек не должен уехать, забиться в какой-нибудь угол, убраться с глаз долой? Разве ничтожество, выставляющее себя на всеобщее обозрение, жадное до почестей, может быть здоровым, и разве не должно оно вызывать у природы икоту?

Но сначала ответьте мне — разве, по вашему мнению, Бере лучше и сочнее Ананасовки, или, скорее, склонны ли вы отдать предпочтение одному сорту груш перед другим? И любите ли вы есть их, удобно расположившись в плетеном кресле на веранде? Позор, позор, господа, позор и позор! Я не философ и не теоретик — я о вас говорю, о вашей жизни думаю, так поймите же, меня мучит лишь ваше личное положение. Нельзя оторваться. О, эта невозможность перерезать пуповину, соединяющую тебя с людским неприятием! Отторгнутая душа — не вынюханный цветок — конфетки, которым хотелось понравиться, а они не понравились,— отвергнутая женщина — все это неизменно вызывало у меня прямо-таки физическую боль, я не могу вынести этого неудовлетворения — и когда я встречаю в городе кого-нибудь из художников и вижу, как заурядный отпор лежит в основании его существования, как каждое движение, слово, вера, энтузиазм, запятая, обида, гордость, жалость, горечь отдают заурядным, обидным отпором, мне делается стыдно. И стыдно не потому, что я ему сочувствую, но потому, что я с ним сосуществую, что призрачность его задевает меня и так же точно задевает каждого, в чье сознание она проникает. Верьте, самое время разработать и утвердить позицию второсортного писателя, ибо иначе всем людям станет плохо. Не странно ли, что особы, посвящающие себя ex professo[1] форме и, можно было бы полагать, чувствительные к сти-

[1] По призванию *(лат.)*.

лю, покорно мирятся с таким положением, ложным и претенциозным? Неужели вы не понимаете, что именно с точки зрения формы, стиля нет ничего более рокового по своим последствиям,— ибо тот, кто находится в ложном положении, в положении во всех отношениях пошлом, не может и слова сказать, которое не было бы пошлостью?

Какова же тогда, спросите вы, должна быть наша концепция, дабы мы сумели высказаться в согласии с нашей реальностью, а стало быть, более суверенно? Господа, не в ваших силах превратиться, вот так, в ночь со вторника на среду, в зрелых мастеров, но вы, однако, могли бы в известной мере спасти свое достоинство, отдалившись от Искусства, которое пристраивает вам столь докучливую попочку. Первым делом порвите раз и навсегда с этим словом — искусство, а заодно и с другим — художник. Перестаньте купаться в этих словах, которые вы талдычите с нудным постоянством. Разве не правда, что каждый немножечко художник? И разве не правда, что человечество создает искусство не только на бумаге или холсте, но делает это ежеминутно в своей повседневной жизни: и когда девушка вставляет цветок в волосы, когда в беседе с языка вашего сорвется шутка, когда мы растворяемся в сумеречной гамме светотени — что же это такое, если не сотворение искусства? Так зачем же это странное и вздорное разделение на «художников» и остальное человечество? И разве не честнее было бы, если бы вместо того, чтобы гордо именовать себя художниками, вы просто сказали бы: «Я, может, чуть больше других занимаюсь искусством?». И еще, зачем вам весь этот культ искусства, которое содержится в так называемых «произведениях»,— как это вам в голову взбрело и с чего это пригрезилось, будто человек так уж восхищается произведениями искусства и что мы млеем от неземного наслаждения, слушая фугу Баха? Неужели вас никогда не посещала мысль, как засорена, мутна, незрела эта художественная сфера культуры — сфера, которую вы стремитесь заточить в вашу незатейливую фразеологию? Ошибка, которую бесцеремонно и постоянно вы совершаете, состоит в том, что вы сводите общение человека с искусством исключительно к художественной эмоции, понимая к тому же такое общение как акт крайнего индивидуализма, словно бы каждый из нас наслаждался искусством собственноручно, собственноножно, отгородившись непроницаемой стеной от других людей. В действительности, однако, тут мы имеем дело со смесью, составленной из множества эмоций, да еще и множества людей, которые, воздействуя друг на друга, творят коллективное переживание.

Так, скажем, когда на эстраде пианист бренчит Шопена, вы утверждаете, что очарование шопеновской музыки в конгениальной интерпретации гениального пианиста очаровало слушателей. Но, быть может, на самом-то деле ни один слушатель очарован не был. Не исключено, если бы им не было известно, что Шопен — великий гений, а пианист — тоже, они выслушали бы эту музыку с меньшим энтузиазмом. Возможно, также, что, если каждый из них, побледнев от возбуждения, рукоплещет, кричит и вскакивает, это следует приписать тому, что точно так же кричат и вскакивают все вокруг; ибо каждый думает, что другие испытывают страшное наслаждение, неземное восхищение, а потому и его собственное восхищение начинает подниматься на чужих дрожжах; и потому легко может статься, что в зале никто сам по себе восторга не испытал, но все выказывают восторг — ибо каждый приспосабливается к своим соседям. И тогда только, когда все вместе они в должной степени взаимовозбудятся, тогда только, говорю я, эти внешние проявления вызовут у них волнение — ибо мы обязаны приспосабливаться к нашим внешним проявлениям. Но верно и то, что, принимая участие в этом концерте, мы совершаем нечто вроде религиозного акта (совсем так, как если бы мы прислуживали во время обедни), благоговейно опускаясь на колена перед Божеством мастерства; в этом случае наше восхищение было бы все же только актом поклонения и исполнения обряда. Кто же тем не менее скажет, сколько в этой Красоте истинной

красоты, а сколько историко-социологических процессов? Да, да, хорошо известно, человечество нуждается в мифах — оно выбирает себе кого-нибудь из множества своих творцов (кто, однако же, способен исследовать и описать пути, ведущие к такому выбору?) и возносит его над остальными, начинает заучивать его наизусть, открывает в нем собственные тайны, ему подчиняет свои чувства — но если бы мы с тем же самым упорством взялись за вознесение другого художника, он стал бы нашим Гомером. Так неужели же вы не видите, из какого множества разнообразнейших и нередко внеэстетических элементов (перечень каковых я могу бесстрастно продолжать до бесконечности) складывается величие художника и произведения? И это сомнительное, противоречивое и трудное сожительство наше с искусством вы хотите заточить в наивную фразочку, что «вдохновенный поэт поет, а восторженный слушатель слушает»?

Да бросьте вы цацкаться с искусством, бросьте — Бога ради! — всю эту систему его раздувания, его превознесения; не упивайтесь легендой, а позвольте фактам творить вас. И уже одно это должно было бы принести вам немалое облегчение, открывая вас Действительности,— но вместе с тем избавьтесь от страха, будто это приведет к оскудению и умалению вашего духа,— ибо Действительность всегда богаче наивных иллюзий и лживых выдумок. И я покажу вам сейчас, какое богатство поджидает вас на новом пути.

Это верно, что искусство есть совершенствование формы. Но вы — и тут обнаруживается вторая ваша кардинальная ошибка,— вы воображаете, будто искусство есть творение произведений, совершенных с точки зрения формы; беспредельный и всечеловеческий процесс создания формы вы сводите к производству поэм и симфоний; вы никогда не умели ни почувствовать сами, ни растолковать другим, какую гигантскую роль играет форма в нашей жизни. Вы даже в психологии не смогли обеспечить форме должное место. Вам все еще кажется, что чувства, инстинкты, идеи руководят нашим поведением, а форму вы склонны считать внешним дополнением и обычным украшением. И когда вдова, идя за гробом мужа, безудержно рыдает, вы полагаете, что она рыдает, ибо тяжело переносит свою утрату. Когда какой-нибудь инженер, врач или адвокат убьет свою жену, детей или друга, вы считаете, что он не смог обуздать свои кровавые инстинкты. Когда же политик скажет какую-нибудь глупость, вы подумаете, что он глуп, поскольку говорит сплошные глупости. Но в Действительности дело выглядит следующим образом: человеческое существо не выражает себя непосредственно и в согласии со своей природой, но всегда в какой-нибудь определенной форме, и эта форма, этот стиль, образ жизни не нами только порождены, они навязаны нам извне — вот почему один и тот же человек может выказать себя окружающим умным и глупым, злодеем и ангелом, зрелым или незрелым, в зависимости от того, какой стиль ему выпадет и насколько он зависим от других людей. И если черви, насекомые день напролет гоняются за пищей, мы без устали гоняемся за формой, мы грызем с другими людьми за стиль, за собственный наш образ жизни, и, сидя в трамвае, сидя за обеденным столом, читая, играя, отдыхая или делая свои дела,— мы всегда, непрерывно ищем форму и наслаждаемся ею либо страдаем из-за нее, мы приспосабливаемся к ней, либо корежим и разрушаем ее, либо позволяем, чтобы она творила нас, аминь.

О, могущество Формы! Из-за нее умирают народы. Она вызывает войны. Она виновница того, что в нас возникает нечто, что не от нас. Пренебрежительно к ней относясь, вы никогда не сумеете понять глупости, зла, преступлений. Она управляет самыми ничтожными нашими поступками. Она в основе коллективного бытия. Однако для вас Форма и Стиль все еще понятия из сферы чисто эстетической, для вас стиль всего только стиль на бумаге, стиль ваших рассказов. Господа, кто же даст пощечину попочке, которую вы осмеливаетесь обращать к людям, преклоняя колена перед алтарем искусства? Форма для вас — не что-то

живое и человеческое, не что-то, я бы сказал, практическое и повседневное, а только некий праздничный атрибут. Склоняясь над листом бумаги, вы забываете о собственной личности, и вас не заботит совершенствование вашего личного и конкретного стиля, вы лишь занимаетесь некоей абстрактной стилизацией в пустоте. Не искусство служит вам, вы служите искусству и с бараньей покорностью позволяете, чтобы оно мешало вашему развитию и сталкивало вас в пекло неумения.

Посмотрите теперь, сколь отличной была бы позиция человека, который вместо того, чтобы насыщаться фразеологией всевозможных концептуалистов, свежим взглядом окинул бы мир, осознавая безмерное значение формы в нашей жизни. Если бы он взялся за перо, то уж не затем, дабы стать Художником, но затем — скажем так,— дабы лучше выразить собственное своеобразие и разъяснить его другим; либо же, чтобы упорядочить свой внутренний мир, а также, быть может, углубить, отшлифовать свои отношения с другими людьми, имея в виду безграничное и творческое влияние других душ на нашу душу; либо, к примеру, он бы старался отвоевать себе такой мир, который ему по вкусу и который ему насущно необходим для жизни. Совершенно ясно, он не будет жалеть усилий для того, чтобы произведение своим художественным притяжением приманивало и пленяло других,— но главной его целью будет не искусство, а собственная его персона. И я говорю «собственная», а не «чужая», ибо самое время, чтобы вы бросили почитать себя высшими существами, которые могут кого-то поучать, просвещать, вести, поднимать и очищать. Кто же это гарантировал вам такое превосходство? Где сказано, что вы уже принадлежите к высшим сферам? Кто это назначил вас аристократией? Кто вам дал патент на Зрелость? О, тот писатель, о котором я говорю, не отдается писанию по той причине, что считает себя зрелым, но потому именно, что ощущает свою незрелость и знает, что не овладел формой и что он тот, кто взбирается, но еще не взобрался, тот, кто рождается, но еще не родился. И если случится ему написать произведение никчемное и глуповатое, он скажет: — Превосходно! Я написал глупо, но я ни с кем не подписывал контракт на поставку одних только мудрых, совершенных сочинений. Я выразил свою глупость и радуюсь этому, поскольку неприязнь и суровость людей, каковые я вызвал против себя, формируют меня и лепят, как бы создают заново, и вот я еще раз рожден заново. Из чего ясно: пророк, наделенный здоровой философией, так крепко верит в себя, что даже глупость и незрелость его не устрашают и не в состоянии ему навредить — с высоко поднятой головой может он самовыражаться и объявлять о своей никчемности, тогда как вы уже почти ничего не способны выразить, поскольку страх лишает вас голоса.

А стало быть, в этом смысле реформа, которую я вам предлагаю, доставила бы вам немалое облегчение. Надо, однако, добавить, что только сладкопевец, подобным образом подходящий к делу, был бы способен совладать с проблемой, которая пристраивала вам самую гадкую из гадких попочек,— и проблема, которую я тут затрагиваю, быть может, самая фундаментальная, самая гениальная (я не боюсь употребить это слово) из всех проблем стиля и культуры. Я бы так в живописной манере ее изложил: представьте себе, что взрослый и зрелый бард, склонившись над листом бумаги, творит... но на загривке у него поместился юноша или какой-нибудь полуинтеллигент полупросвещенный, либо девица, либо какая-нибудь особа со среднебезликой и размазанной душой, либо какое-то молоденькое существо, более низкое и темное,— и вот существо это, юноша, девица, полуинтеллигент или, наконец, иной какой-нибудь понурый сын темной четвертькультуры, кидается на его душу и вытягивает ее, сжимает, уминает лапами и, обхватив ее, вбирая, всасывая, омолаживает ее своей молодостью, заправляет своей незрелостью и прилаживает ее себе по своей мерке, низводя до своего уровня,— ах, заключает в свои объятия! Но художник вместо того, чтобы схватиться с агрессором, прикидывается, будто его не заме-

чает и — какое безумие! — полагает, что избежит насилия, делая вид, словно никто его и не насилует. Разве не то же случается с вами — и с великими гениями, и с посредственными бардами из второго ряда? Разве неправда, что всякое более высокое и зрелое существо, более старое, тысячью различных нитей привязано к существу, находящемуся на низшей ступени развития, и разве такая зависимость не пронизывает нас насквозь, добираясь до самой сути, так глубоко, что можно сказать: старший создан младшим? Разве, когда мы пишем, не приходится нам приспосабливаться к читателю? Разве, говоря, мы не попадаем в зависимость от того, к кому обращаемся? Разве мы не влюблены смертельно в молодость? Разве нам не нужно всякую минуту искать милости существ низших, подстраиваться к ним, поддаваться то их превосходству, то их очарованию — и разве болезненное это насилие, совершенное над нашей личностью полутемной низостью, не самое плодотворное насилие? Вы, однако,— пока что и вопреки всей вашей риторике — решились лишь на то, чтобы спрятать голову в песок, и ваш школярско-дидактический ум, набитый гордынею, не в состоянии осознать этого. Тогда как в действительности вас без устали насилуют, а вы делаете вид, будто ничего не произошло, ибо вы, взрослые, общаетесь только со взрослыми, и зрелость ваша такая зрелая, что только со зрелостью и может знаться!

Если бы вы, однако, меньше были озабочены Искусством или же обучением и шлифовкой других, а больше собственными жалкими особами, вы никогда бы не прошли мимо столь ужасного насилия над личностью — и поэт не создавал бы поэм для другого поэта, а почувствовал бы себя пронизанным и творимым снизу силами, которых до сих пор не замечал. Он понял бы, что, только познав их, он способен от них освободиться; и приложил бы все старание, чтобы в его стиле, позиции и форме — и художественной и житейской — отчетливо обозначилась бы связь с низким. Он уже не чувствовал бы себя лишь Отцом, но Отцом и одновременно Сыном; и не писал бы только как мудрый, изысканный, зрелый, но, скорее, как Мудрый, все еще оглупляемый, Утонченный, неутомимо огрубляемый, и Взрослый, неустанно омолаживаемый. И если бы, отходя от письменного стола, он встретил бы ненароком юношу или полуинтеллигента, он уже не хлопнул бы их покровительственно, назидательно и учительски по плечу, но, скорее, в святом страхе застонал бы, зарычал, а может, даже и пал бы на колени! Вместо того чтобы бежать от незрелости, замыкаясь в высоких сферах, он понял бы, что универсальный стиль тот, который сумеет любовно обнять недоразвитость. И это привело бы вас в конце концов к форме, так дышащей творчеством и наполненной поэзией, что все бы вы разом превратились в могучих гениев.

Посмотрите, какими надеждами одаривает вас эта лично-личностная моя концепция — какие открывает перед вами перспективы! Но чтобы она стала концепцией стопроцентно творческой и четкой, вы должны сделать вперед еще один шаг — и шаг этот такой смелый и решительный, такой безграничный по своим возможностям и разрушительный по своим последствиям, что только еле слышно и в самых общих чертах намекнут вам о нем мои уста. Вот — уже пришло время, уже пробил час на часах истории — старайтесь побороть форму, освободиться от формы. Бросьте отождествлять себя с тем, что вас определяет. Вы, художники, попробуйте уклониться от любого своего способа выражения. Не доверяйте собственным словам. Остерегайтесь веры вашей и не поддавайтесь чувствам. Откажитесь от того, чем вы кажетесь другим, и пусть поразит вас страх перед всяким самовыражением, такой страх, какой побуждает птицу дрожать при виде змеи.

Ибо — но не знаю, по правде говоря, могут ли уже сегодня уста мои произнести это,— ложен постулат, будто человек обязан быть определенным, то есть непоколебимым в своих идеях, категоричным в своих заявлениях, не сомневающимся в своей идеологии, твердым в своих

вкусах, ответственным за слова и поступки, раз и навсегда закованным в свой образ жизни. Всмотритесь попристальнее в нелепость этого постулата. Наша стихия — вечная незрелость. То, что мы думаем, чувствуем сегодня, для правнуков неизбежно будет глупостью. Тогда уж лучше для нас сегодня признать в этом долю глупости, которую принесет время... и та сила, каковая побуждает вас к скороспелым определениям, это не целиком человеческая сила, как полагаете вы. Скоро мы уразумеем, что уже не это самое важное: умирать за идеи, стили, тезисы, лозунги, веры; и не это тоже: утверждаться в них и замыкаться; но совсем иное, но это: отступить на шаг и оказаться на некотором расстоянии от всего, что непрерывно с нами происходит.

Отступление. Я предчувствую (но не знаю, могут ли уже признаться в этом мои уста), что близится время Генерального отступления. Поймет сын земли, что он не выражает себя в согласии со своей истинной сущностью, но только и всегда в форме искусственной и болезненно навязанной извне — людьми ли, обстоятельствами ли. И станет он страшиться этой своей формы и стыдиться ее, как до того чтил ее и гордился ею. Вскоре мы начнем пугаться наших фигур и личностей, ибо ясно станет нам, что они никак не наши полностью. И вместо того, чтобы реветь: «Я в это верю — я это чувствую — я такой — я это защищаю», мы скажем смиренно: «Мне в это верится — мне это чувствуется — мне это сказалось, сделалось, подумалось». Поэт-пророк запрезирает песнь свою. Вождь убоится приказа своего. Жрец испугается алтаря, а мать будет внушать сыну не только принципы, но и умение увертываться от них, дабы они его не придушили.

Долгая и тяжкая будет это дорога. Ибо сегодня и личности, и целые народы совсем неплохо умеют управлять своей психической жизнью и не чуждо им искусство создания стилей, вер, принципов, идеалов, чувств по собственной их прихоти, а также в согласии с их собственными сиюминутными интересами; но они не умеют жить без стиля; и мы не знаем еще, как защищать нашу глубинную свежесть от дьявола порядка. Великие открытия неизбежны — мощные удары, нанесенные мягкой человеческой ладонью по стальному панцирю Формы,— неслыханная хитрость, и великая честность мысли, и необыкновенное обострение ума,— дабы человек избавился от своей жестокости и сумел согласить в себе форму с бесформенностью, закон с анархией, зрелость с вечной и святой незрелостью. Но покуда это не наступит, скажите мне: лучше ли, по вашему мнению, Бере Ананасовки? И любите ли вы поедать ее, сидя удобно в плетеном кресле на веранде, либо же предпочитаете предаваться этому в тени деревьев, тогда как ваши части тела охлаждает ласковый и свежий ветерок? И я спрашиваю вас об этом со всею серьезностью и со всею ответственностью за слово, равно как и с глубочайшим почтением ко всем вашим частям без исключения, поскольку знаю, что вы представляете собой часть Человечества, которого частью являюсь и я, а также, что вы частично участвуете в части части чего-то, что также является частью и чего я также являюсь частью в части вместе со всеми частичками и частями части части части части части части части части части части части части части части... Спасите! О, проклятые части! О, кровожадные, омерзительные части, так, значит, вы опять за меня уцепились, неужели не убежать мне от вас, ха, куда же мне укрыться, что делать, о, хватит; хватит, хватит, кончим эту часть книги, перейдем поскорее к другой части, и, клянусь, в следующей главе уже не будет частичек, ибо я отряхнусь от них, и сброшу их, и выброшу их наружу, оставаясь снаружи (частично по крайней мере) без части.

Глава V

ФИЛИДОР, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РЕБЯЧЕСТВОМ

Князем наиболее чтимых во все времена синтетиков, вне всякого сомнения, был д-р проф. Синтетологии Лейденского университета, верховный синтетик Филидор, родом из южных околиц Аннама. Он творил в патетическом духе Высшего Синтеза, главным образом с помощью прибавления + бесконечности, а в экстренных случаях также и с помощью умножения на + бесконечность. Это был мужчина достойного роста, довольно крупный, с развевающейся бородой и лицом пророка в очках. Духовное явление такого масштаба не могло, разумеется, не вызвать в природе контръявления в соответствии с ньютоновским принципом действия и противодействия, и потому столь же знаменитый Аналитик скоренько родился в Коломбо и, получив докторскую степень, а также звание профессора Высшего Анализа в Колумбийском университете, быстро поднялся по лестнице научной карьеры на верхнюю ее ступень. Это был мужчина сухонький, маленький, гладко выбритый, с лицом скептика в очках и единственной страстью, состоявшей в преследовании и посрамлении знаменитого Филидора.

Он творил разделительно, а специальностью его было разделение особы на части с помощью счета, в особенности же с помощью щелчков. Так, с помощью щелчка в нос он побуждал нос к самостоятельному бытию, причем нос, к ужасу своего хозяина, ни с того ни с сего начинал вертеться во все стороны. Искусство это он часто пускал в дело в трамвае, если ему было скучно. Прислушавшись к голосу своего истинного призвания, он бросился в погоню за Филидором, а в одном маленьком городке Испании ему даже удалось получить дворянскую частичку к имени — анти-Филидор, чем он безумно гордился. Филидор, узнав, что тот преследует его, естественно, также пустился в погоню, и долгое время ученые гонялись друг за другом безрезультатно, ибо гордость ни одному из них не позволяла признать, что он не только преследователь, но и преследуемый. А потому, когда, к примеру, Филидор был в Бремене, анти-Филидор мчался из Гааги в Бремен, не желая или не будучи в состоянии принять во внимание, что Филидор в то же самое время и с той же самой целью скорым поездом отправляется из Бремена в Гаагу. Столкновение двух разогнавшихся ученых — катастрофа, сравнимая по масштабам с крупнейшими железнодорожными катастрофами,— произошла совершенно случайно в зале первоклассного ресторана гостиницы «Бристоль» в Варшаве. Филидор, сопутствуемый профессоршей Филидор, держа в руках расписание поездов, был поглощен выбором лучшего маршрута, когда прямо с поезда в ресторан ворвался запыхавшийся анти-Филидор под руку со своей аналитической спутницей Флорой Дженте из Мессины. Мы, т. е. при сем присутствовавшие ассистенты, доктора Теофил Поклевский, Теодор Роклевский и я, оценив серьезность положения, тотчас же принялись за составление заметок.

Анти-Филидор подошел к столику и, не произнося ни слова, взглядом атаковал профессора, который встал. Они попытались одолеть друг друга духовно. Аналитик напирал хладнокровно, снизу, Синтетик отвечал сверху, взглядом, полным твердого достоинства. Когда поединок глазами не дал решительных результатов, оба врага по духу начали поединок на словах. Доктор и мастер Анализа произнес:

— Клецки!

Синтетолог ответил:

— Клецка!

Анти-Филидор заревел:

— Клецки, клецки, или комбинация муки, яиц и воды!

Филидор парировал мгновенно:

— Клецка, или высшее существо Клецки, сама наивысшая Клецка!

Глаза его метали молнии, борода развевалась, было ясно, он одер-

жал победу. Профессор Высшего Анализа в бессильной ярости отступил на несколько шагов, но тут же в мозгу его выстроилась страшная концепция, а именно, тщедушный слабак в сравнении с Филидором как таковым, он взялся за его жену, которую старый заслуженный профессор любил без памяти. Вот дальнейший ход событий, согласно Протоколу:

1. Госпожа профессорша Филидор, дама весьма упитанная, толстая, достаточно величественная, сидит, ничего не говорит, сосредоточивается.

2. Профессор д-р анти-Филидор встал против профессорши со своим мозговым объективом и начал смотреть на нее взором, каковой раздевал ее догола. Госпожа Филидор затряслась от холода и стыда. Д-р проф. Филидор молча накрыл ее дорожным пледом и поразил нахала взором, полным беспредельного презрения. При сем, однако, проявил признаки беспокойства.

3. Тогда анти-Филидор тихо проговорил: — Ухо, ухо! — и разразился ехидным смехом. Под воздействием этих слов ухо тотчас же обнаружило себя и сделалось неприличным. Филидор велел жене натянуть шляпу на уши, это, однако, мало помогло, ибо тут же анти-Филидор буркнул как бы себе под нос: — Две дырки в носу,— обнажив дырки носа почтенной Профессорши манером равно беспардонным, как и аналитическим. Положение становилось угрожающим, тем более что о закрытии дырочек не могло быть и речи.

4. Профессор из Лейдена пригрозил вызвать полицию. Чаша весов явно стала склоняться в пользу Коломбо. Мастер Анализа умственно сказал:

— Пальцы, пальцы руки, пять пальцев.

К сожалению, туша профессорши была не такова, дабы затушевать факт, который вдруг предстал перед собравшимися во всей своей бросающейся в глаза очевидности, то есть факт пальцев на руке. Пальцы были, по пять с каждой стороны. Госпожа Филидор, обесчещенная дотла, из последних сил пыталась натянуть перчатки, но — в это просто трудно поверить — доктор из Коломбо накоротке сделал ей анализ мочи и, зашедшись в плаче, победоносно прокричал:

— H_2OC_4, TPS, немного лейкоцитов и белка!

Все встали. Д-р проф. анти-Филидор, удалился со своей любовницей, которая вульгарно расхохоталась, а профессор Филидор с помощью нижеподписавшихся немедленно отвез жену в больницу. Подписались — Т. Поклевский, Т. Роклевский и Антоний Свистак, ассистенты.

На следующее утро мы собрались — Роклевский, Поклевский и я вместе с Профессором — у одра больной госпожи Филидор. Ее разложение шло чересчур последовательно. Надкусанная аналитическим зубом анти-Филидора, она постепенно утрачивала свои внутренние связи. Время от времени она только глухо стонала: — Я нога, я ухо, нога, мое ухо, палец, голова, нога,— словно прощаясь с частями тела, которые уже начинали двигаться автономно. Индивидуальность ее пребывала в состоянии агонии. Все мы сосредоточились на поисках средств срочного спасения. Средств таких не было. После совещания, в котором принял участие и доцент С. Лопаткин, прилетевший в 7.40 из Москвы на самолете, мы еще раз признали необходимость самых сильных синтетических, научных методов. Методов таких не было. Но тогда Филидор собрал в кулак все свои умственные способности и так их сконцентрировал, что мы отступили на шаг, и произнес:

— Пощечина! Пощечина, причем звонкая, щека, это единственная из всех частей тела, способная вернуть честь моей жене и синтезировать разбежавшиеся элементы в некий высший почетный смысл хлопка и шлепка. Так за дело!

Но всемирно прославленного Аналитика не так легко было сыскать в городе. Только вечером его удалось поймать в первоклассном баре. Пребывая в состоянии трезвого пьянства, он пил бутылку за бутылкой, и чем больше он пил, тем больше трезвел, то же самое происходило и с его аналитической любовницей. В сущности говоря, они больше упивались трезвостью, нежели алкоголем. Когда мы вошли, официанты, бледные как полотно, трусливо сидели под стойкой, а они молча предавались каким-то не совсем понятным оргиям хладнокровного свойства. Мы составили план действий. Профессор сначала должен был предпринять ложную атаку правой рукой на левую щеку, после чего левой ударить по правой, а мы — т. е. доктора-ассистенты Варшавского университета — Поклевский, Роклевский и я, а также доцент С. Лопаткин — незамедлительно приступить к составлению протокола. План был прост, действия несложны. Но у профессора опустилась поднятая рука. А мы, свидетели, обалдели. Не было щеки! Не было, повторяю, щеки, были только две розочки и нечто подобное виньетке из голубков!

Анти-Филидор, проявив дьявольскую смекалку, предугадал план Филидора и упредил его. Этот трезвый Бахус вытатуировал себе на щеках по две розочки на каждой и нечто подобное виньетке из голубков! Вследствие этого щеки, а в свою очередь и задуманная Филидором пощечина потеряли всякий смысл, тем более высший. В сущности говоря, пощечина розам и голубкам не была пощечиной — она была скорее чем-то вроде удара по обоям. Не считая возможным допустить, дабы всеми уважаемый педагог и воспитатель молодежи попал в смешное положение, колошматя по обоям того ради, что жена его больна, мы решительно возражали против действий, о которых он мог бы впоследствии пожалеть.

— Пес ты! — проревел старец.— Ты подлый, ах, подлый, подлый пес!

— Куча ты! — ответил Аналитик, полыхая страшной аналитической спесью.— Я тоже куча. Хочешь — пни меня в живот. Не пнешь м е н я в живот, пнешь живот — и ничего больше. Хотел зацепить пощечиной щеку? Щеку можешь зацепить, но не меня — не меня. Меня нет вообще! Нет меня!

— Я еще зацеплю! Бог даст, зацеплю!

— Пока что они в иной субстанции! — засмеялся анти-Филидор. Флора Дженте, сидевшая рядом, расхохоталась, космический доктор обоих анализов бросил на нее чувственный взгляд и вышел. А вот Флора Дженте осталась. Она сидела на высокой табуретке и поглядывала на нас вылинявшими глазами до основания проанализированного попугая и коровы. Сразу же, с 8.40, мы начали — проф. Филидор, два медика, доцент Лопаткин и я — общую конференцию; перо в руках, как обычно, держал доцент Лопаткин. Конференция протекала следующим образом.

ВСЕ ТРИ ДОКТОРА ПРАВА

Ввиду вышепроисшедшего мы не видим возможности урегулирования конфликта достойным путем и советуем Многоуважаемому Господину Профессору игнорировать оскорбления, как исходящие от особы, не способной дать достойного удовлетворения.

ПРОФ. Д-Р ФИЛИДОР

Я буду игнорировать, а там жена умирает.

ДОЦ. С. ЛОПАТКИН

Жену не спасти.

Д-Р ФИЛИДОР

Не говорите так, не говорите так! О, пощечина, единственное лекарство. Но пощечины нет. Нет щек. Нет средства божественного синтеза. Нет чести! Нет Бога! Да, но есть щеки! Есть пощечина! Есть Бог! Честь! Синтез!

Я

Вижу, профессора подводит логика мышления. Либо щеки есть, либо их нет.

ФИЛИДОР

Господа, вы забываете, что остаются еще две мои щеки. Его щек нет, но мои щеки есть. Мы еще можем поставить на карту две мои нетронутые щеки. Господа, только постарайтесь понять мою мысль — я не могу дать ему пощечину, а он мне может,— но что я ему, что он мне, это все равно, так и так будет Пощечина и будет Синтез!

— Ба! Но как же сделать так, чтобы он Профессору дал пощечину?! Как его заставить Профессору дать пощечину?! Как его заставить Профессору дать пощечину?!

— Господа,— сосредоточенно проговорил гениальный мыслитель,— у него есть щеки, но у меня тоже есть щеки. Принцип здесь — определенная аналогия, и я поэтому буду действовать не столько логично, сколько аналогично. Per analogiam [1] куда вернее, ибо природой управляет некая аналогия. Если он король Анализа, то я же как-никак король Синтеза. Если у него щеки, то и у меня щеки. Если у меня жена, то у него любовница. Если он проанализировал мою жену, то я синтезирую его любовницу и таким образом выдеру из него пощечину, которую он боится мне дать! Одним словом, я его заставлю и спровоцирую дать мне пощечину — если уж я не могу дать пощечину ему.— И он, не мешкая, кивнул Флоре Дженте.

Мы примолкли. Она подошла, двигая всеми частями тела; одним глазом кося на меня, другим на Профессора, оскалив зубы на Степана Лопаткина, выпятив грудь на Роклевского, а задом вертя по адресу Поклевского. Впечатление было такое, что доцент вполголоса заметил:

— Вы в самом деле хотите кинуться со своим высшим синтезом на эти пятьдесят отдельных кусков? На эту бездушную, платную комбинацию элементов (ЖП+ПЖ) могущества?

Но универсальный Синтетолог обладал свойством никогда не терять надежды. Он пригласил ее к столику, угостил рюмочкой «Чинзано» и для начала, чтобы исследовать, синтетически сказал:

— Душа, душа.

Она ответила чем-то похожим, но не тем же самым, ответила чем-то, что было частью.

— Я! — произнес Профессор, изучающе и с нажимом, стремясь пробудить в ней куда-то запропастившееся «я».— Я!

Она ответила:

— А, вы, очень хорошо, пять злотых!

— Единство! — резко закричал Филидор.— Высшее Единство! Единство!

— Мне все едино,— сказала она равнодушно,— старик или ребенок.

Затаив дыхание, смотрели мы на эту чертову аналитичку ночи, которую анти-Филидор превосходно вышколил по-своему, а может, даже и воспитал для себя с малых лет.

Однако же Творец Синтетических Наук не унимался. Настал период тяжкого противоборства и напряжения сил. Он прочитал ей две первые песни «Короля-Духа», она потребовала за это десять злотых. Он провел с нею долгую и вдохновенную беседу о высшей Любви, Любви, которая захватывает и объединяет все, за что она взяла одиннадцать злотых. Он прочитал ей два отвлеченных романа наиболее известных романисток на тему о возрождении посредством Любви, за что она запросила сто пятьдесят злотых и не хотела уступить ни гроша. Когда же он вознамерился пробудить в ней гордость, она выставила счет на пятьдесят два злотых — ни больше, ни меньше.

— За чудачества платят, старый хрыч,— сказала она,— на это таксы нет.

---

[1] По аналогии *(лат.)*.

И заворочала своими тупыми совиными глазами, не поддаваясь, расходы росли, а анти-Филидор в городе смеялся в кулак над безнадежностью стараний, штучек...

На конференции с участием д-ра Лопаткина и трех доцентов знаменитый исследователь признал поражение в следующих словах:

— В общей сложности мне обошлось это в несколько сот злотых, я действительно не вижу возможности синтезирования, напрасно я прибег к помощи наивысших Единений, как то — Человечество, она все переводит на деньги и выдает сдачу. Человечество, оцененное в сорок два злотых, перестает быть Единением. В самом деле, неясно, что делать. А жена там теряет последние остатки внутренних связей. Нога уже отправляется гулять по комнате, как только она вздремнет — естественно, жена, не нога,— приходится держать ее руками, но руки тоже не хотят, анархия страшная, страшная разболтанность.

Д-Р МЕД. Т. ПОКЛЕВСКИЙ

А анти-Филидор распространяет слухи, будто профессор противный маньяк.

ДОЦЕНТ ЛОПАТКИН

А нельзя ли добраться до нее как раз с помощью денег? Если она все переводит на деньги, то можно подъехать как раз со стороны денег? Простите, я плохо вижу, что у меня за мысль, но есть нечто такое в природе — к примеру, была у меня пациентка, болела робостью, смелостью я ее лечить не мог, ибо смелость она не ассимилировала, но я дал ей такую дозу робости, что она не могла больше выдержать, и оттого, что не могла, ей пришлось осмелеть, и она тотчас же стала безумно храброй. Наилучший метод — per se [1], то есть вывернуть рукав наизнанку, подкладкой наружу, это значит само в себе. Само в себе. Надо бы ее синтезировать деньгами, только, признаюсь, не вижу, как...

ФИЛИДОР

Деньги, деньги... Но деньги всегда цифра, сумма, это не имеет ничего общего с Единением, собственно, только грош неделим, но грош-то не оказывает никакого воздействия. Пожалуй... пожалуй... господа, а если ей дать такую большую сумму, чтобы она одурела? — одурела? Господа... чтобы она одурела?

Мы примолкли, Филидор вскочил с места, а его черная борода развевалась. Он впал в одно из таких гиперманиакальных состояний, в которые гений регулярно впадает раз в семь лет. Он продал два каменных дома и виллу за городом, а вырученную сумму, 850 000 злотых, разменял на злотые. Поклевский наблюдал за ним с удивлением, этот недалекий уездный доктор никогда не умел понять гения, не умел понять и потому-то, собственно, совсем не понимал. А тем временем философ, уже уверовав в себя, направил ироничное приглашение анти-Филидору, который, отвечая на иронию иронией, пунктуально в половине десятого появился в кабинете ресторана «Алказар», где предстояло свершиться решающему эксперименту. Ученые не подали друг другу руки, только мастер Анализа сухо и ядовито засмеялся:

— Ну, наслаждайтесь, наслаждайтесь сколько влезет! Моя девушка не так скора на сложение, как ваша жена на разложение, в этом отношении я спокоен.

И он тоже стал постепенно впадать в гиперманиакальное состояние. Перо держал д-р Поклевский, Лопаткин держал бумагу.

Начал Филидор с того, что выложил на стол один-единственный злотый. Дженте и бровью не повела. Выложил второй — ничего, третий — тоже ничего, но когда появился четвертый, она сказала:

— Ого, четыре злотых.

При пяти — зевнула, а при шести равнодушно произнесла:

— Это что, старикашка, опять возбуждение?

И лишь при девяноста семи мы отметили первые признаки удивле-

---

[1] Само по себе, в чистом виде *(лат.)*.

ния, а при ста пятнадцати взгляд, до сих пор бегавший между д-ром Поклевским, доцентом и мною, стал понемногу синтезироваться на деньгах.

При ста тысячах Филидор уже тяжело дышал, анти-Филидор слегка забеспокоился, а гетерогенная доселе куртизанка обрела некоторую сосредоточенность. Словно прикованная, смотрела она на растущую кучу, которая, в сущности, переставала быть кучей, пыталась считать, но счет у нее уже не получался. Сумма переставала быть суммой, она становилась чем-то необъятным, чем-то высшим, нежели сумма, она взрывала мозг своей беспредельностью, сравнимой с беспредельностью Небес. Аналитик бросился на помощь, но оба доктора изо всех сил удерживали его — тщетно советовал он шепотом, чтобы она разбила целое на сотни, либо на пятидесятизлотовки, целое не позволяло себя разбить. Когда торжествующий жрец интегральной науки выложил все, что у него было, и припечатал кучу, а вернее беспредельность, гору, финансовую гору Синай одним-единственным неделимым грошем, словно некий Бог вошел в куртизанку, она встала и выказала все синтетические симптомы, плач, вздохи, улыбку и задумчивость — и проговорила:

— Государство — это я. Я. Нечто высшее.

Филидор испустил победоносный крик, и тогда анти-Филидор, угрожающе вопя, вырвался из рук докторов и ударил Филидора по лицу.

Выстрел этот был громом — был молнией синтеза, выдранного из аналитического нутра, разверзлась тьма. Доцент и медики растроганно поздравляли тяжко опозоренного Профессора, а заклятый враг его корчился у стены и выл в муках. Но никакой вой уже не мог остановить раз начатого честолюбивого бега, ибо дело, до сих пор бесчестное, вошло в обычное русло дела чести.

Проф. д-р Г. Л. Филидор из Лейдена выбрал двух секундантов в лице доц. Лопаткина и моем — проф. П. М. Момсен с дворянской приставкой анти-Филидор назвал двух секундантов в лице обоих ассистентов — секунданты Филидора с почетом подцепили секундантов Филидора. И с каждым этим почетным шагом креп синтез. Колумбиец вился, как на раскаленных угольях. Лейденец же, улыбаясь, молча разглаживал свою длинную бороду. А в городской больнице больная Профессорша стала объединять части, слабым голосом попросила молока, и в докторов вселилась надежда. Честь выглянула из-за туч и сладко улыбнулась людям. Последний бой должен был состояться во вторник, точно в семь утра.

Перо предстояло держать д-ру Роклевскому, пистолеты доц. Лопаткину, Поклевскому выпало держать бумагу, а мне пальто. Стойкий боец, рожденный под знаком Синтеза, не испытывал ни малейших сомнений. Я помню, что он говорил мне накануне утром.

— Сын мой,— сказал он,— равным образом может пасть он, могу — я, однако, кто бы ни пал, дух мой победит непременно, ибо речь идет не о смерти самой по себе, но о качестве смерти, а качество смерти будет синтетическим. Если падет он, то смертью своею почтит Синтез,— если он убьет меня, то убьет способом синтетическим. Таким образом и за гробом победа будет на моей стороне.

Пребывая в приподнятом настроении, он, желая тем достойнее отметить момент славы, пригласил обеих дам, т. е. жену и Флору, присутствовать в качестве рядовых ассистенток. Меня, однако, точили дурные предчувствия. Я опасался — чего это я опасался? Сам не знал чего, всю ночь не отпускала меня тревога неведения, и только на площади я понял, что меня тревожит. Утро было сухое и ясное, как на картинке. Духовные противники стали друг против друга, Филидор поклонился анти-Филидору, а анти-Филидор поклонился Филидору. И тогда я понял, чего опасаюсь. Это была симметрия — ситуация была симметрична, и в том состояла ее сила, но и ее слабость также.

Ибо ситуация отличалась той особенностью, что каждому движению Филидора должно было соответствовать аналогичное движение анти-Филидора, а инициатива была за Филидором. Ежели Филидор кланялся, то должен был кланяться и анти-Филидор. Ежели Филидор стрелял, то должен был выстрелить и анти-Филидор. А все, подчеркиваю, должно было проходить по оси, проведенной через обоих дерущихся, по оси, которая была осью ситуации. Ба! Что же, однако, будет, если тот двинет в сторону? Ежели отпрыгнет? Если выкинет коленце и каким-нибудь манером увильнет от железных законов симметрии и аналогии? Ба, какие же безумия и предательства могли скрываться в мозговитой голове анти-Филидора? Я бился с мыслями, когда нежданно Профессор Филидор поднял руку, сосредоточенно нацелился прямо в сердце противника и выстрелил. Выстрелил и промахнулся. Промахнулся. И тогда аналитик, в свою очередь, поднял руку и нацелился в сердце противника. Вот оно, вот оно, мы готовились к крику победы. Вот, вот, казалось нам, ежели тот выстрелил синтетически в сердце, то этот также должен выстрелить в сердце. Казалось, что просто нет иного выхода, что нет никакой боковой интеллектуальной калитки. Но вдруг в мгновение ока Аналитик с неимоверным трудом как-то взвизгнул, тихонько заскулил, немного скосил, сполз стволом пистолета с оси и неожиданно выпалил в бок, и куда — в мизинец Профессорши Филидор, которая вместе с Флорой Дженте стояла неподалеку. Выстрел был верхом мастерства! Палец отвалился. Госпожа Филидор, огорошенная, поднесла руку ко рту. А мы, секунданты, на миг потеряли самообладание и издали возглас восхищения.

И тогда случилась вещь страшная. Главный Профессор Синтеза не выдержал. Очарованный легкостью, мастерством, симметрией, ошеломленный нашим возгласом восхищения, он тоже скосил и тоже выстрелил в мизинец Флоры Дженте и засмеялся коротеньким, сухим, гортанным смешком. Дженте подняла руку ко рту, мы издали возглас восхищения.

Тогда Аналитик выстрелил опять, оторвав второй мизинец Профессорши, которая поднесла другую руку ко рту — мы издали возглас восхищения, а спустя четверть секунды выстрел Синтетика, произведенный с безошибочной твердостью с расстояния в семнадцать метров, оторвал у Флоры Дженте аналогичный палец. Дженте поднесла руку ко рту, мы издали возглас восхищения. И пошло, и пошло. Пальба не утихала, страстная, бурная и великолепная, как само великолепие, а пальцы, уши, носы, зубы сыпались, словно листья с дерева, раскачиваемого вихрем, а мы, секунданты, едва поспевали с воплями, которые исторгала из нас молниеносная точность. У обеих дам уже были отбиты все естественные отростки и выступы, и они не падали замертво просто потому, что тоже не могли поспеть, а, кстати, думаю и потому, что испытывали от этого своеобразное наслаждение — подставляясь под такую меткость. Но в конце концов кончились патроны. Мастер из Коломбо последним выстрелом пробуравил Профессорше Филидор самую верхушку правого легкого, мастер из Лейдена в ответ моментально продырявил верхушку правого легкого Флоре Дженте, мы еще раз издали возглас восхищения, и воцарилась тишина. Оба туловища умерли и повалились на землю — оба стрелка взглянули друг на друга.

И что же? Оба смотрели друг на друга, и оба не знали совершенно — что? Что собственно? Патронов больше не было. Да и трупы уже лежали на земле. В сущности, делать было нечего. Время приближалось к десяти. Анализ, по сути, победил, но что из того? Совершенно ничего. С тем же успехом мог победить Синтез, и тоже ничего с того бы не было. Филидор взял камень и бросил его в воробья, но промахнулся, и воробей улетел. Солнце начинало припекать, анти-Филидор взял большой ком и швырнул его в ствол дерева — попал. Тут под руку Филидора подвернулась курица, бросил, попал, курица удрала и спряталась в ку-

стах. Ученые покинули свои позиции и пошли — каждый в свою сторону.

Под вечер анти-Филидор был в Езёрне, а Филидор — в Вавже[1]. Один под стрехой охотился на ворон, а другой присмотрел себе какой-то одинокий фонарь и целился в него с расстояния в пятьдесят шагов.

Так они и шатались по свету, целясь чем попало во что попало. Распевали песенки и с особым удовольствием били стекла, любили также постоять на балконе и поплевать прохожим на шляпы, а что уж тут говорить, когда им удавалось попасть в толстосумов, ехавших в пролетке. Филидор до того навострился, что мог с улицы оплевать человека, стоящего на балконе. А анти-Филидор тушил свечи, бросая в пламя коробкой спичек. Больше всего им нравилось охотиться на лягушек с малокалиберкой или стрелять по воробьям из лука, а еще с моста они кидали в воду бумажки и травинки. Но самым большим наслаждением было для них купить детский воздушный шарик и мчаться за ним по полям и лесам — эй, ай! — поджидая, когда он с треском лопнет, будто в него попала невидимая пуля.

А когда кто-нибудь из научного мира вспоминал ушедшее милое прошлое, духовные бои, Анализ, Синтез и всю бесповоротно утерянную славу, они только мечтательно говорили:

— Да, да, помню этот поединок... хорошо пукалось!

— Но, Профессор,— воскликнул я, а за мной вслед и Роклевский, который за это время успел жениться и на улице Кручей основать семью,— но Профессор, вы выражаетесь, как ребенок!

И на это впавший в ребячество старец ответил:

— Ребячеством приправлено все.

Глава VI

СОВРАЩЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОНУЖДЕНИЕ К МОЛОДОСТИ

В тот самый миг, когда акт страшного психофизического насилия, совершавшегося Ментусом над Сифоном, достиг кульминации, двери растворились и в класс вошел Deus ex machina[2], Пимко, неизменно и беспредельно надежный с головы до пят.

— Восхитительно, в мячик играете, дети! — воскликнул он, хотя мы вовсе не играли в мячик, да и вообще никакого мячика не было.— В мячик, в мячик играете, в мячик, вот как ты ловко бросаешь мячик, а ты вот как ловко его ловишь! — И, заметя румянец на бледном моем лице, стянутом судорогой страха, прибавил: — О, какой чудесный румянец! Школа тебе на пользу, Юзя, и мячик тоже. Пошли,— сказал он,— я отведу тебя к госпоже Млодзяк[3], ты там будешь жить, я с нею уже обо всем договорился по телефону. Я нашел тебе пристанище у господ Млодзяков. В твоем возрасте предосудительно иметь в городе отдельную квартиру. С сегодняшнего дня — твое место у госпожи Млодзяк.

И он потащил меня за собой, а по дороге, желая приободрить, стал рассказывать о Млодзяке, который был инженером-конструктором, и о Млодзяк, которая была инженершей.— Это современный дом,— предупредил он,— современно-натуралистический, отдающий дань новым течениям и чуждый моей идеологии. Но я углядел в тебе какую-то искусственность, позу, ты все еще изображаешь взрослого — так вот, Млодзяки излечат тебя от этого огорчительного недостатка, научат тебя естественности. Запамятовал, однако, сообщить тебе, что там есть еще и дочурка, Млодзяк Зутка, гимназистка,— добавил он небрежно, сжимая мою руку и искоса из-под пенсне поглядывая на меня педагогическим

[1] Окраины Варшавы на противоположных ее концах.
[2] Бог из машины *(лат.)*.
[2] Mlodziak — по-польски «юнец», «молокосос».

взглядом.— Гимназистка,— сказал он,— тоже современная. Гм, не лучшая компания, опасность велика... но с другой стороны, ничто так не втягивает в молодость, как современная гимназистка... она-то уж заразит тебя юношеским патриотизмом.

Трамваи ходили. Горшочки с цветами стояли в окнах домов. Какой-то тип с верхнего этажа бросил в Пимку сливовой косточкой, но промахнулся.

Что? Что? Гимназистка? Я вмиг схватил план Пимки — гимназисткой он хотел навечно заточить меня в молодость. Рассчитывал на то, что, когда я влюблюсь в молодую гимназистку, мне расхочется быть взрослым. Дома, как и в школе, ни минуты свободной, чтобы я случаем не улизнул через щелку. Нельзя было терять ни секунды, я второпях укусил его за палец и бросился наутек. На перекрестке увидел какую-то взрослую женщину и погнал к ней с испуганным, очумелым, скривившимся лицом, лишь бы подальше от Пимки и его страшной гимназистки. Но великий Умалитель стремглав, в несколько шагов настиг меня и схватил за воротник.

— К гимназистке! — закричал он.— К гимназистке! К молодости! К Млодзякам!

Он втолкнул меня в пролетку и рысью помчал к гимназистке по шумным улицам, до краев заполненным экипажами, людьми, пением птичек.

— Едем, едем, оглядываться незачем, позади тебя нет ничего, только я с тобой.

И, сжимая мою руку, весь светясь, бормотал:

— К гимназистке, к современной гимназистке! Там-то гимназистка уж сумеет влюбить его в молодость! Там-то Млодзяки уж сумеют его умалить! Там-то уж попочку пристроят ему преотличнейшую! Цо, цо, цо! — заорал он, даже лошадь задергалась, а обращенная к Пимке спина извозчика на козлах выражала безграничное народное презрение. Пимко, однако, сидел совершенно абсолютно.

Но на пороге дешевого интеллигентского дома в районе то ли Сташица, то ли Любецкого [1] он вроде как заколебался, обмяк и — о чудо! — потерял часть своего абсолютизма.

— Юзя,— прошептал он, трясясь и вертя головой,— я ради тебя иду на огромную жертву. Только ради твоей молодости это и делаю. Только ее ради отваживаюсь на риск встречи с современной гимназисткой. Ха, гимназистка, современная гимназистка!

И поцеловал меня, будто в страхе хотел умаслить меня, а одновременно вроде как и на прощание. И затем, придя в крайнее возбуждение, принялся, постукивая палкой, декламировать и цитировать, читать наизусть, высказывать мысли, афоризмы, суждения и концепции, все отменного свойства, все классически отточенное, но вид у него был учителишки больного и опасающегося утерять собственную свою суть. Он вспоминал неведомые мне имена каких-то своих литературных друзей, и я слышал, как он тихо повторял их похвальные отзывы о нем, в свою очередь похвально отзываясь о них. Он также трижды расписался карандашом на стене — «Т. Пимко»,— словно Антей, черпающий силы в собственной подписи. Я изумленно смотрел на учителя. Что это? Неужто и он страшится современной гимназистки? Или только прикидывается? С какой стати столь искусному учителишке бояться гимназистки? Но служанка уже открыла нам дверь, и мы оба вошли — профессор как-то скромно, без свойственного ему высокомерия, а я с лицом, похожим на тряпку, скомканным, бледным, обалделым и отрешенным. Пимко постучал палкой, спросил: — Господа дома? — в тот же миг распахнулись двери в глубине, и нам навстречу вышла гимназистка. Современная.

Лет шестнадцати, свитер, юбка, резиновые спортивные тапочки, спортивная, раскованная, складная, ловкая, гибкая и нахальная! При

[1] Районы Варшавы.

виде ее я перетрусил душой и лицом. Понял с первого же взгляда, что это — явление могучее, более, пожалуй, могучее, нежели Пимко, и столь же в своем роде абсолютное, ни в какое сравнение не идущее с Сифоном. Кого-то она мне напомнила — кого? кого? — ах, напоминала она мне Копырду! Вы помните Копырду? Она была такая же, но мощнее, родственного ему типа, но более интенсивная, совершенная в своей гимназичности гимназистка и абсолютно современная в своей современности. И вдвойне молодая — во-первых, возрастом, а во-вторых, современностью,— то была молодость молодости. Вот я и испугался, как человек, который сталкивается с явлением его превосходящим, и страх еще усилился, когда я увидел, что не она учителишку, а учителишка ее боится и совсем неуверенно кланяется современной гимназистке.

— Целую ручки,— воскликнул он якобы весело и нажимая на элегантность.— Вы, барышня, не на пляже? Не на Висле? Мамочка дома? Как там вода в бассейне, а? Холодная? Холодная лучше всего! Я сам в свое время купался в холодной!

Что это? В голосе Пимки я услышал старость, льстящую молодости спортом, старость униженную — я отступил на шаг. Гимназистка Пимке не отвечала — только смотрела на него — и, взяв в рот английский ключик, который держала в правой руке, подала ему левую с такой равнодушной бесцеремонностью, будто то был вовсе и не Пимко... Профессор смешался, не знал, что делать с этой, протянутой ему молоденькой левой, наконец схватил ее обеими руками. Я поклонился. Она вытащила ключ изо рта и проговорила деловито:

— Мамы нет, но она сейчас придет. Пожалуйста...

И проводила нас в современный холл, где встала у окна, а мы расположились на диване.

— Мамочка, верно, на сессии комитета? — начал Пимко светскую беседу.

Современная сказала:

— Не знаю.

Стены были выкрашены светло-голубой краской, занавески кремовые, на полочке радиоприемник, обстановка современная, строгая, чистая, гладкая, простая, два встроенных в стену шкафа и столик. Гимназистка стояла у окна, словно в комнате никого не было, и отшелушивала кожу, которая облезала у нее с плеч — следствие загара. Присутствие наше для нее не существовало — на Пимку ни малейшего внимания — и поплыли минуты. Пимко сидел, нога на ногу, сплел руки, пальцами крутил, словно гость, которым никто не занимается. Поерзал, хмыкнул раз, другой, откашлялся, желая поддержать разговор, но современная повернулась к окну передом, к нам задом и продолжала отшелушивать кожу. Так что он ни слова не произнес, только сидел — но его сидение без разговора было незавершенным, неполным. Я протер глаза. Что происходит? Ибо то, что что-то происходило, факт — но что, собственно? Властное сидение Пимки — незавершенное? Брошенный учителишка? Учителишка? Незавершенность требовала дополнения — знаете эти мучительные пустоты, когда одно кончается, а другое еще не начинается? В голове образуется пустота. Я вдруг увидел, что из учителишки лезет старость. До того я и не замечал, что профессору уже за пятьдесят, мне это как-то никогда прежде не приходило на ум, будто абсолютный учителишка был существом вечным и вневременным. Старый или профессор? Как это — старый или профессор? Почему бы ему не быть старым профессором? Нет, речь не о том, но против меня что-то замышляют (ибо то, что они были в сговоре, несомненно). Боже, отчего он сидит? Зачем он пришел сюда, неужели, чтобы сидеть подле меня с гимназисткой? Сидение его для меня было тем мучительнее, что я сидел с ним вместе. Если бы я стоял, это не было бы так страшно. Но вставание сопряжено с ужасными трудностями, точнее говоря, встать повода не было. Нет, речь не о том, но почему он сидит с гимназисткой, почему сидит по-стариковски с молодой гимназисткой? Сжальтесь! Но нет жа-

лости. Почему он сидит с гимназисткой? Почему его старость это не обычная старость, а гимназическая? Как это — старость гимназическая? Мне вдруг сделалось страшно, но бежать не мог. Гимназическая старость — старость молодо-старая — вот какие незавершенные, неполные, омерзительные формы скакали в моей голове. И нежданно раздалось в комнате пение. Я не верил своим ушам. Учителишка пел арию гимназистке. От удивления я пришел в себя. Нет, не пел, напевал — Пимко, оскорбленный равнодушием гимназистки, промычал несколько тактов из оперетки, подчеркивая тем самым всю несуразность, дурное воспитание, бестактность молодой Млодзяк. Так, стало быть, он пел? Заставила дедушку запеть! Разве это тот грозный, абсолютный, искусный Пимко, сей дедушка, брошенный на диван, принужденно поющий для гимназистки?

Я совсем обессилел. После стольких злоключений с утра, с того момента, когда прилетел ко мне дух, мышцам моего лица не дано было ни разу расслабиться, щеки мои горели, будто после бессонной ночи, проведенной в поезде. Но сейчас поезд вроде бы останавливался. Пимко пел. Стыдно мне сделалось, что я так долго подчинялся безобидному старикашке, на которого рядовая гимназистка не обращала никакого внимания. Лицо мое понемногу начало входить в норму, я уселся поудобнее и спустя мгновенье обрел полное равновесие, а также — о радость! — утерянные тридцать лет. Я решил самым обычным образом уйти, даже без протестов, но тут профессор схватил меня за руку, он был теперь совершенно иным. Постарел, помягчел, выглядел серо и нелепо, возбуждал жалость.

— Юзя,— шепнул он мне на ухо,— не бери пример с этой современной девушки нового, послевоенного типа, эпохи спорта и джаз-бандов! Послевоенное одичание нравов! Отсутствие культуры! Отсутствие уважения к старшим! Голод желаний нового поколения! Я начинаю опасаться, что атмосфера для тебя не будет здесь хороша. Дай мне слово, что не подпадешь под влияние этой разнузданной девушки. Вы похожи,— он говорил как в жару,— есть у вас нечто общее, знаю, знаю, знаю, ты, в сущности, тоже современный мальчик, зря я привел тебя сюда к современной девушке!

Я взглянул на него как на сумасшедшего. Что, это я-то, с моими тридцатью годами, похож на современную гимназистку? Пимко показался мне глупым. Но он продолжал пугать меня гимназисткой.

— Новые времена! — говорил он.— Вы, молодые, сегодняшнее поколение. Вы пренебрежительно относитесь к старшим, а друг с другом сразу же переходите на «ты». Нет уважения, нет культа прошлого, дансинг, байдарка, Америка, инстинкт минуты, carpe diem [1], вы молодые!

И принялся страшно льстить моей якобы молодости и современности, и что мы — современная молодежь, и что для нас только ноги, и то да се, а молодая Млодзяк все это время стояла равнодушно и отшелушивала кожу, не ведая даже, что варится за ее спиной.

Я, наконец, понял, к чему он гнет,— ему просто хотелось подобным образом влюбить меня в гимназистку. Расчет его был таков: он хотел сразу же вовлечь меня в гимназистку, передать меня из ручек в ручки, дабы я не удрал. Прививал мне идеал, будучи уверен, что раз я, по примеру Сифона и Ментуса, получу идеал молодости, я буду заточен на веки вечные. Профессору, в сущности, было все равно, каким я стану мальчиком, лишь бы я из мальчишества не вылезал. Если бы ему удалось с ходу влюбить меня и вдохновить современным идеалом мальчика, он мог бы преспокойно удалиться, предаться многочисленным своим побочным занятиям, которые не позволяли ему лично удерживать меня в умалении. И парадокс: Пимко, который — казалось бы — превыше всего ценил собственное превосходство, согласился сыграть унизительную роль старомодного добряка, возмущенного современным поколением госпо-

[1] Лови мгновенье *(лат.)*.

дина, лишь бы приманить меня к гимназистке. Стариковским и дядюшкиным возмущением он толкал нас на союз против себя, старостью и старомодностью желал влюбить меня в молодость и современность. Но была тут у Пимки и еще одна цель, не менее важная. Ему мало было одной влюбленности — он стремился сверх того связать меня с нею, непременно, по возможности, наиболее незрелым образом, ему не надо было, чтобы я полюбил ее обычной любовью, нет, он жаждал, дабы я втюрился в ту именно особенно пошлую и отвратную младо-старую, современно-старомодную поэзию, каковая рождается из комбинации довоенного старика с послевоенной гимназисткой. Учителишка очень хотел, видно, косвенно участвовать в процессе моего очарования. Все это было довольно ловко придумано, но чересчур глупо, и, предвкушая полное освобождение от Пимки, я спокойно выслушивал бездарную лесть старого дядюшки. Глупец! Я не знал, что только глупая поэзия по-настоящему и притягательна!

И вот из ничего возникло чудовищное построение, страшный поэтический коллектив — там у окна современная гимназистка ко всему равнодушная, тут на диване старик-профессор, льющий слезы над послевоенным одичанием, а я между ними, обложенный младо-старой поэзией. Боже! Но мои-то тридцать! Уйти, уйти, как можно скорее! Но мир как будто бы распался и воссоздался на новых началах, мои тридцать опять поблекли и стали неактуальными, современная у окна приобретала все больше привлекательности. А проклятый Пимко не унимался.

— Ноги,— разжигал он современностью,— ноги, знаю я вас, знаю я ваш спорт, обычай нового американизированного поколения, вы предпочитаете ноги рукам, для вас ноги самое важное, коленки! Культура духа для вас ничто, только коленки. Спорт! Коленки, коленки — он страшно мне льстил,— коленки, коленки, коленки!

Как тогда, на большой перемене, он подсунул школярам проблему невинности, которая их взбесила и стократ умножила незрелость, так и теперь он подсовывал мне современные коленки. А я с удовольствием слушаю, как он соединяет мои коленки с коленками поколения, и уже испытываю молодую жестокость к старым коленкам! И было в этом какое-то содружество коленок с гимназисткой, плюс тайное услаждающее коленочное согласие, плюс патриотизм ноги, плюс дерзость молодой коленки, плюс поэзия ноги, плюс юношеская коленчатая гордость и культ коленки. Чертова часть тела! Мне незачем добавлять, что все происходило тихо, в тылах гимназистки, которая стояла у окна со своими одного с нею возраста коленками и отшелушивала кожу, не догадываясь ни о чем.

Я бы в конце концов выпутался из коленок и ушел, если бы не то, что вдруг распахнулась дверь и новое лицо явилось в комнате; приход нового и незнакомого мне лица совсем меня доконал. То была Млодзяк, женщина довольно-таки полная, но интеллигентка и общественница, с живым и бдительным выражением лица, член комитета по спасению младенцев или по изничтожению язвы детской нищеты в столице. Пимко сорвался с дивана — как ни в чем не бывало, изысканный, радушный, пожилой профессор из довоенной еще Галиции.

— А, милая госпожа Млодзяк! Вы, дорогая, всё в хлопотах, всё в делах, наверное, с сессии комитета. А я вот привел моего Юзю, которого вы любезно согласились взять под свое покровительство, вот он, Юзя, вот этот молодой человек, Юзя, деточка, поклонись тете.

Что такое? Пимко опять изменил тон на снисходительный и покровительственный. Кланяться старой, мне, молодому? Уважительно кланяться? Пришлось — а Млодзяк подала мне маленькую, но пухлую руку и посмотрела с мимолетным удивлением на мое лицо, раскачивавшееся между тридцатью и семнадцатью годами.

— Сколько лет мальчику? — услышал я, как она спросила Пимку, отходя с ним в сторону, а профессор добродушно ответил:

— Семнадцать, семнадцать, дорогая, в апреле семнадцать исполнилось, он выглядит не по годам серьезным, может, чуть-чуть подделывается под взрослого, но сердце у него золотое, тю-тю!

— А, подделывается,— проговорила Млодзяк.

Вместо того чтобы протестовать, я сел и сидел на диване как прикованный. Неслыханная глупость этой инсинуации делала невозможными никакие объяснения. И я стал ужасно мучаться. Ибо Пимко увел инженершу Млодзяк к окну, туда как раз, где стояла гимназистка, и они принялись за доверительную беседу, время от времени поглядывая на меня. Однако ничтожный учителишка нарочно, хотя как будто бы и случайно, порой повышал голос. И мука! Ибо я услышал, что он единит меня с собою против Млодзяк — как недавно он единил меня с гимназисткой против себя, так теперь единит меня с собой. Мало того, что он представил меня позером, который изображает взрослого и пресыщенного, но еще и растроганно говорил о моей к нему привязанности, восхищался достоинствами моего ума и сердца (один только недостаток, что немного позер,— но это пройдет), а поскольку все это он излагал как-то по-старчески прочувствованно и тоном старомодного типичного учителишки, то выходило, что и я тоже старомодный и несовременный! И он соорудил такую вот дьявольскую ситуацию — тут я сижу на диване и принужден изображать, что не слышу, там гимназистка у окна стоит и не знаю, слышит ли она, а там Пимко в углу головой трясет, покашливает и умиляется мною, издеваясь над вкусами и склонностями прогрессивной инженерши. О, тот, кто в полной мере понимает, что такое налаживание отношений с незнакомым, первый раз встреченным человеком, каким неправдоподобным риском отличается этот процесс, щедрый на предательства и ловушки, тот поймет, сколь беспомощен я был в компании Пимки и инженерши Млодзяк. Пимко обманом втаскивал меня в дом Млодзяков, мало того, нарочно повышал голос, дабы я слышал, что он обманом меня втаскивает,— предательски втаскивал меня в Млодзяков, а Млодзяков в меня!

Вот почему инженерша Млодзяк посмотрела в мою сторону с жалостью и досадой. Ее не могло не вывести из себя слащавое Пимкино пустословие, а кроме того, эти нынешние предприимчивые инженерши, страстные поклонницы коллектива и эмансипации, ненавидят всякую искусственность и неестественность у молодежи, в особенности же не выносят ее подделки под взрослых. Как прогрессивные и целиком устремленные в будущее, они чтят культ молодости жарче, нежели это делалось в свое время, и нет ничего, что могло бы привести их в большее бешенство, чем мальчик, который поганит свои молодые годы позой. Хуже того, они не только не любят этого, но к тому же еще любят эту свою нелюбовь, что рождает у них сознание собственной прогрессивности и современности — и они всегда готовы дать волю своей нелюбви. Инженерше не нужно было повторять дважды, эта в общем-то толстая женщина могла построить свои отношения со мной на каком-нибудь ином основании, не обязательно на формуле «современность — старомодность», все зависело от первого аккорда, ибо первый аккорд мы выбираем сами, а все остальное лишь следствие такого выбора. Однако Пимко смычком старого наставника коснулся ее современной струны, и она вмиг взяла нужную ноту.

— А, не люблю,— поморщилась она,— не люблю! Молодой старик, пресыщенный и наверняка неспортивный! Терпеть не могу неестественности. Да, вы, профессор, сравните-ка его с моей Зутой,— искренняя, раскованная, естественная — вот к чему ведут ваши анахроничные методы.

Услышав это, я утратил остатки веры в действенность протестов, она бы не поверила мне, что я взрослый, ибо полюбила себя и свою дочурку в сочетании со мною — старомодным мальчиком, воспитанным на вчерашний манер. А уж коли мать полюбит свою дочку с тобой, все пропало, ты должен быть такой, какой ты нужен ее дочке. Я, разумеет-

ся, мог протестовать, кто же спорит, что не мог,— я мог в любую минуту встать, подойти и, несмотря на все сложности, вбить им в головы, что мне не семнадцать, а тридцать лет. Мог, однако не мог, ибо мне не хотелось, мне уже только хотелось доказать, что я не старомодный мальчик! Этого мне хотелось, ничего больше! Я обозлился, что гимназистка слышит болтовню Пимки и готова составить обо мне отрицательное мнение. Это заслонило проблему моего тридцатилетия. То поблекло! Это разгорелось, это раскалилось, это разболелось! Я сидел на диване и не мог закричать, что он нарочно лжет — ну, я поерзал на чем сидел, вытягиваю ноги, пытаюсь принять вид раскованный и смелый, сидеть современно и закричать безгласно, что неправда, что я не такой, я другой, коленки, коленки, коленки! Я наклоняюсь вперед, оживляю взгляд, сижу естественно и безгласно всей своей фигурой опровергаю — если гимназистка обернется, пусть увидит — и тут слышу, как инженерша Млодзяк тихонько говорит Пимке:

— Действительно, болезненно-манерный, вы только посмотрите — все время принимает какие-то позы.

Я не мог пошевелиться. Если бы переменил позу, оказалось бы, что я услышал, и опять вышла бы манерность, что бы я теперь ни сделал — все будет манерой. Меж тем гимназистка отворачивается от окна, обнимает меня взглядом, отмечает, как я сижу, не умея высвободиться из своей позы под естественного, и замечаю на лице ее неприязненное выражение. А высвободиться я еще больше не могу. И вижу, как в девушке поднимается резкая молодая недоброжелательность ко мне, недоброжелательность кристально-чистая. Даже инженерша Млодзяк прервала беседу и спросила дочь en camarade, по-приятельски:

— Ты что так смотришь, Зута?

Гимназистка, не отводя глаз, лояльнеет — делается лояльная-лояльная, открытая, искренняя — и сквозь надутые губки выбрасывает из себя:

— Он все время подслушивал. Все слышал.

О! Сказано это было сурово!.. Я хотел было запротестовать, но не мог, а инженерша Млодзяк, понизив голос, сообщила профессору, с наслаждением смакуя порыв девушки:

— Они сейчас чрезмерно щепетильны в вопросах лояльности и естественности — совсем помешались на этих вопросах. Новое поколение. Это мораль Великой Войны. Все мы дети Великой Войны, мы и дети наши,— инженерша явно наслаждалась.— Новое поколение,— повторила она.

— Как глазки-то у нее потемнели,— добродушно заметил старик.

— Глазки? У моей дочери нет «глазок», профессор, у нее — глаза. У нас — глаза. Зута, поспокойней с глазами.

Но девушка потушила лицо и пожала плечами, осаживая мать. Пимко вмиг огорчился и вполголоса сказал инженерше Млодзяк:

— Если вы считаете, что это хорошо... В мои времена молодая особа никогда не осмелилась бы пожать плечами... Матери!

И вот тут Млодзяк с удовольствием, с готовностью, ей только того надо:

— Эпоха, профессор, эпоха! Вы не знаете современного поколения. Глубокие перемены. Великая революция нравов, этот ветер, который рушит, подземные толчки, а мы на них. Эпоха! Все надо перестроить заново! Разрушить в отчизне все старые места, оставить только молодые места, разрушить Краков!

— Краков! — воскликнул Пимко.

А тем временем гимназистка, которая довольно-таки пренебрежительно слушала этот диспут старых, выбрала удобный момент и пнула меня сбоку, резко, сильно, в ногу, исподтишка, ненавистно и по-хулигански, не меняя ни позиции тела, ни выражения лица. Пнув, убрала ногу и продолжала стоять, опять равнодушная, чуждая всему, о чем говорили Пимко и инженерша Млодзяк. И если мать постоянно прямо-та-

ки лезла на дочь, та столь же упорно избегала матери — словно была она более гордой, ибо более молодой.

— Она его пнула! — закричал профессор.— Вы видели? Пнула. Мы тут толкуем, а она его пинает. А ведь это же дикость, смелость, самоуверенность распоясавшегося послевоенного поколения. Ногой пнула!

— Зута, поспокойней с ногами! А вы, профессор, не волнуйтесь так, ничего особенного,— рассмеялась она.— Ничего с вашим Юзеком не случится. На фронте во время Великой Войны и не такие вещи случались. Сама я, как санитарка, не раз в окопах бывала пинаема простыми солдатами.

Она закурила.

— В мои времена,— сказал Пимко,— молодые барышни... А что бы на это сказал Норвид? [1]

— Кто такой Норвид? — спросила гимназистка.

И спросила великолепно, со спортивным невежеством молодого поколения и с удивлением Эпохи, деловито и не очень-то ввинчиваясь в вопрос, вот, так просто, дабы дать полакомиться своим спортивным невежеством. Профессор схватился за голову.

— Она не слышала о Норвиде? — воскликнул он.

Инженерша улыбнулась.

— Эпоха, профессор, эпоха!

Воцарилось необыкновенно милое настроение. Гимназистка не знала о Норвиде ради Пимки. Пимко огорчился Норвидом ради гимназистки. Мать смеялась в Эпохе. Один я сидел, выключенный из компании, и не мог — не мог ни словом отозваться, ни понять, что роли так переменились, что древность с коленками, в тысячу раз худшими, чем мои, породнилась против меня с современной, что я контрапункт их мелодии. О, Пимко, разбойник! Пока я сидел так, молчаливый и схлопотавший ее пинок, вид у меня был злой и надутый, и Пимко спросил приветливо:

— Ты, Юзя, чего молчишь? В обществе следует разговаривать... неужели ты осерчал на барышню Зуту?

— Обиделся! — язвительно закричала спортовка.

— Зута, извинись,— сказала с нажимом инженерша.— Молодой человек на тебя обиделся, но вы, юноша, не сердитесь на мою дочь, негоже быть обидчивым. Зута, естественно, извинится, но, с другой стороны — мы немножко позируем, сущая правда. Больше естественности, больше жизни, посмотрите на меня и на Зуту — ну, мы, однако, отучим молодого человека, будьте спокойны, профессор. Мы его вышколим.

— С этой точки зрения, думаю, пребывание у вас пойдет ему на пользу. Ну, Юзя, разгладь лобик.

И каждое из этих высказываний окончательно и, казалось, навсегда упорядочивало, устанавливало, определяло. Они вкратце обсудили финансовые вопросы, после чего Пимко поцеловал меня в лоб.

— Будь здоров, мальчуган, до свидания, Юзя. Веди себя хорошо, не плачь, я тебя буду навещать по воскресеньям, да и в школе стану за тобой приглядывать. Мое почтение, милостивая государыня, до свидания, до свидания, барышня, фу, будьте, пожалуйста, подобрее к Юзе!

Он вышел, и пока спускался по лестнице, все еще слышались его похныкивания и покашливания: — Тю, тю, тю, гм, гм, тю, тю! Эх, эх, эх! — Я ринулся протестовать и объяснять. Однако инженерша Млодзяк отвела меня в маленькую, современную, неуютную клетушку тут же рядом с холлом, который (как потом выяснилось) одновременно был и комнатой барышни Млодзяк.

— Пожалуйста,— сказала она,— комната. Ванная рядом. Завтрак в семь. Вещи здесь — служанка принесла.

И я еще не успел выдавить из себя «спасибо», как она уже ушла на сессию комитета по изничтожению неевропейской язвы детского нищен-

---

[1] Циприан Норвид (1821—1883) — выдающийся польский поэт.

ства в столице. Я остался один. Сел на стул. Все стихло. В голове шумело. Я сидел в новых обстоятельствах, в новой квартире. После стольких людей, виденных мною с утра, вдруг наступило полное безлюдье, и только рядом, в холле, шастала и возилась гимназистка. Нет, нет, то не было одиночество — то было одиночество с гимназисткой.

Глава VII

ЛЮБОВЬ

И опять я рвался протестовать и объяснять. Надо было действовать. Я не мог допустить, дабы навечно утвердилось положение, в котором меня оставили. Всякое промедление грозило укреплением этого положения. Напряженно сидя на стульчике, я и не собирался разбирать и раскладывать вещи, которые по приказу Пимки принесла служанка.

«Сейчас,— думал я,— сейчас появилась единственная возможность для опровержения, объяснения и соглашения. Пимки нет. Инженерша Млодзяк ушла. Она одна. Не терять времени, время обременяет и сковывает, сейчас, сейчас, идти, объяснить, предстать перед нею в естественном своем виде, завтра будет уже слишком поздно. Предстать, предстать»,— как же мне приспичило предстать, какая страсть предстать охватила меня. Ба, но предстать каким? Взрослым и тридцатилетним? Нет, нет, нет, ни за что на свете, о, в ту минуту я вовсе не желал выбраться из молодости, сознаться в своем тридцатилетии, мир мой пошел прахом, я уже не мог вообразить иного мира, чем чудесный мир современной гимназистки, спорт, гибкость, дерзость, коленки, ноги, дикость, дансинг, пароход, байдарка — вот новая колоннада моей действительности! Нет, нет — я современным хотел предстать! Дух, Сифон, Ментус, Пимко, поединок, все, что до сих пор было, отлетело на задний план, и я думал только о том, что думает обо мне гимназистка, поверила ли она Пимке, будто я позер и несовременный,— и единственная моя проблема состояла в том, дабы сейчас, тут же, выйти, предстать перед нею современным, естественным, дабы она поняла, что Пимко оболгал меня, а на самом деле я иной и такой, как она, возрастом и эпохой ровесник, породненный с нею коленкой...

Предстать — но под каким предлогом? Как же ей объяснить, когда я почти и не знал ее совсем, не той она была компании, хотя она уже и прибрала меня к рукам. Доступ к ней был для меня необычайно труден в глубинных слоях бытия, ибо речь шла обо мне самом — у меня был доступ к ней исключительно в ничтожных пустяках, самое большее, я мог постучать и спросить, в котором часу подают ужин. Пинок, который она мне дала, никак не облегчал задачу,— ибо то был пинок в скобках, нанесенный ногой без участия лица, а мне как раз и недоставало соответствующего лица. Я сидел на стуле, словно зверь в клетке, словно конь на привязи, подгоняемый и бичом на дистанции удерживаемый, и потирал руки — как, под каким предлогом подобраться к барышне Млодзяк и к себе самому?

Тут зазвонил телефон, и я услышал шаги гимназистки.

Я встал, осторожно приоткрыл дверь в холл и осмотрелся — никого не было, квартира зияла пустотой, опускались сумерки, а она уславливалась с подругой по телефону встретиться в семь в кондитерской, с нею, с Поликом и с Бэби (у них были свои прозвища, названия, словечки).— Придешь, точно, наверное, да, нет, хорошо, нога у меня болит, сухожилие растянуто, идиот, карточка, приходи, придешь, приду, буза, железно.— Слова эти, вполголоса бросаемые в телефонную трубку одной современной другой современной, когда их никто не слышит, очень меня растрогали. «Собственный язык,— подумал я,— собственный современный язык!» И тогда мне показалось, что девушка, у которой рот был занят разговором, а глаза свободны, прикованная к месту теле-

фонным аппаратом, становится более доступной и податливой моим намерениям. Я мог предстать перед нею безо всяких объяснений и заявить о себе — без комментариев.

Я торопливо поправил галстук и воротничок, волосы пригладил, чтобы проборчик было хорошо видно, ибо знал, что эта ровная линия на голове в данных обстоятельствах не лишена значения. Линия, неведомо почему, была современной. Проходя через столовую, я взял со стола зубочистку и появился (телефон был в передней), возник на пороге с самым равнодушным видом, встал, опершись плечом о дверной косяк. Я бесшумно представил себя целиком, а зубочистку грыз зубами. Зубочистка была современная. Не подумайте, будто легко мне давалось стоять так с зубочисткой и притворяться раскованным, когда все еще парализовано, быть агрессивным, когда остаешься смертельно пассивным.

А барышня Млодзяк тем временем говорила подруге:

— Не, необязательно, черт, хорошо, ходи с ней, не ходи с ним, карточка, буза, прости, минуточку.

Она отняла трубку от уха и спросила:

— Вы хотите позвонить?

И спросила тоном светским, холодным, будто бы это и не я ею был пинаем. Я ответил отрицательным покачиванием головы. Я хотел, чтобы она увидела, стою я тут безо всяких иных поводов, кроме как тот, что — я и ты, есть, мол, у меня право стоять в дверях, когда ты говоришь по телефону, как у товарища по современности и ровесника, пойми, барышня Млодзяк, объяснения между нами излишни, я просто без церемоний могу присоединиться к тебе. Я рисковал многим, ибо, потребуй она от меня объяснений, я объясниться бы не смог, и кошмарная искусственность тотчас же вынудила бы меня к отступлению. Но если она примет, если одобрит, если молча согласится, естественность, о какой я и мечтать-то едва осмеливался! И тогда уж я по-настоящему мог бы быть с нею, современный. «Ментус, Ментус»,— тревожно думал я, вспоминая, как Ментус ужасающе скривился после первых улыбок. С женщиной, правда, было легче. Непохожесть тела создавала лучшие возможности.

Но барышня Млодзяк с трубкой у уха, не глядя на меня, разговаривала еще довольно долго (а время опять стало наваливаться на меня бременем), наконец она проговорила:

— Хорошо, точно, наверное, кино, пока,— и повесила трубку.

Встала и ушла в свою комнату. Я вытащил изо рта зубочистку, отправился в свою комнату. А там был стульчик подле шкафа у стены, сбоку, не для сидения, а чтобы вещи складывать на ночь — на том стульчике я уселся, неуклюже, и потер руки. Она пренебрегла мною — даже съязвить не захотела. Ладно, но раз уж началось, этого так оставить нельзя, пока инженерши Млодзяк нет дома, надо с этим развязаться, пробуй еще раз, ибо после твоего неудачного выступления она теперь в самом деле и окончательно готова уверовать, что ты позер, во всяком случае твоя поза набирает силы, расправляет плечи, чего ты уселся в сторонке у стены, чего руки потираешь? Ведь потирание рук у себя в комнате, на стуле, несовместимо ни с какой современностью, это старомодно. О Боже!

Я затаился, прислушиваясь, что делается за стеной. Барышня Млодзяк возилась, как возятся у себя, в своей комнате, все девушки. А возясь, она наверняка еще и утверждалась в своем мнении обо мне, что будто бы я позер. Быть выставленным из собственной комнаты, сидеть тут, когда она там сама выдумывает о тебе всякое, страшно — но как ее поддеть, как ее снова поддеть, что делать? Предлогов у меня не было — да хоть бы и были у меня предлоги, я не мог ими воспользоваться,— ибо дело было слишком уж интимным для предлогов.

Тем временем сумерки наступали, и одиночество — это лживое одиночество, когда человек один, однако же не один, но в духовной, бо-

лезненной связи с другим человеком за стеной,— и все же достаточно одинок для того, чтобы потирание рук, сжимание пальцев и иные симптомы были бессмысленны,— а стало быть, сумерки и это фальшивое одиночество ударили мне в голову, ослепляли, отнимали все до остатка ощущение яви, вгоняли в ночь. Как же часто ночь у нас вламывается в день! Один, в этой комнате, на стульчике, в этом действии, я был чересчур беспредметен, не мог тут больше высидеть. Процессы, которые мы переживаем вместе, в сообществе с кем-нибудь и явно не страшны, но они становятся непереносимы без партнера. Одиночество выбивает из себя. И, помучившись изрядно, я опять отворил дверь, сунулся на порог, от одиночества немного вслепую, как летучая мышь. Постояв, я заметил, что опять не знаю, как мне ее поддеть и как бы так до нее добраться — она по-прежнему была резко отдалена и замкнута, дьявольская штука этот четкий и определенный контур человеческой формы, эта холодная обособляющая линия — форма!

Нагнувшись, уперев ногу в стульчик, она чистила туфельку мягкой замшевой тряпочкой. В этом было нечто классическое, и показалось мне, что девушка поглощена не столько надраиванием своей туфельки, сколько тем, чтобы коленкой и ногой тайком шлифовать свой тип и удержаться в хорошем современном стиле. Это придало мне храбрости. Я полагал, что современная, застигнутая с ногой, должна быть подобрее, не такой официальной. Я подошел к ней и стал совсем близко, на расстоянии от одного до двух шагов, молча предложил себя, не глядя на нее, отведя взгляд,— я и сегодня отлично помню, как я подхожу, как стою в шаге от нее, на самой границе пространственного круга, где она начинается, как я втягиваю в себя все чувства, лишь бы подойти по возможности ближе, и жду, зачем? — затем, чтобы она вовсе не удивилась. На сей раз без зубочистки и без какой-либо особой осанки. Пусть либо примет, либо отбросит, я старался быть совершенно пассивным, нейтральным.

Она сняла ногу со стула и выпрямилась.

— У вас ко мне... дело? — неуверенно спросила она, спросила не в лоб, как человек, к которому другой человек беспричинно подходит чересчур близко; а когда она выпрямилась, напряженность между нами возросла еще больше. Я чувствовал, что ей хотелось бы отодвинуться. Но поскольку я стоял очень близко, она не могла.

Было ли у меня к ней дело?

— Нет,— ответил я тихо.

Она опустила руки, посмотрела исподлобья.

— Вы позируете? — спросила она оборонительно, на всякий случай.

— Нет,— нагло прошептал я,— нет.

Столик был подле меня. Дальше батарея отопления. На столике щетка и перочинный нож. Сумерки сгущались — свет, нечто среднее между ночью и днем, понемногу стирал границы и грозную демаркационную линию, под вуалью сумерек я был искренен, искренен насколько мог, благорасположен к гимназистке, готов.

Я не прикидывался. Если бы она согласилась, что я теперь не притворяюсь, притворством была бы предыдущая моя неестественность в присутствии Пимки. Почему я думал, что девушке нельзя отказаться от жертвы мужчины, который домогается эту жертву принять. Или я предполагал, что гимназистка поддастся в темноте соблазну сделать из меня нечто пригодное? Почему бы ей не выбрать меня благосклонным и пригодным? Ведь она, конечно же, предпочитала иметь дома приятеля американца, а не старомодного, скисшего и уязвленного притвору? Не сыграет ли она в сумерках на мне своей мелодии, если я пришел и если я подставился,— сыграй, сыграй свою мелодию на мне, эту современную мелодию, которую напевают все в кофейнях, на пляжах и дансингах, чистую мелодию молодежи мира в теннисных шортах. Напой на мне современность теннисных шорт. Не хочешь?

Барышня Млодзяк, застигнутая мною врасплох подле себя, уселась на столик, опершись, не без юморка физического свойства, руками на его краешек,— лицо ее выплыло из тьмы, лицо, не решившее удивляться ему или веселиться,— и мне казалось, она садится вроде бы играть... Так американки садятся на борт лодки. И в самом уже факте, что она села, было что-то, от чего меня облило жаром, по крайней мере было в этом молчаливое согласие на продолжение ситуации. Походило на то, что она как бы уселась надолго, надеясь использовать свой шанс в полной мере. И я с бьющимся сердцем увидел, что она пускает в ход некоторые свои прелести. Она слегка склонила головку — нетерпеливо пошевелила ножкой — капризно надула губки — и одновременно большие ее глаза, глаза современной, осторожно повернули в бок, в сторону столовой, нет ли там случайно служанки. Ибо что скажет служанка, если нас увидит, едва знакомых, тут, в столь странном сочетании? Не обвинит ли она нас в чрезмерной неестественности? Или же в чрезмерной естественности?

Но такой риск как раз нравится девушкам, тем девушкам сумерек, которые только в сумерках могут показать, что они умеют. Я чувствовал, что взял гимназистку дикой естественностью неестественности. Я засунул руки в карманы пиджака. Вытянувшись против нее, я ловил каждый ее вздох, я сопровождал ее безмолвно, но страстно, изо всех сил — симпатичный, опять симпатичный... На сей раз время было для меня благосклонным. Каждая секунда, углубляя неестественность, углубляла вместе с тем и естественность. Я ждал, вдруг она что-нибудь скажет мне, словно мы уже век были знакомы, о ноге, что нога у нее болит, ибо сухожилие она растянула.

— Нога у меня болит, я себе сухожилие растянула. Ты пьешь виски, Аннабель...

И она уже должна была это сказать, уже пошевелила губами,— но тут ей сказалось нечто совершенно иное, невольно,— она официально спросила:

— Чем могу служить?

Я отступил на шаг, а она, очарованная этим оборотом речи, ничуть не изменяя фасону и шику молодой современной девушки, сидящей на столе и болтающей ногами, да, еще больше в этом смысле выигрывая, повторила с нажимом и формальным холодным интересом:

— Чем могу служить?

А почувствовав, что слова эти ничуть не искажают ее образ, но совершенно напротив — одаривают ее резкостью, антисентиментальной трезвостью, что это ей к лицу, она, глядя на меня, как на психа, спросила вновь:

— Чем могу служить?

Я отвернулся и пошел прочь, но спина моя, удаляясь, еще больше ее возбудила, ибо уже за дверью я услышал:

— Шут!

Отринутый, отброшенный, сел я на свой стульчик у стены, тяжело дыша.

— Кончено,— прошептал я.— Испортила. Зачем испортила? Кто ее укусил — предпочла переехать меня, чем ехать вместе со мной. Стульчик мой, тут у стены, приветствуй меня, но надо, наконец, распаковать вещи, чемодан посреди комнаты, полотенец нет.

Я скромно уселся на стульчик и почти в полной темноте принялся раскладывать белье по ящикам — надо разложить, завтра придется идти в школу,— но я не зажигал свет, воистину, мне ни к чему. Как же лихо мне было, как сиротливо, но хорошо, лишь бы только можно было не двигаться больше, сидеть и ничего не желать, до самого конца ничего.

Однако после нескольких минут сидения стало очевидным, что мои усталость и нужда побуждают меня опять к активности. Неужто нет покоя? Теперь — уже в третий раз надо было мне идти в ее комнату и

представиться ей шутом, дабы она знала, что все предшествовавшее было с моей стороны намеренным шутовством и что это я над ней посмеялся, а не она надо мной. «Tout est perdu sauf l'honneur» [1],— как сказал Франциск I [2]. И несмотря на убожество свое и усталость, я поднялся и опять стал приготовляться ко входу. Приготовления продолжались довольно долго. Наконец, я приоткрыл дверь и сначала ввел в ее комнату свою голову. Ослепительный свет. Она зажгла лампу. Я закрыл глаза. До меня донеслось раздраженное замечание:

— Пожалуйста, не входите без стука.

Я ответил с закрытыми глазами, вертя головой в щели.

— Слуга и раб.

Она широко отворила дверь, и я вошел, плавно, остроумно, о, эта плавность нищего! Я решил разозлить ее, следуя старой максиме, что злоба красоту портит. Я предполагал, что она разнервничается, а я, сохраняя спокойствие, под шутовскою маскою, сумею добиться преимущества. Она крикнула:

— Вы дурно воспитаны!

Поразили меня эти слова в современных устах, тем более что прозвучали они так естественно, словно хорошее воспитание было высшим авторитетом для разнузданных послевоенных гимназисток. Современные мастерски умеют жонглировать то дурным, то хорошим воспитанием поочередно. Я почувствовал себя хамом. Отступать было слишком поздно — мир существует потому только, что всегда слишком поздно отступать. Я ответил с поклоном:

— Я раб ваш, многоуважаемая госпожа.

Она встала и направилась к дверям. Ужас! Если она выйдет, оставя меня с хамством,— все пропало! Я кинулся наперерез, преградил ей дорогу. Она остановилась.

— Что вам надо?

Она встревожилась.

А я, влекомый собственным движением и вдобавок уже не будучи в состоянии отступить, я стал надвигаться на нее. Я на нее, псих, шут, позер, обезьяна, на барышню, вычурный школяр и кавалер, с тупой бесцеремонностью — она пятится на стол,— а я на нее плавно, обезьянничая, пальцем указываю направление, и к ней придвигаюсь, словно пьяный, злобный хам, словно бандит — она к стене, я за ней. Но, проклятье! — наступая на нею кошмарно и безобразно, лупоглазо, я в то же время вижу — перед психом она ничуть не теряет своей красы,— я становлюсь звероподобен, а она у стены, крохотная, вся подобравшаяся, бледная, с руками опущенными, слегка в локтях согнутыми, тяжелодышащая и словно мною на стену брошенная, с расширившимися зрачками и безумно тихая, напуганная, враждебная, она прекрасна, как в кино, современна, поэтична, артистична, а страх не уродует, но украшает ее! Еще миг. Я приближался к ней, и в силу обстоятельств должны были прийти иные решения, в голове моей проскочила мысль, что конец, что я должен рукой вцепиться в это ее личико — я влюблен был, влюблен!.. но тут какой-то галдеж донесся из передней. Это Ментус напал на служанку. Звонка мы не услышали. Он пришел ко мне в гости на новую квартиру и, оказавшись один на один со служанкой в передней, пожелал совершить над нею насилие.

Ибо Ментус после поединка с Сифоном не мог отвязаться от своих жутких мин и попал в такие дьявольские сети, что уже вообще не мог иначе чем чудовищно. Увидев служанку, он не преминул повести себя по отношению к ней так вульгарно и грубо, как только мог. Служанка подняла крик. Ментус пнул ее в живот и вошел в комнату с бутылкой водки под мышкой.

---

[1] Все потеряно, кроме чести *(франц.)*.

[2] Франциск I (1494—1547) — французский король из династии Валуа.

— А, ты тут! — рявкнул он.— Привет, Юзек, приятель! Я наношу визит. Притащил водяры и сарделек! Хо-хо-хо, ну и рожа у тебя! Ничего, ничего, моя не лучше!

Пусть рожа рожу бьет по роже!
Вот наша судьба! Вот наша судьба!
Метель прохожих своей рожей
Иль на дубу повесься сам!

— Это что, Сифон тебе так удружил? Этот саженец у стены? Мое почтение!

— Я влюбился, Ментус, влюбился...

Ментус ответил с мудростью пьяницы:

— Так вот отчего у тебя рожа? Кореш, Юзя! Ну, и влепила же тебе возлюбленная рожу. Ты бы видел, на кого похож. Это ничего, ничего, моя тоже недурна. Кореш! Пошли, пошли, нечего тебе тут нюни распускать, проводи-ка меня в свои апартаменты, принеси хлеба к сарделькам — у меня тут бутылка на все печали! Кончай грустить! Юзя, приятель, выпьем, языки почешем, пощеримся на все, что попадется, облегчение себе доставим! Уже третью сегодня лакаю. Облегчение себе доставим. Почтение уважаемой... bonjour ...au revoir... мое почтение! Allons, allons [1].

Я еще раз повернулся к современной. Хотел что-то ей сказать, объяснить — сказать одно-единственное какое-нибудь слово, которое спасло бы меня, но слова этого не было, а Ментус схватил меня под руку, и, шатаясь, мы двинулись в мою комнату, пьяные не алкоголем, но рожами нашими. Я разревелся и все ему рассказал о гимназистке, ничего не опуская. Он выслушал меня добродушно, по-отечески и запел:

Эй, рожа,
На дубу всхожа,
На зяблика похожа!

— Пей, выпей, чего не пьешь? Хвати чуток! Дай мордашку бутылище, дай рожу бутылище!

Лицо у него оставалось страшным, омерзительно хамским и пошлым, и он пожирал лежавшие в промасленной бумаге сардельки, впихивая их в пасть свою.

— Ментус, я хочу освободиться! Освободиться от нее! — воскликнул я.

— Освободиться от рожи? — спросил он.— Сволота.

— Освободиться от гимназистки. Ментус, мне же тридцать лет, как одна копеечка! Тридцать лет!

Он удивленно взглянул на меня, в словах моих, видно, прозвучала искренняя боль. Но тут же расхохотался:

— Эй, не финти! Тридцать лет! Сбрендил, пижон, с луны свалился, фраер (и он употребил еще другие выражения, которых я не стану повторять). Тридцать лет! Эй, знаешь чего.— Он потянул из бутылки и сплюнул.— Я эту твою даму откуда-то знаю. В лицо знаю. За ней Копырда ходит.

— Кто за ней ходит?

— Копырда. Этот, из нашего класса. Понравилась она ему, он ведь тоже такой — современный. Ба, если она вправду современная, тут ничего не поделаешь, черт! Современная только с современным водится, только с такими, как она сама. Ба, ба, если современная влепила тебе рожу, то ты так просто не выкарабкаешься. Это хуже, чем Сифон. Ну, браток, ничего, у каждого к его особе прицеплен какой-нибудь идеал, как щепка к одежде в первый день Великого поста [2]. Пей, пей, выпивай!

---

[1] Здравствуйте... до свидания... Пошли, пошли *(франц.)*.

[2] Старинный польский обычай: в первый день Великого поста незаметно прикрепляют щепку к одежде тем, кто не женился или не вышел замуж на масленой.

Думаешь, я освободился? Я сделал из рожи тряпку, а парень этот постоянно меня донимает.

— Ты же изнасиловал Сифона!

— Что с того? Изнасиловал, а рожа осталась. Смотри-ка,— удивился он.— Ну и разболтались. Я про парня, а ты про гимназистку. Дуй водку! Эх, парень,— размечтался он вдруг,— эх, парень! Юзя, вот бы удрать к парню. На луга, на поля, убежать, удрать,— бормотал он.— К парню... к парню...

Но мне плевать было на его парня. Только современная! Ревность во мне поднялась к Копырде — ах, значит, Копырда ходил за ней! Если, однако, «за ней», а не «с ней», они, значит, незнакомы... Я боялся спросить. Так мы и сидели с рожами, параллельно, каждый занятый своими мыслями, то и дело потягивая из бутылки. Ментус, пошатываясь, встал.

— Надо уже идти,— пробормотал он.— Еще старуха придет. Я через кухню пройду,— буркнул он.— Загляну к служанке.— Служанка у тебя ничего, совсем, совсем... Правда, не парень, но все-таки из народа. Может, брат у нее парень. Эх, браток, парень... парень...

Он ушел. А я остался с гимназисткой. Лунный свет тускло подсвечивал мелкие пылинки, которые в огромных количествах носились в воздухе.

Глава VIII

КОМПОТ

А на следующее утро школа и Сифон, Ментус, Гопек, Мыздраль, Галкевич и «accusativus cum infinitivo», Бледачка, поэт-пророк, и повседневная всеобщая несостоятельность, скучно, скучно, скучно! И опять все то же самое! И опять пророк пророков, учитель гундосит пророком, на жизнь зарабатывает, ученики под партами изнемогают в прострации, палец в ботинке крутится, как коловорот, и Карл у Клары украл кораллы, и Клару у Карла украл поэт, и у Карла украли Клару кораллы, скучно, скучно! И опять скука давит, под давлением скуки, пророка и учителя действительность помалу в мир восходит идеала, дай мне теперь помечтать, дай — и уже никто не знает, что реально, а чего вообще нет, где правда, где обман, что чувствуешь, чего не чувствуешь, где естественность, а где неестественность, розыгрыш, и то, что д о л ж н о б ы т ь, перемешивается с тем, что неумолимо е с т ь, и одно другое дисквалифицирует, одно у другого отнимает всякое разумное основание быть, о, великая школа недействительности! А стало быть, и я тоже битых пять часов подряд грезил о своем идеале, рожа в пустоте раздувалась у меня, как воздушный шар, беспрепятственно,— ибо в вымышленном мире ничего из того, что могло бы вернуть ее в норму, ирреальным не было. А стало быть, и у меня уже был свой идеал — современная гимназистка. Я был влюблен. Я мечтал, как печальный любовник и соискатель руки. После неудачных попыток завоевания возлюбленной — после попытки возлюбленную высмеять — великая тоска завладела мною, я знал, что все потеряно.

Потянулась вереница монотонных дней. Я был заточен. Что сказать о тех днях-близнецах? Утром шел в школу, из школы возвращался обедать к Млодзякам. Я уже не собирался ни убегать, ни объяснять, ни протестовать — да-да, я с удовольствием становился учеником, ведь я — ученик — был ближе гимназистке, чем я — самостоятельный человек. Ей-же-ей! — я почти позабыл о своих тридцати. Педагоги меня полюбили, директор Пюрковский шлепал меня по попочке, а во время идеологических диспутов теперь и я заливался румянцем и вопил: — Современность! Только современный мальчик! Только современная гимназистка! — Над этим смеялся Копырда. Вы, наверное, припоминаете Копырду, единственного современного мальчика на всю школу? Я старал-

ся сойтись с ним, пытался с ним подружиться и выпытать секрет его отношений с младшей Млодзяк — но он отделывался от меня, выказывал мне еще больше пренебрежения, нежели другим, словно чувствовал, что сестра его по типу, современная гимназистка меня отшила. Вообще жестокость, с которой ученики преследовали представителей враждебных себе видов молодости, была исключительной, чистюли ненавидели грязнуль, современные испытывали отвращение к старомодным и так далее. Так далее, далее! И далее!

Что мне сказать еще? Сифон умер. Изнасилованный через уши, он не мог прийти в себя, никак не мог отторгнуть зловещих элементов, привитых ему через уши. Тщетно он терзался, целыми часами пытался позабыть просвещающие слова, которые вопреки своей воли услышал. У него развилось отвращение к своему осквернённому типу, и он ощущал в себе какой-то неприятный осадок, постоянно это на нем сказывалось, он сплевывал, давился, хрипел, кашлял, но не мог, чувствуя себя недостойным, однажды к вечеру он повесился на вешалке. Что стало величайшей сенсацией, даже в печати появились заметки. Ментус, однако, мало от этого выиграл, смерть Сифона никак не повлияла на состояние его рожи. Ну и что с того, что Сифон умер? Мины, которые он делал во время поединка, приклеились к его лицу — не так легко отделаться от мин, раз стронутое с места лицо само по себе не принимает прежнего вида, оно не резиновое. Так что Ментус продолжал ходить с рожей столь неприятной, что даже Гопек и Мыздраль, друзья, избегали его, насколько это им удавалось. И чем он делался уродливее, тем, разумеется, чаще вздыхал о парне; но чем больше он вздыхал о парне, тем, понятное дело, уродливее становилась его рожа. Несчастье нас сблизило, он о парне вздыхал, а я о современной, вот так в совместных вздохах и текло потихоньку время, а действительность по-прежнему была недоступной и недостижимой, словно у нас на лицах высыпала сыпь. Он рассказывал мне, что у него есть шансы на обладание служанкой Млодзяков — в тот вечер, проходя через кухню и будучи под газом, он сорвал у нее поцелуй, но это нисколько его не удовлетворило.

— Это не то,— говорил он,— это не то. Сорвать у девки поцелуй? Девка, правда, босоногая, прямо из деревни, и — как я дознался — брат у ней парень, да что ж из того, сволота, черт, зараза (и он употребил другие выражения, которые я не стану повторять), сестра не брат, домашняя прислуга не парень. Хожу к ней по вечерам, когда твоя инженерша Млодзяк на сессии комитета, болтаю, плету всякое, даже по-мужицки шпарю, но она пока никак не признает меня за своего.

Вот так и формировался его мир — со служанкой на втором плане, с парнем на первом. А мой мир весь без остатка переместился из школы в дом Млодзяков.

Инженерша Млодзяк с проницательностью матери быстро заметила, что я втюрился в ее дочь. Мне незачем добавлять, что инженершу, которую для начала уже Пимко неплохо раззадорил, еще больше раззадорило это открытие. Старомодный и манерный мальчик, не умевший скрыть своего восхищения современными атрибутами гимназистки, был своего рода языком, которым она могла посмаковать и прочувствовать все прелести дочери, а косвенно — и свои собственные. Вот так я и стал языком этой толстой женщины — и чем более был я старомодным, неискренним и неестественным, тем лучше ощущала она современность, искренность и простоту. И потому две эти инфантильные действительности — современная, старомодная,— воспламеняя одна другую, возмущаясь и возбуждаясь тысячами наидиковеннейших сцеплений, соединялись и нагромождались в мир все более бессвязный и зеленый. И до того дошло, что старая Млодзяк принялась красоваться передо мною, хвалиться и хвастаться современностью, которая ей просто-напросто заменяла молодость. За столом или в свободные минуты беспрерывно шли разговоры о Свободе Нравов, Эпохе, Революционных Потрясениях, Послевоенных Временах etc., и старую восхищало, что она может быть на

Эпоху моложе мальчика, который был моложе ее годами. Из себя она сделала молодку, а из меня старика.

— Ну, как там наш молодой старичок? — говаривала она.— Наше тухлое яйцо?

И с изысканностью интеллигентной современной инженерши, каковой она была, она донимала меня житейской своей предприимчивостью, и своим жизненным опытом, и тем, что знает жизнь, и тем что она, санитарка, была пинаема в окопах в годы Великой Войны, и энтузиазмом своим, горизонтами своими и своим либерализмом женщины Передовой, Деятельной, Смелой, а равно нравами своими современными, повседневным принятием ванны и открытым хождением в некую, до того законспирированную уборную. Странные, странные вещи! Пимко время от времени навещал меня. Старый педагог наслаждался моею попочкою.— Какая попочка,— бормотал он,— несравненная! — и по мере возможности еще подзадоривал инженершу Млодзяк, доводя почти до абсурда genre старомодного педагога и старательнейшим образом выражая возмущение современной гимназисткой. Я обратил внимание на то, что в иных местах, скажем с Пюрковским, он не был вовсе таким старым, не держался старомодных принципов, и я не мог понять, то ли Млодзяки пробуждают в нем эту старомодность, то ли, напротив, он пробуждает современность у Млодзяков, то ли, наконец, они взаимно, одновременно впадают в зависимость друг от друга ради высшей правды поэзии. Я и до сего дня не знаю, то ли Пимко, впрочем ведь учителишка абсолютный, скатился к довоенному типу учителишки, подталкиваемый послевоенной разнузданностью барышни Млодзяк, то ли сам он спровоцировал разнузданность, нарочито напялив на себя такую как раз личину — злосчастного и бездарного — славного дедушки. Кто кого тут создавал — современная гимназистка дедушку или же дедушка современную гимназистку? Вопрос довольно-таки беспредметный и бесплодный. Как удивительно, однако же, кристаллизуются целые миры между коленками двух людей.

Так или иначе, но оба они чувствовали себя в сложившихся обстоятельствах превосходно, он — педагог, придерживающийся устаревших принципов и взглядов, она — разнузданная, и постепенно визиты его все более затягивались, мне уделял он все меньше внимания, сосредоточиваясь на современности. Стоит ли признаваться? Я ревновал к Пимке. Страдал я нечеловечески, видя, как эти двое дополняют друг друга, приходят к согласию, рифмуют песенку, как совместно создают маленькую старомодную поэмку с перчиком, и я покрывался позором, наблюдая, как старая развалина с коленками, в тысячу раз худшими, чем мои, куда как лучше меня спелся с современной. В особенности Норвид сделался для них предлогом к тысяче игр, добродушный Пимко не мог смириться с ее невежеством в сем предмете, это оскорбляло самые святые его чувства, а она предпочитала прыгать с шестом — и вот он беспрестанно возмущался, а она смеялась, он предписывал, а она не желала, он молил, а она прыгала — без конца, без конца, без конца! Я восхищался мудростью, опытностью учителишки, который, ни на минуту не переставая быть учителишкой, ничуть не поступаясь принципами учителишки, умел, однако, наслаждаться современной гимназисткой, прибегая к методу контраста и способу антисинтеза, как он учителишкой побуждал ее быть гимназисткой, она же гимназисткой возбуждала в нем учителишку. Завидовал я страшно, хотя ведь и я тоже возбуждал ее антисинтезом и я был ею возбуждаем — но, Боже мой, не хотел я быть с нею старомодным, я хотел быть с нею современным!

Эй, мука, мука, мука! Я не мог и не мог высвободиться из нее. Прахом пошли все попытки высвобождения. Насмешки, которых я не щадил для нее в мыслях, не давали никаких результатов — да чего, в сущности, стоит такая дешевая насмешка за спиной? Да, впрочем, насмешка была не чем иным, как только вознесением ей хвалы. Ибо под покровом насмешки притаилась отравлявшая меня страсть нравиться —

если я и язвил, то, пожалуй, исключительно того ради, чтобы украситься павлиньим хвостом издевки, и потому только, что она меня оттолкнула. А такая издевка оборачивалась против меня, пристраивая мне рожу, еще более пакостную и жуткую. И с такой издевкой я не осмеливался выступить перед нею — она пожала бы плечами. Ибо девушка, ничем в этом отношении не отличающаяся от других людей, никогда не испугается того, кто издевается, поскольку он не был допущен... А шутовская на нее атака, тогда, в ее комнате, привела лишь к тому, что с той поры она держалась начеку, игнорировала меня — игнорировала так, как лишь современная гимназистка это умеет, хотя прекрасно знала о моей влюбленности в ее современные прелести. И она их поэтому выпячивала с изысканной и упорной жестокостью, старательно, однако, остерегаясь всякого кокетства, которое могло бы поставить ее от меня в зависимость. Правда, сама она становилась все более дикой, нахальной, смелой, резкой, гибкой, спортивной, коленистой, легко давала увлечь себя современными чарами. И она сиживала за обеденным столом, ах, зрелая в незрелости, самоуверенная, равнодушная ко всему и вся погруженная в себя, а я сидел для нее, для нее, для нее сидел я и не мог ни секунды не сидеть для нее, я в ней был, она меня вместе с моими издевками держала в себе, ее вкусы, ее пристрастия были для меня превыше всего, и я мог нравиться себе лишь постольку, поскольку нравился ей. Пытка — погрузиться по уши в современную гимназистку и так в ней торчать. И ни разу не удалось мне уличить ее хотя бы в малейшем отступлении от современного стиля, никогда ни единой щелки, через которую я мог бы выскользнуть на свободу, дать стрекача!

Именно это и очаровало меня — эта ее зрелость и независимость в молодости, верность стилю. Если у нас там, в школе, бывали угри, непрестанно выскакивали у нас всевозможные прыщи, идеалы, если движения наши были нелепы, если, что ни шаг, то оплошность — ее exterieur [1] был восхитительно совершенен. Молодость не была для нее переходным возрастом — молодость для современной представляла собой единственный настоящий период человеческой жизни — она презирала зрелость, а вернее, незрелость была ее зрелостью — она не признавала бород, усов, мамок или мам с детьми,— и здесь были истоки чудодейственного могущества. Ее молодость не нуждалась ни в каких идеалах, ибо сама для себя была идеалом. Не диво, что я, истерзанный идеалистической молодостью, словно коршун, алкал этой идеальной молодости. Но не хотела она меня! Рожу мне пристраивала. И день ото дня все более ужасную строила мне рожу.

Боже ж ты мой — как же истязала она красу мою! Ах, не знаю ничего более жестокого, чем то, когда один человек строит рожу другому человеку. Все ему сгодится, лишь бы вогнать того в смешное положение, в гротеск, в маскарад, ибо уродство другого питает собственную его красоту, о, верьте, пристраивание попочки — ничто в сравнении с деланием рожи! В конце концов, доведенный до крайности, я принимался составлять дикие планы физического уничтожения гимназистки. Испакостить личико. Нос ей попортить, отрезать. Но пример Ментуса с Сифоном убеждал, что физическое превосходство тут мало пригодно, нет, что душе нос, душа — она лишь духовным превосходством пробивает себе путь к свободе. А что было делать моей душе, когда она меня в себя заточила. Можно ли собственными силами выбраться из кого-нибудь, если, кроме него, никого рядом нет, никакой опоры, никакого самостоятельного контакта ни с чем, все только через него, когда стиль его господствует безраздельно? Нет, собственными силами это недоступно, это исключено. Вот если кто-то еще, со стороны, поможет, хотя бы кончик пальца протянет. А кому было помочь? Ментусу, который не бывал у Млодзяков (только в кухне, тайком) и никогда не присутствовал при моих встречах с гимназисткой? Млодзяку, инженерше Млод-

---

[1] Внешность *(франц.)*.

зяк, Пимке, но все они преданы гимназистке? Или, наконец, наемной служанке, существу бессловесному? А тем временем рожа становилась все ужаснее, и чем она была ужаснее, тем теснее инженерша Млодзяк и барышня Млодзяк консолидировались в современном духе и тем более ужасную пристраивали мне рожу. О, стиль — орудие тирании! Проклятье! Но бабы просчитались! Ибо настал момент, когда случайно, с помощью Млодзяка (да, именно с помощью Млодзяка) оковы стиля поослабли, а я хоть чуточку стал мочь. И тогда-то без оглядки ринулся в атаку. Айда, айда, айда, на стиль, на красоту современной гимназистки!

Странное дело — освобождением своим я обязан инженеру, если бы не инженер, я бы навеки остался в заточении, это он, сам того не желая, способствовал тому, что кое-что немножечко сдвинулось с места, что неожиданно гимназистка оказалась во мне, не я в гимназистке, да, инженер втянул в меня дочь, я ему до гробовой доски буду признателен. Помню, как все началось. Помню — прихожу это я из школы обедать, Млодзяки уже за столом, служанка вносит картофельный суп, гимназистка тоже сидит — сидит великолепно, с отчасти большевистской спортивной выправкой и в резиновых тапочках. Супа она ела мало — зато залпом выпила стакан холодной воды и закусила ломтем хлеба, супа она избегала, водянистая кашица, теплая и чересчур легкая, наверняка она могла подпортить ей тип, и она, по всей видимости, предпочитала подольше оставаться голодной, по крайней мере до того, как подадут мясо, ибо современная голодная девушка классом выше современной сытой девушки. Инженерша Млодзяк тоже съела очень мало супу, а меня даже не спросила, как там дела в школе. Почему не спросила? Потому что не признавала этих материнских вопросов и вообще мать была ей немножечко противна, не любила она матери. Предпочитала сестру.

— Виктор, возьми, пожалуйста, соли,— сказала она, подавая мужу соль, сказала тоном верного товарища и читателя Уэллса, затем добавила, засмотревшись несколько в будущее, несколько в пространство, с выражением гуманистического бунта человеческого существа, сражающегося с позором общественного зла, несправедливости и неправды.

— Смертная казнь — пережиток.

И тут Млодзяк, этот европеец и инженер, просвещенный урбанист, который учился в Париже и вывез оттуда смекалку, чернявый, в костюме — раскованный, в штиблетах желтых, шевровых, новых, которые на нем очень бросались в глаза, в воротничке а-ля Словацкий и роговых очках, лишенный предрассудков, заядлый пацифист и поклонник научной организации труда, любитель научных шуточек и анекдотов, а также анекдотов из кабаре, сказал, беря соль:

— Благодарю, Иоанна.

После чего добавил тоном просвещенного пацифиста, от которого, однако, повеяло студентом политехнического института:

— В Бразилии сбрасывают в воду соль бочками, а у нас она по шести грошей за грамм. Политики! Мы, специалисты. Перестройка мира. Лига Наций.

И тогда инженерша Млодзяк глубоко вздохнула и сказала интеллигентно, вглядываясь в лучшее завтра и стеклянные дома Жеромского[1], памятуя о традициях борьбы Польши вчерашней и устремляясь к Польше завтрашней.

— Зута, кто этот мальчик, с которым ты сегодня шла из школы? Если не хочешь, можешь не отвечать. Ты же знаешь, я тебя ни в чем не ограничиваю.

Барышня Млодзяк равнодушно прожевала кусочек хлеба.

— Не знаю,— ответила.

---

[1] Стефан Жеромский (1864—1925) — один из крупнейших польских писателей. Герой его романа «Краса жизни» (1912) верит в то, что люди могут зажить счастливо и в достатке в стеклянных домах.

— Не знаешь? — удовлетворенно отозвалась мать.

— Он меня подцепил,— сказала гимназистка.

— Подцепил? — спросил Млодзяк.

— А что тут удивительного? — воскликнула инженерша, пожалуй, однако, с чрезмерной развязностью.— Он ее подцепил — великое дело! Пусть цепляет! Зута, а может, ты с ним условилась о свидании? Превосходно! Может, ты хочешь поехать с ним на байдарках на целый день? А может, хочешь отправиться на уик-энд и не возвращаться на ночь? В таком случае не возвращайся,— услужливо согласилась она,— не возвращайся смело! А может, ты хочешь поехать без денег, может, хочешь, чтобы он за тебя платил, а может, сама предпочитаешь за него платить, чтобы он был на твоем содержании, тогда я дам тебе денег! Но вы скорее всего обойдетесь и без денег, а? — надменно воскликнула она, напирая всем телом на стол. Инженерша и в самом деле несколько зарапортовалась, дочка, однако, ловко увернулась от матери, которая чересчур уж откровенно вознамерилась покрасоваться за ее счет.

— Ладно, ладно, мама,— отмахнулась дочь, отодвигая недоеденную котлетку, ибо рубленое мясо было ей не к лицу — слишком оно рыхлое, легковесное какое-то. Современная была очень осторожна с родителями, никогда не подпускала их к себе слишком близко.

Но тут уж и инженер подхватил сюжетную нить, предложенную женой. Поскольку жена намекнула, дескать, он увидел что-то нехорошее в подцеплении дочки, ему в свою очередь захотелось выставить себя в наилучшем свете. Так они попеременно и подхватывали свои нити. И он воскликнул:

— Конечно, ничего в этом плохого нет! Зута, если ты хочешь внебрачного ребенка, пожалуйста! А что тут плохого! Культ девственности прошел! Мы, инженеры, конструкторы новой социальной действительности, не признаем культа девственности старых провинциалов!

Он отпил глоток воды и смолк, почувствовав, что, пожалуй, заехал далековато. Тогда, однако, нить подхватила инженерша Млодзяк и намеками, в туманных выражениях принялась склонять дочь к внебрачному ребенку, демонстрировала свой либерализм, рассказывала об отношениях в Америке, цитировала Линдсея[1], подчеркивала необыкновенную свободу в этом отношении современной молодежи и т. д. и т. д. Это был их любимый конек. Когда один слезал с него, чувствуя, что заехал далековато, на конька взбирался другой и гнал дальше. Это было тем удивительнее, что, в сущности, как уже отмечалось, никто из них (ибо и Млодзяк тоже) не любил ни матери, ни ребенка. Однако же, следует принять во внимание, что они вскарабкивались на эту мысль не со стороны матери, а со стороны гимназистки, и не со стороны ребенка, а со стороны ребенка внебрачного. В особенности же инженерша Млодзяк с помощью внебрачного ребенка дочери стремилась выдвинуться во главу авангарда истории, домогаясь еще, чтобы ребенок этот был зачат случайно, легко, смело, уверенно, в кустах, в спортивном походе с ровесниками, как такое описывается в современных романах etc. Впрочем, уже сам разговор, сами уговоры гимназистки родителями отчасти были и реализацией желаемой пикантности. И они тем откровеннее наслаждались этой мыслью, что чувствовали мою несостоятельность по отношению к ней — я действительно до сих пор не умел защититься от чар семнадцатилетней в кустах.

Но они не предусмотрели, что в тот день я был совершенно не способен даже на ревность. Что ж, в течение двух недель они без устали сооружали мне рожу, и рожа наконец стала такой ужасающей, что ревновать мне было больше не с чего. Я сообразил, что мальчик, о котором говорила инженерша Млодзяк, это наверняка Копырда, ну что ж, все равно тоска, печаль — печаль и убожество — убожество и великая уста-

---

[1] Николас В. Линдсей (1879—1931) — американский поэт, исполнитель собственных стихов и песен.

лость, отрешенность. Вместо того чтобы подойти к этой мысли со стороны зелено-голубой, твердой, свежей, я истолковал ее убого. «Что же, ребенок есть ребенок»,— думал я, представляя себе роды, мамку, болезни, крапивницу, беспорядок в детской, затраты, а также то, что ребенок своим ребячьим теплом и молоком вскоре разрушил бы девушку, превратив ее в отяжелевшую и теплую матушку. И я сказал убого, умственно, наклонившись к барышне Млодзяк:

— Мамочка...

А сказал я это очень печально, жалостливо и тепло-тепло, вложил в это слово всю ту теплоту к маме, которую они в своем бодром, свежем, девичьем и молодежном видении мира не хотели принять во внимание. Зачем я это сказал? Да, так просто. Девушка, как всякая девушка, прежде всего была эстетка, главная для нее задача — красота, а я, приноравливая к ее типу теплое, прочувственное и несколько неодетое слово «мамочка», создавал нечто отвратительно разнеженное и непристойное. И думал: может, ее это взорвет. Правда, я знал, что она выскользнет от меня, а непристойность останется со мной — ибо таковы были между нами отношения, что все, что я предпринимал против нее, приклеивалось ко мне, словно я плевал против ветра.

А тут Млодзяк как захихикает!

Захохотал он неожиданно для самого себя, гортанно, схватил салфетку, устыдился — хохотал с вытаращенными глазами, закашлялся и захрипел в салфетку, хохотал страшно, механически, сам того не желая. Вот уж я поразился! Что его так пощекотало по нервной системе? Это слово — «мамочка». Рассмешил его контраст между его девушкой и моей мамочкой, какая-то ассоциация, может, из кабаре, а может, мой печальный и тоскливый тон вывел его на двор рода человеческого. У него была такая особенность, свойственная всем инженерам, очень он любил еврейские анекдоты, а сказанное мною действительно вроде как попахивало еврейским анекдотом. И смеялся он так же настойчиво, как минуту назад настойчиво превозносил внебрачного ребенка. Очки соскользнули у него с носа.

— Виктор,— проговорила Млодзяк.

А я его еще подзавел:

— Мамочка, мамочка...

— Извините, извините,— хохотал он,— извините, извините... А это! Не могу! Извините...

Девушка наклонилась над тарелкой, и я вдруг прямо-таки физически ощутил, что обернутое отцовским хохотом слово мое ее укололо, а значит, я ее уколол, она была уколота — да, да, я не ошибся, смех отца сбоку изменил ситуацию, он вытащил меня из гимназистки. Наконец-то я мог ее колоть! Я сидел ни жив ни мертв.

Родители тоже это поняли, поспешили на помощь.

— Виктор, я удивляюсь,— недовольно заговорила инженерша Млодзяк,— замечания нашего старичка вовсе не остроумны. Это поза, не больше!

Инженер наконец справился со смехом.

— Что, ты думаешь, я над этим смеялся? Ни в жизнь, я даже и не слышал — так, вспомнилось кое-что...

Но их старания лишь еще больше втягивали гимназистку в ситуацию. Хотя я и не разобрал толком, что происходит, все же повторил еще несколько раз «мамочка, мамочка» тем же самым вялым и тусклым тоном, а благодаря повторению слово, видно, приобрело новую силу, ибо инженер опять хихикнул коротко, отрывисто, смехом харкающим, гортанным. И, наверное, смех этот рассмешил его — он вдруг расхохотался вовсю, затыкая рот салфеткой.

— Прошу не встревать,— прикрикнула на меня инженерша Млодзяк зло, но злостью своей только больше втянула дочку, которая в конце концов пожала плечами.

— Успокойся же, мама,— отозвалась она внешне равнодушно, но и

это ее втянуло. Удивительно — так круто переменились между нами отношения, что каждое слово их втягивало. В общем-то было даже довольно мило. Я чувствовал, что теперь уже в обществе гимназистки могу. Но мне, в сущности, было все равно. И я чувствовал, что теперь я могу, поскольку мне все равно, и если бы я хоть на миг печаль и тоску, убожество и нищету заменил торжеством, состоятельность моя тотчас же была бы изничтожена, ибо на самом-то деле то была престранная сверхсостоятельность, воздвигнутая на показной и отрешенной несостоятельности. И чтобы утвердиться в убожестве и показать, насколько мне все равно, насколько я ничего не достоин, я занялся компотом, стал бросать в него крошки, хлебные шарики, болтать ложечкой. Рожа на мне была, ну, что же, в конце концов для меня и это хорошо — ах, черт возьми, что мне там,— думал я сонно, добавляя еще немного соли, перца и две зубочистки,— ах, что уж там, все съем, чем угодно могу питаться, все равно... И вроде, казалось мне, лежу я в яме, а птички порхают... мне стало тепло и уютно от болтания ложечкой.

— Что, молодой человек? Что, молодой человек?.. Почему вы копаетесь в компоте?

Вопрос инженерша Млодзяк задала тихо, но нервно. Я поднял никчемный свой взгляд от компота.

— Я так только... мне все равно...— прошептал я уныло и льстиво. И стал есть месиво; а духу моему, разумеется, все было мило, что месиво, что не месиво. Трудно описать, какое впечатление это произвело на Млодзяков, я такого сильного впечатления не ожидал. Инженер спонтанно захохотал в третий раз, смехом кабаретным, смехом дворовым, смехом задним. Девушка склонилась над тарелкой и ела свой компот молча, воспитанно, сдержанно, даже — героически. Инженерша побледнела и уставилась на меня, будто загипнотизированная, глаза вылупила, она меня явно боялась. Боялась!

— Это поза! Поза! — бормотала она.— Прошу не есть... Не разрешаю! Зута! Виктор — Зута! Виктор! Зута! Зута! Виктор — перестань, запрети! О...

Я все ел, ибо чего бы мне не есть? — все съем, крысу дохлую, мне все равно... «Эх, Ментус,— думал я,— хорошо, хорошо... Хорошо... Пусть его, что там, было бы что в пасть запихнуть, пусть, пусть его, что там, пусть его...»

— Зута! — пронзительно закричала инженерша Млодзяк. Для матери вид дочкиного поклонника, потребляющего без разбору все подряд, был непереносим. Но гимназистка, которая как раз кончила свой компот, встала из-за стола и вышла. Инженерша Млодзяк вышла за ней. Млодзяк вышел, судорожно похохатывая, затыкая рот носовым платком. Непонятно было, кончили ли они свой обед или удрали. Я знал — они удрали! Рванулся за ними! Наша взяла! Вперед и дальше, атакуй, цепляй, бей, гони, догоняй, наступай, хватай, души, души, души, дави, не пускай! Они боялись? Пугать! Удирали? Гнать! Тихо, спокойно, спокойно, спокойно, уныло и жалобно, не меняя нищего на победителя, ведь нищий принес тебе победу. Они боялись, чтобы я им девушку умственно, как компот, не прикончил. Ха, теперь-то я знал, как подобраться к ее стилю! И мог про себя, умственно, мысленно фаршировать ее всем, что под руку попадается, болтать, дробить, мешать, не разбирая средств! Но спокойно, спокойно...

Кто поверит, что подпольный хохот Млодзяка вернул мне способность к сопротивлению? Мои поступки и мысли обрели когти. Нет, партия еще не выиграна. Но по крайней мере я мог действовать. Я знал, каким курсом двигаться. Компот все мне разъяснил. Точно так же, как я испоганил компот, превратив его в месиво, я мог изничтожить и современность гимназистки, вводя в нее чуждые элементы, чужеродные, смешивая все, что попадется под руку. Айда, айда, айда, на современный стиль, на красоту современной гимназистки! Но тихо, тихо...

Глава IX

ПОДСМАТРИВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ

Тихо отправился я в свою комнату и лег на диван. Надо было обдумать план действий. Меня трясло, и пот лил с меня ручьями, ибо я знал, что в паломничестве своем спускаюсь я по ступеням поражений на самое дно ада. Ибо вкусное никогда не может быть страшным (как само слово «вкусное» на то указывает), только невкусное по-настоящему несъедобно. С завистью вспоминал я прекрасные, романтические либо классические преступления, насилия, вытаращивание глаз в поэзии и прозе — масло с вареньем, это, я знаю, страшно, а не великолепные и красивые преступления у Шекспира. Нет, не говорите мне о ваших зарифмованных болях, которые мы проглатываем легко, словно устрицы, не говорите о ваших конфетках позора, шоколадном креме ужаса, пирожных нищеты, леденцах страдания и лакомствах отчаяния. И почему же барышня, которая бесстрашным пальцем расковыривает самые кровавые общественные язвы, голодную смерть рабочей семьи, состоящей из шестерых человек, почему же, спрашиваю я, тем же самым пальцем не отважится она публично поковырять в ухе. Потому, что это было бы куда ужаснее. Голодная смерть либо, на войне, смерть миллиона людей можно съесть, даже и вкусным это покажется,— но в мире все еще существуют несъедобные комбинации, рвотные, плохие, дисгармоничные, отталкивающие и отвратительные, ах, просто дьявольские, которые организм человеческий не принимает. А ведь вкушать — наипервейшая наша задача, вкушать мы должны, вкушать, пусть муж умирает, жена и дети, пусть сердце рвется на части, только бы вкусно, только бы повкуснее! Да, то, что мне предстояло предпринять во имя Зрелости и ради освобождения от магии гимназистки, было уже действием антикулинарным и контраппетитным, актом, при одной мысли о котором содрогается пищевод.

Я, впрочем, не обманывал себя — мой успех за обедом был довольно-таки иллюзорным, он касался главным образом родителей, девушка ускользнула без особых потерь, она по-прежнему оставалась далекой и недоступной. Как на расстоянии осквернить ее современный стиль? Как бесповоротно втащить ее на орбиту моих действий? А ведь помимо дистанции психологической существовала и дистанция физическая — она виделась со мною лишь за обедом и за ужином. Как осквернять ее, как поддеть мысленно на расстоянии, то есть когда меня нет подле нее, когда она одна? «Пожалуй,— думал я убого,— путем подсматривания и подслушивания». Дорогу к выполнению этих функций они мне уже проторили, поскольку сами с первой же минуты нашего знакомства они посчитали меня подсматривателем и подслушивателем. «И кто знает,— думал я сонно, с надеждой,— не увижу ли я, приставивши глаз к замочной скважине, не увижу ли я чего-нибудь, что меня от нее оттолкнет, ибо многие красавицы в своей комнате ведут себя донельзя отвратительно». Но тут таилась и опасность, ибо некоторые гимназистки, околдованные собственным очарованием и послушные дисциплине стиля, в одиночестве ведут себя так же, как и на людях. И, следовательно, вместо безобразия я с тем же успехом мог увидеть красоту, а красота, увиденная в одиночестве, еще более смертоносна. Я не забыл, как, войдя неожиданно в комнату, увидел гимназистку с тряпкой у ноги, в позе достаточно стилизованной — да, но, с другой стороны, сам факт подсматривания уже до некоторой степени осквернял и поддевал, ведь, когда мы безобразно подглядываем за красотой, что-то от нашего взора, однако, прилипает к красоте.

Подобным вот образом я размышлял, вроде бы как в легком бреду,— наконец, неуклюже сполз с дивана и направился к замочной скважине. Однако же, прежде чем приложить глаз к дырке, я взглянул в

окно — а день был чудный, свежий и осенний — и увидел, что по отмытой осенью улице крадется к черному ходу Ментус. Видно, направлялся к служанке. Над крышей соседнего особняка голуби взметнулись на ярком солнце и сбились в кучу, где-то послышался звук клаксона автомобиля, бонна на тротуаре играла с ребенком, стекла плавились на солнце, которое уже клонилось к закату. Перед домом стоял нищий, убогий попрошайка, здоровенный мужик, волосатый и бородатый церковный нищий. Бородач навел меня на одну мысль — вяло и едва передвигая ноги, вышел я на улицу, сорвал в сквере зеленую ветку.

— Дедушка,— сказал я,— вот вам пятьдесят грошей. Вечером получите еще злотый, но вы должны взять эту ветку в рот и не выпускать ее до ночи.

Бородач всадил себе ветку в пасть. Благословляя деньги, которые сплачивают союзников, я воротился домой. Приложил глаз к замочной скважине. Гимназистка возилась, как обычно возятся в своей комнате девушки. Что-то перекладывала в ящиках, вынула тетрадку — положила ее на стол,— лицо ее я видел в профиль, лицо типичной гимназистки над тетрадкой.

Без отдыха убого подглядывал я от четырех до шести (тогда как нищий без устали держал во рту ветку), тщетно надеясь, что она выдаст себя каким-нибудь нервным отражением понесенного за обедом поражения, хотя бы прикусыванием губы или морщиньем лба. Но — ничего подобного. Будто ничего и не изменилось. Будто меня и не существовало. Будто ничего так и не смутило ее гимназичность. А эта гимназичность со временем становилась все холоднее, жестче, равнодушнее, неприступнее, и впору было усомниться, а возможна ли вообще порча гимназистки, которая в одиночестве вела себя точно так же, как и на людях. Впору было усомниться даже, а произошло ли что-нибудь за обедом. Около шести дверь неожиданно, коварно распахнулась — на пороге стояла инженерша.

— Работаешь? — спросила она с облегчением, окидывая дочь изучающим взглядом.— Работаешь?

— Немецкий делаю,— ответила гимназистка.

Мать вздохнула раз-другой.

— Работаешь — это хорошо. Работай. Работай.

Погладила ее по головке, успокоенная. Неужели и она ожидала упадка духа у дочери? Зута неприязненно отшатнулась. Мать хотела что-то сказать, открыла рот и закрыла — сдержалась. Подозрительно огляделась по сторонам.

— Работай! Работать! Работать! — нервно заговорила она.— Будь занята, интенсивна. Вечером улизни на дансинг — улизни на дансинг — улизни на дансинг. Вернись поздно, усни каменным сном...

— Не морочь мне голову, мама! — резко объявила дочь.— Времени нет!

Мать взглянула на нее, едва сдерживая восхищение. Резкость гимназистки ее совершенно успокоила. Она пришла к выводу, что дочь вовсе не расклеилась за обедом. А меня жестокая резкость гимназистки схватила за горло. Строгость ее была направлена непосредственно против нее самой, а нет для нас ничего хуже, когда мы видим, что возлюбленная наша неумолимо строга не только с нами, но также, когда нет нас подле нее, словно про запас, школит и самое себя. К тому же феноменальность девушки болезненно дала знать о себе в девичьей жестокости. Когда инженерша Млодзяк вышла, она склонила профиль над тетрадкой и независимо, враждебно и беспощадно принялась за уроки.

Я чувствовал, что, если и дальше позволю девушке быть феноменальной в одиночестве, если не установлю контакта между нею и моим подсматриванием, дело с минуты на минуту примет трагический оборот. Вместо того чтобы пакостить ее собою, я сам упивался, не я схватил ее за горло, но она схватила за горло меня. Стоя под дверью, я громко проглотил слюну, дабы она услышала, что я подсматриваю. Она вздрог-

нула и не повернула головы — и это было наилучшим доказательством, что она сразу услышала,— глубже втянула головку в плечи, сраженная. Но вмиг профиль ее перестал существовать сам для себя, вследствие чего он сразу же и мгновенно и явственно утерял всю свою феноменальность. Девушка с подсматриваемым профилем долго тяжко и молча сражалась со мною, а схватка состояла в том, что она и глазом не моргнула, продолжала водить пером по бумаге и вела себя так, будто она и не подсматриваемая.

А меж тем спустя несколько минут дырка в дверях, поглядывавшая на нее моим взглядом, стала ей докучать — чтобы продемонстрировать свою независимость и подтвердить равнодушие, она громко шмыгнула носом, шмыгнула вульгарно и безобразно, будто хотела сказать: «Смотри, мне не до чего дела нет, я шмыгаю». Таким способом девушки выказывают глубочайшее свое презрение. Того я только и ждал. Когда, совершив тактическую ошибку, она шмыгнула, я тоже шмыгнул носом под дверью отчетливо, но не очень громко, так, словно не мог сдержаться, зараженный ее шмыганьем. Она затаилась, как кролик,— этот носовой дуэт был для девушки неприемлем,— однако нос, уже мобилизованный, не оставлял ее в покое, после недолгой борьбы она вынуждена была вытащить носовой платочек и вытереть нос, потом она еще несколько раз, с большими перерывами, шмыгала носом, нервно, украдкой, а я неизменно вторил ей за дверью. Я поздравлял себя с тем, что мне так легко удалось вытянуть у нее нос, нос девушки был несравненно менее современный, чем ноги девушки, с ним было справиться легче. Подчеркивая ее нос и вытягивая нос из нее, я делал широкий шаг вперед. Суметь бы наградить барышню Млодзяк насморком на нервной почве, наградить насморком современность.

А она после стольких шмыганий не могла встать и заложить дырочки носа какой-нибудь тряпкой — это было бы равнозначно признанию, что она шмыгает нервно. Тихо, зашмыгаем жалко, безнадежно, упрячем подальше надежду! Я, однако, недооценил девичьей ловкости и сообразительности. Она вдруг широким движением, от уха до уха, вытерла нос рукой — всем предплечьем,— и это движение, смелое, спортивное, размашистое и забавное, изменило весь облик ситуации в ее пользу, придало шмыганию носом очарование. Она схватила меня за горло. В тот же миг — я едва успел отскочить от замочной скважины — вероломно и внезапно вошла в мою комнату инженерша Млодзяк.

— Чем вы тут, молодой человек, занимаетесь? — подозрительно спросила она, застав меня в неопределенной позиции посреди комнаты.— Зачем вы, молодой человек, здесь... стоите? Почему уроки не делаете? Вы что, молодой человек, разве никаким спортом не занимаетесь? Надо чем-нибудь заняться,— бросила она со страстью. Боялась за дочь. В моей неопределенности посреди комнаты она унюхала какую-то непонятную ей интригу против дочери. Я и жестом не попытался что-нибудь объяснить, а продолжал стоять посреди комнаты апатично и нелепо, словно остолбенев, инженерша Млодзяк в конце концов повернулась ко мне боком. Взгляд ее упал на нищего перед домом.

— Что... у него? Почему ветка... во рту?

— Кто?

— Нищий. Что это значит?

— Не знаю. Вставил и держит.

— Вы с ним говорили, молодой человек. Я в окно видела.

— И говорил.

Она шарила глазами по моему лицу. Мысли ее раскачивались, словно маятник. Прикидывала, каков тайный смысл ветки, враждебный ее дочери, оскорбительный для нее. Но она не в силах была разобраться в моих мыслительных комбинациях и не могла предположить, что ветка во рту стала у меня атрибутом современности. Вздорность обвинения, что это я велел бородачу держать зелень во рту, не удавалось выразить словом. Она недоверчиво посмотрела на мою голову, заподозрив, что

становится жертвой моего каприза, и вышла. Ату! Бей! Держи! Хватай, гони! Рабыня моей фантазии! Жертва каприза! Тихо, тихо! Я подскочил к замочной скважине. По мере развития событий все труднее удавалось сохранять первоначальный, безнадежный и жалкий образ — борьба горячила, обезьянья ехидность брала верх над прострацией, отрешенностью. Гимназистка исчезла. Услышав голоса за стеной, она сообразила, что я уже не смотрю, и это позволило ей выбраться из ловушки. Она пошла в город. Заметит ветку в нищем, догадается, ради кого держит ее бородатый? Пусть бы и не догадалась — ветка в бородаче, терпкая, зеленая горечь в нищенской полости рта, должна была ее ослабить, слишком это противоречило ее современному восприятию мира. Наступали сумерки. Фонари залили город фиолетовым. Сыночек дворника возвращался из лавочки. Деревья теряли листья в воздухе чистом и прозрачном. Аэроплан жужжал над домами. Хлопнули парадные двери, знаменуя уход инженерши Млодзяк. Она, встревоженная, сбитая с толку, предчувствовавшая что-то нехорошее, витавшее в воздухе, отправилась на сессию комитета подкрепиться на всякий случай чем-нибудь зрелым, всемирным, общественным.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА

Уважаемые дамы, на повестке дня у нас скверна брошенных младенцев.

ИНЖЕНЕРША МЛОДЗЯК

Где взять средства?

Сумерки спускались, а нищий с молодой зеленью перед окнами торчал, словно диссонанс. Я остался в квартире один. Какая-то шерлок-холмсовщина начала твориться в пустых комнатах, что-то сюда примешалось детективное, когда стоял я там в полумраке в поисках продолжения столь счастливо начатой акции. Поскольку они удрали, я решил прочесать квартиру: а вдруг мне удастся пролезть в них в той части ауры, которую они оставили на месте. В спальне Млодзяков — светлой, тесной, чистой и экономной — запах мыла и купального халата, это интеллигентское теплецо, современное, опрятное, отдающее пилочкой для ногтей, газовой горелкой и пижамой. Довольно долго стоял я посреди комнаты, вдыхая атмосферу, исследуя элементы и ища, как и откуда вытащить отвращение, чем бы испоганить?

На первый взгляд зацепиться было не за что. Чистота, порядок и солнце, бережливость и скромность — а туалетные запахи были даже лучше, чем в старомодных спальнях. И я не знал, чему приписать, что халат современного интеллигента, его пижама, губка, крем для бритья, его туфли, пастилки Виши и резиновый гимнастический снаряд его жены, светлая, желтая занавеска на современном окне представляют собой улики чего-то столь отвратного? Стандартизация? Филистерство? Буржуазность? Нет, это не то, нет — почему? Я стоял, не умея открыть формулу отвратного, не хватало слова, жеста, поступка, в которые я мог бы поймать неуловимую безвкусицу и взять ее себе,— и тут взор мой упал на книгу, раскрытую на ночном столике. Это были воспоминания Чаплина, на той как раз странице, где он рассказывает, как Уэллс соло протанцевал перед ним придуманный им самим танец. «Потом Г. Уэллс прекрасно танцует какой-то фантастический танец». Сольный танец английского писателя помог мне поймать безвкусицу, словно на удочку. Вот точный комментарий! Это комната и была как раз У э л л с о м, танцующим соло перед Ч а п л и н о м. Ибо кем же был Уэллс в своем танце? Утопистом. Старый современный полагал, что ему позволительно дать выход радости и танцевать, он держался за свое право на радость и гармонию... плясал и видел перед мысленным своим взором мир, каким ему предстояло быть спустя тысячелетия, плясал соло, опережая время, танцевал теоретически, поскольку считал, что имеет право... А чем же была эта спальня? Утопией. Где в ней было место для тех звуков и ворчанья, которые человек издает во сне? Где место для полноты его половины? Где место для бороды Млодзяка, бороды, правда, обритой, но

тем не менее существующей in potentia?[1] Ведь инженер был бородатый, хотя он и выбрасывал ежедневно бороду в раковину вместе с кремом,— а комната эта была обрита. В старину шумящий лес представлял собою спальню человечества, где же, однако, было место для шумов, сумеречности, черноты леса в этой светлой комнате, среди этих полотенец. Как же скупа была эта чистота — и тесна,— светло-голубая, не гармонирующая с цветом земли и человека. И инженер со своею супругой представились мне в этой комнате столь же отвратительными, как и Уэллс в своем танце собственного сочинения перед Чаплином.

И тогда только, когда я пустился в сольный танец, тогда только мысли облачились в плоть и стали делом, могуче осмеивая все вокруг и извлекая из всего горький привкус. Я танцевал — а пляска без партнера в пустоте, в тишине набухала безумием, даже храбрости недоставало. Когда я обтанцевал у Млодзяков полотенца, пижамы, крем, кровати и приборы, я быстро ретировался, закрыв за собой дверь. Напустил им танец в современный интерьер! Но дальше, дальше, теперь комната гимназистки, теперь там потанцевать, напакостить!

Однако комната барышни Млодзяк, а точнее говоря, гостиная, в которой она спала и делала уроки, была бесконечно труднее для приготовления невкусного. Уже сам факт, что у девушки не было собственной комнаты, а как бы угол, где она спала в холле, испускал нечто восхитительное и упоительное. Была в этом великая временность нашего столетия, кочевничество гимназистки и какое-то carpe diem[2], которое тайными переходами соединяло ее с отполированной, напоминающей автомобиль, природой современной молодости. Следовало предполагать, что она засыпает тотчас же, как только головку (не голову; у них были глаза — но все еще головки) уложит на подушечку, а это опять же навевало мысль об интенсивности и темпе сегодняшней жизни. А кроме того, отсутствие спальни как таковой делало невозможной мою акцию, подобную той, в спальне Млодзяков. В сущности, гимназистка спала не частным образом, а гласно, не было у нее частной, ночной жизни, а непреклонная гласность девушки единила ее с Европой, с Америкой, с Гитлером, Муссолини и Сталиным, с трудовыми лагерями, со знаменем, с гостиницей, с железнодорожным вокзалом, она создавала сферу неимоверно широкую, исключала собственный уголок. Постельное белье, спрятанное в диване, имело вспомогательный характер, в лучшем случае оно могло быть приложением ко сну. Так называемого туалетного столика не было вовсе. Гимназистка гляделась в настенное зеркало. Ни одного маленького зеркальца. У дивана небольшой столик, черный, гимназический, на нем книги и тетради. На тетрадях — пилочка для ногтей, на окне — перочинный ножик, дешевая самописка за шесть злотых, яблоко, программа спортивных соревнований, фотография Фреда Астера и Джинджер Роджерс, пачка опиумизированных сигарет, зубная щетка, теннисная тапочка, а в ней цветок, гвоздика, случайно туда брошенная. И это все. Как же скромно, и как же сильно!

Я молча постоял над гвоздикой — не мог не восхищаться гимназисткой! Какое искусство! Бросая цветок в тапочку, она одним выстрелом убивала двух зайцев — любовь усиливала спортом, спорт приправляла любовью! Бросила цветок в пропотевшую теннисную тапочку, а не в обычную туфельку, ибо знала, что цветам не вредит только пот спортивный. Соединяя в воображении спортивный пот с цветком, она навязывала благосклонное отношение к своему поту вообще, придавала ему немного чего-то спортивного и цветочного. О, мастерица! Тогда как старомодные, наивные, банальные выращивали азалии в горшочках, она в тапочку бросает цветок, в спортивную! И — вот прохвостка — наверняка же сделала это неосознанно, случайно!

Я раздумывал, что с этой штуковиной сделать? Выбросить цветок в раковину? Всадить его бородатому нищему в едало? Но эти механиче-

[1] Потенциально *(лат.)*.
[2] Лови мгновенье *(лат.)*.

ские и искусственные приемы были бы всего лишь попыткой избежать трудностей, нет, цветок надо было испакостить там, где он находился, взять его не физическим превосходством, но духовным! Бородач с зеленой веткой в зарослях бороды торчал под окнами верно и стойко, муха жужжала на оконном стекле, с кухни доносился монотонный визг служанки, Ментусом склоняемой к парню, вдалеке трамвай постанывал на повороте — и в самом центре всех этих усилий стоял я, нехорошо улыбаясь,— муха зажужжала громче. Я поймал муху, оборвал ей лапки и крылышки, превратил ее в страдающий, скорбный, отвратный и метафизический шарик, не совсем круглый, но во всяком случае кругловатый, и приложил его к цветку, осторожно поместил в тапочку. Пот, который при этом выступил у меня на лбу, оказался покрепче цветочных теннисных потов! Я будто дьявола науськал на современную! Муха тупыми и безгласными мученьями дисквалифицировала тапочку, цветок, яблоко, сигареты, все хозяйство гимназистки, а я стоял с недоброй ухмылкой, прислушиваясь, что теперь творится в комнате и во мне, исследуя ауру, вылитый сумасшедший — и думал, что не только маленькие дети топят котов и мучат птичек, что взрослые мальчики тоже порой мучат ради того только, чтобы перестать быть мальчиками гимназисток, чтобы преодолеть какую-нибудь свою гимназистку! Разве не того ради мучил Троцкий? Торквемада? Что было гимназисткой Торквемады? Тихо, тихо.

Умаявшийся бородач стоял на посту — муха страдала безгласно в тапочке — теперь китайским, византийским в спальне Млодзяков танец мой был — я стал основательнее рыться в вещах современной. Добрался до стенного шкафа, бельевого, но белье в шкафу надежд моих не оправдало. Панталоны как панталоны — современные панталоны никак не портили девушку, они утратили давний, домашний характер, скорее что-то родственное у них было с морским клешом. Зато в ящике, который я выдвинул, воспользовавшись ножом,— горы писем, любовная корреспонденция гимназистки! Я бросился на нее, тогда как бородач, муха, танец все продолжали свое без устали.

О, сатанинское царство современной гимназистки! Что же таил в себе этот ящик! Тогда только я осознал, сколькими же жуткими тайнами владеют современные гимназистки и что было бы, если бы какая-нибудь из них захотела выдать доверенные ей секреты. Но они исчезают в девушках, словно камень в воде, чересчур они приличны, чересчур обаятельны, чтобы рассказывать... а те, кого красота не мучит, писем таких не получают... Восхитительно, что только особы, сдерживаемые красотой, обладают доступом к определенным душевным запасам человечества. О, девушка, этот склад позора, запертый на ключ красотой! Сюда, в эту святыню, старый ли, молодой ли приносил такие вещи, что, пожалуй, любой из них предпочел бы трижды умереть и жариться на медленном огне, чем увидеть это опубликованным... И лик столетия — лик XX века, века смешения веков, двусмысленно выглядывал оттуда, словно Силен из чащи...

Были там, среди прочего, любовные письма от школьников, такие тягостные, неприятные, мучительные, раздражительные, несуразные, зеленые, фатальные, позорные и постыдные, каких никогда еще не видывала История — ни древняя, ни средневековая. И если бы ровесник их авторов из Ассирии, Вавилона, Греции либо из средневековой Польши, да хотя бы даже обыкновенный бедняк времен Зигмунта Августа прочитал это, он наверняка бы краской залился, по мордасам бы их отхлестал. О, ужасная какофония, которую они производили! Фальшь, раздирающая их любовные песни! Словно бы сама Природа в безбрежном презрении своем к жалким, надутым пижончикам лишила их голоса перед Девушкой, не желая допустить размножения племени школяров. И только те письма, которые из страха не выражали ничего, были сносны: «Зута с Марысей и с Олеком на корт, завтра, звякни, Генек». Только такие письма не были саморазоблачительными... Я нашел по два письма Мыздраля и Гопека, вульгарные по содержанию, серые

по форме, чрезмерной надменностью они стремились придать себе видимость зрелости. Они летели, словно бабочки на огонь, зная, что сгорят...

Но письма студентов высших учебных заведений были не менее робкими, хотя маскировались они уже ловчее. Видно было, как каждый из них, водя пером по бумаге, страшился и терзался, как следил за собой и взвешивал каждое слово, дабы не скатиться по наклонной плоскости прямо в собственную незрелость, в свои коленки. Потому-то о коленках я не нашел ни одного упоминания, зато много было о чувствах, о вопросах общественных, о заработках, о светской жизни, об игре в бридж и скачках, а также об изменении государственного строя. Особенно политики, эти трепачи из «студенческой жизни», необычайно искусно и осмотрительно скрывали коленки, тем не менее, однако, систематически посылали гимназистке все свои программы, призывы и идейные декларации. «Может, вы, Зутка, соблаговолите познакомиться с нашей программой»,— писали они, но в программах тоже нигде четко не было о коленках, если только не вкрадывалась случайно lapsus linguae, когда, к примеру, вместо «флаг развевается над колонной» было написано «флаг развевается над коленкой». А еще какие-то краковяне в своей декларации ошибочно выразились «мы, краколяне». Кроме двух вышеупомянутых случаев коленки ни разу не показались. Точно так же и в посланиях, впрочем в немалой мере сладострастных, с помощью которых старые тетушки, печатающие в прессе статьи об «эпохе джаз-бандов», пытались установить духовный контакт с гимназисткой и увести ее с дороги к пропасти, коленки были весьма хорошо законспирированы. Сколько не читай их, а о коленках, кажется, и речи нет.

А дальше — целые стопы этих столь сегодня распространенных тоненьких стихотворных сборничков, числом не менее трехсот или четырехсот, валявшихся на дне ящика, впрочем — надо признать — не разрезанных и не тронутых вышеупомянутой гимназисткой. Все они были снабжены посвящениями, выдержанными в тоне интимном, добропорядочном, искреннем и честном, и посвящения эти самым энергичным образом домогались от девушки прочтения, принуждали к чтению, в изысканных и убийственных выражениях клеймили девушку за непрочтение, а чтение прославляли и превозносили до небес, за непрочтение же грозили исключением из круга людей культурных и требовали, чтобы девушка прочитала, оценив одиночество поэта, труд поэта, миссию поэта, роль поэта, страдания поэта, авангардизм поэта, призвание поэта и душу поэта. Еще удивительнее, что и заглавия томиков не содержали в себе и намека на коленку. Одни Бледные Рассветы, и Разгорающиеся Рассветы, и Новые Рассветы, и Новые Зори, и Эпоха Борьбы, и Борьба в Эпохе, и Трудная Эпоха, и Молодая Эпоха, и Молодежь на Вахте, и Вахта Молодости, и Сражающаяся Молодость, и Идущая Молодость, и Молодость Стоящая, и Эй, Молодые, и Горечь Молодости, и Глаза Молодости, и Уста Молодости, и Молодая Весна, и Моя Весна, и Весна и Я, и Весенние Ритмы, и Ритм Пулеметов, и Залп в Воздух, и Семафоры, Антенны, Винты, и Мой Поцелуй, и Моя Нежность, и Моя Тоска, и Мои Глаза, и Мои Уста (о коленках нигде ни гугу), и все писано поэтическим тоном с изысканными ассонансами, либо без изысканных ассонансов, со смелыми метафорами, либо с подкожной мелодией слов, о коленках почти ни слова, очень мало, непропорционально мало. Авторы ловко и с большим поэтическим мастерством скрывались за Красотой, Совершенством Ремесла, Внутренней Логикой Произведения, Желанной Последовательностью Ассоциации либо же за Классовым Сознанием, Борьбой, Зарей Истории и тому подобными объективными, антиколеночными соображениями. Но сразу же бросалось в глаза, что стишки эти, отдающие нудным, натужным и никому ни на что не пригодным искусством,— всего лишь усложненный шифр и что должна существовать какая-то значительная и действительно важная причина, которая побуждает этих худосочных, мелких мечтателей к составлению столь ди-

ковинных шарад. Как-то после продолжавшихся минуту глубоких раздумий мне удалось переложить на понятный язык содержание следующей строфы:

СТИХИ

Горизонты лопаются словно бутылки 1
Зеленая клякса вздымается к тучам
Я снова прячусь в тень под сосну
И здесь:
Жадно, до дна выпиваю
будничную мою весну.

МОЙ ПЕРЕВОД

Коленки, коленки, коленки
Коленки, коленки, коленки
Коленки, коленки, коленки, коленки, коленки —
Коленка:
Коленка, коленка, коленка
коленки, коленки, коленки.

А дальше — и тут только начиналось истинное сатанинское царство гимназистки,— дальше была целая куча конфиденциальных посланьиц, от судей, адвокатов и прокуроров, аптекарей, торговцев, городских домовладельцев и землевладельцев, докторов и т. п.— от тех прекрасных и великолепных, которые всегда мне так импонировали! Я поражался, в то время как муха продолжала безголосо страдать. Значит, и они тоже, вопреки видимости, подчеркивали отношения с гимназисткой? — Прямо не верится,— повторял я,— прямо не верится! — Значит, так угнетала их эта Зрелость, что втайне от жены и детей они слали длинные письма гимназистке-старшекласснице? Разумеется, тут уж тем более нигде не было отчетливо о коленках, как раз напротив, каждый в подробностях объяснял, почему он устанавливает сей «обмен мыслями», поскольку полагает, что «барышня Зута» его поймет, не воспримет этого превратно и т. д. Затем они воздавали хвалу современной в выражениях вычурных, но подобострастных, заклиная ее между строк, чтобы она соизволила помечтать о них, естественно украдкой. И каждый, хотя никто из них ни разу так и не помянул о коленках, изо всех сил подчеркивал и выпячивал свое современное мальчишество.

Прокурор:

Я, правда, выступаю в тоге, но, по существу, я мальчик на побегушках. Я послушен. Делаю, что скажут. У меня нет собственного мнения. Председатель может меня распечь. Недавно назвал меня разиней.

Политик уверял:

Я мальчик, я только политический мальчик, исторический мальчик.

Какой-то унтер-офицер с исключительно чувствительной и лирической душой писал следующее:

Мой закон — слепая дисциплина. По приказу я должен отдать жизнь. Я раб. Вот ведь и вожди всегда обращаются к нам — ребята, невзирая на года. Не верь моей метрике, это подробности чисто формального свойства, жена и дети только приложение, никакой я не рыцарь, но армейский мальчик, с мальчишеской, верной, слепой душой, а в казармах я пес, пес я!

Землевладелец:

Я уже обанкротился, жена в гувернантки, дети к чертям собачьим, а я — никакой я не землевладелец, а мальчик, которого выгнали. Испытываю тайное наслаждение.

Однако же коленки en toutes lettres [1] ни разу упомянуты не были. В постскриптумах молили гимназистку сохранить все в тайне, указывая, что карьера их была бы раз и навсегда разрушена, если бы хотя одна буковка этих признаний стала достоянием гласности.

---

[1] Напрямик *(франц.)*.

Это только для Тебя. Оставь у себя. Не говори никому!

Неправдоподобно! Лишь эти письма раскрыли мне глаза на могущество современной гимназистки. Где ее только не было? В чьей только голове не застревали ее коленки? Под влиянием таких мыслей ноги у меня сами заходили, и я бы затанцевал в честь старых Мальчиков XX века, муштруемых, понукаемых, погоняемых и обучаемых бичом, если бы на дне ящика не заметил большой конверт из учебного округа, надписанный со всею очевидностью рукою Пимки. Письмо было сухо.

«Я не буду больше,— писал Пимко,— терпеть пренебрежения и скандального невежества в том, что охватывается школьной программой.

Приглашаю явиться ко мне в кабинет — в управлении учебного округа, послезавтра, в пятницу в 4.30 в целях дачи объяснений, изложения и изучения Норвида, а также заполнения пробелов в образовании.

Обращаю внимание, что я приглашаю на законном основании, формально, официально и культурно, как учитель и воспитатель, а в случае отказа явиться я напишу письмо директрисе с предложением об исключении из школы.

Заявляю, что не могу больше выносить пробелов, а как профессор имею право не выносить. Прошу задуматься.

г. Варшава...
Т. Пимко, д-р филологии и проф. honoris causa

Так далеко у них зашло? Он ей угрожал? Вот оно, стало быть, как? Она так долго заигрывала с ним невежеством, что учителишка выпустил когти. Пимко, будучи не в состоянии устроить себе свидания с гимназисткой как Пимко, вызывал ее как профессор школ средних и высших. Он уже не довольствовался забавами дома под оком родителей — спекулировал на авторитете своей должности, хотел вбить в девушку Норвида легальным путем. А поскольку ничего другого он не умел, возжелал хотя бы с помощью Норвида добраться до нее. Пораженный до глубины души, застыл я с письмом в руке, стоял над грудой бумаг, не зная, к моей это выгоде или нет. Но под этим письмом в ящике лежал еще один листок — вырванный из блокнота, несколько слов карандашом,— и я узнал руку Копырды! Да, это Копырда, сомнений не было, Копырда, он самый! Лихорадочно схватил я листок. Лаконичный, сжатый, небрежный — все говорило о том, что его бросили в окно.

Забыл сообщить тебе адрес (тут следовал адрес Копырды). Если бы ты со мной захотела, то и я хочу. Дай знать. Г. К.

Копырда! Вы помните Копырду? Ах, я тут же все понял. Предчувствия меня не обманули! Копырда был тем незнакомым мальчиком, который подцепил гимназистку, о чем речь шла за обедом! Копырда забросил в окно этот листок, проходя недавно мимо. Подцепил девушку на улице, а теперь вот делал ей дополнительное предложение — какое же наглое, современное! «Хочешь со мной, ну и я хочу»,— деловито, позитивно, кратко предлагал... Увидел ее на улице, почувствовал половое влечение... и заговорил — а теперь листок бросил, проходя мимо окна, без лишних церемоний, по новому обычаю молодых... Копырда! А она — она ведь даже фамилии его не знала, ибо он ей не представился...

Перехватило мне горло.

А тут еще и Пимко, старый Пимко, который культурно, откровенно, легально, официально и формально приневоливал ее профессором. Ты должна, должна меня удовлетворить Норвидом, ибо я господин, твой учитель, ты же моя невольница — гимназистка!.. Тот имел на нее право как брат — ровесник современный, а этот как учитель средних школ, педагог отпетый...

Опять мне горло перехватило. Что же значили признания граждан, стоны адвокатов либо смешные поэтические шарады в сравнении с этими двумя письмами? Эти два предвещали погром, катастрофу. Грозная, близкая уже опасность заключалась в том, что девушка готова

была уступить Пимке и Копырде без чувства, только в силу обычая, исключительно потому, что и тот и другой имели право, один современно и как частное лицо, другой — старомодно и гласно. Но тогда обаяние ее окрепло бы неслыханно... и не спасли бы меня танцы и мухи моей акции, она намертво сдавила бы мне горло этим обаянием. Если она деловито, несентиментально, телесно, современно загуляет с Копырдой... А если и к Пимке пойдет, покорная его учителишкиному приказу... Девушка, которая идет к старому, ибо она гимназистка... Девушка, которая отдается молодому, ибо она современна...

О, этот культ, это послушание, это рабство девушки при столкновении с гимназисткой и при столкновении с современной! Оба они знали, что делают, обращаясь к ней так сурово и немногословно, знали, что потому именно девушка и готова согласиться... Искушенный Пимко ведь не предполагал, что она испугается угроз,— не на то он рассчитывал, а на то, что уступить под угрозой старому очаровательно, почти столь же очаровательно, как и уступить молодому просто того ради, что он говорит современным языком. О, рабство, доходящее до самоуничтожения при столкновении со стилем, о, послушание девушки! Я уже знал, что это неизбежно... И тогда... что я буду делать, где схоронюсь... как защищусь... от этого нового прилива и подъема? Вдумайтесь только, как это было странно. Ведь оба они в конечном счете разрушали современное очарование барышни Млодзяк. Ибо Пимко хотел изничтожить ее спортивное невежество в вопросах поэзии. А с Копырдой и того хуже — могло кончиться мамочкой. Но сам момент уничтожения стократ воплощал все прелести... Зачем я полез в ящик? Благословенное неведение. Если бы я не знал — мог бы продолжать осуществление задуманной своей акции против гимназистки. Но я уже знал — и это ужасно меня подкосило.

Пронизывающие и пронзающие тайники личной жизни семнадцатилетней, демоническое содержание ящика гимназистки. Поэзия... Чем напакостить? Как испоганить? Муха страдала недвижимо, безгласно. Бородач ветку держал. С письмами в руках я раздумывал, что бы устроить, что бы предпринять, как противостоять неизбежному и жуткому набуханию прелестей, красот, очарований, мечтаний...

И, наконец, в чащобе спутавшихся чувств замерцал и замысел некоей интриги — такой диковинный, что, пока я не приступил к его реализации, он казался мне невыполнимым. Я вырвал из тетради страницу. Написал карандашом четким, крупным почерком барышни Млодзяк:

Завтра, в четверг, в 12 ночи постучи в окно веранды, пущу. З.

Вложил листок в конверт. Адресовал Копырде. И написал еще одно, идентичное письмо:

Завтра, в четверг, после 12 ночи постучи в окно веранды. Пущу. З.

Адресовал Пимке. План состоял вот в чем: Пимко, получив в ответ на свое профессорское послание такое письмецо, на «ты» и циничное, потеряет голову. Для Старого это будет что обухом по голове. Он вообразит, что гимназистка хочет с ним свидания sensus stricto[1]. Дерзость, цинизм, испорченность, демонизм современной — взяв в расчет возраст, социальное положение, воспитание,— вскружат ему голову, словно гашиш. Он не удержится в роли профессора — не удержится в рамках легальности и гласности. Тайно, нелегально прискочит под окно, постучит. И тут встретится с Копырдой.

Что будет потом? Я не знал. Но знал, что подниму крик, разбужу все семейство, выволоку это дело на свет божий, Пимку Копырдой осмею, а Копырду Пимкой — и посмотрим, как наяву будут выглядеть любовные шашни, что тогда останется от очарования!

---

[1] В узком смысле *(лат.)*.

Глава X

РАЗЗУДИСЬ-НОГА И ОПЯТЬ С ПОЛИЧНЫМ

Назавтра, после бурной и истерзанной снами ночи, я вскочил чуть свет. Но не в школу, однако. Спрятался за вешалкой в маленькой прихожей, отделяющей кухню от ванной. Неумолимая логика борьбы предписывала мне предпринять психическую атаку на Млодзяков в ванной. Привет, попочка! Привет, царица! Надо было собраться и настроить дух на интригу против Пимки и Копырды. Меня трясло, и пот лил с меня ручьями — но борьба не на жизнь, а на смерть неразборчива в средствах, и нельзя мне было отказываться от этого козыря. Врага стремись схватить с поличным в ванной. Смотри на него, каков он тогда! Увидь и запомни! Когда одежды спадут, а с ними вместе, словно осенний лист, и вся мишура элегантности, форса, вот тогда ты и сможешь настичь его духом, аки лев агнца. Нельзя обойти вниманием ничего, что служит сосредоточению, собранности и достижению превосходства над врагом, цель оправдывает средства, борьба, борьба, прежде всего борьба, борьба с применением самых современных методов борьбы, и ничего больше, только борьба! Так гласила мудрость народов. Весь дом еще спал, когда я затаился. Из комнаты девушки не доносилось никаких звуков, спала она бесшумно, а вот Млодзяк, инженер, похрапывал в своей светло-голубой спальне, как провинциальный администратор или как цирюльник...

Но служанка уже завозилась на кухне, пробуждаются заспанные голоса, семейство готовится к утренним омовениям и обрядам. Я навострил все чувства. Духовно одичавший, я походил на дикое цивилизованное животное в культуркампфе[1]. Запел петух. Первой появилась инженерша Млодзяк в светло-пепельном халате и в туфлях, причесанная кое-как. Шла она спокойно, с поднятой головой, а на лице ее запечатлелась особая мудрость, я бы сказал — мудрость сантехники. Шла она с неким даже благоговением, шла во имя святой естественности и простоты и во имя рациональной утренней гигиены. Не доходя до ванной, она с поднятой головой свернула в ватерклозет и скрылась там, скрылась культурно, мудро, осознанно и интеллигентно, как женщина, которая знает, что не надо стыдиться естественных отправлений. Вышла она оттуда еще более горделивой, нежели вошла, словно приободренная, просветвленная и очеловеченная, вышла, будто из греческого храма! И тут я понял, что и входила она тоже будто в святыню. В святыне этой черпали силы современные инженеры и адвокаты! Ежедневно выходила она из этого места, становясь все лучше, все культурнее, высоко держа знамя прогресса, в месте этом был источник интеллигентности и естественности, которыми она донимала меня. Хватит. Прошла в ванную. Запел петух.

А потом рысью примчался Млодзяк в домашней куртке, громко отхаркиваясь и сплевывая, проворно, дабы не опоздать на службу, с газетой, дабы не терять времени, в очках на носу, с полотенцем на шее, чистя ноготь ногтем, стуча тапочками и капризно шлепая голыми пятками. Завидя дверь уборной, он захохотал смехом задним, дворовым, тем же, что и вчера, и пробрался туда, как работающий интеллигент-инженер, игриво и плутовски, необычайно остроумный. Пробыл он там долго, выкурил сигарету и пропел кариоку, а вышел совершенно деморализованный, типичный интеллигент-хамло с рожей такой кретински-водевильной, омерзительно-похабной, порочно-отупелой, что я кинулся бы на эту рожу, если бы не сдержал себя. Странное дело — если на жену ватерклозет действовал конструктивно, то на него он, казалось,

---

[1] Борьба за культуру *(нем.)* — программа правительства Бисмарка, направленная против католической церкви в Германии; на польских землях, входивших в состав Германии, этим прикрывался курс на германизацию польского населения и его культуры.

действовал деструктивно, хотя он ведь был инженером-конструктором.

— Поживей! — развязно крикнул он жене, которая мылась в ванной.— Поживей, старая! Витенька на службу торопится!

Под влиянием ватерклозета он назвал себя уменьшительным Витенькой и с полотенцем ушел. Сквозь царапины на матовом стекле я осторожно заглянул в ванную. Инженерша, голая, вытирала бедро купальной простыней, а лицо ее, кожа которого была потемнее, мудрое, заострившееся, нависло над жирно-белой, телячьи-невинной, безнадежной коленкой, словно ястреб-стервятник над теленком. И была в этом жуткая антитеза, казалось, орел кружит беспомощно, не в силах схватить теленка, который голосит благим матом, а это инженерша Млодзяк гигиенично и интеллигентно рассматривала свою бабью, дрябловатую ногу. Она подпрыгнула. Стала в позицию, руки уперла в бока и выполнила полуоборот справа налево со вздохом и выдохом! Слева направо со вздохом и выдохом! Выбросила вверх ногу, а ступня у нее была маленькая и розовая. Потом другую ногу с другой ступней! И приседать! Двенадцать приседаний отбухала перед зеркалом, дыша через нос — раз, два, три, четыре,— даже бюст у нее зааплодировал, да и у меня ноги ходуном заходили, и я чуть было не пустился в пляску сатанинскую, в пляску культурную. Отскочил за вешалку. Приближалась легкой походкой гимназистка, я притаился, словно в джунглях, приготовившись к психологическому прыжку, разъяренный... нечеловечески, архичеловечески разъяренный... Сейчас или никогда, я прихвачу ее со сна, неряшливую, теплую, полуодетую, изничтожу в себе ее красоту, ее дешевые гимназические прелести! Посмотрим, спасут ли Копырда с Пимкой ее от гибели!

Она шла насвистывая, смешно выглядела в пижаме, с полотенцем на шее — вся в движении, точном и быстром, само действие. Спустя миг она была уже в ванной, и я набросился на нее взглядом из своего укрытия. Сейчас, сейчас или никогда — сейчас, пока она слабенькая и разнеженная! — но она действовала так стремительно, что никакая разнеженность так и не успела к ней прицепиться. Она впрыгнула в ванну — пустила холодный душ. Она трясла локонами, а ее гармоничное обнаженное тело дергалось, ежилось и захлебывалось от восторга под водной струей. Ха! Не я ее, это она меня за горло схватила! Девушка, никем не понукаемая, утром, до завтрака, лила на себя холодную воду, истязала тело свое до спазм и судорог того ради, дабы, захлебываясь юным восторгом на голодный желудок, обрести дневную красу!

И, сам того не желая, принужден я был любоваться дисциплиной девичьей красоты! Стремительностью, точностью, ловкостью она сумела выпутаться из труднейшего переходного периода от ночи ко дню, словно бабочка взвилась она ввысь на крыльях движения. Мало того — она еще предала тело холодной воде, чтобы молодо и бодро захлебнуться восторгом, инстинктивно ощущая, что доза бодрости окончательно добьет разнеженность. В сущности, что же могло помешать девушке приободренной, повосторгавшейся взахлеб? Когда она прикрутила кран и стояла нагая в струйках стекающей воды, запыхавшаяся, она как бы все начинала сызнова, как бы того и не было. Эй! — если бы вместо холодной она употребила теплую с мылом, немногого бы это стоило. Только холодная могла — через восторг взахлеб — навязать забвение.

Как оплеванный выбрался я из прихожей. Подло потащился к себе, поняв, что дальнейшее подсматривание ни к чему не приведет, больше того, оно может оказаться губительным. Паскудство, паскудство — опять поражение, и на самом дне интеллигентского ада меня все еще настигали поражения. Кусая пальцы до крови, я поклялся не признавать себя побежденным, но продолжать сосредоточиваться, настраиваться, и я написал на стене в ванной только это: «Veni, vidi, vici»[1]. Пусть уж по крайней мере знают, что я видел, пусть почувствуют себя

[1] Пришел, увидел, победил *(лат.)*.

обсмотренными! Враг не спит, враг бдит. Моторизация и динамизация! Я пошел в школу, в школе ничего нового, Бледачка, поэт-пророк, Мыздраль, Гопек и «accusativus cum infinitivo», Галкевич, лица, рожи, попочки, палец в ботинке и повседневная всеобщая несостоятельность, скучно, скучно, скучно! На Копырду, как я, впрочем, и предполагал, письмо мое никак не подействовало, самое большее, он, может, чуть заметнее, чем обычно, акцентировал ноги, но я не был уверен, не кажется ли мне это. Зато на меня коллеги смотрели с отвращением, и даже Ментус спросил:

— Бог ты мой, где ж ты себя так отделал?

Действительно, рожа моя после сосредоточения и настройки стала такой муторной, что я и сам хорошенько не знал, на чем сижу, но плевать, все равно, ночь, ночь была всего важнее, с дрожью ожидал я ночи, ночь решит, ночь даст ответ. Ночью может наступить перелом. Соблазнится ли Пимко? Искушенный, двужильный, двуединый учителишка, позволит ли он выбить себя из формы девичьим чувствительным письмом? От этого зависело все.— Только бы Пимко,— молился я,— только бы он потерял равновесие, только бы потерял голову,— и вдруг, приведенный в ужас рожей, попочкой, письмом, Пимкой, тем, что было, тем, что еще будет, вдруг я порывался бежать, как законченный псих вскакивал на уроке — и садился,— ибо куда же мне было убегать, назад, вперед, направо или налево, от собственной своей рожи, от попочки? Молчи, молчи, никакого побега! Ночь решит.

За обедом не произошло ничего достойного упоминания. Гимназистка и инженерша были весьма сдержанны в словах и не размахивали, как обычно, современностью. Явно опасались. Прекрасно ощущали мою сосредоточенность и собранность. Я заметил, что инженерша Млодзяк сидела истуканом, с достоинством особы, подсмотренной во время своего сидения, смешно, но это делало ее похожей на матрону, я такого эффекта не ожидал. Во всяком случае не подлежало сомнению, что она прочитала мою надпись на стене. Я старался смотреть на нее как можно более проницательно и сказал смиренно, подобострастно, в форме отвлеченной, что отличаюсь взглядом наблюдательным и насквозь просвечивающим, который ввинчивается в лицо, а выходит с другой стороны... Она притворилась, что не слышит, зато инженер судорожно захохотал ненароком и хохотал долго, механически. Млодзяк — если зрение меня не обманывало — под воздействием последних событий стал до известной степени склонен к неряшливости, намазывал маслом большие ломти хлеба и запихивал себе в рот огромные куски, которые прожевывал чавкая.

После обеда я пытался подглядывать за гимназисткой от четырех до шести, однако безрезультатно, ибо она ни разу не вошла в поле моего зрения. Наверняка остерегалась. Я также заметил, что инженерша Млодзяк шпионит за мной, несколько раз под пустячными предлогами входила в мою комнату, а однажды даже наивно предложила мне сходить за ее счет в кино. Беспокойство их росло, они чувствовали себя под угрозой, вынюхивали врага и опасность, хотя толком не знали, что им угрожает и к чему я стремлюсь,— они вынюхивали, и это их деморализовало, неопределенность возбуждала тревогу, а тревоге не на что было опереться. И даже разговаривать между собой об опасности они не могли, ибо слова погружались в бесформенный и зыбкий мрак. Инженерша вслепую пыталась организовать что-то вроде обороны и, как я убедился, весь день провела за чтением Рассела, а мужу сунула Уэллса. Но Млодзяк заявил, что предпочитает годовой комплект «Варшавского цирюльника», а также «Словечки» Боя [1], и я слышал, как он то и дело разражался смехом. Вообще они не могли себе места найти. Инженерша Млодзяк в конце концов взялась за подсчет домашних рас-

[1] Сборник сатирических куплетов известного польского писателя Боя-Желеньского (1874—1941).

ходов, отступив на позиции финансового реализма, а инженер болтался по дому, присаживался то там, то здесь и напевал довольно-таки фривольные мелодии. Их выводило из себя, что я сижу в своей комнате и не подаю признаков жизни. Ведь я, разумеется, старался сохранить тишину. Тихо, тихо, тихо, порой тишина достигала величайшего напряжения, и тогда жужжание мухи походило на трубный звук, а неопределенность сочилась в тишине, собираясь в мутные лужи. Около семи я увидел Ментуса, пробиравшегося вдоль забора к служанке и посылавшего условные знаки в сторону кухни.

К вечеру инженерша тоже стала пересаживаться с места на место, а инженер в кладовке выпил несколько рюмок. Они не могли найти себе ни места, ни формы, не могли усидеть, садились и вскакивали, словно обжегшись, ходили из угла в угол, взъерошенные, будто бы кто-то преследовал их по пятам. Действительность, выброшенная из своего русла сильными импульсами моей акции, накатывала волнами и бурлила, выла и громко стонала, а темная, смешная стихия безобразия, мерзости, гнусности все осязаемее окружала их и поднималась на их поднимающейся тревоге, как на дрожжах. За ужином инженерша едва могла усидеть на стуле, все внимание сосредоточив на лице и верхних частях своего тела, а Млодзяк, напротив, вышел к столу в жилете, завязал салфетку под подбородком и, намазывая маслом толстые, надкусанные ломти, рассказывал интеллигентские анекдоты и хохотал. Сознание, что он был мною подсмотрен, унизило его до плоской инфантильности, он весь как-то прилаживался к тому, что я увидел, и превратился в мерзкого, кокетливого, смешливого инженеришку, изнеженного, избалованного и шаловливого. Он к тому же пытался подмигивать мне и делать остроумные многозначительные знаки, на что я, естественно, не отвечал, сидя с лицом захиревшим и бледным. Девушка сидела равнодушно, стискивая зубы, игнорировала все с поистине девичьим героизмом, можно было бы поклясться, что она ничего не знает,— о, я с тревогой смотрел на этот ее героизм, который возвышал ее красоту! Однако ночь решит, ночь даст ответ, если Пимко с Копырдой подведут, современная победит наверняка и ничто не спасет меня от рабства.

Приближалась ночь, а с нею и час сведения счетов. Событий нельзя было предвидеть, не было программы, я знал только, что должен сотрудничать с каждым сумеющим пробиться ростком, ростком деформирующим, смешным, подозрительным, карикатурным и дисгармоничным, с каждым разрушительным элементом,— и меня охватил прогорклый, худосочный ужас, по сравнению с которым давящий страх убийцы не стоит ломаного гроша. После одиннадцати гимназистка отправилась спать. Поскольку загодя я пробил долотом в двери косую щель, я мог охватить взглядом часть комнаты, до того мне недоступную. Девушка быстро разделась и сразу же потушила свет, но вместо того, чтобы уснуть, только ворочалась с боку на бок на жесткой постели. Зажгла лампу, взяла со столика английский детективный роман, и я видел, как она заставляет себя читать. Современная пристально взглядывалась в пространство, словно взглядом пыталась проникнуть в смысл опасности, угадать форму, увидеть, наконец, образ угрозы, конкретно понять, что против нее замышляется. Она не знала, что у опасности не было ни формы, ни смысла — бессмыслица, бесформенность и бесправие, подозрительная, разболтанная, безстильная стихия угрожала ее современной форме, вот и все.

Из спальни Млодзяков доносились до меня возбужденные голоса. Я стремглав бросился к их двери. Инженер в белье, заливающийся смехом и весь кабаретный, опять рассказывал анекдоты с явно интеллигентским привкусом.

— Довольно! — инженерша Млодзяк в халате нервно потирала руки.— Довольно, довольно! Перестань!

— Подожди, подожди, Яська, позволь еще... Я сейчас кончу!

— Никакая я не Яська. Я Иоанна. Сними кальсоны или надень брюки.

— Штанишки!

— Молчи!

— Штанишки, хи-хи-хи, штаники!

— Молчи, говорю...

— Штанища, штанища...

— Молчать! — Она решительно потушила лампу.

— Зажги, старая!

— Никакая я не старая... Не могу на тебя смотреть! Почему я тебя полюбила? Что с тобой? Что с нами происходит? Опомнись. Мы же вместе идем к Новым Дням! Мы борцы Нового Времени!

— Ладно, ладно, толстая, толстая лангуста — хи-хи-хи — лангуста толста прыг-скок мне в уста. Хоть и толста туша, да пыл не сушит. Но огню его конец, дряхлый слишком был бабец...

— Виктор! Что ты говоришь? Что ты говоришь?

— Витек веселится! Витек шалит! Трусцой летит!

— Виктор, что ты говоришь? Смертная казнь! — выкрикнула она.— Смертная казнь! Эпоха! Культура и прогресс! Наши стремления! Наши порывы! Виктор! О, по крайней мере не так грубо, не так сильно, не так мелко... Что на тебя нашло? Зута? О, как тяжко! Что-то тут нехорошо! Что-то судьбоносное в воздухе! Измена...

— Изменочка,— сказал Млодзяк.

— Виктор! Не мельчи! Не мельчи!

— Изменушка, Витек говорит...

— Виктор!

Они стали возиться.

— Свет,— задыхалась инженерша Млодзяк.— Виктор! Свет! Зажги! Пусти!

— Подожди! — задыхался он, хохоча.— Подожди, дай я тебя трахну, в шейку трахну!

— Никогда! Пусти, кусаться буду!

— Трахну, трахну, в шейку, шеечку, шееньку...

И он изверг из себя все альковные любовные уменьшительные, начиная с курочки и кончая муму... Я в страхе отступил. Хоть и не испытывал я недостатка в мерзостях, но этого выдержать не мог. Чертово у м а л е н и е, которое некогда так сильно повлияло на мою судьбу, теперь преследовало их. Дьявольской была эта выходка инженеришки, о, чудовищно, когда маленький инженер заартачится и сбросит узду, до чего же мы дожили? Трахнуло. По загривку шлепнул или по щеке вытянул?

В комнате девушки было темно. Спала? Было тихо, и я представил себе, как она спит, охватив голову рукой, полураскрытая и измученная. Вдруг она застонала. То не был стон во сне. Бурно, нервно заерзала в постели. Я знал, она съеживается, а расширившиеся глаза беспокойно всматриваются в темноту. Неужели же современная гимназистка стала уже настолько впечатлительной, что взгляд мой, проникнув сквозь замочную скважину, поразил ее во сне? Стон был дивно прекрасен, исторгнут из глубин ночи — словно сама судьба заколдованной девушки застонала, тщетно взывая о помощи.

Она опять застонала глухо, отчаянно. Неужели почувствовала, что в эту самую минуту растленный мною отец трескает мать? Неужели распознала окружающую ее со всех сторон гнусность? Мне казалось, я вижу во мраке современную, ломающую руки и до боли кусающую их. Как будто она зубами хотела дорваться до красоты в самой себе. Внешняя мерзость, притаившаяся по углам, возбуждала ее страсть к собственным прелестям. Какими же богатствами, какими же прелестями она обладала? Первое богатство — девушка! Второе богатство — гимназистка. Третье богатство — современная. И все это было заперто в ней, словно орех в скорлупе, она не могла проникнуть в арсенал, хотя и чув-

ствовала на себе нечистый мой взгляд и знала, что отвергнутый вздыхатель стремится духовно испоганить, уничтожить, испортить, обезобразить ее девичью красоту.

И меня вовсе не удивило, что девушка, невзирая на угрозу неявного уродства, разбушевалась вовсю. Она выскочила из постели. Сбросила ночную рубашку. Пустилась в пляс. Она уже не обращала внимания на то, что я подсматриваю, да, она сама как бы вызывала меня на схватку. Ноги легко, ловко поднимали ее тело, руки плескались в воздухе. Она и так и эдак вбирала голову в плечи. Охватывала голову руками. Трясла кудрями. Ложилась на пол, вставала. Рыдала, а то смеялась или тихо напевала. Вскочила на стол, со стола на диван. Казалось, она боится остановиться хотя бы на миг, словно крысы и мыши гнались за ней, казалось, что летучестью своих движений она стремится возвыситься над ужасом. Она уже не знала, что еще предпринять. Наконец, схватила поясок и принялась изо всех сил хлестать себя по спине, лишь бы только пострадать, молодо, мучительно... Она схватила меня за горло! Как же измывалась над нею красота, к чему только не понуждала, как вертела ею, мутузила, валяла! Я замер у замочной скважины с рожей дисгармоничной и мерзкой, равно восторженной и ненавидящей. Гимназистка, метаемая красотой, выкидывала все более бурные коленца. А я обожал и ненавидел, меня бил озноб, рожа судорожно стягивалась и растягивалась, словно она была из гуттаперчи. Боже, до чего же доводит нас любовь к красоте!

В столовой пробило двенадцать. Раздался тихий стук в окно. Троекратный. Я струхнул. Начиналось. Копырда, Копырда идет! Гимназистка прекратила скакать. Стук повторился еще раз, настойчивый, тихий. Она подошла к окну и раздвинула шторы. Всматривалась...

— Это ты?..— долетел с веранды в ночной тиши шепот.

Она потянула за шнурок. Луна ворвалась в комнату. Я увидел, что девушка стоит в рубашке, вся напряглась, вся начеку...

— Чего? — проговорила.

Я дивился мастерству этой сороки! Ведь появление под окном Копырды было для нее неожиданностью. Другая на ее месте, старомодная, зашлась бы бессмысленными криками и вопросами: «Простите! Что это значит? Что вам надо в такой час?» Но современная поняла, что удивление в лучшем случае могло бы подпортить... что куда красивее без удивления... О, мастерица! Она высунулась из окна бесцеремонная, бесхитростная, общительная.

— Чего? — повторила она громким девичьим шепотом, кладя подбородок на руки.

Поскольку он называл ее на «ты», и она не обратилась к нему на «вы». И я поражался неправдоподобно резкой перемене стиля — прямо от прыжков в приятельский разговор! Кто бы догадался, что минуту назад она металась и скакала? Копырда, хотя тоже современный, был все же несколько сбит с толку необычайной деловитостью гимназистки. Он, однако, моментально подстроился под ее тон и сказал по-мальчишески небрежно, руки в карманы:

— Пусти меня.

— Зачем?

Он присвистнул и грубо ответил:

— Не знаешь? Пусти!

Копырда был возбужден, и голос у него срывался, но он свое возбуждение скрывал. А я трясся, боясь только бы он не сболтнул о письме. Современные нравы, к счастью, не позволяли им ни много говорить, ни удивляться друг другу, им приходилось притворяться, что все и так само собой ясно. Небрежность, грубость, краткость и пренебрежительность — вот из чего они высекали поэзию, тогда как в давние времена влюбленные исторгали ее с помощью стонов, вздохов и мандолин. Копырда знал, что он мог овладеть девушкой только с пренебрежением, а без пренебрежения — и речи быть не могло. Но, подпуская немного чув-

ственного, современного сентиментализма, он тоскливо, позитивно, глухо добавил, погрузив лицо в дикий виноград, вившийся по стене:

— Сама ведь хочешь!

Она сделала такое движение, будто собиралась закрыть окно. Но вдруг — словно движение это подтолкнуло к чему-то совсем противоположному — она замерла... Стиснула зубы. Секунду постояла неподвижно, только глаза ее осторожно, медленно посмотрели по сторонам. На лице появилось выражение... выражение сверхсовременного цинизма. И гимназистка, возбужденная выражением цинизма, глазами и устами в лунном свете, неожиданно высунулась до половины и рукой, в которой ничуть не было страсти, взъерошила ему волосы.

— Иди! — прошептала она.

Копырда не выказал удивления. Ему было не положено удивляться ни собой, ни ею. Малейшее сомнение могло испортить все. Ему надлежало поступать так, будто действительность, которую они сообща выстраивали, была чем-то повседневным и рядовым. О, мастер! Так он и поступил. Влез на окно и спрыгнул на пол именно так, словно каждую ночь лазал в окно какой-нибудь гимназистки, с которой познакомился только вчера. В комнате он тихо рассмеялся, на всякий случай. А она потянула его за волосы, чуть приподняла его голову и вгрызлась ртом в его рот!

Черт, черт! А вдруг она была девица! Вдруг девушка была девицей! Вдруг она была девица и решила без церемоний отдаться первому встречному, который постучал в окно! Черт, черт! Она схватила меня за горло. Ибо ежели она была обыкновенной потаскухой и шлюхой, ну, тогда, в конце концов, пусть, но если она девица, то — следует признать — современная сумела исторгнуть просто дикую красоту из себя и из Копырды. Так нагло, так тихо, грубо и свободно схватить мальчика за волосы — меня схватить за горло... Ха! Она знала, что я подсматриваю в замочную скважину, и шла на все, лишь бы победить красотой! Я заколебался. Ибо если бы уж на худой конец это он схватил ее за волосы — но за волосы-то его схватила она! Эй, вы там, барышни, выходящие замуж с помпой, предваряя это долгой канителью, вы, никудышные, которые позволяете украсть у вас поцелуй, смотрите, как современная принимается за любовь и за себя! Она повалила Копырду на диван. Я опять заколебался. Дело шло к тому, чтобы острие против острия. Семнадцатилетняя явно ставила на карту самый сильный козырь своей красоты. Я молился, чтобы пришел Пимко,— ежели Пимко подведет, я пропал, никогда, никогда уже не освобожусь от дикого очарования современной. Она душила, она давила — меня, того, который хотел задушить ее, который хотел ее победить!

А тем временем девушка в самом бурном расцвете своего девичества обнималась с Копырдой на диване и готовилась с его помощью достигнуть высшей степени прелести. Случайно, кое-как, без любви и чувственно, даже не уважая друг друга, единственно того ради, дабы дикой гимназической поэзией схватить меня за горло. Черт, черт, она побеждала, побеждала, побеждала!

Но вот раздался спасительный стук в окно. Они прекратили обниматься. Наконец! Пимко шел на помощь. Приближался решающий миг. Сумеет ли Пимко испортить — не поддаст ли еще красоты, очарования? Об этом думал я, готовя за дверью рожу свою к вмешательству. Пока что стук Пимко принес некоторое облегчение, ибо им пришлось прервать страсть и исступление, и Копырда шепнул:

— Кто-то стучит.

Гимназистка вскочила с дивана. Они прислушивались, могут ли снова приступить к исступлению. Стук повторился.

— Кто там? — спросила она.

За окном послышалось жаркое, астматическое:

— Зутка!

Она отодвинула шторы, дав знак Копырде, чтобы тот отступил. Но Пимко лихорадочно вскарабкался в окно, прежде чем она успела произнести хоть слово. Он боялся, что его кто-нибудь увидит под окном.

— Зутка! — зашептал он страстно, физически.— Зутка! Гимназистка! Малышка! Ты — скажи «ты»! Ты подружка моя! Я твой коллега! — Мое письмо опьянило его. У двужильного и ничтожного учителишки рот был страдальчески искривлен поэзией.— Ты! Говори мне «ты», Зутка! Никто не увидит? Где мама? — Но опасность только больше пьянила его.— Какое это... маленькое, молодое... и бесстыдное... невзирая на разницу в возрасте, в положении... Как ты могла... как осмелилась... мне? Я и вправду такое впечатление произвел? Говори мне «ты»! На «ты», на «ты»! Скажи, что тебе во мне понравилось?

Ха, ха, ха, ха, ха, педагог чувственный!

— Чего? Чего вы?..— бормотала она. То, с Копырдой, уже прошло, уже рассеялось.

— Тут кто-то есть! — воскликнул Пимко в полутьме.

Ответило молчание. Копырда не отзывался. Современная стояла между ними в рубашке, без смысла, как маленькая дамочка.

И тогда за дверью взорвался я.

— Воры! Воры!

Пимко завертелся на месте как пришпиленный, бросился к стенному шкафу. Копырда хотел выскочить в окно, не успел — спрятался в другом шкафу. Я влетел в комнату как был, в ночном белье. Вот они! Попались! За мной Млодзяки, он — еще шлепающий, она — отшлепанная.

— Воры?! — кричал заурядно и мелкобуржуазно инженерик в исподнем и босиком. В нем пробудился инстинкт собственности.

— Кто-то влез в окно! — заорал я. Зажег свет. Гимназистка лежала под одеялом и притворялась, что спит.

— Что случилось? — спросила полусонно, в отличном, лживом стиле.

— Новая интрига! — закричала инженерша Млодзяк, поглядывая на меня взором василиска, в халате, с растрепанными волосами и бурыми пятнами на щеках.

— Интрига? — завопил я, поднимая с полу подтяжки Копырды.— Интрига?

— Подтяжки,— тупо проговорил инженерик.

— Это мои! — бесстыже закричала барышня Млодзяк. Бесстыдство девушки на всех подействовало благотворно, хотя никто, естественно, не поверил!

Резким движением распахнул я шкаф, и перед собравшимися предстала нижняя часть тела Копырды, а именно пара стройных ног в выглаженных фланелевых брюках и в легких спортивных тапочках. Верхняя часть тела была увита платьями, висевшими в шкафу.

— Аа... Зута! — первой отозвалась инженерша Млодзяк.

Гимназистка с головой укрылась под одеялом, только ноги торчали и краешек прически. Как же мастерски она все это разыгрывала! Другая на ее месте начала бы что-нибудь бурчать под нос, искать оправданий. А она только нагие ноги выставила и, перебирая ими, играла на ситуации — ногами, движением, обаянием,— как на флейте. Родители переглянулись.

— Зута...— сказал Млодзяк.

И они с инженершей Млодзяк рассмеялись. Опали с них трескотня, ординарность и гнусность — дивная красота воцарилась. Родители, утешившиеся, оживленные, восхищенные, снисходительно и раскованно смеясь, смотрели на тело девушки, которая все еще капризно и робко прятала головку. Копырда, видя, что ему не надо опасаться давних строгих принципов, вышел из шкафа и встал, улыбаясь, блондин, с пиджаком в руках, современный симпатичный мальчик, застигнутый с девушкой ее родителями. Инженерша Млодзяк исподлобья ехидно взглянула на меня. Она торжествовала. Я, наверное, был околдован. Хотел скомпроме-

тировать гимназистку, но современный вовсе ее не скомпрометировал! Дабы еще чувствительнее дать им почувствовать мою ненужность, она спросила:

— А вы, молодой человек, здесь зачем? Вас это не должно касаться!

До сих пор я умышленно не открывал шкаф с Пимкой. Цель моя состояла в том, чтобы ситуация укрепилась в своем характере, достигнув вершин стиля современного и молодого. Теперь же я молча открыл шкаф. Пимко, съежившийся, забился в платья — только пара ног, пара профессорских ног в мятых брюках была видна, и ноги эти стояли в шкафу, какие-то неправдоподобные, сумасбродные, какие-то пришпиленные...

Впечатление было опрокидывающее, переворачивающее. Смех замер на губах Млодзяка. Ситуация пошатнулась. Словно пронзенная в бок ножом убийцы. Идиотство какое-то.

— Что это? — прошептала инженерша Млодзяк бледнея.

За платьями послышалось легкое покашливание и обычный смешок, которыми Пимко готовил себе почву для выхода. Зная, что через миг он может оказаться смешным, он упреждал насмешку над собой собственным смешком. Этот смешок из-за дамских платьев был настолько кабаретным, что Млодзяк хохотнул разок и осекся... Пимко вышел из шкафа и поклонился, смешной внешне, несчастный внутренне... Внутренне я чувствовал мстительный, яростный садизм, внешне я разразился смехом. В смехе моем растопилась месть моя.

Но Млодзяки остолбенели. Двое мужчин в двух шкафах! Да еще в одном — старый. Если бы было двое молодых! Либо по крайней мере было двое старых. Но один молодой и один старый. Старый, да еще к тому же Пимко. У ситуации не было оси, не было диагонали — нельзя было найти комментария к этой ситуации. Они непроизвольно взглянули на девушку, но гимназистка замерла под одеялом.

Тогда Пимко, покашливая и посмеиваясь, возжелал прояснить ситуацию и взялся толковать что-то про письмо, что барышня Зута написала... что он хотел Норвида... но что барышня Зута на «ты»... что на «ты» к нему... на «ты» с ним... что он хотел только на «ты»... что по имени... Нет, ничего более гладкого и одновременно глупого в жизни никогда я не слышал, тайное и частное содержание бредовых видений старика было невыносимо в ситуации, ярко освещенной лампой под потолком, никто не хотел понимать, а значит, никто и не понимал. Пимко знал, что никто не хочет, но увяз — учителишка, вытряхнутый из учителишки, смешался совершенно, верить не хотелось, что это тот самый абсолютный и искушенный балбес, который некогда меня укантропопил. Погрязший в липкой массе собственных объяснений, он вызывал жалость своей беспомощностью, и я чуть было не набросился на него, да махнул рукой. Но темные и подозрительные Пимкины призраки втолкнули инженера в официальность — это было сильнее, чем обоснованное недоверие, которое из-за меня он мог питать к ситуации. Он возопил:

— Я вас спрашиваю, что вы тут делаете в такую пору?

Это в свою очередь навязало тон Пимке. На мгновение он обрел форму:

— Прошу не повышать голос.

Млодзяк спросил:

— Что? Что? Вы позволяете себе делать мне замечания в моем доме?

Но инженерша взвизгнула, взглянув в окно. Бородатое лицо с веткой во рту показалось над оградой. Я напрочь позабыл о нищем! Велел ему и сегодня стоять с веткой, но забыл дать злотый. Бородач стойко ждал до самой ночи, а, увидя нас в освещенном окне, вытянул умаявшуюся, наемную рожу, чтобы напомнить о себе! Она въехала к нам, словно на блюде.

— Чего хочет этот человек? — кричала инженерша. Дух, коли бы

она его увидела, не произвел бы на нее более сильного впечатления. Пимко и Млодзяк примолкли.

Нищий, к которому на какой-то момент приковалось всеобщее внимание, шевелил веткой, словно усами, не зная, что сказать. Поэтому сказал:

— Сделайте милость.

— Дайте ему что-нибудь,— инженерша опустила руки и растопырила пальцы.— Дайте ему что-нибудь,— истерично орала она,— пусть идет...

Инженер начал искать мелочь в карманах брюк, но не нашел, Пимко живо вытащил кошелек, судорожно цепляясь за любой возможный поступок, а пожалуй, и рассчитывая на то, что Млодзяк в суматохе возьмет у него мелочь, а это, естественно, не способствовало бы дальнейшему поддержанию враждебности,— но Млодзяк не взял. Мелкие расчеты ворвались в окно и разбушевались в людях. Что до меня, то я стоял с рожей, внимательно следя за развитием событий, готовый к прыжку, но, в сущности, смотрел на все, словно через стеклышко. Куда же девалась моя месть, мое в них копание, и вой раздираемой в клочки действительности, и взрыв стиля, и мое безумство на развалинах? Фарс понемногу стал мне наскучивать. Лезли в голову всякие мысли, не исключая, например, такой — где Копырда покупает галстуки, может ли инженерша любить кошек, сколько они платят за квартиру?

Все это время Копырда продолжал стоять, засунув руки в карманы. Современный не подошел ко мне, даже виду не подал, что мы знакомы,— он и без того был достаточно раздражен приятельскими отношениями с Пимкой на почве девушки, чтобы еще здороваться со школьным приятелем в исподнем,— ни то, ни другое приятельство не было ему на руку. Когда Млодзяки и Пимко начали поиски мелочи, Копырда не торопясь направился к дверям — я раскрыл рот, чтобы закричать, но Пимко, который заметил маневр Копырды, моментально убрал кошелек и двинулся за ним. Тогда инженер, увидя их, вдруг дружно направившимися к выходу, бросился в след, словно кот за мышью.

— Простите! — крикнул он.— Так дело не пойдет!

Копырда с Пимкой остановились, Копырда, доведенный до бешенства товариществом с Пимкой, отодвинулся от него; Пимко, однако, под воздействием его движения машинально придвинулся к нему — так они и стояли, будто двое братьев: один молодой... а другой постарше...

Инженерша, придя в кошмарное возбуждение, схватила за руку инженера:

— Не устраивай сцен! Не устраивай сцен! — Чем, естественно, подтолкнула его к сцене.

— Прошу меня извинить! — рявкнул он.— Я отец, кажется! Я спрашиваю: как и с какой целью вы, господа, оказались в спальне моей дочери? Что это может означать? Что это означает?

Он вдруг взглянул на меня и стих, ужас вылез на его щеки, он сообразил, что это вода на мою мельницу, на мельницу скандала — и он бы стих, но слово уж сказалось... и он повторил еще раз:

— Что это может означать? — тихо, единственно округления ради и, моля в душе, дабы реплика его осталась без ответа...

Воцарилась тишина, ибо ответить никто не мог. У каждого из них, в конце концов, была какая-то своя разумная причина, но целое было без смысла. Бессмыслица в тишине душила. И вдруг глухие, безнадежные рыдания девушки раздались под одеялом. О, мастерица! Она рыдала с обнаженными коленками, вылезавшими из-под одеяла, с коленками, которые, чем горше она плакала, тем больше вылезали, и этот плач несовершеннолетней объединял Пимку, Копырду, родителей, нанизывал их на демонизм, словно на нитку. Дело в один миг перестало быть смешным и бессмысленным, оно обрело смысл, и к тому же смысл современный, хотя мрачный, черный, драматичный и трагичный. Копыр-

да, Пимко, Млодзяки почувствовали себя лучше, а я, схваченный за горло, почувствовал себя хуже.

— Вы ее... р а с т л и л и,— прошептала мать.— Не плачь не плачь, деточка...

— Поздравляю, господин профессор! — злобно крикнул инженер.— Вы мне за это ответите!

Пимко, казалось, вздохнул свободнее. Это для него было даже лучше, чем прежнее нежелание никак и никуда его не определять. А стало быть, он ее р а с т л и л. Ситуация оборачивалась в пользу девушки.

— Полиция! — закричал я.— Надо вызвать полицию!

Шаг был рискованный, ибо полиция давно уже совмещалась с несовершеннолетней в закругленное, прекрасное и зловещее целое — Млодзяки как-то гордо вскинули головы,— я же стремился напугать Пимку. Тот побледнел, хрюкнул, откашлялся.

— Полиция,— повторила мать, лакомясь полицией над голыми ногами девушки,— полиция, полиция...

— Поверьте мне, пожалуйста,— пробормотал профессор,— поверьте, господа... Ошибка, меня обвиняют неосновательно...

— Да! — закричал я.— Я свидетель. Я в окно видел! Господин профессор вошел в садик, хотел облегчиться. Барышня выглянула в окно, а господин профессор поздоровался и вошел нормально, через дверь, которую барышня Зута открыла!

Пимко до смерти испугался полиции. Подло и трусливо он ухватился за это объяснение, не обращая внимания на его мерзкий и постыдный смысл.

— Да, именно так, меня прихватило, я зашел в садик, забыл, что вы тут живете, а барышня как раз в окно выглянула, ну я и притворился, хе-хе, притворился, что я с визитом... Вы понимаете... в таком непристойном положении... Qui pro quo, qui pro quo [1],— повторял он.

На присутствующих это произвело впечатление отвратительное и отталкивающее. Девушка спрятала ноги. Копырда сделал вид, что не слышит, инженерша Млодзяк повернулась спиной к Пимке, спохватившись, однако, что задом не поворачиваются, она быстренько повернулась передом. Млодзяк моргнул — ха, снова они попались в силки этой убийственной части, вульгарность возвращалась на всех парах, я с любопытством наблюдал, как она возвращается и как их выворачивает; она была той же самой, в которой и я недавно барахтался, да, пожалуй, та же самая — но теперь она была уже только между ними. Барышня Млодзяк под одеялом не проявляла признаков жизни. И Млодзяк захохотал — неизвестно, что его пощекотало, а может, Пимкино qui pro quo напомнило ему о кабаре, которое в свое время существовало в Варшаве под таким названием,— он разразился абсолютным хохотом мелко-инженерковатым, хохотом потаенным, макабрическим и мимическим — разразился и — разозлившийся на Пимку за то, что хохочет, подскочил к нему и мелко, нахально, инженерковато треснул и хрястнул его по морде. Треснул — и замер с вытянутой рукой, тяжело дыша. Посерьезнел. Остолбенел. Я принес пиджак и ботинки из своей комнаты и не спеша начал одеваться, не прекращая, впрочем, наблюдать за ситуацией.

У получившего пощечину захрипело в горле, заклинило его — но, убежден, в глубине души он с благодарностью принял пощечину, которая в известной степени определяла его статус.

— Вы мне за это заплатите,— проговорил Пимко холодно и с явным облегчением. Поклонился инженеру, инженер поклонился ему. Пимко, суетливо воспользовавшись поклоном, направился к выходу. Копырда тотчас же присоединился к поклонам и двинулся за Пимкой, намереваясь протащить контрабандой и себя... Млодзяк вскочил. Что? — тут к ответственности привлекают поединок, а этот прохвост уходит как ни в чем не бывало, улизнуть хочет! Так и ему в морду! Инженер подскочил

---

[1] Одно вместо другого; путаница, неразбериха *(лат.)*.

к Копырде с вытянутой рукой, но в последнюю долю секунды сообразил, что не может бить по лицу сопляка, школьника, хлюста, рука его странно вывихнулась, и вместо того, чтобы ударить, Млодзяк схватил его (он не мог погасить скорость), схватил его за подбородок. Копырда, схваченный так незаконно, разъярился больше, чем если бы его ударили по лицу, мало того, недозволенный прием после тягучей четверти часа бессмыслицы вызволил в нем первобытные инстинкты. Бог его знает, что ему втемяшилось в голову — или что инженер намеренно его схватил, или что, если ты мне, то и я тебе,— какая-то подобная этим мысль должна была его схватить, и по закону, который следовало бы назвать «законом наклона», он нагнулся и схватил инженера за колено. Млодзяк рухнул — Копырда же укусил его в левый бок, схватил зубами, не пускал — поднял лицо и безумными глазами рыскал по комнате, кусая инженеров бок.

Я повязывал галстук и собирался надеть пиджак, но задержался, заинтересованный. Ничего подобного мне никогда видеть не приходилось. Инженерша бросилась мужу на помощь, схватила Копырду за ногу и стала изо всех сил тянуть. Все это закрутилось и окончательно рухнуло. Вдобавок Пимко, который стоял в шаге от этого клубка, совершил вдруг поступок необычайно странный, почти не поддающийся описанию. Неужели учителишка окончательно усомнился в себе? Или поддался? Или не хватило ему решительности, чтобы стоять, когда те лежали? Или лежание показалось ему не хуже стояния на ногах? Так или иначе, но он добровольно улегся в углу на спину и поднял конечности вверх, давая этим понять, что он совершенно беззащитен. Я завязал галстук, и меня даже не тронуло, когда девушка сбросила одеяло, с плачем выскочила из постели и запрыгала около возящихся Млодзяков и Копырды, словно судья на боксерском матче, слезно умоляя:

— Мамочка! Папочка!

Инженер, обалдевший от возни, ища опоры для рук, схватил ее за ногу, повыше щиколотки. Она упала. Они катались вчетвером по полу тихо, как в костеле, ибо, помимо всего прочего, стыдно им было. Я вдруг увидел, что мать кусает дочку, Копырда тянет инженершу Млодзяк, а инженер пинает Копырду, потом опять мелькнула у меня перед глазами коленка барышни Млодзяк на голове матери.

Одновременно профессор в углу стал проявлять все более сильную склонность к куче-мале — лежа на спине с задранными конечностями, он, однако, явно тяготел и неподвижно рвался к ней, ибо куча-мала и клубок, несомненно, стали для него единственным выходом. Встать на ноги не мог, не было у него никаких причин для вставания — но и лежать на спине он тоже больше не мог. Достаточно было маленькой зацепки, когда семейство вместе с Копырдой перевалилось чуть поближе,— Пимко схватил Млодзяка где-то в окрестностях печени, и водоворот втянул его в себя. Я кончил укладывать самые необходимые вещи в маленький чемодан и надел шляпу. Мне надоело. Прощай, современная, прощайте, Млодзяки и Копырда, прощай, Пимко,— нет, не прощайте, ибо как же прощаться с тем, чего уже нет. Я уходил налегке. Сладко, сладко стряхнуть пыль с обуви и уходить, не оставляя ничего за спиной, нет, не уходить, а идти... Да и было ли то, что Пимко, учителишка классический, укантропопил меня, был ли я учеником в школе, современный с современной, был ли танцующим в спальне, отрывающим крылья мухе, подглядывающим в ванной, тра-ля-ля... Был ли я с попочкой, с рожей, с коленкой, тра-ля-ля... Нет, все исчезло, ни молодой, ни старый, ни современный, ни старомодный, ни школьник, ни мальчик, ни зрелый, ни незрелый, я был средний, я был никакой... Уходить идя, идти уходя, не чувствовать даже воспоминаний. Блаженное обезразличивание! Без воспоминания! Когда в тебе все умирает, а никто еще не успел родиться заново. О, стоит жить для смерти, дабы знать, что в нас умерло, что этого уже нет, пусто и пустынно, тихо и чисто,— и когда я уходил, казалось мне, что я иду не один, но с самим собой — тут, совсем рядом, а может,

во мне либо вокруг меня шел кто-то идентичный и тождественный, мой — во мне, мой — со мной, и не было между нами любви, ненависти, вожделения, отвращения, безобразия красоты, смеха, частей тела, никакого чувства и никакого механизма, ничего, ничего, ничего... На сотую долю секунды. Ибо, когда я проходил через кухню, на ощупь, во тьме, тихонько меня окликнули из алькова:

— Юзя, Юзя...

А это Ментус сидел на служанке и торопливо шнуровал ботинки.

— Я тут. Уходишь? Подожди, я с тобой выйду.

Шепот угодил меня в бок, и я остановился как подстреленный. Рожу его я не мог хорошо рассмотреть в темноте, но, судя по голосу, она должна была быть страшна. Служанка тяжело дышала.

— Тсс... тихо. Пошли.— Он слез со служанки.— Туда, туда... Осторожно — корзинка.

Мы оказались на улице.

Светало. Домики, деревья и заборы стояли вытянутые по линейке, упорядоченные — и воздух прозрачный над самой землей, выше густеющий и превращающийся в отчаянный туман. Асфальт. Вакуум. Роса. Пустота. Рядом со мной Ментус, приводящий в порядок одежду. Я старался не смотреть на него. Из открытых окон особняка — побледневший электрический свет и неумолкаемый шум перекатывания. Свежесть пронизывала, холод бессонницы, холод железной дороги; я задрожал и защелкал зубами. Ментус, услышав шум Млодзяков за окном, сказал:

— Что там? Массируют кого?

Я не ответил, а он, увидя чемоданчик у меня в руках, спросил:

— Удираешь?

Я опустил голову. Знал, что он сцапает меня, что должен меня сцапать, поскольку мы были только вдвоем и сами с собой. Но я не мог без повода отодвинуться от него. А он придвинулся и взял меня за руку.

— Удираешь? Тогда и я удеру. Пойдем вместе. Я изнасиловал служанку. Но это не то, это не то... Парень, парень! Хочешь — удерем в деревню. В деревню пойдем. Там парни! В деревне! Пойдем вместе, хочешь? К парню, Юзя, к парню, к парню! — самозабвенно повторял он. Я держал голову недвижно, прямо и не смотрел на него.— Ментус, на что мне твой парень? — Но когда я тронулся в путь, он пошел со мной, я пошел с ним — и пошли мы вместе.

Глава XI

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФИЛИБЕРТУ, ПРИПРАВЛЕННОМУ РЕБЯЧЕСТВОМ

И снова предисловие... и я обречен на предисловия, не могу без предисловия и принужден к предисловию, ибо закон симметрии требует, чтобы «Филидору, приправленному ребячеством», соответствовал «ребячеством приправленный Филиберт», а предисловию к «Филидору» — предисловие к «Филиберту, приправленному ребячеством». Даже если бы я захотел, не могу, не могу и не могу преступить железных законов симметрии, а также аналогии. Но самое время прекратить, перестать, высунуться из зелени хотя бы на миг и трезво осмотреться окрест из-под бремени миллиарда ростков, почек, листиков, дабы не сказали, что я обезумел в доску, в доску и никаких гвоздей. И прежде чем я двинусь вперед дорогой посредственных, опосредствованных, недочеловеческих ужасов, я обязан объяснить, прояснить, обосновать, истолковать и упорядочить, вылущить основную мысль, из которой выводятся все остальные мысли книги этой, и указать на прамуку всех мук, тут обрисованных и прорисованных. И я обязан установить иерархию мук, а также иерархию мыслей, прокомментировать сочинение аналитически, синтетически и философически, дабы читающий знал, где голова, где ноги,

где нос, а где пятка, чтобы не упрекнули меня, будто я не сознаю собственных целей и не шествую прямо, непоколебимо, не отклоняясь, как величайшие писатели всех времен, а только бессмысленно бегу по чьим-то пятам. Но какая же мука главная и фундаментальная? Где прамука книги? Где ты, мук праматерь? Чем дольше я вникаю, исследую и усваиваю, тем отчетливее вижу, что, в сущности, главная, принципиальная мука, как мне представляется, это просто мука плохой формы, плохого экстерьера, или, говоря иначе, мука фразы, гримасы, мины, рожи — да, вот источник, ключ, родник, и отсюда главное свое начало берут все без исключения другие страдания, неистовства, терзания. Но, может, лучше было бы сказать, что главная, основополагающая мука — это не что иное, как только страдание, порождаемое рамками, в которые загоняет нас другой человек, страдание, проистекающее из того, что мы задыхаемся и захлебываемся в тесном, узком, жестком воображении о нас другого человека. А может, в основании книги лежит капитальная и убийственная мука

недочеловеческой зелени, росточков, почечек, листиков
или мука развития и недоразвитости
а может, страдание недовылепленности, недоформирования
или мука сотворения нашего «я» другими людьми
мука физического и духовного насилия
мучение нарастающей межчеловеческой напряженности
раскосая и не до конца выясненная мука духовного перелома
побочные терзания вывихивания, изгиба, духовного промаха
беспрерывная мука измены, мука фальши
автоматическая мука механизма и автоматизма
симметричная мука аналогии и аналогичная мука симметрии
аналитическая мука синтеза и синтетическая мука анализа
а может, мучение частей тела и нарушения иерархии отдельных членов
страдание мягкого инфантилизма
попочки, педагогики, школярства и школы
невинности и неутешенной наивности
удаления от действительности
химер, призрака, мечтаний, фикции, вздора
высшего идеализма
идеализма низшего, неприглядного и потаенного
второразрядного мечтательства
а может, престранная мука мелочности, умаления
мука кандидатства
мука соискательства
мука стажерства
а может, попросту мука подтягивания и напряжения сверх силы и вытекающая отсюда мука всеобщей и частной несостоятельности
терзание зазнайства и подзадоривания
страдание унижения
мука высшей и низшей поэзии
или глухое мучение душевного тупика
превратная мука изворотливости, увертливости и недозволенного приема
или, скорее, мучение возраста в частном и общем смысле
мука старомодности
мука современности
страдание, вызываемое возникновением новых социальных слоев
мука полуинтеллигентов
мука неинтеллигентов
мука интеллигентов
а может, просто мука мелкоинтеллигентской непристойности
боль глупости
мудрости

уродства
красоты, очарования, прелести
или, может, мучение убийственной логики и последовательности в глупости
терзание декламации
отчаяние подражания
скучное мучение скуки и талдыченья без начала и конца
или, быть может, гиперманиакальная мука гиперманиакальная
невысказанная мука невысказанности
скорбь невозвышения
боль пальца
ногтя
зуба
уха
мучение отвратительной равностепенности, зависимости, взаимопроникновения, взаимозависимости всех мук и всех частей, а также мука ста пятидесяти шести тысяч трехсот двадцати четырех с половиной других мук, не считая женщин и детей, как сказал бы один старый французский автор XVI столетия.

Из какого же мучения сделать основополагающее прамучение и какую часть принять за целое, за что ухватить книгу и что выхватить из вышеозначенных мук и частей? Проклятые части, неужели я никогда так и не вырвусь из вас, о, какое богатство частей и какое богатство мук! Где же изначальная праматерь, и принять ли за основу муку физическую или метафизическую, социологическую или психологическую? А однако, я обязан, обязан и не могу не... ибо мир готов признать, что я не осознаю целей и выбиваюсь из сил. Но в таком случае, может, было бы разумнее разработать и выпятить словами само происхождение сочинения и не на началах мук, но перед их лицом и из-за них, касательно их и по отношению к ним, что возникло оно:

по отношению к педагогам и ученикам школ
перед лицом глуповатых умников
касательно особ углубленных и возвышенных
относительно ведущих героев современной национальной литературы, а также наиболее законченных, сконструированных и бескомпромиссных представителей критики
перед лицом гимназисток
по отношению к зрелым и светским людям
в зависимости от щеголей, франтов, нарциссов, эстетов, прекраснодушных идеалистов и завсегдатаев
касательно умудренных житейски
в рабстве культурных тетушек
по отношению к горожанам
перед лицом сельского населения
по отношению к мелким докторам в провинции, узколобым инженерам и чиновникам
по отношению к высшим чиновникам, врачам и адвокатам с более широким кругозором
в отношении к потомственной и иной аристократии
перед лицом толпы.

Быть может, однако, сочинение зачалось в муке общения с конкретной особой, как, например, с необыкновенно отталкивающим господином ХУ, с господином Z, которого я ни в грош не ставлю, и NN, который мучит и изводит меня скукой,— о, страшные муки общения с ними! И быть может, причина и цель этой книги — всего лишь желание выказать этим господам пренебрежение, разозлить их, разъярить и улизнуть от них. В таком случае причина была бы конкретная, специфичная и частная, личная.

А может, сочинение родилось из подражания шедеврам?

Из неумения создать нормальное произведение?

Из снов?
Из комплексов?
А может, из воспоминаний детства?
А может, я начал, и оно как-то так само написалось?
Из психоза страха?
Из психоза настырности?
Может, из шарика?
Из щепотки?
Из части?
Из частицы?
Из пальца?

Следовало бы также установить, объявить и определить, есть ли данное сочинение, роман, воспоминание, пародия, памфлет, вариации на темы, подсказанные фантазией, исследование — и что в нем перевешивает: шутка, ирония или же более глубокий смысл, сарказм, милая издевка, инвектива, чушь, pur non-sens [1], pur бахвализм, и, далее, не было ли это, однако, позой, притворством, хохмой, искусственностью, недостатком иронии, анемией чувства, атрофией воображения, подрывом порядка и губительством ума. Но сумма этих возможностей, мук, дефиниций и частей так необъятна и непонятна, а также неисчерпаема, что с глубочайшей ответственностью за слово и после тщательнейшего размышления необходимо сказать, что ничего неизвестно, цып, цып, курочка; а потому тех, кто хотел бы вникнуть еще глубже и понять лучше, приглашаю к «Филиберту, приправленному ребячеством», ибо в дешевую его символику я заключил ответ на все волнующие вопросы. Ибо «Филиберт», выстроенный строго и по аналогии с «Филидором», таит в своей удивительной сочлененности конечный тайный смысл сочинения. По выявлении коего ничто уже не помешает погрузиться немного глубже в чащобу отдельных, монотонных частей.

Глава XII

ФИЛИБЕРТ, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РЕБЯЧЕСТВОМ

У некоего мужика из Парижа в конце восемнадцатого столетия был ребенок, у того ребенка тоже был ребенок, а у этого ребенка опять же был ребенок, и был ребенок опять; а последний ребенок, будучи чемпионом мира по теннису, состязался на представительном корте парижского Рейсинг-клуба, в атмосфере огромного возбуждения и под неумолкавший, стихийный гром рукоплесканий. Однако же (как ужасно непостоянна жизнь!) некий полковник зуавов из публики, сидевший на боковой трибуне, вдруг воспылал завистью к безошибочной и увлекательной игре обоих чемпионов и, пожелав также продемонстрировать, что́ он умеет, перед лицом шести тысяч зрителей (тем более что рядом с ним сидела его невеста) неожиданно пальнул из револьвера по мячику влет. Мячик лопнул и упал, а чемпионы, внезапно лишенные объекта, продолжали еще какое-то время махать ракетками впустую, но, видя никчемность своих движений без мячика, накинулись друг на друга. Гром аплодисментов раздался среди зрителей.

И на этом, наверное, дело бы кончилось. Но случилось и такое дополнительное обстоятельство, что полковник в возбуждении позабыл или же не принял во внимание (как многое надо принимать во внимание!) зрителей, сидевших по противоположную сторону площадки на так называемой южной трибуне. Ему казалось, неизвестно почему, что пуля, пробив мячик, должна была закончить свое существование; тем временем, к сожалению, продолжая свой полет, она угодила в шею некоего предпринимателя-судовладельца. Кровь брызнула из пробитой артерии. Жена раненого, поддавшись первому чувству, хотела было броситься

[1] Сущая чепуха, нелепость *(франц.)*.

на полковника, вырвать у него револьвер, но поскольку не могла (ибо была заточена в толпе), просто-напросто дала в морду соседу справа. А дала, поскольку иным образом не могла выразить своего возмущения и поскольку в самых глухих уголках души, ведомая логикой чисто женской, она полагала, что как женщине ей можно, ибо кто может ей что-нибудь сделать? Выяснилось, однако, что рассчитала она не очень (как неустанно следует все принимать во внимание в своих расчетах), ибо это был скрытый эпилептик, у которого под воздействием психического потрясения, вызванного пощечиной, начался припадок, и он стал извергаться, словно гейзер, в судорогах и конвульсиях. Несчастная оказалась между двумя мужчинами, один из которых источал кровь, а другой — пену. Гром аплодисментов раздался среди зрителей.

И тогда какой-то господин, сидевший рядом, обезумев от страха, вскочил на голову даме, сидевшей ниже, а та рванула с места, выбежала на площадку, таща его на себе полным ходом. Гром аплодисментов раздался среди зрителей. И на этом наверняка дело бы кончилось. Но случилось еще такое обстоятельство (как же все всегда нужно предвидеть!), что неподалеку сидел один скромный пенсионер, мечтатель в душе, отставник из Тулузы, который с незапамятных времен на всех публичных зрелищах мечтал вспрыгнуть на голову лицам, сидевшим ниже, и лишь изо всех сил от этого прежде себя удерживал. Зараженный примером, он моментально вскочил на даму, сидевшую ниже, которая (а была это мелкая служащая, только что прибывшая из Танжера в Африке), полагая, что так принято, что так именно и нужно, что это в столичном стиле,— тоже рванула с места, причем старалась не выказывать никакой сдержанности в движениях.

И тогда более культурная часть публики принялась тактично рукоплескать, дабы приглушить скандал перед лицом представителей иностранных миссий и посольств, во множестве прибывших на матч. Но тут произошло недоразумение, ибо менее культурная часть истолковала рукоплескания как свидетельство одобрения — и тоже оседлала своих дам. Чужеземцы выказывали все более сильное удивление. Что же в таком положении оставалось более культурной части общества? Для отвода глаз она тоже оседлала своих дам.

И на этом все бы, наверное, кончилось. Но тут некий маркиз де Филиберт, сидевший в нижней ложе с женой, вдруг почувствовал себя джентльменом и вышел на середину площадки в летнем, светлом костюме, бледный, но решительный — и холодно вопросил: неужели кто-нибудь, и кто именно, вознамерился оскорбить маркизу де Филиберт, его жену? И бросил в толпу горсть визитных карточек с надписью: Филипп Эртель де Филиберт. (Как мы должны быть безумно осторожны! Как трудна и коварна жизнь, как непредсказуема!) Воцарилась мертвая тишина.

И тут же шагом, неспешно, сидя без седла, на породистых, тонконогих, элегантных и нарядных дамах съехалось к маркизе де Филиберт не менее тридцати шести господ, дабы ее оскорбить и почувствовать себя джентльменами, раз уж муж ее — маркиз — почувствовал себя джентльменом. Она же со страху выкинула — и писк ребенка раздался у ног маркиза под копытами все на своем пути давящих женщин. Маркиз, столь неожиданно приправленный ребенком, оснащенный и дополненный ребенком в момент, когда он выступал в одиночестве и как взрослый джентльмен сам по себе,— маркиз устыдился и пошел домой, тогда как гром аплодисментов раздался среди зрителей.

Глава XIII

ПАРЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ПОИМКА

Итак, идем мы с Ментусом на поиски паренька. Исчезла за поворотом вилла с переливающимися остатками Млодзяков, перед нами —

длинная полоса улицы Фильтровой, блестящая лента. Солнце взошло, желтоватый шар, завтракаем в аптечной лавке, город просыпается, уже восемь часов, мы отправляемся дальше, я с чемоданчиком в руках, а Ментус с дорожным посохом. Птички чирикают на деревьях. Дальше, дальше! Ментус ступает бодро, влекомый в будущее надеждой, надежда передается и мне, невольнику его! — В пригород, в пригород,— повторяет он,— там мы найдем отличного парня, там мы его найдем! — Светлыми и мягкими красками рисовал утро парень, приятно и весело идти по городу за парнем! Кем я буду? Что со мной делают? Какие сложатся обстоятельства? Ничего я не знаю, бодро ступаю за господином моим Ментусом, не могу ни терзаться, ни печалиться, ибо мне весело! Ворота домов, довольно редких в этой местности, воняют дворниками и их семействами. Ментус во всякие заглядывает, как же, однако, далеко дворнику до парня, разве дворник не то же, что мужик в цветочном горшке? Кое-где попадаются сторожа, но ни один из них не был Ментусу по вкусу, ибо сторож — всего лишь парень в клетке, парень в лестничной клетке, разве не так? — Нет тут ветра,— заявляет он,— в подворотнях только сквозняки, а я не признаю парня на сквозняке, для меня настоящий парень только на сильном ветре.

Нам встречаются няньки и бонны, которые в визжащих колясочках везут на прогулку младенцев. Донашивая туалеты хозяек, на кривых каблуках, они соблазнительно косят по сторонам. Во рту два золотых зуба, с чужим ребенком и в обносках, а в голове только ветер. Мы встречаем директоров, чиновников с папками под мышкой, спешащих к своим повседневным занятиям, и всё из папье-маше, служебное и славянское, с манжетами, с запонками, словно это брелочки их «я», собственные их цепочки от часов, супруги жен и работодатели бонн. Над ними великое Небо. Во множестве встречаются нам дамочки в пальтишках с варшавским шиком, одни тощие и проворные, другие неторопливые и помягче, они всажены в собственные шляпки и так похожи друг на друга, что одна другую догоняет и обгоняет. Ментус не изволил смотреть, а мне страшно наскучило, я даже зевать начал.— На периферию,— воскликнул он,— там мы найдем парня, здесь искать нечего, дешево это, по десяти грошей штука, коровы и кони интеллигенции, адвокаты с боннами и мужья, похожие на извозчичьих кляч. Холера, черт, зараза, коровы и мулы! Посмотри, какое все ученое — и какое глупое! Какие, сволочь, расфранченные — а какие вульгарные! Попочка, попочка, сучье вымя! — В конце Вавельской мы увидели несколько общественных зданий, построенных с размахом, могущественным видом которых насыщались в час первого завтрака широкие массы оголодавших и истощенных налогоплательщиков. Здания напомнили нам школу, и мы прибавили шагу. На площади Нарутовича, где стоит студенческое общежитие, мы встретили братьев-студентов в обтрепанных брюках, невыспавшихся и нестриженых, спешащих на лекции или поджидающих трамвай. Все с носами, воткнутыми в тетради, все поглощали яйца вкрутую, скорлупу прятали в карманы, вдыхая столичную пыль.— Дрянцо, разве это парни! — закричал Ментус.— Все эти крестьянские сыночки, обучающиеся на интеллигентов! К черту бывших парней! Ненавижу бывших парней! Еще нос пальцами утирает, а уж по тетрадкам учится! Книжная мудрость в мужике! Адвокат и врач из мужика! Ты только посмотри, как у них башка пухнет от латинских терминов, как у них пальчища торчат! Ужас,— возмущался Ментус,— это так же кошмарно, как если бы они пошли в монахи! Ах, сколько бы нашлось среди них прекрасных и добрых парней, да что тут — переодетые, измордованные, забитые! В предместье, в предместье, там ветра больше, воздуха! — Мы свернули на Груецкую, грязь, пыль, шум и духота, кончаются большие дома, начинаются маленькие, и фантастические повозки со всем еврейским скарбом, повозки с овощами, с пером, с молоком, с капустой, с зерном, с сеном, металлоломом, с мусором наполняют улицу грохотом, стуком и лязгом. На каждой повозке трясется мужик или еврей — городской му-

жик и деревенский еврей — неизвестно, что лучше. Все глубже и все основательнее погружаемся мы во второразрядную сферу, в незрелый пригород города, и все больше испорченных зубов, ваты в ушах, обернутых тряпкой пальцев, волос, смазанных жиром, икоты, угрей, капусты и тухлятины. Пеленки сушатся в окнах. Радио болтает без умолку, полным ходом идет просветительская акция, и многочисленные Пимки неестественно наивным и теплым, а то и грубовато-фамильярным, веселым тоном гранят души владельцам аптек, талдыча об обязанностях и уча любить Костюшку. Хозяева бакалейных лавок наслаждаются в дешевой газетке описанием жизни высших сфер, а их жены, почесывая спины, переживают вчерашний вечер с Марлен Дитрих. Кипит педагогическая акция, и множество делегаток вьется в гуще народа, уча и обучая, влияя и развивая, пробуждая и социально воспитывая с минами ad hoc[1] примитивными. Вот там группа организованных жен трамвайщиков танцует ко́ло, с улыбкой поют они и созидают радость жизни под руководством делегированного с этой целью, специально радующегося интеллигента-весельчака, тут извозчики хором тянут религиозную песнь, создавая поразительную невинность, еще в ином месте первые под руку попавшиеся деревенские девки обучаются открывать красоту в закате солнца. И десятки острословов, доктринеров, демагогов и агитаторов прорабатывают и отрабатывают, сея свои концепции, взгляды, доктрины, идеи, и все нарочито упрощенное и приспособленное для малышей.— Рожа, рожа,— сказал Ментус со свойственной ему вульгарностью.— Совсем как у нас в школе! Неудивительно, что болезни их сушат, нищета душит, такую шваль трудно не душить и не кусать. Какой черт их так оболванил — убежден, если бы они не были так нарочно кем-то оболванены, они не могли бы плодить столько гадости, мерзости и грязи, почему из них все это так лезет, почему из мужика не лезет, хоть мужик никогда и не моется? Кто, спрашиваю, превратил в фабрику этот добрый и благородный пролетариат? Кто научил его этой грязи и этим гримасам? Содом и Гоморра — тут мы парня не найдем. Еще дальше, еще дальше. Когда же подует ветер? — Но ветра нет, стагнация, люди плавают в людях, как рыбы в пруду, смрад бьет в небеса, а парня все нет и нет. Худеют одинокие швеи, толстеют всегда готовые к услугам парикмахеры в дешевой роскоши, у мелких ремесленников бурчит в животе, безработные слуги на коротеньких и толстых ножках изрыгают из себя нехорошие слова, неправильные выражения и претенциозные интонации, аптекарша, у которой бурчит в животе, форсит манерами судомойки, судомойка тоже форсит на высоком тонком каблуке. Ноги, в сущности говоря, босые, но, однако же, в башмаках, не свои ноги в ботиночках и такие же головы со шляпой, деревенское и сельское туловище с дамской и мужской галантностью.— Рожа,— сказал Ментус,— ничего искреннего, ничего естественного.— Попался наконец один, вовсе неплохой, подмастерье, блондин симпатичный и хорошо сложенный, к сожалению, классово сознательный и исторгающий из себя интонации Маркса.— Рожа,— сказал Ментус,— тоже мне философ! — Еще один типичный оголец, с ножом в зубах, прохвост из пригорода, показался было долгожданным парнем, к сожалению он носил котелок. Другой, которого мы подцепили на углу, всем был хорош, да вот употребил в разговоре выражение «в то время как».— Рожа,— прошептал Ментус зло.— Это не то. Вперед, вперед,— лихорадочно повторял он.— Все это халтура. Совсем как в нашей школе. Пригород учится у города. К чертушкиной мамочке, низшие классы действительно всего только классы общеобразовательной школочки. Это ученики приготовительного класса и потому, наверное,— сопливые. Леший всех раздери, неужели мы никогда не удерем из школы? Рожа, рожа и рожа! Вперед, вперед! — Мы продвигались все дальше и дальше, маленькие деревянные домики, матери ищут у дочек, дочки — у матерей, дети купаются в канавках, работяги возвращаются

[1] Здесь: кстати *(лат.)*.

с работы, повсюду гремит одно великое слово, уже вся улица забита им доверху, оно уже преображается в истинный гимн пролетариату, вызванивает вызовом и спесью, со страстью бросаемое в пространство, оно дозволяет хотя бы иллюзию силы и жизни.— Ишь ты! — удивился Ментус.— Тоже для поднятия духа, совсем как мы в школе. Не очень это поможет против попочки, которую этим чумазым соплякам пристроили — великую и классическую. Ужасно, что нет сегодня никого, кто бы не переживал периода возмужания. Вперед — здесь нет парня! — И не успел он еще договорить этих слов, как легкий порыв ветерка скользнул по щекам нашим, кончились дома, улицы, канавы, стоки, парикмахеры, окна, работяги, жены, матери и дочери, паразиты, капуста, вонь, теснота, пыль, хозяева, подмастерья, ботиночки, блузы, шляпы, каблуки, трамваи, магазины, зелень, огольцы, вывески, угри, предметы, взгляды, волосы, брови, губы, тротуары, животы, инструменты, органы, икота, коленки, локти, стекла, покрикивание, шмыганье, плеванье, харканье, разговоры, дети и стук. Город кончился. Перед нами — поля и леса. Шоссе.

Ментус запел:

Гей, гей, гей, зеленый лес
Гей, гей, гей, зеленый лес!

— Возьми палку в руку. Обломай ветку. Там мы найдем парня — на полях! Я его уже вижу глазами своего воображения. Ничего парень!

Я запел:

Гей, гей, гей, зеленый лес
Гей, гей, гей, зеленый лес!

Но не мог сделать ни шагу. Песня замерла у меня на губах. Пространство. На горизонте — корова. Земля. Вдали проплывает гусь. Огромное небо. В дымке синий горизонт. Я остановился на краю города и почувствовал, что не могу без стада, без продуктов, без человеческого среди людей. Я схватил Ментуса за руку.— Ментус, не ходи туда, вернемся, Ментус, не выходи из города.— Среди чужих кустов и трав я трясся, как лист на ветру, освобожденный от людей, а деформации, ими мне причиненные, без них казались вздорными и ничем не подтвержденными. Ментус тоже заколебался, но перспектива парня превозмогла в нем страх.— Вперед! — крикнул он, размахивая палкой.— Я один не пойду! Ты должен идти со мной! Идем, идем! — Налетел ветер, деревья зашатались, зашелестели листья, один в особенности меня поразил, на самой вершине дерева, беспардонно выставленный в пространстве. Птица взвилась ввысь. Из города вырвалась собака и понеслась по черным полям. Но Ментус храбро двинулся тропкой вдоль шоссе — я за ним, будто лодка, выплывал в открытое море. Уже исчезает берег, исчезают трубы, башни, мы одни. Тишина такая, что чуть ли не слышны холодные и скользкие камни, которые торчат из земли. Я иду и не знаю уже ничего, в ушах моих ветер шумит, ритм ходьбы меня раскачивает... Природа. Я не хочу природы, природа для меня — это люди. Ментус, возвратимся, давку в кинематографе я предпочитаю озону полей. Кто сказал, что перед лицом природы человек становится маленьким? Напротив, я увеличиваюсь и расту, я нежнею, меня словно подали обнаженного на блюде огромных полей природы во всей моей человеческой неестественности, о, куда девался мой лес, моя чаща глаз и ртов, взглядов, лиц, улыбок и гримас? Приближается иной лес — тихих, зеленых хвойных деревьев, под которыми проносится заяц и лисица крадется. А тут как назло ни одной деревеньки, дорога по полям и лесам. Не знаю, сколько часов мы вышагивали по полям, неуклюже, скованно, как по канату,— ничего другого нам и не оставалось, ибо стоять еще мучительнее, а сесть или лечь на землю влажную и холодную нельзя. Мы, правда, миновали несколько деревенек, но они будто вымерли — избы, забитые досками, пялились пустыми глазницами. Движение на шоссе совсем прекратилось. Долго ли нам еще идти безлюдьем?

— Что это значит? — проговорил Ментус.— Мор на крестьян напал? Повымерли? Если и дальше так, не найдем парня.

Наконец наткнувшись на еще одну покинутую деревню, мы стали стучать в избы. В ответ яростный лай, словно свора бешеных собак, начиная с огромных цепных псов и кончая маленькими дворняжками, точили на нас зубы.— Что такое? — заговорил Ментус.— Откуда столько собак? Почему нет мужиков? Ущипни меня, я, кажется, сплю...— Слова эти не успели еще раствориться в чистом воздухе, как из ближайшей картофельной ямы вылезла мужицкая голова и тотчас же опять пропала, когда же мы подошли поближе, из ямы послышался злобный лай.— Чертушка,— сказал Ментус.— Опять собака? Где мужик? — Мы обошли яму со всех сторон (а тем временем из изб доносился форменный вой) и выкурили мужика и бабу с четырьмя близнецами, которых она кормила одной высохшей грудью (ибо другая давно уже никуда не годилась), тявкавшими отчаянно и остервенело. Они бросились наутек, но Ментус подскочил и схватил мужика. Тот был такой изнуренный и тощий, что упал на землю и застонал: — Барчук, барчук, дык сжальтясь, дык отпуститя, дык не троньтя! — Эй, человек,— сказал Ментус,— о чем это вы? Почему вы от нас прячитесь? — При звуке слова «человек» лай в избах и за плетнями возобновился с удвоенной силой, а мужичонка стал белее платка.— И сжальтися, господин, дык не человек я, отпуститя! — Гражданин,— сказал тогда Ментус миролюбиво,— вы что, ошалели? Почему вы лаете, вы и ваша жена? У нас наилучшие намерения.— При слове «гражданин» лай раздался с утроенной силой, а баба залилась слезами.— Дык пожалейтя, господин, не гражданин он! Какой с него гражданин! Ох, батюшки мои, батюшки светы, ой доля наша, доля несчастная! Опять на нас Намерению наслали, о, цто бы это! — Друг,— сказал Ментус,— о чем речь? Мы не хотим причинить вам зла. Мы хотим вам добра.— Друг! — закричал потрясенный селянин.— Добра хочет! — заорала селянка.— Дык мы не люди, дык мы собаки, собаки мы! Гав! Гав! — Вдруг ребенок у груди тявкнул, а баба, уверившись, что нас только двое, зарычала и укусила меня в живот. Я вырвал живот свой у бабы изо рта! Но из-за плетней уже вся деревня выскочила, лая и рыча: — Беритя яво, кум! Не бойся! Грызитя! Ату! Ату! Фас яво! Беритя Намерению! Беритя Интеллигенцию! Ату, ату, кусь, кошка, кошка! Ксс... кс...— Так, натравливая и науськивая, они медленно приближались — хуже того, для отвода глаз, а может для приманки, они вели на поводках настоящих собак, которые рвались, прыгали, роняли из пасти слюну, яростно лаяли. Положение становилось критическим, причем больше в психологическом, чем в физическом отношении. Шесть часов пополудни, темнеет, солнце за тучами, начинает моросить — а мы в незнакомой местности, под мелким холодным дождичком в окружении огромного числа крестьян, изображающих собственных собак, дабы увильнуть от всеохватывающей активности представителей городской интеллигенции. Дети их уж совершенно не умели говорить и тявкали на четвереньках, а родители их еще и подбадривали: — Цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек, тоды в покою оставють, цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек.— Впервые видел я тогда целое село человеческое, поспешно преображающееся в собаку в силу закона мимикрии и со страху перед очеловечиванием, слишком интенсивно проводимым. Но защита невозможна, ибо, если известно, как защититься от собаки и мужика по отдельности, то неизвестно, что делать с мужиками и бабами, которые рычат, воют, лают и хотят кусаться. Ментус выпускает палку из руки. Я тупо смотрю прямо перед собой на ослизлую таинственную мураву, где я вот-вот испущу дух в неестественных обстоятельствах. Прощайте, части моего тела. Прощай, моя рожа, и ты прощай, прирученная моя попочка!

И мы наверняка были бы, пожалуй, на том именно месте сожраны неведомым способом, но тут вдруг все меняется, трубит клаксон автомобиля, автомобиль въезжает в толпу, останавливается, и моя тетка, Гурлецкая, урожденная Лин, восклицает, завидя меня:

— Юзя, а ты что тут делаешь, малыш?

Не отдавая себе отчета в опасности, ничего не замечая вокруг, как это с теткой всегда бывает, она выходит, укутанная в шаль, бросается, вытянувши руки, поцеловать меня. Тетя! Тетя! Куда спрятаться! Я уж предпочел бы быть сожранным, чем пойманным на большой дороге теткой. Эта тетя знала меня с детства, она хранила в себе память о моих детских штанишках! Она видела меня, когда я в колыбельке сучил ножками. Но вот она подбегает, целует меня в лоб, крестьяне перестают лаять и разражаются смехом, вся деревня покатывается и ревет — видят, что никакой я не всесильный чиновник, а тетушкин малыш! Мистификация раскрывается. Ментус снимает шапку, а тетя сует ему тетушкину руку для поцелуя.

— Это твой товарищ, Юзя? Очень приятно.

Ментус целует тете ручку. Я целую тете руку. Тетя спрашивает, не холодно ли нам, куда мы идем, откуда, зачем, когда, с кем, почему? Я отвечаю, что мы идем на прогулку.

— На прогулку? Однако же, детки, кто вас отпустил из дому в такую сырость? Садитесь со мной, поедем к нам в Болимов. Дядюшка обрадуется.

Протестовать без толку. Тетя исключает протест. На большой дороге, под моросящим, накрапывающим дождем, в начинающем куриться тумане — мы с тетей. Садимся в автомобиль. Шофер нажимает на клаксон, автомобиль трогается, крестьяне ревут в кулак, автомобиль, нанизанный на нитку телеграфных столбов, начинает мчать — мы едем. А тетя: — Ну, что ж, Юзя, ты не радуешься, я твоя тетка двоюродная-двоюродная, моя мать была двоюродной сестрой тетки тетки твоей мамы. Мама твоя покойница! Милая Цеся! Сколько же лет я тебя не видела. После свадьбы Франи прошло четыре года. Помнишь, как ты в песочке играл — помнишь песочек? Чего от вас хотели эти люди? Ах, как я перепугалась! Нынешний народ очень сер. Всюду полно микробов, не пейте сырой воды, не берите в рот неочищенных и непомытых горячей водой овощей. Пожалуйста, покройся этой шалью, если не хочешь доставить мне неприятность, а твой приятель пусть возьмет другую шаль, но, пожалуйста, нет, нет, не надо сердиться, я твоему приятелю в матери гожусь. Мама дома уж наверняка беспокоится.— Шофер трубит. Автомобиль шумит, ветер шумит, шумит тетя, проносятся мимо столбы и деревья, лачуги, городишки, похожие на лужи, мелькают березняки, ольховники, пихтовые рощи, машина ходко катит по ухабам, мы подпрыгиваем на сиденьях. А тетя: — Феликс, не так быстро, не так быстро. Ты дядю Франю помнишь? Крыся выходит замуж. У Анульки коклюш. Геню взяли в армию. Ты так исхудал, если у тебя зубы болят, у меня есть аспирин. А как в школе — хорошо? У тебя должны быть способности к истории, ибо у твоей матери-покойницы были поразительные способности к истории. От мамы ты их унаследовал. Глаза голубые от мамы, нос отцовский, хотя подбородок как у Пифчицких. А помнишь, как ты расплакался, когда у тебя отобрали огрызок, а ты пальчик в ротик засунул и закричал: «Тя, тя, тя, тули, бьюшко, бьюшко, тут!» (Проклятая тетка!) Постой, постой, сколько же это лет тому — двадцать, двадцать восемь, да, тысяча девятьсот... конечно, я тогда ездила в Виши и купила зеленый сундучок, да, да, тебе бы сегодня было тридцать... Тридцать... да, конечно,— ровно тридцать. Деточка, накройся шалью, иначе не убережешься от сквозняка.

— Тридцать? — спросил Ментус.

— Тридцать,— сказала тетка.— Тридцать исполнилось на святых Петра и Павла! На четыре с половиной года моложе Терени, а Тереня на шесть недель старше Зоси, дочери Альфреда. Генрик женился в феврале.

— Да что вы, он же ходит в нашу школу, в шестом классе он!

— Ну, вот именно. Генрик точно в феврале, это было за пять месяцев до моего отъезда в Ментону, и сильные морозы стояли. Хеленка умерла в июне. Тридцать. Мама как раз вернулась из Подолии. Три-

дцать. Ровно через два года после дифтерита у Болека. Бал в Могильчанах — тридцать. Конфеток хотите? Юзя, хочешь конфетку? У тетушки всегда есть конфетки — помнишь, как ты тянул ручонку и кричал: «Контетка, тетя! Контетка!» У меня всегда одни и те же конфетки, бери, бери, помогают от кашля, накройся, деточка.

Трубит шофер. Автомобиль мчит. Мчат столбы и деревья, хибары, куски изгородей, куски нашинкованной земли, куски леса и полей, куски каких-то окрестностей. Равнина. Семь часов. Темно. Шофер выпускает столбы электричества, тетка зажигает свет в кабине и угощает меня конфетками детства. Ментус, пораженный, тоже сосет конфетку, и тетка сосет с сумочкой в руке. Мы все сосем. Послушай, если мне тридцать, значит, мне тридцать — неужели ты этого не понимаешь? Нет, она этого не понимает. Она слишком добра. Слишком добросердечна. Это сама доброта. Я тону в тетиной доброте, сосу ее сладкую конфетку, для нее — мне вечно два годика, а кстати, существую ли я для нее? Меня нет, волосы дяди Эдварда, нос отца, глаза матери, подбородок от Пифчицких, семейные части тела. Тетя тонет в семействе и укутывает меня шалью. На дорогу выбегает теленок и останавливается, раскорячив ноги, шофер трубит, словно архангел, но теленок не желает уступить, автомобиль тормозит, и шофер отпихивает теленка — мы мчим дальше, а тетя рассказывает, как я писал пальцем на стекле буквы, когда мне было десять лет. Она помнит то, чего не помню я, знает меня таким, каким я себя не знал никогда, но она слишком добра, чтобы я ее убил,— Бог недаром утопил в доброте знание теток о постыдных, смешных подробностях размытого детского прошлого. Мы мчим, въезжаем в огромный бор, за стеклами в свете фар пролетают куски деревьев, в памяти — куски прошлого, местность мрачна и зловеща. Как же мы далеко! Куда мы заехали! Огромный кусок грубой, черной провинции, скользкой от дождя и промокшей насквозь, окружает со всех сторон наш ящичек, в котором тетка сюсюкает о моих пальцах, что я когда-то обрезал палец и у меня до сих пор должен быть шрам, а Ментус с парнем в голове удивляется моему тридцатилетию. Дождь разошелся вовсю. Автомобиль сворачивает на проселок, песчаные холмики и ямки, еще поворот, и выскакивают собаки, злые, могучие цепные псы, прибегает ночной сторож, отгоняет их — те рычат, лают и скулят,— на крыльцо вылетает слуга, а за ним еще один слуга. Мы выходим.

Деревня. Ветер терзает деревья и тучи. В ночи неясно проглядывают очертания большого дома, который не кажется мне чужим — он мне знаком,— ибо когда-то я был тут, очень давно. Тетя боится сырости, слуги берут ее на руки и несут в переднюю. За ними шофер тащит чемоданы. Старый лакей с бакенбардами раздевает тетю. Горничная раздевает меня. Ментуса раздевает мальчик-лакей. Нас обнюхивают маленькие собачонки. Все это я знаю, хотя и не помню... я же тут родился и провел первые десять лет жизни.

— Я привезла гостей,— закричала тетка.— Котя, это сын Владислава; Зигмусь — это твой двоюродный брат! Зося! Юзя — двоюродная твоя сестричка. Это Юзя, сын Хели покойницы. Юзя — это дядя Котя, Котя — это Юзя.

Пожатья рук, целованье щек, отирание частями тела, проявления радости и гостеприимства, нас ведут в гостиную, усаживают в старые бидермейеры[1] и расспрашивают о здоровье, как мы себя чувствуем,— в свою очередь и я спрашиваю о здоровье, начинается разговор о болезнях, заарканивает нас и уже не отпускает. У тетки больное сердце, у дяди Константина ревматизм, у Зоси недавно нашли малокровие, и она склонна к простудам, миндалины слабые, но на радикальное лечение нет средств. Зигмунт тоже страдает склонностью к простудам, а кроме того, у него случилась ужасная история с ухом, продуло его в прошлом

---

[1] Массивные, удобные кресла. Стиль «бидермейер» (мебель, костюмы) возник в Германии и Австрии в первой половине XIX в.

месяце, когда пришла осень с ветрами и сыростью. Довольно — казалось бы, во вред здоровью тотчас же по приезде выслушивать про разные болезни всего семейства, однако всякий раз, как разговор начинал угасать: — Sophie, parle [1],— шептала тетка, и Зося, дабы поддержать разговор, в ущерб собственным прелестям, принималась за новую болезнь. Ишиас, ревматизм, артрит, ломота в костях, подагра, катар и кашель, ангина, грипп, рак и нервная сыпь, зубная боль, пломбирование, несварение, общая слабость, печень, почки, Карлсбад, проф. Калитович и д-р Пистак. Пистаком вроде бы все должно было и кончиться, но нет, тетка для поддержания разговора встревает с доктором Вистаком, что у него лучше слух, чем у Пистака, и опять Вистак, Пистак, выстукивание, ушные болезни, болезни горла, болезни дыхательных путей, порок сердца и насморк, консилиум, камни в желчном пузыре, хроническая изжога и кровяные шарики. Я не мог себе простить, что спросил о здоровье. Не мог же я, однако, не спросить о здоровье. Особенно угнетена была всем этим Зося, и я видел, что ей горько выворачивать наружу свою золотуху ради поддержания разговора, но и молчать с новоприбывшими молодыми людьми было неприлично. Неужели это так было заведено, неужели всегда так прихватывали каждого, кто приезжал в деревню, неужели в деревне никогда и ни с кем не начинали разговора иначе, как с болезней? Это было поражение сельских землевладельцев — извечно хорошие манеры вынуждали их заводить знакомства с катаральной стороны, и потому, наверное, и выглядели они так катарально и бледно в свете керосиновой лампы, с собачками на коленях. Деревня! Деревня! Старая деревенская усадьба! Извечные законы и извечные странные тайны! Как все это не похоже на городские улицы и толпу на Маршалковской!

Одна только тетка добросердечно и совершенно добровольно, как рыба в воде, плавала в легком жару и кровавом поносе дяди. Горничная, красная, в передничке, вошла и засветила лампу. Ментусу, который отзывался скупо, понравилось обилие слуг и два слуцких пояса [2]. В этом был ноблесс — но я не знал, помнит ли меня ребенком и дядюшка. Они относились к нам немного как к детям, но также они относились и к себе, унаследовав от предков Kinderstube [3]. Всплыли смутные воспоминания о каких-то играх под выщербленным столом, и замаячила в прошлом бахрома старой софы, стоящей в углу. Грыз я ее, ел, заплетал в косичку — а может, смачивал в кружке и смазывал — чем, когда? Или запихивал в нос? Тетка сидела на диване в традициях старинной школы, прямая, выпятив грудь, несколько откинув назад голову. Зося сидела сгорбленная и обессиленная разговором, со сплетенными пальцами, Зигмунт, положив руки на подлокотники, рассматривал кончики ботинок, а дядя, тормоша таксу, рассматривал осеннюю муху, которая пересекала огромный, белый потолок. На дворе налетел вихрь, деревья перед домом зашелестели остатками увядших листьев, заскрипели оконные рамы, в комнате почувствовалось легкое движение воздуха — а меня охватило предчувствие совершенно новой и гипертрофированной рожи. Собаки завыли. Когда завою я? Ибо, что завою, это уж точно. Помещичьи нравы, какие-то странные и нереальные, чем-то выпестованные и взлелеянные, окрепшие в непонятной пустоте, медлительность и деликатность, привередливость, вежливость, благородство, гордость, нежность, утонченность, чудачество, в зародыше содержащиеся в каждом их слове,— нагоняли на меня недоверчивый страх. Но что угрожает больше всего — то ли поздняя осенняя одинокая муха на потолке, тетка с детским прошлым, Ментус с парнем, болезни, бахрома дивана, то ли все это вместе, сведенное воедино и спрессованное в маленьком шиле? В предвидении неизбежной рожи я тихо сидел в своем старом, семейном

---

[1] Говори, Софи *(франц.)*.

[2] Широкий узорчатый шелковый пояс, расшитый серебряной или золотой ниткой. С XVIII в. такие пояса делались в г. Слуцке (ныне на территории Белоруссии).

[3] Детская комната, хорошее воспитание *(нем.)*.

бидермейере, унаследованном от предков сувенире, а тетка — в своем, для поддержания разговора она завела речь о сквозняках, дескать, сквозняки в эту пору страшно опасны для костей. Зося, обыкновенная барышня, каких по усадьбам тысячи, ничем от всех других барышень не отличающаяся, для поддержания разговора над этим рассмеялась — и все рассмеялись светской, любезной мистификацией смеха — и смеяться перестали... Для кого, кого ради они смеялись?

Но дядя Константин, который был худ, высок, дохловат, плешив, с тонким носом, с тонкими длинными пальцами, с узенькими губами и нежными ноздрями, с очень изысканными манерами, человек бывалый и тертый, отличающийся необычайной раскованностью поведения и небрежной светской элегантностью, развалился в кресле, ноги в замшевых желтых туфлях воздвиг на стол.

— Сквозняки,— сказал он,— были. Но уже прошли.

Муха зажужжала.

— Котя,— воскликнула тетка добросердечно,— перестань терзаться.— И дала ему конфетку.

Но он продолжал терзаться и зевнул — раскрыл рот так широко, что я увидел пожелтевшие от табака самые его задние зубы,— и он зевнул два раза, откровенно и с неподражаемой бесцеремонностью.

— Тереперепумпум,— пробормотал дядя,— раз на дворе пустился в пляску пес, он кошку этим насмешил до слез!

Дядя достал серебряный портсигар и постучал по нему пальцем, но портсигар вывалился у него из рук на пол. Дядя его не поднял, только опять зевнул — на кого он так зевал? Кому зевал? Семейство сопровождало эти акты молчанием и сидя в бидермейерах. Вошел старый слуга Франтишек.

— Кушать подано,— объявил он в сюртуке.

— Ужин,— сказала тетя.

— Ужин,— сказала Зося.

— Ужин,— сказал Зигмунт.

— Портсигар,— изрек дядя. Слуга поднял — и мы прошли в столовую в стиле Генриха IV, где на стенах — старые портреты, в углу — шипящий самовар. Подали окорок в тесте и зеленый горошек из банки. Разговор загрохотал снова.— Кидайсь! — изрек Константин, накладывая себе немножечко горчицы и чуточку хрена (но против кого он накладывал?).— Нет ничего лучше окорока в тесте, если его хорошо приготовить. Хорошо приготовленный окорок можно достать только у Симона, только, тереперепумпум, у Симона! Выпьем. Рюмочку.— Тринкнем,— изрек Зигмунт, дядя спросил: — А помнишь окорок, который подавали до войны на Эриваньской? — Окорок плохо переваривается,— ответила тетя.— Зося, почему так мало, у тебя опять нет аппетита? — Зося ответила, но ее никто не слушал, ибо было известно, что она говорит, чтобы говорить. Константин ел довольно-таки шумно, хотя и изысканно, утонченно, манипулируя пальцами над тарелкой, он брал ломтик окорока, приправлял его горчицей или хреном и отправлял в ротовую полость — то посолит, то поперчит, то гренку маслом намажет, а однажды даже выплюнул кусок, который ему пришелся не по вкусу. Камердинер тотчас же вынес. Против кого он, однако, выплевывал? И против кого мазал? Тетя ела добросердечно, довольно много, но вяло. Зося в себя запихивала, Зигмунт потреблял мерзопакостно, а слуги прислуживали на цыпочках. Вдруг Ментус замер с вилкой на полдороге ко рту и весь напрягся, взгляд его потемнел, рожа стала пепельно-серой, рот приоткрылся, и прекрасная мандолиновая улыбка расцвела на жуткой его роже. Улыбка приветствия и встречи, приветствуй меня, ты здесь, я здесь — он оперся руками на стол, согнулся, верхняя губа приподнялась, словно он собирался зарыдать; но он не зарыдал, только еще больше согнулся. Парня увидел! Парень был в комнате! Ла-

кейчик! Лакейчик был парнем! Я ничуть не сомневался — лакейчик, который подавал к окороку горошек, был вожделенным парнем.

Парень! В возрасте Ментуса, не старше восемнадцати, ни мал, ни высок, ни уродлив, ни красив — волосы светлые, но блондином он не был. Он носился по комнате и прислуживал босиком, с салфеткой, перекинутой через левую руку, без воротничка, в рубахе, застегнутой кнопками, в обычной воскресной одежде деревенских парней. Рожа у него была, но рожа его ничем не походила на ужасную рожу Ментуса, это не была рожа созданная, это была рожа естественная, народная, грубо вытесанная и обыкновенная. Не лицо, которое стало рожей, но рожа, которая так и не удостоилась звания лица,— это была рожа как нога! Не достойный почетного лица, так же как не достойный блондина и красивого — лакейчик был не достоин лакея! Без перчаток и босой он менял господам тарелки, и никто этому не удивлялся — мальчишка не достоин сюртука. Парень!.. Какое несчастье, зачем судьба подсунула его нам именно здесь, в тетушкином доме? «Начинается,— подумал я и продолжал жевать окорок, словно резину,— начинается...» И тут как раз для поддержания разговора нас принялись уговаривать есть, и мне пришлось отведать компота из груш — и опять же потчевали крендельками с чаем, и мне пришлось благодарить, есть обваренные сливы, которые у меня в пищеводе колом вставали, а тетя для продолжения разговора извинялась за скромное угощение.

— Тереперепумпум,— развалившийся за столом дядя Константин, широко открыв рот, лениво забросил в него сливу, которую взял двумя пальцами.— Ешьте! Ешьте! Закусывайте, дорогие! — Он проглотил, почмокал губами и проговорил как бы с нарочито подчеркнутой сытостью: — Завтра уволю шестерых батраков и не заплачу им, ибо нечем!

— Котя! — добросердечно воскликнула тетя. Но он ответил:

— Сыру, пожалуйста.

Против кого он это говорил? Слуги прислуживали на цыпочках. Ментус загляделся, пил взором не искривленную народную рожу, почвенническую и нежную, поглощая ее, словно это единственно стоящий в мире напиток. Под его тяжелым, исступленным взглядом лакейчик и споткнулся, чуть было не вылив чай на голову тети. Старый Франтишек влепил ему легкую оплеуху.

— Франтишек,— добросердечно заметила тетя.

— Пусть смотрит! — буркнул дядюшка и вытащил сигарету. Лакейчик подскочил с огнем. Дядюшка выпустил из тонких губ клуб дыма, кузен Зигмунт тоже выпустил из тонких губ клуб дыма, и мы перешли в гостиную, где каждый уселся в свой бесценный бидермейер. Бесценность насыщала снизу страшным комфортом. За окнами отозвалось воющее ненастье; кузен Зигмунт, несколько оживившись, предложил:

— Может, в бриджик?

Ментус, однако, не умел — так что Зигмунт умолк и сидел. Зося начала что-то насчет того, что осенью дождь часто идет, а тетя спросила меня про тетю Ядю. Разговор уже завертелся — дядюшка положил ногу на ногу, задрал голову и смотрел в потолок, по которому бестолково ползала осовевшая муха,— и зевал, показывая нам свое нёбо и ряд пожелтевших от табака зубов. Зигмунт молча занимался раскачиванием ноги и наблюдением за игрой света на кончике полуботинка, тетя и Зося сидели с руками на коленях, крохотный пинчер сидел на столе и смотрел на ногу Зигмунта, а Ментус сидел в тени, подперев голову рукой, жутко тихо. Тетя очнулась, приказала слугам приготовить комнату для гостей, в постели — бутылки с горячей водой и на сон грядущий тарелочку орехов с вареньем. Услышав это, дядя заметил вскользь, что он чего-нибудь съел бы, и услужливая служба тотчас же принесла. Мы ели, хотя и не очень-то могли,— но не есть мы не могли, поскольку еда уже была на подносе, а также поскольку потчевали и уговаривали. А они не могли не уговаривать, поскольку все было на столе. Ментус отказывался, решительно не хотел варенья, и я догадывался почему — из-за

парня,— однако же тетя добросердечно наложила ему двойную порцию, а меня угостила конфетками из маленькой сумочки. Сладко, чересчур сладко делается, не могу больше, чересчур приторно, но с тарелочкой под носом я не могу, меня мутит, детство, тетя, коротенькие штанишки, семья, муха, малышка пинчер, парень, Ментус, полный желудок, душно, за окном ненастье, чрезмерность, пресыщение, слишком много, страшное богатство, бидермейер насыщает снизу. Но я не могу встать и сказать «спокойной ночи», нельзя как-то без вступления... наконец пробуем, но нас упрашивают и удерживают. Против кого дядя Константин вскаживает в скучающие и сладкие уста свои еще одну клубничку? Тут Зося чихнула, и это позволило нам уйти. Прощанье, кланянье, благодарение, цепляние частями тела. Горничная ведет нас наверх по витой деревянной лестнице, которую я немного помню... За нами слуга с вареньем и орехами на подносе. Душно и тепло. Варенье на мне отыгрывается. На Ментусе тоже отыгрывается. Деревенская усадьба...

Когда двери за горничной закрылись, Ментус спросил:

— Видел?

Он сел и закрыл лицо руками.

— Ты о лакейчике? — ответил я нарочито равнодушно. И торопливо опустил штору — боялся освещенного окна в темном пространстве парка.

— Я должен говорить с ним. Спущусь! Или нет — позвони! Наверняка он назначен нам прислуживать. Позвони два раза.

— Зачем это тебе? — старался я его урезонить.— Помни, что тетя и дядя... Ментус,— закричал я,— не звони, скажи сначала, что ты с ним хочешь делать?

Он нажал на кнопку звонка.

— К черту! — буркнул он.— Мало им варенья, так и тут наставили яблок и груш. Спрячь в шкаф. Выброс бутылки с горячей водой. Не хочу, чтобы он это видел...

Он был зол такой злобой, под которой таился страх за судьбу, злобой самых интимных человеческих проблем.

— Юзя,— прошептал он весь дрожа, сердечно, искренне,— Юзя, ты видел, у него же есть рожа — не принаряженная, у него рожа обыкновенная! Рожа без мины! Типичный парень, лучшего я нигде не сыщу. Помоги мне! Сам я не справлюсь!

— Успокойся! Что ты хочешь предпринять?

— Не знаю, не знаю. Если подружусь... если удастся по... по... брататься с ним...— стыдливо признался Ментус.— Побра... таться! Спло... титься! Я должен! Помоги мне!

Лакейчик вошел в комнату.

— Слушаю,— сказал он.

Стал у двери и ждал приказаний, поэтому Ментус велел ему налить воды в таз. Тот налил и снова встал — Ментус, значит, велел ему форточку открыть, а когда тот открыл и встал, велел полотенце на крюк повесить; когда тот повесил, велел ему куртку на плечиках растянуть,— но приказания эти страшно Ментуса мучали. Он приказывал, парень все безропотно исполнял — а приказания все больше напоминали дурной сон, ох, приказывать своему парню, вместо того чтобы с ним брататься,— приказывать с барской фанаберией и так всю ночь господских фантазий напролет приказывать! Наконец, не зная уж, чего приказать, из-за полного отсутствия приказов, он приказал вытащить из шкафа спрятанные туда бутылки да яблоки и, сломленный, шепнул мне:

— Попробуй ты. Я не могу.

Я не спеша снял пиджак и сел на спинку кровати, ноги враскачку — это была более удобная позиция, чтобы задирать парня. Спросил лениво, так, от нечего делать.

— Как тебя звать?

— Валек,— ответил он, и ясно было, что он не умаляет себя, что

имя это ему по плечу — словно он и не достоин был Валентия или фамилии. Ментуса бросило в дрожь.

— Давно тут служишь?

— А с месяц будет, барин.

— А раньше где служил?

— Раньше-то я при лошадях был, барин.

— Хорошо тебе тут?

— Хорошо, барин.

— Принеси нам теплой воды.

— Слушаюсь, барин.

Когда он вышел, у Ментуса слезы навернулись на глаза. Он заревел в три ручья. Капли катились градом по измученному его лицу.— Ты слышал? Слышал? Валек! У него даже фамилии нет! Как это все ему идет! Видел его рожу? Рожа без мины, рожа обыкновенная! Юзя, если он со мной не по...братается, я не знаю, что сделаю! — Он взбеленился, стал упрекать меня за то, что я приказал принести горячей воды, не мог простить себе, что, исчерпав все приказания, велел вытащить из шкафа спрятанные туда бутылки с горячей водой.— Он, верно, никогда не пользуется горячей водой, а что уж говорить о воде в бутылках для подогрева постели. А не грязный. Юзя, ты заметил, не моется, а не грязный — грязь на нем какая-то безобидная, не противная! Гей, гей, а наша грязь, наша грязь...— В комнате для гостей старой усадьбы страсть Ментуса выплеснулась с небывалой силой. Он утер слезы — лакейчик возвращался с кувшинчиком. На сей раз, идя по следу моих вопросов, начал Ментус.

— Сколько тебе лет? — спросил он, глядя прямо перед собой.

— Ии... да нешто я знаю, барин.

У Ментуса даже дыхание перехватило. Не знает этого! Не знал своих лет! Воистину, божественный парень, свободный от всяких смеха достойных приложений! Под предлогом мытья рук Ментус приблизился к лакейчику и сказал, едва сдерживая дрожь:

— Тебе, наверное, столько же, сколько и мне.

То уже не был вопрос. Ментус оставлял лакейчику свободу ответа. Предстояло начаться бра...танию. Лакейчик ответил:

— Слушаюсь.

После чего Ментус вновь вернулся к неизбежным вопросам.

— Читать и писать умеешь?

— Ии... откудова, барин.

— Семья есть?

— Сестра у меня, барин.

— А сестра что делает?

— С коровами она, барин.

Он стоял, а Ментус егозил подле него — казалось, нет у него иного выбора, только вопросы и приказы, приказы либо вопросы. И он снова сел и приказал:

— Сними мне ботинки.

Я тоже сел. Комната была длинная и узкая, а наши, всех трех, движения в этой комнате не были хороши. Дом, большой и мрачный, стоял в темном сыром парке. Ветер, видно, поутих, и было хуже — на резком ветру было бы лучше. Ментус вытянул ногу, парень встал на колени и склонил над его ногой свою рожу, тогда как рожа Ментуса нависала над ним феодально, бледная и кошмарная, очерствевшая в приказах, не ведающая уже, о чем спросить. Тогда спросил я:

— А в рожу от помещика берешь?

Он вдруг весь просветлел и воскликнул радостно, по-народному:

— Ой, брать-то в рожу беру! Ой, брать-то беру!

Не успел он кончить, как я вскочил, словно меня вытолкнула какая пружина, размахнулся и наотмашь резанул его по левой половине рожи. Будто пистолетный выстрел прозвучал в ночной тишине. Малый схватился за рожу, однако тут же руку опустил и встал.

— Ну-ж ты, барин, и бьешь! — прошептал он восхищенно и благоговейно.

— Вон! — заорал я.

Он ушел.

— Ничего лучше придумать не мог! — Ментус был в отчаянии.— Я ему руку хотел подать! Хотел своей рукой взять его за руку! Тогда и рожи наши сравнялись бы, и все остальное. А ты рукой его по роже ударил! А я ногу протянул к его рукам! Ботинок он мне расшнуровывал,— ныл Ментус,— ботинок! Зачем ты это сделал?

Я понятия не имел зачем. Все так стремительно произошло, я крикнул «вон», ибо ударил, а ударил зачем? В дверь постучали — и кузен Зигмунт со свечой, в домашних туфлях и в брюках появился на пороге.

— Стрелял кто-нибудь? — спросил он.— Мне показалось, я слышал выстрел из браунинга.

— Я заехал твоему Валеку в рыло.

— Валеку дал в морду?

— Он у меня стянул сигарету.

Мне хотелось, чтобы Зигмунт узнал от меня, в моей версии, а не завтра, от прислуги. Зигмунт удивился слегка, но тут же гостеприимно рассмеялся.

— Отлично. Это его отохотит! — Что — прямо так с ходу и врезал ему в пасть? — недоверчиво спросил он.— Я засмеялся, а Ментус бросил на меня взгляд, которого мне не забыть, взгляд человека, которого предали, и отправился, как я предполагал, в уборную. Кузен проводил его глазами.— Друг твой, кажется, осуждает, а? — с легкой иронией заметил он.— Рассердился на тебя? Типичный мещанин! — Мещанин! — сказал я, ибо что же еще мне было сказать.— Мещанин,— сказал Зигмунт.— Такой вот Валек, если ему двинешь в харю, будет тебя уважать, как своего господина! Надо их знать! Они это любят! — Любят,— сказал я.— Любят, любят, ха-ха-ха! Любят! — Я не узнавал кузена, который до того относился ко мне скорее холодно, от апатии его не осталось и следа, глаза заблестели, битье Валека по морде ему понравилось, и я ему понравился; потомственный барин проглянул в вялом и скучающем студенте, он будто втянул в ноздри запах леса и мужицкой толпы. Поставил свечу на окно, сел в ногах постели с сигаретой в зубах.— Любят,— сказал он.— Любят! Бить можно, надо только чаевые давать — без чаевых я битья не признаю. Отец и дядя Северин в свое время в «Гранде» бивали по морде швейцара.— А дядя Евстахий,— сказал я,— надавал по морде парикмахеру.— Никто лучше не бил по мордасам, чем бабушка Эвелина, но это когда было. Вот недавно Хенричек Пац нажрался и разукрасил вывеску контролеру. Знаешь Хенричека Паца — он малый без претензий.— Я ответил, что знаю нескольких Пацев, все они необыкновенно естественные и без претензий, а Хенричека до сих пор встречать мне не доводилось. А вот Бобик Питвицкий в «Какаду» выбил стекло физией официанта.— Я только один раз заехал в мурло билетеру,— сказал Зигмунт.— Знаешь Пиповских? Она дикая снобка, но эстетична необычайно. Завтра можно бы пойти на куропаток. (Где Ментус? Куда он пошел? Почему не возвращается?).— Но, судя по всему, кузен вовсе не собирался уходить, отмеренная Валеку пощечина сблизила нас, как рюмка водки и болтовня с сигаретой в зубах, что, мол, мордобой, куропатки, Пиповская, без претензий, Татьянки и Коломбина, Хенричек и Тадик, надо жизнь знать, быть реалистом, сельскохозяйственная школа и деньжата, когда кончу курс. Отвечал я примерно тем же. А он на это опять то же самое. И я то же самое. Так, он снова о мордобое, что надо знать, когда, с кем и за сколько, после чего я опять, что в ухо лучше, чем по щеке. Но во всем этом что-то лживое, и я несколько раз пытаюсь ввернуть в наш треп, что, дескать, вообще-то это не то, неправда, никто никого сегодня не бьет, этого уже нет, а может, и никогда не было, легенда, барские фантазии. Я, однако, не могу, слишком нам сладко болтается, барская фантазия уцепилась и не отпускает, болтаем, как бар-

чук с барчуком! — Порой бывает недурно заехать в рожу! — В морду заехать — очень полезно! — Нет ничего лучше, чем двинуть в харю какому-нибудь типу! — Ну, мне пора,— сказал наконец Зигмунт.— Засиделся... Будем видеться в Варшаве. Я тебя познакомлю с Хенричеком Пацем. Подумать только, скоро уже двенадцать. Друг твой что-то засиделся... захворал, наверное. Спокойной ночи.

Он обнял меня.

— Спокойной ночи, Юзек.

— Спокойной ночи, Зигмусь,— ответил я.

Почему не возвращается Ментус? Я отер со лба пот. С чего бы это разговор с кузеном? Я выглянул в форточку, дождь перестал, больше чем на пятьдесят шагов ничего не видно, только кое-где угадывал я в сгустках ночи очертания деревьев, но очертания их, казалось, были еще темнее темноты и еще неопределеннее. За шторой накрапывал сыростью мрак, насквозь пробитый пространством глухих полей, затаившийся и неведомо какой. Не разгадав, каково же то, на что я смотрю, смотря и ничего не видя, кроме формы, которая темнее ночи, я отступил в глубину комнаты и захлопнул форточку. Зря все это. Зря я ударил парня. Зря был треп. Воистину, здесь мордобой был, словно рюмка водки, он совершенно не похож на демократические и сухие городские пощечины. Что же представляет собою, черт возьми, морда слуги в старом дворянском доме? Это ужасно, что я выманил наружу рожу лакейчика пощечиной, да еще оговорил его перед барчуком. Где Ментус?

Явился он около часа ночи; не вошел сразу, сначала заглянул в приоткрытую дверь — не сплю ли я,— проскользнул, как с ночной гулянки, и тут же прикрутил фитиль лампы. Раздевался торопливо. Я заметил, когда он наклонился к лампе, что рожа его претерпела новые гадкие изменения — с левой стороны налилась и набухла, напоминала яблочко в компоте, и все у него было вроде как измельчено, словно крупа. Чертовское у м а л е н и е! И еще раз в своей жизни я увидел его, на сей раз на лице друга! Он отведал страшного пижонства — так это у меня сформулировалось,— он отведал страшного пижонства. Какая же могучая сила могла его так разделать? На мой вопрос он ответил тоном немного слишком высоким, визгливо:

— Я был в буфетной. Побра...тался с парнем. Он дал мне по роже.

— Лакейчик дал тебе по роже? — спросил я, не веря собственным ушам.

— Дал,— подтвердил он с радостью, но натужной и все еще чересчур хилой.— Мы братья. Наконец-то я нашел общий язык.— Но говорил он это, как Sonntagsjäger [1], как городской чиновник, который хвастает, что пил на деревенской свадьбе. Похоже, сокрушительная и разрушительная сила помяла его — но отношение его к ней было неискренним. Я поприжал его вопросами, и тогда он неохотно, прикрыв лицо руками, пояснил:

— Я велел.

— Как это? — Кровь во мне взыграла.— Как это? Ты велел ему бить тебя по лицу! Он же подумает, что ты сумасшедший! — Ощущение у меня было такое, будто я сам получил пощечину.— Поздравляю! Если тетя и дядя узнают!

— Это из-за тебя,— ответил он мрачно и кратко.— Не надо было бить. Ты начал. В барина тебе поиграть захотелось. Мне пришлось взять у него по роже, потому что ты ему дал... Без этого не было бы равенства, и я не смог бы с ним по...бра...

Погасив свет, он выплевал клочковатыми фразами историю своих отчаянных страданий. Он застал парня в буфетной за чисткой господской обуви и присел подле него, но лакейчик встал. «Da capo» [2] повторилось — опять он заводил разговор, старался растормошить его, раз-

---

[1] Горе-охотник, плохой стрелок *(нем.)*.

[2] Здесь: снова *(лат.)*.

говорить и сдружить с собой, но слова, еще не соскользнув с губ, вырождались в слащавую и бессмысленную идиллию. Парень отвечал как умел, но видно было, это начинает ему надоедать, и он не понимает, чего хочет от него тронутый господин. Ментус в конце концов запутался в дешевых словесах родом из французской революции и Декларации прав, втолковывал, что люди равны, и под этим предлогом требовал, чтобы парень подал ему руку, но тот решительно отказался.— Моя рука не про вас, барин.— Тогда в голову Ментусу пришла шальная мысль, что, если ему удастся заставить парня дать ему по роже, лед тронется. Дай мне по морде,— взмолился он, уже плюнув на все,— по морде дай! — И, склонившись, подставил лицо его рукам. Лакейчик все же отбрыкивался.— Ии,— говорил он,— почто мне бить барина? — Ментус молил и молил, наконец заорал: — Дай, сволота, раз я тебе приказываю! Что это такое, черт возьми! — И в тот же миг потемнело у него в глазах, потом искры и звон — это парень звезданул ему по роже! — Еще раз,— крикнул он,— сукин ты сын! Еще раз! Мрак, искры, звон. Открывает глаза и видит, что лакейчик стоит перед ним с руками, готовый к выполнению приказов! Но пощечина по приказу не была истинной пощечиной,— это напоминало наливание воды в таз и снятие ботинок, и краска стыда покрыла краску, залившую его после удара.— Еще, еще,— прошептал мученик, дабы парень наконец по...братался на его лице. И снова — мрак, искры, звон — о, это битье по роже в пустой буфетной, среди мокрык тряпок, над лоханью с горячей водой!

К счастью, сына народного рассмешили барские фанаберии. По всей видимости, он пришел к выводу, что барин тронулся головой (а ничто так не приободряет толпу, как психическое нездоровье господ), и принялся по-мужицки посмеиваться, что создало дружескую атмосферу. Вскоре паренек побратался до такой степени, что стал тыкать Ментуса под ребро и вымогать несколько грошей.

— Дайкось, барин, на махорочку!

Но все это не то, все — враждебное, небратское и недружеское, по-народному язвительное, убийственное, далекое от вожделенного братания. Ментус, однако, терпел, лучше уж, считал он, пусть парень им помыкает, а не он, Ментус, по-барски будет помыкать лакейчиком. Из кухни вылезла кухонная девка, Марцыська, с мокрой половой тряпкой и принялась дивиться потехе:

— Ой, Иисусе! Вот те на!

Дом спал — и они безбоязненно могли предаваться играм с этим господином, который нанес им буфетный визит, глумиться над ним крестьянской, народной насмешкой. Ментус сам им в этом помогал и смеялся вместе с ними. Но понемножку, издеваясь над Ментусом, они перешли к насмешкам и над своими господами.— Господа-то, эво, таковские! — говорили они, подвизгивая, по-народному, по-кухонному, по-буфетному.— Эво, каковские! Господа-то, эво, не работають, все лопають да лопають, вот их и разносить! Лопають, хворають, вылегиваются, по покоям ходють и цегой-то гомонять. И цего ж тут не налопаться-то! Мать Божия! Я бы и вполовину того не выжрал, хоть и обнаковенный мужик. То тебе обед, то полодник, а то конфет, а то варенья, а то яйца с луком на второй завтрак. Оценно господа прожорливые и сластены — брюхами в небо лежать, вот и хворобы у них от энтого. А господин-то помещик, как была охота, на лесника залез! На лесника залез! Лесник Вицента стояли за ими с другой, вишь, двухстволкой, господин помещик в кабана пальнул, кабан на господина помещика скокнул, а господин помещик двухстволку кинули и на Виценту залез — цыц — ты, Марцыська,— на Виценту, вишь, залез! Дерева, вишь, никакого вблизи не было, на Виценту и влез! Потом господин помещик злотый ему дал, цтобы, это, рта не разевал, а то, мол, уволить.— О, Иисусе! Тьфу ты пропасть! Цыц-ты, колики у меня колються.— Марцыська схватилась за бока.— А барышня-то так и ходить и поглядываеть — гулять ходить. Господа, вишь, так ходють и смотрють. Господин Зигмунт, он на мене погляды-

ваеть, тока цто ему цесть — то раз мене ципанул, да куды-там! Озиралси, озиралси, мол, кто на его не пялються, прямо у мене колики закололись, я и удрала! Потом, вишь, дал мне злотый, наказывал никому-никому не говорить, что напившись был! Ой-ли, напившись! — завел паренек.— Иные-то девахи тоже с ним не хоцуть, он, вишь, все озирается. Есть там у его одна старая Юзефка, в деревне, удова, и с им-то в кустах сходиться подле пруда, но он ей наказал божиться, никому-никому, мол, не пискни — аккурат так! — Хи-хи-хи-хи! Цыц ты, Валюсь! Господа оценно цестные! Господа оценно деликатные! — А и деликатные, то-то им нужно носы, вишь, обтирать, сами-то ницево не сделають! И подай, и придвинь, и принесь, пальту им надо поддевать, сами-то не управляются. Как я к им поступил, мне аж цудно сделалось. Цтоб так кто подле меня хозяевал и болтал, я б, правду говорю, луцше бы скрозь землю провалился. Господина помещика по вецерам мазью должон обмазывать.— А я барышню придавливаю,— взвизгнула девка,— барышню руками придавливаю, уж оцень хлипка. Господа, вишь, мягенькие, а руцки-то у их! Хи-хи-хи, такие руцоцки! — О, Иисусе! Гуляють, жруть, парлюють парлефранцетом и скуцають.— Цыц ты, Валюсь! Не болтай, вишь, зазря, помещица добрая! — А и добрая, когда людев душить,— как же, доброй-то не быть! В деревне голод, аж пищить все. Людёв душуть. Да, каждый на их работаеть, помещик на поле выйдить, во и глядить, как люди на его жилу рвуть.— Госпожа помещица коровы боиться. Госпожа помещица коровы боиться!!! Господа уж так разговаривають! Господа ходють — хи-хи-хи — такие они белюсенькие!..— Девка визжала и дивилась, разошедшийся парень болтал и гримасничал, но тут вошел Франтишек...

— Франтишек вошел? — воскликнул я.— Камердинер?

— Франтишек! Черти его принесли,— пропищал Ментус тоненько.— Его, видно, разбудил визг Марцыськи. Мне, естественно, ничего сказать не осмелился, но обложил парня и Марцыську, что не время на болтовню, пошли вон, работать, ночь на дворе, а еще посуда не вымыта. Они сразу и убежали. Это низкий прислужник!

— А он слышал?

— Не знаю, может, и слышал что. Это неинтересный тип — прислужник с бакенбардами и в стоячем воротничке. Бакенбардный мужик — предатель. Предатель и доносчик. Если услышал — донесет. А так хорошо болталось,— пропищал Ментус.

— Жуткий скандал из всего этого может выйти...— тихо сказал я. Но он дискантом яростно провизжал:

— Предатели! Ты тоже — предатель! Все предатели, предатели...

Я долго не мог заснуть. Над потолком, на чердаке с грохотом носились куницы или крысы, и я слышал их писк, неожиданные кульбиты, погоню и побеги, кошмарные фальшивые голоса этих животных, распираемых дикостью. С крыши капало. Собаки выли механически, а комната, старательно законопаченная, была коробочкой темноты. На той кровати лежал Ментус и не спал, я на этой лежал и не спал, навзничь, руки за голову, лицо влепленное в потолок — оба мы бдели, о чем свидетельствовало еле слышное наше дыхание. Что он делал под покровом темноты — да, что он делал, ибо раз не спал, значит, что-то делал — и я тоже делал. Человек, который не спит, действует, не может не действовать. О чем он думал? О чем мечтал визгливо и худосочно, возбужденный, напряженный, словно клещами схваченный. Я молил Бога, чтобы он уснул, ибо тогда, пожалуй, он стал бы менее тихим и более открытым, менее зажатым — расслабился бы немного, расковался...

Мучительная ночь! Я не знал, что делать! Удирать, как только рассветет? Я был убежден, что старый слуга Франтишек донесет тетке и дяде о беседах и мордобитии с парнем. И тогда уж точно начнется инфернальная баталия, разлад, фальшь, игры демонов, рожа, рожа заново начнется! И попочка! За тем я разве улизнул от Млодзяков? Мы про-

будили зверя! Разнуздали домашнюю прислугу! В ту страшную ночь, мучась в постели бессонницей, я открыл тайну сельской усадьбы, помещичьего и землевладельческого уклада, тайну, многообразные и смутные симптомы которой с первой же минуты вызвали у меня тревожное предчувствие похмелья после рожи и предчувствие рожи! Тайной этой была прислуга. Хамство было тайной господства. Против кого дядя зевал, против кого засовывал в рот лишнюю сладкую клубничку? Против хамства, против собственной прислуги! Почему не поднял упавшего портсигара? Чтобы ему его подняла прислуга. Почему с такой навязчивой киндерштубой любезничал с нами, откуда столько вежливости и внимания, столько манер и хорошего тона? Чтобы отличить нас от прислуги и против прислуги поддержать свой барский норов. И все, что бы они ни делали, было как бы с оглядкой на прислугу и по отношению к прислуге, применительно к прислуге домашней и прислуге на их земле.

Да и разве могло быть иначе? Мы, в городе, и не чувствовали даже, что мы господа-собственники, все одинаково одетые, с одинаковой речью, жестами, и множество незначительных полутонов объединяло нас с пролетариатом: сходя по ступенькам лавочника, трамвайщика и извозчика, можно незаметно сойти на самое дно — к мусорщику; а здесь господство росло, словно одинокий голый тополь. Мостков между господином и слугой не было, ибо управляющий жил на фольварке, священник — в приходском доме. Гордое родовое барство дядюшки вырастало прямо из хамской почвы, в хамстве черпало оно свои соки. Услуги в городе оказывались путем окольным и в формах неявных — каждый прислуживал каждому понемногу,— но тут у господина был конкретный и личный хам, которому он протягивал ногу, дабы тот ему почистил ботинок... И дядя, и тетя наверняка знали, что о них говорят в буфетной,— какими видят их зенки хамов. Знали — но не позволяли этому знанию распоясаться, давили его, душили, загоняли в подвалы мозга.

Быть оглядываемым собственным хамом! Быть обдумываемым и обалтываемым хамом! Неустанно преломляться в хамской призме слуги, имеющего доступ в комнаты, слушающего твои разговоры, наблюдающего за твоим поведением, допущенного с кофе к твоему столу и ложу,— быть темой грубых, простоволосых, безвкусных кухонных сплетен и никогда нельзя объясниться, поговорить на равных. Воистину, только через прислугу, через лакея, кучера, горничную можно познать сам корень, из которого произрастает землевладелец. Без лакея не поймешь помещика. Без горничной не познаешь духовный тип усадебных барышень, тональность их высоких порывов, барчук же выводится из девки. Ох, наконец-то я понял причину их престранной робости и ограниченности, столь поражающих всякого, кто из города заглянет в усадьбу. Это хамство их устрашало. Хамством они были ограничены. У хамства они сидели за пазухой. Вот — истинная причина. Вот — вечное тайное раздражение. Вот — подпольный бой не на жизнь, а на смерть, приправленный всеми ядами подпольных и скрытых от глаз баталий. Бой этот, стократ более тяжкий, нежели конфликты на чисто финансовой почве, порожден был непохожестью и чуждостью — непохожестью тела и чуждостью духа. Души их среди душ крестьянских были в лесу; барские и нежные тела их среди тел толпы были в джунглях. Руки брезговали лапами хамов, ноги господские ненавидели ноги хамские, глаза — зенки, пальчики — пальчища хамские, и это вызывало тем больший стыд, что постоянно они были ими дотыкаемы, «обделываемы», как выразился парень, холимы и смазываемы мазями... Иметь подле себя в доме непохожие, чуждые части тела и не иметь никаких иных — ведь в радиусе нескольких километров только мужицкие конечности, только мужичья речь, «а тока», «а вишь», «вцерась», «боциноцек», «матуля», «татуля», и, пожалуй, лишь приходский священник да управляющий на фольварке и были помещикам своими. Но управляющий был чиновник, а священник был, в сущности, в юбке. Разве не одиночеством объяснялось ненасытное радушие, с каким нас удерживали после ужина,— с нами они себя чувство-

вали лучше. Мы были их союзниками. Но Ментус изменил господским лицам с простонародной рожей парня.

Тот злокозненный факт, что лакей бил по лицу Ментуса — как ни крути, господского гостя и барина,— должен был вызвать и злокозненные последствия. Извечная иерархия держалась на превосходстве господских частей, и это была система жесткой и феодальной иерархии, когда рука господина равнялась роже хама, а нога тянула на полмужика. Иерархия это была древняя. Пакт, канон и закон вековые. То была мистическая скоба, скреплявшая части господские и хамские, освещенная вековым обычаем и только в вышеназванной структуре господа могли прикасаться к хамству и с ним соприкасаться. Отсюда же и магия мордобития. Отсюда чуть ли не религиозный культ мордобития у Валека. Отсюда барский разгул Зигмунта. Разумеется, сегодня уже не били (хоть Валек и признался, что порой берет от дяди), но потенциальная возможность пощечины засела в них крепко, и это удерживало их в барстве. А теперь разве хамская лапа не развалилась панибратски на господском лице?

И прислуга уже поднимала голову. Уже пошли кухонные сплетни. Уже простонародье, раззадоренное и развращенное панибратством частей тела, гласно поносило господ, набирала силу хамская критика — что будет, что случится, когда это доберется до тетушки и дядюшки и господское лицо окажется один на один с тяжелой народной рожей?

Глава XIV

РАЗЗУДИСЬ-РОЖА И НОВАЯ ПОИМКА

Потому-то на следующий день после завтрака тетка отвела меня в сторонку. Утро было свежее, солнечное, земля — влажная, черная, островки деревьев, покрытых синеватыми осенними листьями, расположились на просторном дворе; под деревьями домашние куры копались и клевали. Время задержалось на утре, и золотистые полосочки стелились по полу курительной комнаты. Родные собаки лениво слонялись из угла в угол. Родные голуби ворковали. Волна возмущения подтачивала тетушку изнутри.

— Деточка,— сказала она,— объясни мне, пожалуйста... Франтишек говорил, будто твой приятель водится в кухне с прислугой. Может, он какой-нибудь агитатор?

— Теоретик! — вмешался Зигмунт.— Не стоит волноваться, мама,— теоретик жизни! Приехал в деревню с теориями — городской демократ!

Он был все еще весел и довольно барствен после вчерашнего.

— Зигмусь, это не теоретик, а практик! Вроде бы, Франтишек говорит, он Валеку руку подавал!

К счастью, старый лакей не сказал всего, а дядю, насколько я сумел разобраться, вообще не поставили в известность. Я прикинулся, будто ничего не слышал, рассмеялся (как часто жизнь понуждает нас к смешкам), сказал что-то о левой идеологии Ментуса, и на время все успокоилось. С Ментусом, естественно, никто об этом не говорил. До обеда мы играли в кинга, ибо Зося для развлечения предложила эту светскую игру, нам же никак нельзя было отказаться,— и до обеда игра сковала нас друг с другом. Зося, Зигмунт, Ментус и я, томясь и смеясь, выкладывали карты на зеленое сукно стола, старшие на младших, в масть либо козыри-черви. Зигмунт играл четко, сухо, по-клубному, с сигаретой во рту и бросал карту прицельно и горизонтально, а взятки с треском загребал белыми пальцами. Ментус слюнил пальцы, карты мял, и я заметил, что он стыдился кинга, игры чересчур господской, все поглядывал на двери, не видит ли парень — он бы предпочел сыграть в дурака на полу. Больше всего я опасался обеда, ибо предвидел, что Ментус не выдержит конфронтации с парнем за столом,— и опасения эти меня не обманули.

На закуску подали бигос, затем томатный суп, незаправленный, телячьи котлетки, груши в ванильном соусе, все приготовленное хамскими пальцами кухарки, а прислуга прислуживала на цыпочках — Франтишек в белых перчатках и лакейчик босиком с салфеткой. Побледневший Ментус с опущенными глазами ел изысканные и перекулинаренные блюда, которые подсовывал ему Валек, и терзался оттого, что Валек кормил его деликатесами. Вдобавок тетка, желая тонко указать ему на неуместность его выходок в буфетной, обращалась к Ментусу с исключительной вежливостью, расспрашивала о семье и покойнике отце. Вынужденный складывать круглые фразы, он отвечал удрученно, как можно тише, чтобы парень не слышал, и не смел взглянуть в его сторону. И оттого, может, за десертом, позабыв ответить тетке, он засмотрелся и забылся с тоскливой и покорной улыбкой на пискливой и смиренной своей роже — с ложечкой в руке. Я не мог толкнуть его, ибо сидел по другую сторону стола. Тетка умолкла, а парень фыркнул конфузливым народным смешком, как это обычно делает народ, когда господа глядять, и рукой прикрыл рот. Камердинер дал ему оплеуху. В этот именно миг дядюшка зажег сигарету и затянулся дымом. Заметил ли он? Это случилось у всех на виду, и я испугался, не велит ли он Ментусу выйти из-за стола.

Но Константин выпустил клуб дыма из носа, не изо рта!

— Вина,— крикнул он,— вина! Дайте вина!

Он пришел в хорошее расположение духа, развалился на стуле, побарабанил пальцами по столу.

— Вина! Франтишек, велите принести из подвала «Бабушку Хенрикову» — выпьем по стаканчику! Валек, черный кофе! Сигара! Закуримка сигарочку — к черту сигареты!

И, чокнувшись с Ментусом, он принялся рассказывать, как в свое время с князем Северином охотился на фазанов. И, чокаясь именно с ним, не обращая внимания на остальных, рассказывал еще о парикмахере из гостиницы «Бристоль», лучшем из парикмахеров, с каким ему приходилось когда-либо иметь дело. Он разошелся, разомлел, а прислуга удвоила внимание и проворными пальцами подливала и подливала. Ментус, как труп с рюмкой в руке, чокался, не зная, чему приписать неожиданное внимание дяди Константина, терзался ужасно, но должен был поглощать старое, нежное вино с букетом, увядшим, однако, в присутствии Валека. И меня тоже поведение дяди обескуражило. После обеда он взял меня под локоть и привел в курительную.

— Твой друг,— изрек он простецки и вместе с тем аристократично,— педе... педе... Гм... Подбирается к Валеку! Заметил? Ха-ха. Ну, только бы дамы не узнали. Князь Северин тоже время от времени себе позволял!

Он вытянул длинные ноги. Ах, с каким же аристократическим лоском он это изрек! С какой барской опытностью, на которую поработали четыреста официантов, семьдесят парикмахеров, тридцать жокеев и столько же метрдотелей, с каким удовольствием выказывал он свои переперченные ресторанные знания о жизни бонвивана, грансеньора. Истинно породистая барственность, когда дознается о чем-либо а-ля извращение или половая распущенность, так и только так демонстрирует свою мужскую житейскую опытность, которой она обязана официантам и парикмахерам. Но меня переперченная ресторанная житейская мудрость дядюшки вдруг разъярила, как кот собаку, и возмутила меня циничная легковесность наиболее удобной, наиболее барской интерпретации случившегося. Я позабыл о всех своих опасениях. И назло сам выложил все! Пусть мне Бог простит — под воздействием этой ресторанной зрелости я скатился в зелень и решил попотчевать его кушаньем, не так хорошо пропеченным и прожаренным, как подают в ресторанах.

— Это вовсе не то, о чем вы, дядя, думаете,— наивно ответил я,— он с ним так бра...тается.

Константин удивился.

— Братается? Как это — братается? Как ты это понимаешь — «братается»? — Выбитый из седла, он исподлобья смотрел на меня.

— Бра...тается,— ответил я.— По...брататься с ним хочет.

— Братается с Валеком? Как это братается? Может, ты хочешь сказать — агитирует прислугу? Агитатор? Большевизм — да?

— Нет, он братается, как мальчик с мальчиком.

Дядюшка встал, стряхнул пепел и умолк в поисках слов.

— Братается,— повторил он.— Братается с народом, да? — Он пробовал это назвать, сделать возможным, с точки зрения света, общества и жизни, братание чисто мальчишеское было для него неприемлемо, он чувствовал, что такого в хорошем ресторане не подадут. Более всего его раздражало, что по примеру Ментуса я выговаривал слово «бра... тается» с каким-то стыдливым и робким заиканием. Это окончательно выбило его из колеи.

— Братается с народом? — спросил он осторожно.

А я: — Нет, с мальчиком братается.— С мальчиком братается? Ну и что? В мячик, что ли, с ним хочет поиграть или как? — Нет. Он только, как приятель, как мальчик — они братаются, как мальчик с мальчиком.— Дядя покраснел, кажется, впервые с тех пор, как стал ходить к парикмахеру, о, этот румянец à rebours [1] взрослого человека, тертого калача перед лицом наивного юнца — он вытащил часы, посмотрел на них и стал заводить, подыскивая научный, политический, экономический, медицинский термины, дабы заточить в него сентиментально-скользкую материю, как в коробочку.— Извращение какое-то? Что? Комплекс? Бра...тается? Может, социалист, из партии? Демократ, да? Бра...тается? Mais qu'est-ce... que c'est бра-тается? Comment бра-тается? Fraternité, quoi, egalité, liberté? [2] Он начал по-французски, но не агрессивно, а напротив, как тот, кто спасается и буквально «прибегает» к французскому. Он был беззащитен перед лицом мальчика. Зажег сигарету и потушил, положил ногу на ногу, поглаживая усики.

— Братается? What is that [3] бра...тается? Черт побери! Князь Северин...

Я с мягкой настойчивостью все повторял и повторял «бра...тается» и уже ни за что не отрекся бы от зеленоватой, нежной наивности, какой я обмазывал дядюшку.

— Котя,— добросердечно сказала тетя, которая остановилась на пороге с сумочкой конфеток в руке,— не нервничай, он, верно, во Христе братается, братается в любви к ближнему.

— Нет! — упрямо ответил я.— Нет! Он бра...тается голым, без ничего!

— Так, значит, он все-таки извращенец! — воскликнул дядя.

— Вовсе нет. Он бра...тается вообще без ничего, также и без извращения... Как мальчик братается.

— Мальчик? Мальчик? А что это такое? Pardon, mais qu'est-ce que c'est [4], мальчик? — строил он из себя дурачка.— Как мальчик с Валеком? С Валеком и в моем доме? С моим лакейчиком? — Он вышел из себя, позвонил.— Я вам покажу мальчика!

Лакейчик влетел в комнату. Дядя подошел к нему с вытянутой рукой и, возможно, двинул бы ему в рожу резко, без замаха, но на полпути остановился и смешался, духовно заколебался и не мог ударить, не мог в этих условиях установить контакт с рожей Валека. Бить мальчика за то, что он мальчик? Бить за то, что «братается»? Исключено. И Константин, который без раздумий ударил бы за пролитый кофе, опустил руку.

— Вон! — заорал он.

---

[1] Навыворот *(франц.)*.
[2] Но что это такое?.. Как... Братство, э-э, равенство, свобода? *(франц.)*
[3] Что это такое? *(англ.)*
[4] Виноват, но что такое *(франц.)*.

— Котя! — добросердечно воскликнула тетя.— Котя!

— Тут ничего не поможет,— сказал я.— Напротив, мордобитие только подкрепит бра...тание. Он любит мордобитых.

Дядя захлопал глазами, будто стряхивал пальцем гусеницу с жилета, но промолчал; этот виртуоз салонно-ресторанной иронии, пронизываемый иронией снизу, напоминал фехтовальщика, на которого напала утка. Пообтершийся в свете землевладелец оказался детски наивным в наивности. Еще любопытнее, что, несмотря на житейскую опытность и опыт, ему и в голову не пришло, что я мог сговориться против него с Ментусом и Валеком и наслаждаться его барскими ужимками,— ему была присуща лояльность высшего общества, которая не допускала возможности предательства в своем кругу. Вошел старый Франтишек, бритый, с бачками, в сюртуке, и остановился посреди комнаты.

Константин, который немного увлекся, при виде его принял обычную небрежную позу.

— Ну что там, Франтишек? — спросил он милостиво, но в голосе его можно было почувствовать барское усердие в отношениях со старым, выдержанным слугой, такое же, что и по отношению к старому, выдержанному вину.— С чем же Франтишек пришел? — Слуга посмотрел на меня, но дядя махнул рукой.— Говори, Франтишек.

— Вельможный пан говорил с Валеком?

— Да говорил, говорил, Франтишек.

— Это, я только и хотел заметить, хорошо получилось, что вельможный пан с ним поразговаривал. Я бы, вельможный пан, и минуты его тут не держал! Вытолкал бы в шею. Оченно уж он запанибратствовал с господами! Вельможный пан, люди уже болтают!

Три девки пробежали по двору, сверкая голыми коленками. За ними хромая собачонка, лаяла. Зигмунт заглянул в курительную.

— Болтают? — спросил дядя Константин.— Что болтают?

— Про господ болтают!

— Про нас болтают?

Но старый слуга, к счастью, не захотел сказать ничего больше.— Про господ болтают,— говорил он.— Валек распустился с энтим молодым господином, что приехал, вот теперя, извиняйте, болтают про господ без никакого уважения. Перво-наперво Валек и девки с кухни. Сам я ведь слыхал, как вчерась болтали с энтим господином до самой ночи, все, ну все, выболтали. Болтают, что на язык лезет, чего только могут, то и болтают! Болтают, уж не знаю и как! Вельможный пан, а энтого пакостника я бы сей секунд взашей выставил,— представительный слуга покраснел, как пион, весь пятнами пошел, о, этот румянец старого лакея! Тихо и нежно ответил ему румянец господина. Господа сидели немо — не пристало расспрашивать,— но может, еще добавит,— они повисли у него на губах — не добавил.

— Ну, ладно уж, ладно, Франтишек,— проговорил наконец Константин,— можешь идти.

И слуга как пришел, так и вышел.

«Болтают про господ»,— большего они не узнали. Дядя ограничился кислым замечанием, обращенным к тете: — Слишком мягка ты со слугами, душенька, что ж это они так распустились? Какие-то небылицы? — и ни слова об этом больше, долго еще после ухода слуги они обменивались банальными наблюдениями и пустыми замечаниями вроде: где Зося? Почта пришла? — и всячески не придавали значения, дабы не показать, до какой степени точно угодила им в слабое место недосказанная реляция Франтишека. Лишь после почти четверти часа непридавания значения Константин потянулся, зевнул и неторопливо зашагал по паркету в сторону гостиной. Я догадывался, кого он там искал — Ментуса. Он должен был поговорить, душа его требовала незамедлительного объяснения и прояснения, не мог он больше в этой мути. За ним пошла тетя.

Ментуса, однако, в гостиной не было, только Зося с учебниками рационального выращивания овощей на коленях сидела и смотрела на стену, на муху,— не было его также ни в столовой, ни в рабочем кабинете. Усадьба погрузилась в послеобеденную дрему, а муха жужжала, на дворе куры кружили по увядшим газонам, стукали клювами о землю, крохотный пинчер пинал пуделя в хвост и покусывал. Дядя, Зигмунт и тетя неприметно расползлись по дому в поисках Ментуса, каждый в одиночку. Достоинство не позволяло им признаться, что они ищут. Однако вид господ, запущенных в движение внешне небрежное, но все-таки настойчивое, был ужаснее, нежели вид бешеной погони, и я ломал голову, как бы предотвратить скандал, набухавший, словно чирей, на горизонте. У меня уже не было к ним доступа. Они уже замкнулись в себе. Я уже не мог с ними об этом говорить. Проходя через столовую, я увидел, что тетка остановилась под дверью в буфетную, из-за которой как обычно доносились гомон, писк и крик девок, мывших посуду. Задумчивая, настороженная, она стояла с выражением хозяйки дома, подслушивающей собственных слуг, и от обычной ее доброты не осталось и следа. Заметив меня, она кашлянула и отошла. А тем временем дядюшка приплутал к кухне со двора и остановился недалеко от окна, но когда кухонная девка сунула в окно голову,— Зелинский! — заорал он,— Зелинский! Прикажите Новаку залатать этот желоб! — И неспешно удалился по грабовой аллее с садовником Зелинским, семенившем позади с шапкой в руке. Зигмунт подошел ко мне и взял под локоть.

— Не знаю, нравится ли тебе иногда такая старая, перезрелая чуток деревенская баба — мне нравится — Хенричек Пац ввел эту моду — люблю я бабу — периодически, должен сказать, люблю бабу — j'aime parfois une simple [1] бабу, люблю, черт возьми, бабу! Люблю бабу! Хала-ли, ха-ла-ли, люблю обыкновенную бабу и чтобы она чуток была старовата!

Ага,— он испугался, не наболтали ли слуги про его перестарку, про «удову» Юзефку, с которой он встречался в кустах над озером; капризами моды подстраховывался, молодого Паца втягивал. Я не ответил, видя, что ничто уже не в состоянии удержать заведенных господ от чудачеств, эта безумная звезда вновь взошла на моем небосклоне, и я вспомнил все приключения с момента, когда Пимко меня укантропопил,— но это было хуже всех. Мы отправились с Зигмунтом на двор, где вскоре появился дядя из грабовой аллеи с садовником Зелинским, семенившим позади с шапкой в руке.

— Чудесная пора,— крикнул он нам в воздухе чистом.— Просохло.

Действительно, пора была великолепная, на фоне небесного простора деревья слезились рыже-золотой листвой, крохотный пинчер люзничал с пуделем. Ментуса, однако, не было. Пришла тетя с двумя грибами в руке, которые она показывала издали с мягкой и доброй улыбкой. Мы сгрудились около крыльца, а поскольку никто не хотел признаваться, что, в сущности, все мы ищем Ментуса, воцарились между нами исключительная деликатность и вежливость. Тетя добросердечно спрашивала, не холодно ли кому. Галки сидели на дереве. На усадебных воротах сидели детишки с грязными пальцами, всаженными в рыльца, и глазели на ходивших господ, а также о чем-то болтали, пока Зигмунт, затопав ногами, не прогнал их; но спустя минуту они стали глазеть из-за изгороди, так что он еще раз прогнал их, после чего садовник Зелинский прогнал их камнями — они удрали, но от колодца опять принялись глазеть, тут уж Зигмунт махнул рукой, Константин велел принести яблок и начал демонстративно их есть, разбрасывая по сторонам кожуру. Ел он против детишек.

— Тереперепумпум,— замурлыкал он.

Ментуса не было, чего словами никто из нас не выпячивал, хотя все

---

[1] Я иногда люблю простую *(франц.)*.

испытывали потребность в конфронтации и выяснении. Если это и была погоня, то погоня неслыханно вялая, изумительно самоуверенная, почти не трогающаяся с места и потому — грозная. Барственность преследовала Ментуса, но господа и дамы едва передвигали ногами. Однако же дальнейшее пребывание на дворе представлялось бесцельным, в особенности же оттого, что детишки все глазели из-за забора, и Зигмунт подал мысль заглянуть за гумно.

— Пройдемся по двору,— сказал он, и мы прогулочным шагом направились в ту сторону, дядя Константин с садовником, семенившим позади с шапкой в руке, а детишки перенесли глазение от забора в окрестности амбара. За воротами началась грязь, и гуси нас окружили, но на них налетел управляющий; хромая собачонка ощерилась и зарычала, но выскочил ночной сторож. Цепные псы у конюшни принялись лаять и подвывать, выведенные из себя необычностью костюмов,— действительно, на мне все было серое, городское, воротничок, галстучек, ботиночки, дядя был в летнем пальто, тетя — в плерезе с мехом и шляпке лодочкой, Зигмунт — в шотландских чулках и брюках гольф. Крестный то был путь и неспешный, самая тяжелая дорога, которую мне когда-либо приходилось одолевать; вы еще узнаете о моих приключениях в прериях и среди негров, но никакой негр не идет ни в малейшее сравнение с этим странствованием по болимовскому двору. Нигде — более скверной экзотичности. Нигде — более едкого яда. Нигде под ногами не расцветали более болезненные фантазии и цветы — орхидеи, нигде — столько восточных бабочек, о, никакой пернатый колибри несопоставим по экзотичности с гусем, к которому не прикасалась рука человека. О, ибо ни к чему тут не прикасались наши руки, батраки у овина — не тронутые касанием, девки у амбара — не тронутые, не тронутые скотина, птица, вилы, вальки, цепи, ремни и мешки. Дикие птицы, кони — мустанги, дикие девки и дикие свиньи. В лучшем случае рожи батраков могли быть тронуты прикосновением дяди, а также рука тети была тронута прикосновением батраков, которые запечатлевали на ней народные и вассальные свои поцелуи. Но кроме того, ничего, ничего и ничего — одно неведомое и неизведанное! Мы шли на своих каблуках, а в ворота прогоняли коров, огромное стадо заполнило двор до краев, гонимое и подгоняемое деревенскими мальчишками, и мы оказались среди скотины неведомой и неотведанной.

— Atention! — закричала тетя.— Atention, laissez les passer! [1]

— Атасёнлесепа! Атасёнлесепа! — передразнивали детишки из-под амбара, но ночной сторож с управляющим бросились и отогнали как детишек, так и коров. У коровника неотведанные девки грянули народной припевкой — ой, дана! — но слов нельзя было разобрать. Может, они про барчука пели? Но более всего неприятно было то, что господа находились как бы под опекой народа, и хотя они господствовали, владели вместе со всей своей экономической эксплуатацией, внешне все это выглядело нежно, словно бы хамство пестовало господство, а господа были баловнями хамов — и управляющий, как раб, переносил тетю через лужи, а чудилось все же, что он ее нянчит. Высосали народ экономически, но кроме экономического сосания вершилось еще и сосание по своему характеру инфантильное, не только кровь сосали, но и молочко тоже, и напрасно дядя твердо и бескомпромиссно обложил батраков, напрасно тетя, будто мама, с патриархальной добротой давала целовать себе руки — ни патриархальная доброта, ни самые жесткие приказания не смогли приглушить впечатления, что помещик сынком приходится народу, помещица — доченькой. Ибо здешний народ не был еще так истискан интеллигенцией, как та слободская голь, которая со всех ног удирала от нас; он был древний и неиспорченный, в себя водворенный, так что, даже проходя в отдалении, мы ощущали мощь как бы ста тысяч батрачьих лошадей, запряженных в одну упряжку.

---

[1] Осторожно... Осторожно, пусть пройдут! *(франц.)*

Неподалеку от курятника экономка впихивала в индюка мускатные орешки, откармливая его сверх меры, дабы потрафить господским вкусам и приготовить лакомое блюдо для господ. У кузницы цуговому жеребцу для шика отрубали хвост, Зигмунт похлопал его по крупу, заглянул в зубы, ибо конь был одним из тех немногих объектов, прикасание к которым было позволительно для барчука,— а непознанные и высосанные девки запели ему еще громче: ой, дана, дана, дана, дана! Но мысль о перестарке отравила ему барчуковское его самосознание, пришибленный, отпустил он лошадиную шею и подозрительно посмотрел на девок, не смеются ли они, случаем, над ним. Старый, жилистый мужик, тоже непознанный и немного высосанный, подошел и поцеловал тетю в дозволенную часть тела. Процессия наша достигла границ гумна. За гумном — дорога и лоскуты полей, простор. Издалека, издалека углядел нас высосанный батрак, который остановился было с плугом и тут же огрел кнутом лошадь. Сырая земля не благоприятствовала усаживанию и сидению. По правой барской рученьке — отваленные пласты земли, стерня, пустошь и торфяники, по левой рученьке — вечнозеленый лес, хвойная зелень. Ментуса нигде не было. Дикая родная курица клевала овес.

Внезапно в двухстах шагах от нас вынырнул из лесу Ментус — не один, с лакейчиком вместе. Нас не заметил — света белого не видел, заглядевшись на парня, заслушавшись парня, забывшись в парне. Вертелся и подпрыгивал щеголем, словно заведенный, то и дело за руку его хватал и в глаза ему засматривал. Парень вовсю язвил мужицкой, народной насмешкой и панибратски похлопывал Ментуса по плечу. Шли они опушкой рощи. Ментус с парнем — нет, парень с Ментусом вместе! Ментус самозабвенно лазил постоянно зачем-то в карман и что-то совал парню, по всей вероятности — злотые, а парень, фамильярничая, тычка ему давал.

— Пьяные! — прошептала тетя...

Не пьяные. Солнечный шар, клонясь к закату, проливал свет и подчеркивал. Парень треснул Ментуса по щеке на закате солнца...

Зигмунт хлестко крикнул:

— Валек!

Лакейчик дал стрекача в лес. Ментус словно резко затормозил на всем ходу, из чар вырванный. Мы пошли ему навстречу по стерне напрямик, ввиду чего и он пошел навстречу нам. Но Константин не хотел чинить расправу в чистом поле, ибо детишки продолжали глазеть с гумна и высосанный мужик пахал.

— Погуляем в лесу,— предложил он неожиданно исключительно вежливо, и прямо с поля мы вошли в темную рощу. Молчание. Расправа наступила между густо посаженными елями — в несусветной тесноте сгрудились мы все вместе. Дядя Константин внутренне весь трясся, но вежливости прибавил вдвойне.

— Я вижу, что компания Валека вам по вкусу,— начал он с тонкой иронией.

Ментус ответил визгливо и с тусклой ненавистью:

— По вкусу...

В колючей хвое, с рожей, прикрытой ветками, прямо загнанная облавой лиса,— в двух шагах от него тетя в хвойном деревце, дядя, Зигмунт... Но дядя заговорил в высшей степени холодно и с едва уловимым сарказмом:

— Вы, кажется, бра...таетесь с Валеком?

Визг ненавидящий, бешеный:

— Бра...таюсь!

— Котя,— отозвалась тетя добросердечно,— пойдем. Тут сыро!

— Роща густая. Надо будет каждое третье срубить,— сказал Зигмунт отцу.

— Бра...таюсь! — заскулил Ментус. Я не предполагал, что они приговорят его к этой муке. Для того и влезли в рощу, чтобы прикинуться

глухими? Затем и преследовали, чтобы, настигнув, облить презрением? Где же объяснения? Где расправа? Коварно вывернули наизнанку роли, не кончали с ним — так они были горды, так спешили облить презрением, что даже отказались от выяснения. Не придавали значения. Пренебрегали. Не замечали — ах, баре, бешеные и низкие баре!

— А вы на лесника влезли! — крикнул Ментус.— Влезли на лесника, испугавшись кабана! Я знаю! Все говорят! Тереперепумпум! Тереперепумпум,— стал он дразниться, в гневе теряя остатки самообладания.

Константин поджал губы и — молчание.

— Валек будет выброшен ко всем чертям! — холодно объявил Зигмунт отцу.

— Да, Валек будет уволен,— сдержанно согласился дядя Константин.— Жаль, но я не привык терпеть развращенной прислуги.

Они отыгрывались на Валеке! Ах, коварные и низкие господа, не соблаговолили Ментусу даже ответить, только Валека прогоняли — Валеком его прикончили. Не так ли и старый Франтишек в буфетной ни слова ему не сказал, а Валека и девку распек? Ель затряслась, и Ментус наверняка набросился бы на них — но тут лесник в зеленой куртке с ружьем на плече вынырнул из чащи около нас и поприветствовал всех по всей форме.

— Залезайте-ка на него! — закричал Ментус.— Залезайте-ка на него, а то кабан! Кабан!!!... Перестарка, перестарка, Юзефка! — бросил он еще Зигмунту и сломя голову бросился в лес.— Я понесся за ним.— Ментус, Ментус! — тщетно кричал я, а хвоя хлестала, била меня по роже! Ни в коем случае нельзя было мне оставить его один на один с лесом. Я перепрыгивал через поваленные деревья и овражки, через норы, расщелины и корни. Из рощи мы прибежали в бор, Ментус увеличил скорость и несся, как обезумевший кабан.

Вдруг я увидел Зосю, которая гуляла по лесу и, скучая, собирала на мхах грибы. Мы неслись прямо на нее, и я испугался, как бы, доведенные до бешенства, мы не сделали ей чего дурного.— Беги! — закричал я. Голос мой, видимо, пронял ее, ибо она кинулась наутек,— а Ментус, видя, что она удирает, стал ее догонять и преследовать! Я выбивался из последних сил, чтобы по крайней мере вовремя догнать его, когда он ее догонит,— к счастью, он споткнулся о корень и улегся на маленькой полянке. Я добежал.

— Чего? — буркнул он, прижимаясь лицом ко мху.— Чего?

— Возвращайся домой!

— Баре! — сплюнул он этим словом сквозь зубы.— Баре! Иди, иди! Ты тоже — барин!

— Нет, нет!

— Ой, да! Вишь! Барин! Барин!

— Ментус, иди домой — надо это прекратить! Несчастье будет! Надо прервать, отрезать — начать по-другому!

— Барин! Господа, зараза! Не дадуть! Сволочь! О, Иисусе! И тебя тоже перелицевали!

— Перестань, это не твой язык! Как ты говоришь? Как ты со мной говоришь?

— Мой, мой... Не дамси! Мой! Оставь его! Выгонить хочуть Валека! Выгонить! Не дамси — мой — не дамси! — ...

— Иди домой!

Бесславное возвращение! Разнюнился, размямлился, разнылся, завел почвеннически — ой, батюшки, ой, доля, ой доля! На гумне девки, батраки дивились и насмешничали, видя господина, который по-ихнему голосит. Смеркалось, когда мы проскользнули через садовую веранду; я велел ему ждать в нашей комнате наверху, сам же пошел поговорить с дядей Константином. В курительной я встретил Зигмунта, руки в карманы, ходит из угла в угол. Барчук весь бушевал внутри, а снаружи был холоден. Из его сдержанных замечаний я узнал, что Зося прибе-

жала из лесу едва жива и — как представляется — подхватила простуду, тетя измеряет ей температуру. Валеку, который вернулся уже на кухню, запрещен доступ в комнаты, а завтра ранним утром состоится увольнение и вышвыривание. Он далее объявил, что не считает меня ответственным за скандальные выходки «господина Ментальского», хотя — по его мнению — мне следовало бы тщательнее выбирать друзей. Он огорчен, что больше не сможет наслаждаться моим обществом, но не думает, чтобы дальнейшее пребывание в Болимове было бы для нас приятным. Завтра в девять утра отходит поезд в Варшаву, распоряжения кучеру даны. Что же касается ужина, то мы, по всей видимости, предпочтем съесть его у себя наверху, соответствующие приказания Франтишек уже получил. Все это он довел до моего сведения тоном, не допускающим возражений, полуофициально и как сын своих родителей.

— Что до меня,— процедил он,— я отреагирую иначе. Позволю себе немедленно проучить господина Ментальского за оскорбление отца и сестры. Я принадлежу к корпорации «Астория».

И выплюнул угрозу пощечины! Я понял, что его заботило. Он хотел дисквалифицировать то лицо, которое принимало от простонародья по морде, хотел битьем вычеркнуть его из реестра почетных господских лиц.

К счастью, дядя Константин, войдя в комнату, услышал его угрозы.

— Какого «господина Ментальского»? — воскликнул он.— Кому ты хочешь дать пощечину, Зигмунт, дорогой мой? Недоделанному хлюстику школьного возраста? По попочке дать сопляку! — И Зигмунт покраснел, поперхнулся своим почетным предприятием. После этих слов дяди он не мог дать пощечину, действительно, будучи двадцати с лишним лет от роду, не мог он, не уронив собственного достоинства, двинуть подростка неполных восемнадцати весен, тем более что эта его черта, восемнадцатилетие, была подчеркнута и акцентирована. Самое паршивое, однако, в том, что Ментус, по существу, был в переходном возрасте, и если господа могли посчитать его сопляком, то для простолюдинов, которые вызревают быстрее, он уже был зрелой барской рожей, лицо его обладало, с их точки зрения, всеми достоинствами господского лика. Так что же получается — лицо достаточно хорошо, дабы Валек бил по нему как по господскому, и недостаточно хорошо, дабы господа могли получить на нем удовлетворение? Зигмунт одарил отца злобным взглядом за эту несправедливость природы. Но Константин и мысли не допускал, что Ментус мог бы быть чем-то иным, не щенком, он, Константин, который панибратски чокался с ним за обедом на гомоэротической почве, теперь открещивался от всякой с ним общности, видел в нем молокососа, сопляка, не придавал значения его возрасту! Гордость не позволяла! Порода восставала, порода! Господин, у которого История неумолимо отбирала поместья и власть, оставался тем не менее породистым душой и телом, в особенности же телом! Он мог снести сельскохозяйственную реформу и общее политико-правовое подравнивание, но кровь у него закипала при мысли о личном и физическом равенстве, о бра...тании личном. Тут подравнивание вступало уже в область, погруженную в сумерки личности — в извечные дебри породы, на страже которых стояли инстинктивный, ненавистью пропитанный рефлекс, отречение, ужас, отвращение! Пусть берут состояние! Пусть проводят реформы! Но пусть же господская рука не ищет руки парня, пусть же щеки не ищут лапы. Как это, добровольно, из чистой только тоски рваться к простонародью? Измена расе, культ прислуги, непринужденный, наивный культ членов, жестов, выражений слуги, влюбленность в хамскую сущность? И в каком же положении был господин, слуга которого стал объектом столь бурных оваций иного господина,— нет, нет, Ментус никакой не господин, обыкновенный сопляк, молокосос! Это сопливые выходки под влиянием большевистской агитации.

— Вижу, большевистские настроения господствуют в среде школьной молодежи,— сказал дядя, словно Ментус был учеником-революцио-

нером, а не классным любовником.— По попочке! — засмеялся он.— По попочке!

И вдруг в открытую форточку ворвались топот ног и визг, доносившиеся из кустов неподалеку от кухни. Вечер был теплый, суббота... Парни с фольварка пришли к кухонным девкам и озоровали... Константин просунул голову в форточку.

— Кто там? — крикнул он.— Нельзя!

Кто-то шмыгнул в заросли. Кто-то рассмеялся. Камень, брошенный физическою силою, упал под окном. И кто-то за кустами голосом, нарочито измененным, завопил во всю мочь:

Трясогуска на дубу, трясогуска на дубу, эй, ай!
Эй, ай, барин в рожу, барин в рожу принимай!
Ху, ха!

И еще раз кто-то взвизгнул, засмеялся! Весть уже разошлась в народе. Они знали. Кухонные девки, должно, наболтали, вишь, парням. Этого следовало ожидать, но нервы помещика не выдержали наглости, с которой пели под окнами. Он перестал не придавать значения, красные пятна проступили у него на щеках, он молча вытащил револьвер. К счастью, тетя явилась вовремя.

— Котя,— закричала она добросердечно, не теряя времени на расспросы.— Котя, положи это! Положи это! Прошу тебя, положи это, я терпеть не могу заряженного оружия, если хочешь иметь это при себе, вынь пули!

И точно так же, как минуту назад он не придал значения угрозам Зигмунта, так теперь она не придала значения ему. Поцеловала его — и он с револьвером в руке стал расцелованным,— поправила ему галстук, чем окончательно обезоружила револьвер, закрыла форточку, а то сквозняки, и совершила еще множество подобных неутомимо умалявших и раздроблявших поступков. Она бросила на чашу событий всю округленность своей персоны, источающей нежное материнское тепло, которое обкладывало человека, как вата. Отвела меня в сторонку и украдкой дала мне несколько конфеток, которые лежали у нее в маленькой сумочке.

— Ой, шельмы, шельмы,— прошептала она с добродушным упреком,— что ж вы это натворили! Зося больна, дядя взволнован, ох, уж эти ваши романы с народом! С прислугой надо уметь себя вести, нельзя панибратствовать, их надо знать — это люди темные, невоспитанные, как дети. Кикусь, сын дяди Стася, также пережил период мужикомании,— добавила она, вглядываясь в меня,— а ты похож на него, о, вот, вот, кончиком носа. Ну, я не сержусь, на ужин, однако, не приходите, дядя не хочет, я вам в утешение варенья пришлю — а помнишь, как тебя побил наш старый лакей, Владислав, за то, что ты его обзывал «грязнулей»? Гадкий Владислав! Меня и сейчас трясет! Я его сразу же уволила. Бить такого ангелочка! Сокровище ты мое! Ты мое все! Ты мой бесценный!

Она поцеловала меня во внезапном приливе растроганности и опять дала конфет. Я быстро удалился с конфетами детства во рту, а удаляясь, еще слышал, как она просила Зигмунта пощупать ей пульс, и барчук взял ее за запястье и щупал, поглядывая на часы,— он щупал пульс матери, которая, откинувшись на спинку дивана, глядела в пространство. С конфетами возвращался я наверх и чувствовал себя не очень-то реально, но подле этой женщины каждый становился нереальным, она обладала поразительным умением растапливать людей в доброте, расплавлять их в болезнях и смешивать с частями тела других людей — не из страху ли перед прислугой? «Добрая, коли душит»,— припомнилось мне определение Валека. «Душит, так как же ей не быть добродушной?» Положение становилось угрожающим. Они взаимно не придавали друг другу значения, дядя из гордости, а тетя из страха, и только этому следовало приписать, что до сих пор не прозвучал выст-

рел — ни Зигмунт не шарахнул Ментуса, ни дядя не шарахнул из револьвера. Я с радостью думал об отъезде.

Ментуса я застал на полу с головой, втянутой в плечи,— у него теперь появилась склонность закрывать голову, обрамлять, окружать ее руками, он не шевелился, с втянутой головой тихо голосил и постанывал — молодо и почвенно.

— Гей-та, гей-та,— бормотал он.— Айда, айда! — и другие слова безо всякой связи, серые и грубые, как земля, зеленые, как молодой орешник, крестьянские, народные и молодые. Он потерял уже всякий стыд. Даже приход Франтишека с ужином не прервал его причитаний и тихих деревенских жалоб; он дошел до такого предела, за которым мы уже не стыдимся тосковать по прислуге при прислуге и вздыхать по лакейчику в присутствии старого лакея. Никогда до того не видел я ни одного интеллигента в состоянии такого упадка. Франтишек даже не взглянул в ту сторону, когда ставил на стол поднос, но руки дрожали у него от отвращения, и он, выходя, хлопнул дверью. Ментус не притронулся к еде и никак не мог утешиться — что-то в нем щебетало, квакало, что-то тосковало и истосковывалось, что-то затуманивалось, с чем-то он там сражался, охал, какие-то выводил законы... А то опять обыкновенная хамская злоба хватала его за горло. Только тете и дяде приписывал он свой неуспех с парнем, господа виноваты, господа, если бы не их помехи и отвращение, наверняка бы он побра...тался! Зачем они ему помешали? Зачем прогнали Валека? Тщетно втолковывал я ему, что завтра надо уезжать.

— Не пояду, вишь, не пояду, ишшо цаво! Пущай сами они уезжають, коли хоцуть! Тут Валек, тута и я буду. С Валеком! С Валеком моем единственным, ой, дана, дана, с пареньком!

Не мог я с ним договориться, он был помрачен парнем, для него перестали существовать какие бы то ни было светские соображения. А когда наконец понял, что остаться нельзя, он испугался, стал молить не бросать парня.

— Без Валека не пояду! Валека ним не оставю! Возьмем его — зарабатывать стану на жисть, на дом — чтоб я сдох, не пояду без Валека мово! Юзек, Бога ради, из-за Валека не! Сгонють со двора, в деревне сыщу кватеру, у перестарки,— добавил он ехидно,— у перестарки осяду! А чаво! С деревни не погонють! В деревне кажный имееть право!

Я не знал, что со всей этой штуковиной делать. Вовсе не было исключено, что он поселится у этой несчастной перестарки Зигмунта, у «удовы», как говорил лакейчик, и оттуда станет преследовать усадьбу и компрометировать тетю с дядей, разносить господские тайны хамским языком, он — предатель и доносчик — хамам на смех!

И тут гигантская пощечина прогремела за окном во дворе. Забренчало, собаки отозвались скопом. Мы прильнули к стеклам. На крыльце, в свете, льющемся из дома, стоял дядя Константин с охотничьей винтовкой, вглядываясь в мрак. Еще раз приложил винтовку к щеке и выстрелил — грохот разнесся в ночи, как от ракеты. И поплыл дальше в темные окрестности. Собаки разошлись.

— В парня палить! — Ментус схватил меня судорожно.— В Валека метить!

Константин стрелял для устрашения. Снова ли слуги с фольварка что-нибудь пропели? Или он стрелял, ибо нервы сдали, ибо выстрел рвался из него с того самого момента, как в курительной он вытащил из ящика револьвер? Кто знал, что в нем творилось? Или это был акт террора, рожденный гордостью и спесью? Рассвирепевший господин грохотом извещал всех окрест, до самых дальних дорог и одиноких верб на межах, что он бодрствует, вооруженный до зубов. Тетя выскочила на крыльцо и торопливо угостила его конфетками, шарфом шею укутала, втащила домой. Но грохот уже распространился бесповоротно. Когда усадебные собаки на мгновение стихли, я услышал вдали эхо деревенских собак и вдруг представил себе переполох, охвативший людей,— и

парни, и девки, и мужики, спрашивающие друг друга, а це эта, пошто на дворе палять? Помещик палить? Цаво палить? И сплетня о мордобое, мол, молодой барин в морду принял от Валека, разраставшаяся, переходящая из уст в уста, подгоняемая шумным демонстративным выстрелом. И я никак не мог взять себя в руки. Принял решение о безотлагательном побеге, мне стало страшно ночью в этой усадьбе, внутренне распоясавшейся, наполненной ядовитыми миазмами. Бежать! Бежать немедля! Но Ментус не хотел без Валека. И я, лишь бы поскорее удрать, согласился забрать парня. Его так и так должны уволить. Наконец остановились на том, что дождемся, пока в доме все уснет, и тогда я пойду к лакейчику, уговорю его бежать, а если заупрямится — прикажу! Вернусь с ним к Ментусу, и уже втроем подумаем, как выбраться в поле. Собаки Валека знали. Остаток ночи проведем в поле, после чего поездом в город. В город, скорее в город! В город, где человек меньше, лучше пригнан к людям и более похож на людей. Минуты тянулись бесконечно. Мы упаковывали вещи и подсчитывали деньги, а почти нетронутый ужин завернули в носовой платок.

В первом часу ночи, выглянув в окно и удостоверившись, что темнота заполнила комнаты, я снял обувь и босиком вышел в маленький коридорчик, чтобы, по возможности бесшумно, пробраться в буфетную. Когда Ментус закрыл дверь, отобрав у меня последний луч света, когда я приступил к действию и начал украдкой проникать в уснувший дом, я понял, сколь безумно мое предприятие и нелепа цель — погружаться в пространство ради похищения парня. Неужели только действие выманивает из безумия все безумие? Я едва переставлял ноги, пол иногда поскрипывал, над потолком грызлись и фальшивили крысы. За моей спиной в комнате остался почвенный Ментус; подо мною, на первом этаже, дядя, тетя, Зигмунт и Зося, к слуге которых я направлялся бесшумно и босо; передо мной, в буфетной, этот самый слуга, как цель всех усилий. Надо было постоянно быть начеку. Если бы меня кто-нибудь накрыл здесь, в коридоре, в темноте, разве я смог бы объяснить смысл своей выходки? Какие дороги ведут к этим извилистым и ненормальным дорогам? Нормальность — это канатоходец над бездной ненормальности. Сколько же скрытого безумия заключает в себе обычный порядок — сам не знаешь, когда и как ход событий приводит тебя к похищению парня и бегству в поле. Лучше уж было бы похитить Зосю. Если уж кого мне и похищать, то Зосю, нормальным и правильным делом было бы похищение Зоси из сельской усадьбы, если уж кого, то Зосю, Зосю, а не глупого, идиотского парня. И в сумраке коридора нашло на меня искушение похитить Зосю, завладел мною соблазн прозрачного, чистого похищения Зоси, о, Зосю похитить прозрачно!

Гей, Зосю похитить! Зосю похитить зрело, по-господски, и по-дворянски, как многократно уже похищали. Мне пришлось обороняться от этой мысли, доказывать ее неосновательность — и все же чем дальше я крался по предательским доскам пола, тем больше нормальность соблазняла, манило простое и естественное похищение в противовес этому запутанному похищению. Я споткнулся о дыру — под пальцами ног была дыра, дыра в полу. Откуда дыра? Она показалась мне знакомой. Здравствуй, здравствуй,— это моя дыра, ведь это я много лет назад пробил эту дыру! На именины получил я в подарок от дяди маленький топорик, топориком прорубил дыру. Прибежала тетя. Вот здесь стояла, кричала на меня, мне очень живо припомнились обрывки ее ругани, интонации крика — а я снизу топориком хрясть по ноге! Ах, ах, закричала она! Крик ее еще был тут — я замер, словно за ногу меня схватила сцена, которой уже не было, но которая ведь произошла здесь, на этом самом месте. Я рубанул по ноге. Я ясно увидел в темноте, как я ее рубанул, сам не знаю почему, невольно, автоматически, и как она закричала. Закричала и подскочила. Нынешние мои поступки смешивались и переплетались с поступками, совершенными в прошлом, в позапрошлом времени,

я вдруг весь затрясся, челюсти сжались. Бог ты мой, ведь я мог бы отрубить ей ногу, если бы посильнее замахнулся, какое счастье, что не было у меня достаточно сил, благословенная слабость. Но теперь сила у меня уже была. А что, если не к парню пойти, а к тете в спальню пойти и рубануть изо всей мочи топором? Прочь, прочь, ребячество. Ребячество? Да, Боже милостивый, парень тоже был ребячеством, если я шел к парню, то, в сущности, мог пойти и рубануть тетю, одно другого стоит — рубануть, рубануть! О, ребячество. Я осторожно нащупывал ногой пол, ибо каждый мало-мальски громкий скрип мог меня выдать, но мне казалось, я как ребенок нащупываю и как ребенок иду. О, ребячество. Трояким было ребячество, которое прицепилось ко мне, с одним я бы справился, но оно было трояким. Первое, ребячество вылазки за лакейчиком-парнем. Второе, ребячество пережитого тут годы назад. Третье, ребячество барства, как барин я тоже был ребенком. О, есть на земле и в жизни места более или менее детские, но сельская усадьба, пожалуй, самое детское такое место. Здесь барство и народ взаимно держатся и удерживаются в ребенке, тут каждый каждому ребенок. Продвигаясь все дальше босиком по коридору, скрываемый чернотой, я шел, словно в дворянское прошлое и в собственное детство, а чувственный, телесный, инфантильный и непредсказуемый мир обнимал меня, всасывал и втягивал. Слепота поступков. Автоматизм рефлексов. Атавизм инстинктов. Барско-ребячья фантазия. Я шел, словно в анахронизм необъятной пощечины, которая была одновременно и вековой традицией, и инфантильным шлепком, одним ударом высвобождала господина и ребенка. Я нащупал перила лестницы, по ним я некогда съезжал, упиваясь автоматизмом езды,— сверху до самого низу! Инфант, инфантилис — король, ребенок, мчащийся господин-ребенок, ох, если бы я сейчас рубанул тетю, она бы уж не встала — и я поразился собственной силе, когтям, ручищам, кулакам, испугался мужчины в ребенке. Что я делаю тут, на этой лестнице, куда и зачем иду? И опять промелькнула у меня мысль о похищении Зоси, вот единственный возможный повод вылазки, единственное мужское решение, единственное предназначение мужчины... Зосю похитить! Зосю по-мужски похитить! Я отмахивался от этой мысли, но она меня уговаривала... жужжала во мне.

Внизу, в небольшой передней, я остановился. Тишина — ничто нигде не шевельнется, они отправились отдыхать, как и всегда, в обычный час, тетя наверняка разогнала всех по кроватям и укутала одеялами. Другое дело, что отдых их, по всей видимости, отдыхом не был, каждый у себя под одеялом перебирал канву пережитых событий. В кухне тоже тихо, только через щели из буфетной проглядывал свет, лакейчик чистил ботиночки, а на роже его я не заметил никаких следов переживаний, она была обыкновенная. Я осторожно проскользнул в буфетную, прикрыл дверь, приложил палец к губам и, соблюдая всяческие предосторожности, шепотом в самое ухо приступил к уговорам. Чтобы он прямо сейчас взял шапку, бросил все и пошел с нами, что в Варшаву едем. Кошмарная роль, я предпочел бы все что угодно этим уговорам, глупым, да вдобавок еще и шепотом. Тем более что он упирался. Я говорил, что господа его выгонят, что для него лучше всего сбежать куда-нибудь подальше, в Варшаву, с Ментусом, который даст ему на жизнь,— он не понимал, не мог понять.

— На что мне все это ваше убегание,— говорил он с инстинктивной неприязнью ко всяким господским выдумкам, и у меня опять сверкнула мысль, что Зося согласилась бы легче, с Зосей этот ночной шепот был бы не таким бессмысленным. Нехватка времени не располагала к долгим уговорам. Я треснул его по роже и приказал, тогда он послушался — но я треснул через тряпку. Через тряпку треснул его по щеке, мне пришлось приложить тряпку и по ней треснуть, чтобы избежать шума — о, о! — через тряпку ночью бил я по морде парня. Он послушался, хотя тряпка и вызвала у него некоторые сомнения, простонародье не любит отклонений от нормы.

— Идем, сволота,— прикрикнул я и вышел в переднюю, он за мной. Где лестница? Темно, хоть глаз выколи.

Где-то скрипнула дверь, и голос дяди спросил:

— Кто там?

Я быстро схватил лакейчика и втолкнул его в столовую. Мы притаились за дверью. Константин медленно приближался и вошел в комнату, прошествовал прямо рядом со мной.

— Кто там? — повторил он осторожно, не желая попасть в смешное положение, если тут никого нет. Бросив вопрос, он последовал за ним в столовую. Остановился. Спичек у него не было, а тьма непроглядная. Повернул назад, но, сделав несколько шагов, остановился и затих — уловил специфический, народный запах парня, а может, нежная господская кожа почувствовала лапы и рожу? Он был так близко, что мог бы дотронуться до нас рукой, но это именно и заставило его держать руки при себе, слишком близко он был, близость заманивала его в ловушку. Замер, а его неподвижность поначалу потихоньку, а потом все скорее стала конденсироваться в выражение тревоги. Не думаю, что он был трус, хотя, как говорили, и влез со страху на лесника,— нет, не потому не мог он шевельнуться, что боялся, но боялся потому, что не мог шевельнуться,— ибо, раз уж стих и остановился, с каждой секундой начать движение заново по причинам чисто формального свойства становилось для него делом все более затруднительным. Ужас сидел в нем давно и только теперь вылез наружу и сковал его, тонкие косточки помещика костью стали у него поперек горла. Парень и не пискнул. Так мы и стояли втроем в полуметре друг от друга. Кожа проснулась, волосы встали дыбом. Я не прерывал этого. Рассчитывал, что в конце концов он совладает с собой и отступит, дав нам возможность тоже отступить и удрать через переднюю наверх, но я не принял во внимание, что нарастающая тревога действует парализующе,— ибо теперь, я знал это точно, наступило внутреннее переиначивание и выворачивание наизнанку, и он уже не потому боялся, что не мог шевельнуться, но не мог шевельнуться от страха. Догадывался, что на его лице серьезность ужаса, лицо у него должно было быть сосредоточенным, бесконечно серьезным... и я в свою очередь начал бояться — не его, но его тревоги. Если бы мы отступили или только чуть пошевелились, он мог броситься и схватить нас. Если у него был револьвер, мог пальнуть — хотя нет, для выстрела мы были слишком от него близко, он мог физически, но не мог психически — ибо человек должен упредить выстрел внутренним, душевным выстрелом, а для этого дистанция была мала. Он, однако, мог кинуться на нас с кулаками. Он не знал, что притаилось перед ним и куда он вляпается руками. Мы знали, что он такое — он не знал, что такое мы. Мне хотелось объявиться, хотелось сказать «дядя» или что-нибудь в этом роде. Но по прошествии стольких секунд, а может и минут, я уже не мог, слишком поздно — как объяснить молчание? Мне хотелось смеяться, словно меня кто-то щекотал. Разрастание. Увеличение. Увеличение во мраке. Распирание и расширение в сочетании со съеживанием и стягиванием, выкручивание и какое-то общее и частное вылущивание, застывающее напряжение и напряженное застывание, зависание на тоненькой ниточке, а также преобразование и переделка во что-то, претворение, а дальше — попадание в систему концентрации и выпучивания и словно на узенькой дощечке, поднятой на высоту шестого этажа, с возбуждением всех органов. И щекотанье. В передней послышалось шлепанье, но невозможность пошевельнуться дошла до такого предела, что никто из нас не пошевелился. Зигмунт приближался в туфлях.

— Есть тут кто? — спросил он с порога.

Сделал шаг вперед, повторил: — Есть тут кто? — и утих, застыл, почуяв, что что-то здесь происходит. Он знал, что отец где-то тут, ибо должен был прежде слышать шаги и вопросы Константина — так почему же отец не откликается? Но отца закупорили извечные страхи и

тревоги, ха, ха, ха, он не мог, он не мог, ибо боялся! А сына закупорил страх отца. Он испугался всей массой уже произведенного страха и утих как бы навеки. Может, впрочем, сперва он почувствовал себя неопределенно, но тут же неопределенность преобразилась в определенность страха и стала расти из самой себя. Да саро вылущивание, набухание, увеличение, возведение в 101 степень, разрастание и стягивание, размягчение, поглаживание, напряжение, вслушивание в монотонность, выпучивание и зависание — без конца, без конца, без предела, погружающееся вниз и вверх, с Зигмунтом немного дальше. Удушье, непроходимость, торможение, поддержание головы, распадение и растрескивание, долгое вычитание, сложение, выталкивание и завершение, перерабатывание и напряжение, напряжение... Минута? Час? Что будет? В голове моей проносились миры. Я вспомнил: ведь здесь некогда я спрятался, чтобы напугать няньку — то самое место,— и едва не рассмеялся. Цыц! Откуда смех? Хватит уже, надо кончать, прервать, что будет, если ребячество вдруг выявится наконец, если меня откроют после столь долгого молчания с лакейчиком, странное дело, необъяснимое, о, Зося, с Зосей быть, с Зосей, а не с ним рядом сдерживать дыхание! С Зосей не было бы по-детски! Внезапно я нахально сдвинулся с места и укрылся за портьерой, будучи уверен, что они не осмелятся пошевелиться. И они в самом деле не решились. В темноте наступила, помимо страха, какая-то нелепость, кроме всего прочего, нелепо им было нарушить тишину, быть может, и было у них такое намерение, быть может, они думали об этом, но не знали, как к этому подступиться. Я говорю тут об их собственной тишине. Ибо свою я прервал передвижением. Быть может, они раздумывали теперь лишь о формальной стороне проблемы, искали видимость, предлог, внешнее обоснование, хуже всего, что один связывал другого своим присутствием, и оба мыслителя стояли, не умея перестать и прервать, а выталкивание и выпутывание продолжалось без устали. Обретя возможность двигаться, я решил схватить парня, потянуть его за собой и быстро выйти в переднюю, но прежде чем я осуществил свое решение,— свет! свет! — на полу слабенький свет, скрип, шлепанье, Франтишек, Франтишек идет со светом, проступает нога дядюшки, к свету, к свету, к гласности!!! Счастье, что я был за портьерой! Но старый слуга вытащил их на свет со всем, что происходило в потемках! И они объявились: дядя, Зигмунт, лакейчик — пришлось им объявиться! Дядя со слегка привставшими волосами, в шаге от парня, они лицом друг к другу — и Зигмунт, торчащий поближе к середине комнаты, словно шест.

— Ходит кто? — ворчливо спросил камердинер, светя себе маленькой керосиновой лампой; но спросил задним числом, только того ради, чтобы оправдать свой приход. Он ведь видел их как на ладони.

Константин пошевелился. Что подумал Франтишек, видя его рядом с лакейчиком? Почему они стояли рядышком? Дядя не мог сразу же отступить, но шевелением своим он стряхнул с себя Валека; после чего сделал шаг в сторону.

— Ты что тут делаешь? — закричал он, сменив в себе страх на злобу.

Лакейчик не отвечал. Не нашел никакого ответа. Стоял он с необычайной легкостью, но языка в пасти как не бывало. Он был один с господами. И молчание сына народа, его необъяснение отбрасывало подозрительную тень. Франтишек взглянул на дядю — господа в потемках с Валеком? Неужто и помещик с ним фамильярничает? — старый слуга, вытянувшись с лампой в руках, потихоньку покрывался краской и запылал, словно зарево в сумерках.

— Валек! — заорал Зигмунт.

Все эти восклицательные знаки не были удачно расставлены во времени, появлялись то раньше, то позже, и я сжался за портьерой.

— Я услышал, что кто-то тут ходит,— начал Зигмунт бестолково.— Услышал, что кто-то ходит. Ходит. Ты что здесь делал? Что ты делал

тут? Говори же! Чего здесь хотел? Отвечай!!! Отвечай, подлюга! — распалялся он ужасно беспорядочно.

— Известно что,— после долгого, убийственного молчания проговорил красный, как огонь, слуга.— Известно, что, ваши милости.

Он погладил бакенбарды.

— Серебро столовое в ящике. А завтра ваши милости хотят его уволить со службы. Так он собирался... стибрить.

Стибрить! Украсть хотел! Толкование найдено — хотел украсть и был пойман. Всем, не исключая и Валека, полегчало, и у меня за портьерой тоже немного отлегло. Константин отодвинулся от лакейчика и сел на стул у стола. Он вновь обрел господское отношение к парню и вместе с ним — самоуверенность. Украсть хотел!

— А ну, иди сюда,— сказал Константин,— а ну, иди сюда, говорю... Ближе, ближе...— Он уже не боялся сближения и откровенно наслаждался тем, что не боится.— Ближе,— повторил дядя,— ближе,— а Валек подходил недоверчиво и вяло,— еще ближе,— и парень уже почти касался его, и тогда он развернулся и треснул, сидя, треснул по роже, как Мене, Текел, Фарес! [1] — Я тебя научу красть! — О, наслаждение удара при свете после того страха во тьме, бить по роже, которая пугала, бить в рамках, очерченных ясным понятием воровства! О, наслаждение от нормального отношения после стольких ненормальных отношений! Зигмунт, следуя примеру отца, двинул в зубы, как в висячие сады Семирамиды! Хлестнул шлепком! Я весь сжался за портьерой, будто меня на катушку намотали.

— Не крадил я! — проговорил парень, хватая ртом воздух.

Того они и ждали. Это позволило им использовать видимость кражи до донышка.— Не крал? — сказал Константин и, наклонившись на стуле, двинул в морду.— Не крал? Не крал? — И с этим вопросом, повторявшимся без конца, без перерыва, они били, и руками искали рожу, и находили ее, и хлестали резко, пружинисто или с размаху, с треском! Валек закрывался руками, но они умели добраться до него! Долгое время у них был доступ лишь к роже, но я чувствовал, что он расширится; и в самом деле помещик проломил плотину, схватил его за волосы, стал толочь его лбом о буфет.— Я научу тебя, как красть! Я научу тебя, как красть!..

Ха, и началось! Проклятая распирающая ночь! Проклятая, увеличивающая темнота, темнота извлекающая, без этого купания в темноте ничего бы и не было. Был на этом осадок темноты. Разгулялся Костек-помещик. Под предлогом воровства он метелил за страх, за ужас, за румянец, за бра...тание с Ментусом, за все им выстраданное.— Это мое! Мое! — повторял он, прикладывая парня к ящикам, выступам, резьбе, карнизам.— Мое, сволочь! — И постепенно менялся смысл этого «мое», не известно было, идет ли речь о серебре и вилках или также о теле и душе, волосах, обычаях, руках, барстве, лоске, культуре и породе, он уже мордовал парня не о ящик, мордовал о пространство — отбросил предлог! Казалось, что, побивая и добивая парня, он собою хочет овладеть, собою, не сереборм и не имением, но собою. Собою он овладевал! Террор! Террор! Терроризировать, овладеть, пусть не смеет бра...таться, и языком чесать, и выкобениваться, пусть воспримет господ как божество! Нежная господская ручка вваливает ему в морду сущность свою. Так индюк прививает воробью индюка! Так фокстерьер прививает дворняжке культ фокстерьера! Сова — сойке! Буйвол — собаке! Я тер глаза за портьерой, хотелось кричать, взывать о помощи, но я не мог. А Франтишек маленькой керосиновой лампой светил сбоку. Тетя! Тетя! Не обманывают ли меня глаза, не тетю ли с конфетками я вижу в дверях курительной. Промелькнула у меня надежда, что тетка, может, спасет, смягчит — нейтрализует. Нет! Она воздела руки, словно

[1] В Ветхом Завете рассказывается, что эти слова появились на стенах чертога вавилонского царя Валтасара во время пира, предвещая смерть царя и гибель государства.

собиралась крикнуть, но не крикнула, улыбнулась ни с того ни с сего, махнула рукой, еще какие-то неопределенные жесты сделала и отступила в курительную. Притворилась, что ее вовсе и нет, не приняла она того, что видела, не восприняла, доза была слишком велика — и растворилась в себе, а также растворилась в глубине комнаты, но скорее вылилась назад таким странным образом, что я засомневался, да была ли она. Константин обессилел — и опять кинулся овладевать,— а Зигмунт подскакивал сбоку и тоже овладевал собою, овладевал и овладевал, насколько мог дотянуться до парня рукой. Когда дядя отваливался, он наваливался и овладевал изо всех сил, мощно, могущественно! Сквозь стиснутые зубы они испускали, задыхаясь, словечки, такие, например:

— А, так я на лесника влез! На лесника влез! А, так бра...таться захотелось!

— А, так у меня перестарка!

И они колошматили, чтобы раз и навсегда пробить и превозмочь все это! Овладевали, но, соблюдая правила, никогда по ноге, никогда по спине, только руками избивали, добивали и вбивали в рожу! Они не бились с ним — не били его,— только били в морду! И то им было разрешено. Это формально исстари так было установлено. А старый Франтишек светил, и когда руки у них стали ватными, он тактично заметил:

— Их милости отучать красть! Их милости отучать!

Наконец они прекратили. Сели. Парень тяжело дышал, сукровица текла из уха, рожа и голова его были обработаны по всем правилам. Они угостили друг друга сигаретой, а старик подошел со спичками. Казалось, они завершили. Но Зигмунт выпустил колечко!

— Старку подай! — крикнул он.— Старку подай!

Ошалели они, что ли? Как он им старку подаст? Парень заморгал налитыми кровью зенками.

— Дык на деревни, барин!

Я потер себе лоб. Но они имели в виду не деревенскую, стыдливую перестарку Юзефку, а ту, выдержанную, зрелую, превосходную и господскую «Старку», которая стояла в буфете, в бутылке! И когда лакейчик все-таки понял и кинулся к шкафу, достал бутылку, рюмки, Зигмунт чокнулся с отцом, и они выпили по рюмке благородной, изысканной «Старки». А потом еще рюмочку! И третью, и четвертую!

— Мы уж его научим! Выдрессируем его!

И пошло, пошло... я даже усомнился, не обманывают ли меня чувства. Ибо ничто так не обманывает, как чувства. Могло ли это быть правдой? Укрытый портьерой, босиком, я не был уверен, правду ли я вижу, или все это продолжение темноты,— да можно ли босиком видеть правду, босиком? Сними ботинки, спрячься за портьерой и смотри! Смотри босиком! Ужасный кич! Не забывая зрелую, выдержанную «Старку», они принялись за дрессировку, за выделку из парня зрелого лакейчика.— Это, то принеси! — кричали они.— Рюмки! Салфетки! Хлеб, булки! Закуску! Ветчину! Накрой! Подай! — Парень бегал и метался как ошпаренный.— И они начали перед ним есть, смаковать, попивать и закусывать — овладевали едой, овладевали едой господской.— Господа пьють! — закричал Константин, опрокидывая рюмку.— Господа едять! — вторил ему Зигмунт.— Мое ем! Мое пью! Ем свое! Мое, не твое! Мое! Знай господина! — орали они и подсовывали ему под нос самих себя, овладевали всеми своими свойствами, чтобы до конца жизни не смел он критиковать и ставить под сомнение, насмешничать и дивиться, чтобы принял их как вещь в себе. Ding an sich! [1] И кричали: — Что господин прикажет, слуга должен! — и бросались приказаниями, а парень исполнял и исполнял! — Целуй меня в ногу! — целовал.— Поклонись. Падай

[1] Вещь в себе *(нем.)*.

в ноги! — падал, а Франтишек, словно на трубочке, им тактично подыгрывал:

— Их милости дрессируют! Их милости научать!

Дрессировали! За столом, залитым «Старкой», при свете маленькой керосиновой лампы! Позволено было, поскольку деревенского парня они натаскивали на лакейчика. Я хотел закричать, что — нет, нет, хватит,— и не мог. Стыдился выдать себя, что вижу. Я не знал, вижу ли я все так, как есть, не ошибаюсь ли, сколько моего в киче, который разыгрывался передо мною, может, если бы я в ботинках смотрел, не заметил бы этого. И я трясся, страшась, как бы чей-нибудь чужой взгляд, взгляд третьего лица, не прихватил меня вместе с этой сценой, как часть самой сцены. Я съеживался от помордасов, которые получал парень, меня душили отчаяние и тревога, и, однако же, смех меня разбирал, я невольно смеялся, будто мне кто-то щекотал пятки, о, Зося, Зося, если бы она была здесь, Зосю похитить, бежать с Зосей как взрослый мужчина! А они все дрессировали, дрессировали зрело, по-господски, незрелого мальчика, элегантно, с блеском даже, развалившись за столом, попивая выдержанную «Старку».

Ментус показался в дверях!

— Пущайте яво! Пущайте!

Не крикнул. Пискнул гортанно. Двинулся на дядю! Вдруг я заметил, что все видно! Видно! За окном была толпа. Парни, девки, батраки, мужики и бабы, экономки, прислуга с фольварка, из усадьбы, все смотрели! Окна не были занавешены. Ночной галдеж приманил их. Смотрели уважительно, как господа гоняють Валека — как его учуть, муструють и дрессирують на лакейчика.

— Ментус, осторожно! — крикнул я. Слишком поздно. Константин еще успел презрительно повернуться к нему боком и лишний раз хлестануть по морде лакейчика. Ментус бросился, обхватил парня, обнял его, прижал к себе.— Мой! Ня дам! Ня дам! — Пущайте! — скулил он.— Пущайте яво! Ня дам! — Сопляк! — взревел Константин.— По попочке! По попочке! По попочке получишь, сопляк! — И дядя с Зигмунтом, вдвоем, кинулись на него. Детский скулеж Ментуса привел господ в ярость. Умалить его по попочке! Лишить всякого смысла его бра...тание, при Валеке и на глазах простолюдинов за окном нашлепать по попочке! — Эй-та, эй-та, эй-та! — взвизгнул Ментус, странно скорчившись. Спрятался за парня. А тот, словно обретя в результате братания с Ментусом твердость духа и смелость по отношению к господам, с неожиданной фамильярностью звезданул в морду Константина.

— Цаво прешь? — вульгарно крикнул он.

Раскололась мистическая скоба! Рука слуги обрушилась на господский лик. Круги, звон и искры из глаз. Константин настолько не был к этому готов, что повалился с ног. Незрелость затопила все вокруг. Звон разбитого стекла. Темень. Камень, брошенный метко, разбил лампу. Окна не выдержали — народ овладел ими и стал помаленьку влезать, загустело во мраке крестьянскими частями тела. Душно, как в канцелярии управляющего. Лапы и ступни — нет, у простолюдинов нет ступней,— лапы и ноги, огромное множество лап и ног, массивных, тяжелых. Народ, привлеченный необыкновенной незрелостью сцены, потерял уважение и тоже возжаждал бра...таться. Я еще услышал визг Зигмунта, а также визг дяди — кажется, народ прибрал их к рукам и взялся за них довольно-таки неторопливо и неумело, но я не видел, ибо темно... Я выскочил из-за портьеры. Тетя! Тетя! Тетю я вспомнил. Побежал босиком в курительную, схватил тетю, которая на диване старалась не существовать, и давай тянуть, пихать ее в кучу, дабы она смешалась с кучей.

— Деточка, деточка, что ты делаешь? — молила, брыкалась и конфеткой угощала, но я именно как ребенок тяну и тяну ее, тяну в кучу, впихиваю, она уже там, они ее уже держат! Тетка уже в куче! Уже в куче! Я бросился наутек. Не удирать — гнать, лишь гнать, ничего боль-

ше, лишь гнать, гнать, погоняя себя и шлепая босыми ножками! Вылетел на крыльцо! Луна выплывала из-за туч, но это была не луна, а попочка. Попочка неимоверных размеров над верхушками деревьев. Детская попочка над миром. И попочка. И все, только попочка. Там они катаются скопом, а тут попа. Листики на кустах дрожат на легком ветерке. И попочка.

Смертельное отчаяние меня схватило и прижало к себе. Я был оребячен вдребезги. Куда бежать? Возвращаться в усадьбу? Там ничего — шлепки, хлопки, перекатывание кучи. К кому обратиться, что делать, как расположиться в мире? Где поместиться? Я был один, хуже, чем один, ибо оребячен. Не мог я долго один, без связи с ничем. Побежал по дороге, перепрыгивая через сухие прутики, словно кузнечик. Я искал связи с чем-нибудь, новой, хотя бы временной структуры, дабы не торчать торчком в пустоте. Тень оторвалась от дерева. Зося! Схватила меня!

— Что там произошло? — зашептала она.— Крестьяне напали на родителей?

Я схватил ее.

— Бежим! — ответил я.

Вместе удирали мы полями в неведомую даль, и она была, как похищенная, и я — как похититель. Мы бежали по меже, пока хватило нам сил. Остаток ночи провели на крохотном лужку у воды, забравшись в камыши, дрожа от холода и стуча зубами. Кузнечики верещали. На заре новая попочка, стократ краше, румяная, появилась на небосклоне и залила мир лучами, заставив все предметы отбрасывать длинные тени.

Неизвестно было, что делать. Я не мог объяснить и изъяснить Зосе, что произошло в усадьбе, ибо стыдился, да к тому же и не находил слов. Она, пожалуй, более или менее догадывалась, ибо тоже стыдилась и просто не могла высказаться. Сидела в камышах над водой и покашливала, ибо сыростью тянуло от камышей. Я пересчитал деньги — у меня было около 50 злотых и еще немного мелочью. Теоретически рассуждая, следовало бы дойти пешком до какой-нибудь усадьбы и там просить помощи. Как же, однако, изъясниться в такой усадьбе, как изобразить всю историю, стыд не позволял слова вымолвить, и я предпочел бы скорее провести остаток дней в камышах, чем предстать со всем этим перед людьми. Никогда! Лучше уж посчитать, что я ее похитил, что мы вместе бежим из родительского дома, это было куда более зрелым — более легким для восприятия. И, допустив это, я не должен был ей ничего ни объяснять, ни втолковывать, поскольку женщина всегда допускает, что ее любят. Под этим предлогом мы могли бы тихой сапой добраться до станции, поехать в Варшаву и начать там новое житье втайне перед всеми — а тайна эта была бы оправдана моим похищением.

Итак, я запечатлел поцелуй на ее щеке и признался ей в страстном чувстве, стал просить прощения, что похитил ее, втолковывал, что ее семья никогда не согласилась бы на союз со мною, поскольку я не был достаточно состоятелен, что с первого же мгновения я воспылал к ней чувством и понял, что и она пылает ко мне тем же самым.

— Не было иного выхода, кроме как похитить тебя, Зося,— говорил я,— убежать вместе.

Поначалу она немножко удивилась, но спустя четверть часа объяснений стала строить мины, поглядывать на меня, поскольку я на нее поглядывал, и перебирать пальцами. О крестьянах и анархии в усадьбе совсем позабыла, ей уже казалось, что она действительно мною похищена. Безумно ей это льстило, ибо до сих пор она только рукодельничала, или училась, или сидела и глазела, или скучала, или ходила на прогуки, или смотрела в окно, или играла на фортепьяно, или занималась филантропией в организации «Сполем» [1], или сдавала экзамены по

[1] Союз потребительских кооперативов, основанный в Варшаве в 1908 г.

выращиванию овощей, или флиртовала и танцевала под звуки музыки, или ездила на курорты, или вела беседы и смотрела через оконные стекла вдаль. И совсем потеряла надежду найти такого, кто даст ей надежду! А такой тут не только нашелся, но еще и похитил! Итак, она мобилизовала все свои способности полюбить и полюбила меня — поскольку я ее полюбил.

А тем временем попочка воспаряла вверх и сияла миллиардом искрящихся лучей над миром, который был вроде бы как макетом мира, вырезанным из картона, покрашенным в зеленый цвет и освещенным сверху жарким огнем. Глухими тропками, избегая человеческих поселений, стали мы прокрадываться к станции, а путь был далек — двадцать с лишним километров. Она шла, и я шел, я шел, и она шла, итак, шли мы, сообща поддерживая наше шествие, шли под лучами беспощадной, лучистой и сверкающей попочки, ребячьей и оребячьивающей. Кузнечики прыгали. Сверчки трещали в траве. Птички сидели на деревьях или порхали. При виде какого-нибудь человека мы сворачивали или прятались в придорожных кустах. Но Зося уверяла меня, что знает дорогу, так как тысячу раз ездила туда в повозке или открытом экипаже, в бричке или на санях. Жара нас допекла. К счастью, мы сумели тайно подкрепиться молоком, высосав придорожную корову. И опять шли. И все время, по причине объявления о любовных чувствах, мне приходилось поддерживать любовный разговор и ухаживать, скажем, оказывать помощь на досках, переброшенных через ручей, отгонять мух, спрашивать, не устала ли,— и выкидывать много иных знаков расположения и благосклонности. На что она подобным же образом спрашивала, обмахивала меня и выказывала мне. Я страшно устал, ох, только бы добраться до Варшавы, освободиться от Зоси и начать жить сызнова. Я хотел ее поэксплуатировать единственно как предлог и видимость, дабы относительно зрело отдалиться от кучи в усадьбе и добраться до Варшавы, где спустя некоторое время я уже смог бы устроиться сам. Но пока мне предстояло интересоваться ею и вообще вести интимную беседу двух людей, которые находят друг в друге наслаждение, а Зося, как говорилось, охваченная моим чувством, становилась все активнее. А попочка, неправдоподобно жарившая и вознесенная на высоту шести миллиардов кубических километров, опустошала долину мира.

Это была деревенская барышня, воспитанная своей матерью, а моей теткой, Гурлецкой, урожденной Лин, а также прислугой — до сего дня она либо немного училась и посещала Высшую школу садоводства и Торговые курсы, либо чуток варила варенье, либо помаленьку собирала смородину, либо развивала ум и сердце, либо немного сидела, либо подрабатывала в конторе в качестве технической сотрудницы, либо капельку играла на фортепьяно, либо чуть-чуть ходила и говорила что-нибудь, но прежде всего она ждала и ждала того, кто придет, полюбит, похитит. Это была великая специалистка по ожиданию, мягкая, податливая, робкая, и оттого у нее часто болели зубы, так как она великолепно подходила к приемной стоматолога, а зубы ее знали об этом. И вот теперь, когда наконец ожидавшийся явился и похитил, забрезжил этот торжественный день, она развернула интенсивную деятельность и принялась красоваться, выказывать, выворачивать наружу все козыри и демонстрировать их, чуть гримасничая, улыбаясь и подпрыгивая, закатывая глаза, смеясь зубами и радостью жизни, жестикулируя или напевая мелодию под нос, дабы дать свидетельство своей музыкальной культуры (ибо она немного играла на фортепьяно и умела исполнить «Лунную сонату»). Кроме того, она выдвигала и выставляла те части тела, которые были получше, худшие прятала. А я должен был смотреть и поглядывать, прикидываться, будто меня это забирает, и вбирать это в себя... А попочка, возвышенная и высокая, на безбрежной голубизне небес господствовала над миром и светилась, яснела, блестела и, пригревая, припекая, иссушала травы и растения. А Зося, поскольку

она знала, что люди в любви счастливы, была счастлива — и поглядывала лучистым, ясным взглядом, и я тоже должен был поглядывать. И она шептала:

— Я бы так хотела, чтобы всем было хорошо и чтобы все были счастливы, как мы,— если все будут добрые, то все будут счастливы.

Или говорила:

— Мы молоды, любим друг друга... Нам принадлежит мир! — И льнула ко мне, а я к ней должен был льнуть.

И в убеждении, что я люблю, она раскрылась передо мною, и разоткровенничалась, и стала говорить со мною искренне и доверительно, чего никогда ни с кем себе не позволяла. Ибо до сих пор она панически боялась людей, и, будучи воспитана моей, уже захваченной кучей теткой, Гурлецкой, урожденной Лин, а также прислугой в известной аристократической изоляции, она никогда ни с кем не откровенничала из опасения подвергнуться критике или быть истолкованной неправильно, и она была словно бы внутренне неустроенной, не определенной и не обозначенной, не проконтролированной и не уверенной в том впечатлении, которое она производит. Она непременно нуждалась в доброжелательстве, не могла без доброжелательства, могла говорить только с тем, кто загодя и a priori был настроен к ней доброжелательно, тепло... Но теперь, видя, что я люблю, и полагая, что нашла себе теплого поклонника a priori, абсолютного, который все, что она ни скажет, примет с любовью, ибо любит, она стала откровенничать и выворачиваться наизнанку, рассказывала о своих печалях и радостях, вкусах и симпатиях, энтузиазме, иллюзиях и разочарованиях, восторгах, чувствах, воспоминаниях и обо всех мелких подробностях — ха, нашла-таки того, который л ю б и т, перед кем можно в ы г о в о р и т ь с я, уверенная в безнаказанности, уверенная, что все будет принято без последующего наказания, с любовью, тепло... А я должен был подтверждать и принимать, восторгаться...

И она говорила: — Человек должен быть всесторонним, совершенствоваться духовно и физически, должен всегда быть прекрасным! Я за полноту человечности. По вечерам я люблю упереться лбом в оконное стекло и закрыть глаза, я так отдыхаю. Я люблю кино, но обожаю музыку.— Я же должен был подтверждать. И она продолжала щебетать, что утром, проснувшись, она обязательно трет себе носик, уверенная, что носик не может оставить меня равнодушным, и заливалась смехом, и я тоже заливался. А потом печально говорила: — Знаю, что я глупа. Знаю, что ничего как следует не умею. Знаю, что некрасивая... А я должен был отрицать. А она знала, что я отрицаю не во имя действительности и не ради правды, но только потому, что люблю, и она принимала эти отрицания с наслаждением, восхищенная, что нашла абсолютного поклонника a priori, который любит, который соглашается, принимает и воспринимает все-все доброжелательно, тепло...

О, мука, которую мне приходилось выносить, дабы спасти по крайней мере видимость зрелости на этих тропках, бегущих по стерне, когда там, вдалеке, катались и гадко тузили друг друга народ и господа, а высоко подвешенная попочка, жуткая, безжалостная, зенитилась, сияла наконечниками лучей, миллиардами стрел — о, теплое доброжелательство, убивающая, стреноживающая нежность, взаимное восхищение, влюбленность... О, наглость этих бабенок, таких падких к этой сыгранности любви, так скорых на то, чтобы стать объектом восторга... Как она смела, будучи мягкой, ничтожной и никакой, соглашаться на мой пыл и принимать культ, лакомо, алчно насыщаться моим поклонением? Существует ли на земле и под попочкой, раскаленной и пышущей жаром, вещь более страшная, чем это женское теплецо, это стыдливое, доверчивое самообожание и втягивание в себя?.. И что еще хуже, дабы ответить взаимностью и подкрепить соглашение о восторге, она стала восторгаться мною — и с интересом, со вниманием принялась расспрашивать меня обо мне не потому, что действительно интересовалась, а

брала реванш — ибо знала, что, если она будет мною интересоваться, я тем более буду интересоваться ею. Так я был принужден говорить ей о себе, а она слушала, положив головку мне на плечо, и время от времени перебивала вопросами, чтобы подчеркнуть, что слушает. И в свою очередь кормила меня своим восторгом, прильнув ко мне, влюбленная, что, мол, так я ей нравлюсь, что сразу же я произвел на нее впечатление, что она любит все больше, что я такой смелый, такой отважный...

— Ты меня похитил,— говорила она, упиваясь своим говорением.— Не всякий на такое решился бы. Полюбил и похитил, ни о чем не спрашивал, только похитил, не испугался родителей... нравятся мне твои глаза, смелые, бесстрашные, хищные...

И под ее восторгом я извивался, как под кнутом дьявола, а попочка, огромная, инфернальная, светила и пронизывала сверху, словно универсальный знак вселенной, ключ ко всем загадкам, абсолютный знаменатель вещей. Вот, прильнув ко мне, она лепила меня для себя и тепло, несмело, неумело превращала меня в миф по своему вкусу, и я чувствовал, что она неумело обожает мои достоинства и добродетели, отыскивает их и находит, распаляется и разжигает себя... Взяла мою руку и стала ее ласкать, и я тоже ласкал ее руку — а попочка, инфантильная, инфернальная, подбиралась к зениту, к кульминации и жарила сверху вертикально вниз.

И, повешенная у самой вершины пространства, она испускала свои золотистые, серебристые лучи на всю юдоль от горизонта до горизонта. А Зося все крепче прижималась ко мне, все теснее соединялась со мной и вводила меня в себя. Спать мне хотелось. Я не мог уже ни идти дальше, ни слушать, ни отвечать, однако же, должен был идти, слушать, отвечать. Мы шли по каким-то лугам, а на этих лугах трава была зелено-зеленая и зеленеющая, вся в желтых калужницах, но калужницы были робкие, прильнувшие к траве, а трава немного скользкая, влажная и чуточку подмокшая, жарко курившаяся под неумолимым пеклом сверху. Много появилось и примул по обеим сторонам тропинки, но примулы были какие-то чайные и квелые. Много на склонах анемонов, много дынь. В воде, во влажных канавках водяные лилии, бледные, выцветшие, нежные, белесые, в полнейшем покое и в припекающем, душном зное. А Зося все льнула и откровенничала. А попочка покушалась на мир. Низенькие деревца, само вещество которых было как бы худосочным и хворым, походили скорее на грибы и были так напуганы, что, когда я дотронулся до одного, оно тут же треснуло. Тьма чирикающих воробьев. Сверху облачка, розовые, беловатые и голубоватые, а может, муслиновые, плохонькие и чувствительные. И все неопределенно в своих очертаниях, все так размазано, тихо и стыдливо, все такое притаившееся в ожидании, нерожденное и неопределенное, что, в сущности, ничего здесь не было отделено и выделено, но каждый предмет соединялся с другими в сплошное месиво, белесое, пришибленное, тихое. Хилые ручейки журчали, омывали, иссякали и испарялись, либо кое-где побулькивали, образуя пузырьки и пену. И мир этот уменьшался, словно бы становился теснее, сжимался, а сжимаясь, напрягался и напирал, даже стискивал шею, как нежно душащий ошейник. А попочка, абсолютно инфантильная, отвратительно покушалась сверху. Я потер лоб.

— Что это за местность?

А она повернула ко мне свое бедное, хрупкое, усталое лицо и ответила стыдливо и нежно, тепло прильнув к моему плечу:

— Это моя местность.

У меня перехватило горло. Сюда она меня привела. Ах, так, все это, значит, было ее... Но мне хотелось спать, голова моя свесилась, не было сил — ох, оторваться, отодвинуться хотя бы на шаг, отпихнуть на расстояние руки, ударить злобой, сказать что-нибудь недоброжелательное, разбить — быть злым, ах, быть нехорошим для Зоси! Ах, быть нехорошим для Зоси! «Я должен, должен,— думал я сонно, а голова моя упала на грудь,— я должен быть нехорошим для Зоси!» О, холодное как

лед, спасительное, живительное недоброжелательство! Самое время быть нехорошим. Нехорошим должен я быть... Но как же быть мне для нее нехорошим, когда я хороший — когда она меня завоевывает, пронизывает меня своею добротой, а я своею ее пронизываю, и льнет ко мне, и я к ней льну... помощи ниоткуда! На этих лугах и полях среди робкой травы только мы двое — она со мной, и я с нею,— и нигде, нигде никого, кто бы спас! Я только один с Зосей — и с попочкой, словно бы замершей на небосклоне в своем абсолютном постоянстве, лучистой и излучающей, ребячьей и оребячьивающей, замкнутой в себе, погруженной в себя, сосредоточенной в себе и зенитной в застывшей кульминационной точке...

О, третий! На помощь, спасите! Прибудь, третий человек к нам двоим, приди, избавление, явись, дай мне уцепиться за тебя, спаси! Пусть же он прибудет сюда сейчас же, немедленно, третий человек, чужой, незнакомый, сдержанный и холодный, чистый, далекий и нейтральный, пусть он, как морская волна, ударит своей чужеродностью в эту душную свойскость, пусть оторвет меня от Зоси... О, третий, приди, дай мне опору для сопротивления, позволь зачерпнуть из тебя, приди, живительное дуновение, приди, сила, оторви меня, отцепи и отдали! Но Зося прильнула ко мне еще нежнее, теплее, ласковее.

— Чего ты зовешь и кричишь? Мы одни...

И подставила мне рожу свою. А у меня недостало силы, сон напал на явь, и я не мог — должен был поцеловать своею рожею ее рожу, ибо она своею рожею мою рожу поцеловала.

А теперь прибывайте, рожи! Нет, я не прощаюсь с вами, чужие и незнакомые морды чужих, незнакомых морд, которые будут меня читать, я приветствую вас, приветствую, прелестные букеты из частей тела, теперь пусть только и начинается — прибудьте и приступите ко мне, начните свое тисканье, пристройте мне новую рожу, чтобы снова надо было мне удирать от вас в других людей и гнать, гнать, гнать через все человечество. Ибо некуда удрать от рожи, кроме как в другую рожу, а от человека спрятаться можно лишь в объятиях другого человека. От попочки же вообще нельзя удрать. Преследуйте меня, если хотите. Я убегаю с рожею в руках.

Вот и все — пропел петух,
А читал кто, тот лопух!

В. Г.

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Гомбрович

От редакции

Знакомство с Витольдом Гомбровичем, впервые представленным советскому читателю, редакция собирается продолжить, напечатав в одном из ближайших номеров статью советского критика о его творчестве, сложном и многогранном. Публикацию романа «Фердидурка» мы решили завершить маленьким эссе другого известнейшего польского писателя, живущего в эмиграции, Славомира Мрожека, тоже после долгого молчания «открытого» читающей публике «Иностранной литературы». Эссе впервые было опубликовано во Франции в 1971 году, в сборнике, посвященном творчеству Гомбровича [1].

Витольд Гомбрович преследует меня, точно кошмар. Но моя жизнь без этого немыслима.

Главная примета кошмара — от него никуда не скроешься. Помимо твоей воли он всегда с тобой, рядом. Гомбрович вошел в мою жизнь раньше, чем я узнал о его существовании. Мне было двадцать лет, когда я прочел в кругу писателей один из первых рассказов, и кто-то из старших сказал: «Напоминает Гомбровича». Я никак не отреагировал, потому что не знал, хорошо это или плохо. Гомбрович — просто

[1] Cahier de L'Herne. Paris, 1971 г.

слово. Похожее по звучанию на а м б р у, светлое и плотное, причем упругая его сила разрешается в конечном слоге. Я был образцовым продуктом эпохи, когда о каком-нибудь писателе из Казахской ССР полагалось знать больше, чем о Гомбровиче.

Несколько лет спустя я прочел «Транс-Атлантик». Потом — «Фердидурку», «Венчание», «Ивону». К «Транс-Атлантику» я поначалу относился с неприязненным чувством и даже иронией и скепсисом, как следует относиться к классовому врагу. Ничего в нем не понял, ибо не хотел ничего понимать. Думал то, что думают и сегодня оставшиеся на уровне моей тогдашней недоразвитости: ловкая штука — и странная. Однако после «Фердидурки» пересаженная ткань прижилась. Хотя я не помню шока, потрясения — это пришло позже, когда я почти тридцатилетним читал «Порнографию». А «Фердидурка» погрузил меня в тихое наслаждение: впервые многие вещи были названы своими именами.

Гомбрович проникал в меня неспешно, неспешно стремился наружу. Как примирить это с его постоянным и вечным присутствием в моей душе — не знаю. Шок и открытие одновременно? Да, если говорить о поверхностном слое сознания, совершавшееся там, в бездне,— неведомо. Вот я прочел «Венчание» и «Ивону», не слишком хорошо понимая, что́ читаю. Тем не менее сегодня, как драматург, я должен сопротивляться духу и форме его произведений. И то и другое, по всей очевидности, глубинно и тайно живет во мне.

И все-таки мне неясно, почему Гомбрович преследует меня, точно кошмар. Ведь я тоже писатель и, кроме прочего, польский писатель — у меня те же корни, тот же язык как средство самовыражения, со всем тем, что включает наша речь. Не касаясь сейчас сферы его воздействия, его силы, особенности дарования и других отличительных черт, скажу о вещах более очевидных и для меня болезненных. Хотя бы только об одной: Гомбрович знает себе цену и крепко сидит в седле, он не только достиг вершины, но и примет бой, чтобы удержаться на высоте. Впрочем, и эта высь, и желанье боя, и сам бой — с личностной, эстетической, даже формалистической точки зрения — редкое, удивительное, короче, прекрасное зрелище. А меня порой (чего иногда не вообразишь) наполняет животная вера (не могу определить иначе это состояние, неподвластное никакому анализу), наполняет вера, надежда, убежденность, что со мной случится — если уже не случилось — то же самое.

Та особенность, о которой я говорю сейчас, достаточно очевидно связана с краеугольным камнем диалектики Гомбровича — понятием зрелости / незрелости. Ему было за сорок, а мне двадцать (и даже для двадцатилетнего я отличался потрясающей незрелостью). Сегодня молодость далеко позади, но ничто не изменит для меня основного итога: Гомбрович создал пространство, куда должны вступать его наследники, а я хотел бы пересечь оное и оказаться вовне. Главный из взрослых людей — отец: он создает домашний очаг, окружение, обстановку, ожидающую новорожденного. Но ребенок вырастает, и он должен принять наследство, хотя когда-нибудь он и распорядится им по-своему. Вот истоки моего двойственного отношения к Гомбровичу — я назвал бы его «борьбой за независимость». Да, «независимость» — хорошо звучит, но в этом слове скрыто другое — «зависимость».

И еще: феномен польской культуры существует на ограниченном пространстве, и желающий свободно передвигаться в нем вынужден расталкивать прежде не столь стесненных собратьев. Иначе говоря, нельзя избежать столкновения в жизненно важном для поляков творчески-плодородном круге. Без Гомбровича я обеднею. Но рядом с ним мне трудно быть самим собой. Воздействие, оказываемое Гомбровичем, сильно и мучительно, и в то же время оно — залог избавления от ~~его~~ чар. Ибо, если хочешь выжить, надо противостоять им с равной силой. А такое воздействие побуждает к творчеству.

Перевод с французского И. ИСТРАТОВОЙ

НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
1990

ОКТАВИО ПАС

Из книги «Восточный склон»

Перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Слово

(фрагмент из цикла «Пробел») *1*

Слово —
начало
ночное
семя
вызрело борозде
в
и
на кончике
языка
неслыханное
невиданное
неповторимое
слово
снова
обременило
обезвесило
без времени
без возраста
но — с корнями
безвинное многосмыслия
слово
слово и вне языка
без имени
Вверх вниз
лестница обольщений
речь вырезанного
междуречья
под кожей нехоженых троп
Лабиринт
мерцающей лампады
Золотой луч
выживший

в медном молчании тьмы
Слово — слива
налившаяся в листьях
леса ясновидения
Прибежище рухнувшей яви
Подсолнечник
вздетый на стебель
как голова — на пику
Луч тьмы
в стакане
и тлена
на ладони
Ни сном ни духом
не предугаданный
цветок —
вдох
выдох:
золотой потир
чаша
подожженной чащи
согласных и гласных
Колосится
колотится колоколом
колеблется
клокочет
клубится
пламенем
на объятой огнем
башне
Бушует плач льва
длинное пламя львицы —
опадают бенгальские листья
корчатся в огне наши тени
Пан и Маг
и магнитная магия ночи
Ты разделась
посреди
девственных
дерев костра
и страсть
стрельнула
головешкой
в гордый
город
всюду — пламя
Снова — слово...

Почерк

Рисую буквы:
так день
рисует
ристалище своих
роз-
образов...
День дунет на них —
и уйдет...

Письмо Леону Фелипе

в ответ на его стихи и послание,
где он сетует по поводу того,
что мы разминулись в Мехико
прошлым летом 1967 года

Леон [1]
то бишь Лев:
пятый знак зодиака
львиная доля небесного диска
Лев: лейб-лик солнца
а солнечный лик
и есть человечье лицо
Соль земли
пятая нота неба —
соль:
синь и сон и сын
пятого света — Леон
Фелипе
дорогой
добрый день
Сегодня взошло надо мной
солнце твоего послания
взревел твой Лев
посреди буддистских гробниц
под нетронутым небом
где срезаны грозди
черных созвездий
упавших в светящийся ил
священной реки Джамуны [2]
Читаю свет
твоих стихов
и на пятерне их лучей
оживают цветы и цвета:
изгибы трепещущих тел
то снуют наяву
то снова снятся
Домашняя утварь — под стать
уличным канатоходцам:
плавает в воздухе
пара говорящих попугаев
бросая вызов
законам языка
и тяготенья
Что улюлюкаете?
Вот и улетели!
Господи как светятся слова!
Шелест крыльев? Светание мира
готового к свиданию с незримым
и к участи невидимого?
Да научимся видеть слышать говорить
по законам мгновения
ибо оно и есть наша профессия
Отлить в меди смуту
смятенья
обрамить обручем

---

[1] Леон Фелипе (1884—1968) — выдающийся испанский поэт; после победы Франко жил в Латинской Америке и умер в Мехико. *(Прим. перев.)*

[2] Приток Ганга. *(Прим. перев.)*

головокруженье
по рецепту Рембо?[1]
Слова сливаются в слюду
возвращаясь из полета
в плен неподвижности
Еще Батай[2] заметил
что заметки —
единственно доступный людям жанр
Значит и поэтам — тоже
Поэзия — заметки на полях
ждущие своего ластика
Всякий новый поэт
стирает предыдущего
Писать стихи означает
писать наперекор написанному
Поэтому все еще не написанное
есть уже давно написанное:
«Сказав, что в данной фразе смысла нет,
я в ней зажег нежданной мысли свет»[3]
Поэзия — это умение
читать еще не сочиненное
Почерк поэта не запечатлит
того чем мы были
но прочертит дорогу
к тому что мы есть
Леон
ты мне пишешь что Поэт
это прежде всего Вопрошатель
Ведь он рисует знак вопроса
перед каждой межой
отделяющей грядущий шаг
от предыдущего
Но поэт — говоришь ты — это
еще и сокрушитель вопросов
ибо Поэзия — это Мгновенно
Наносимая Рана
рана которую заново
вскрывает каждый
вдумчивый читатель
Ее незатянувшийся шрам
и есть вечность
Между прочим
смерть Че Гевары
это такой же
след ножа
который не станет шрамом —
поэзия не рубцуется
Поэзия — это пропасть
между двумя словами
безупречно сведенными вместе
Леон:
лучится звездный свет
струится беспощадно
на каждую твою букву
на спящего котенка

---

[1] «Запечатлеть головокруженье» — цитата из «Алхимии слова» А. Рембо. *(Прим. автора.)*

[2] Анри Феликс Батай (1872—1922) — французский драматург и поэт. *(Прим. перев.)*

[3] Двустишие Батая из его «Внутреннего опыта». *(Прим. автора.)*

на соловья осоловевшего в потемках
на обнаженную кожу
моей полууснувшей подруги
Женское тело — тоже
межа если не пропасть
Про́пасть ибо — пропа́сть
в недостижимой близости
от бредового берега
к которому нет брода:
пропа́сть — проснуться
в самом всамделишнем свете
отрицающем смерть
и отринувшем нас
Леон Фелипе
прощай и здравствуй
Мы разминулись в Мехико
но встретились на перекрестке
скрестившихся лучами строк:
в певучем вихре звуков
уносимых ледяным
и неподвижным ветром

Со всем согласный

Карлосу Фуэнтесу

Вверху — влага
Внизу — лес
вдоль верст — ветер
Но не
колы́хнется в колодце
кольцо воды
Вода снизойдет до корней
Небо возвысится до губ

Где без кого?

И нет
ни души в роще
Душа моя
где ж ты и где я?

Ма́йтхуна[1]

Мои глаза
открыли крылья
твоей наготы
Ты
в теплом плену
сплетенном ливнем
гладящих взглядов

---

[1] Майтхуна — влюбленные пары в эротических позах в храмовой скульптуре Индии; в трактовке индусов и буддистов один из путей постижения Бога; телесный союз, ведущий к Озарению. *(Прим. автора.)*

*

Клетка звуков
распахнута в утро
Снежные ягоды рассвета
белей твоих ягодиц
Твой смех —
смятенье листьев
Лунный свет
и есть твоя
ночная сорочка
Врываешься в лунный луч
вскочив с постели
Поющая спираль
взбирается вверх
взрезая белизну
безвинного озера

*

Вот и взорвался
мой луч
в озере
твоей тьмы
Твой вскрик
вскрылил
крутизну тени
но —
сколько у тебя тел?
Все
сплелись
в одно...

*

Вот она —
вертикаль
Жажда горизонтали
Дрожит зеркальная сталь —
«Ну же!» — ножей... Скрижали
помнят:
впадаешь вдруг
в двуречье
моих рук

*

Плывешь
в пламени тьмы
быстрая как искра
и тень твоя светла
в моих объятьях
Но — темно твое тело
Выбрасываешься на берег
дельфинами «когда?»
и «почему?» и «разве?»
И от улыбки твоей
вспыхивает на тебе сорочка
И влажнеют мои глаза
И тело твое обвивает
огнем твою тень
Раскачиваешь качели
детских страхов — глядят

из оголенной глубины
твои глаза в лицо и в луч
любви:
лети над лютым лихом
листом и лепестком
и тело твое тем светлей
чем чернее твоя тень —
смеешься над золотом
своей золы...

*

Бургундское солнце
Вино и вина
Язык из огня
Кровь костра или остов?
и волосы льются твои на меня
на груди твои:
этот почерк не просто —
где простыни — вышил
в сто огненных игл
любовные литеры — либо ли любо —
одежды тебя раздевают... Сто игр
играют со мною в игру однолюба
И льется твой голос
в гудящий кувшин
горячего зелья
на знаки закона —
и зной изнывавшей змеи
до вершин
заснеженных даже достигнет — но крона
дождя
под которым созрел виноград
ощупанный каждым трепещущим пальцем
прольется как ливень
как луч — наугад
на смутную месть
и на плоть и на пяльцы
где нынешней ночью натянута ткань
чьи листья разорваны
ровным напором
где стерта меж солнцем
и полночью грань
где дерево тела
и смерти —
как порох...

*

Вчера
в твоей постели
нас было трое:
ты я и — луна

*

Вламываюсь
в губы твоей ночи:
властная влажность
властительницы эхо
вспененная
волна
взволнованной
влаги...

*

Уснуть в тебе
а лучше — проснуться
открыть глаза в твоей сердцевине
Черное белое черное
Черт побери —
солнце
бессонницы
и память — маятник пламени
мое пламя
в твоей памяти

*

И облако —
волоком
влаги
и новость —
в обличье ножа
и стебель
сочащейся шпаги
и снег
и камин
кутежа
И пламя
оплавленной встречи
языческого языка
с трепещущей розой
и с речью
лепечущего
лепестка...

Эссе разных лет

Перевод с испанского и составление Н. БОГОМОЛОВОЙ

Архипелаг — чернилами и желчью

В 1947 году я прочитал, похолодев душой, книгу Давида Руссе о гитлеровских концлагерях «Дни нашей смерти». Написанное Руссе произвело на меня двойное впечатление: это был рассказ жертвы нацистов и одновременно — блестящий социально-психологический анализ того обособленного мира, что явили собой концлагеря XX века. Два года спустя Руссе напечатал во французской прессе еще один сенсационный материал: человекоубийственная индустрия процветала также и в Советском Союзе. Многие восприняли его разоблачения с ужасом и недоверием, как если бы обнаружили тайную проказу на теле Венеры. Коммунисты и их сторонники выступили с гневной отповедью: материалы Руссе — грубая фальшивка, состряпанная службами пропаганды американского империализма. Не лучше повели себя и интеллигенты-«прогрессисты». Своеобразную позицию заняли на страницах «Тан модерн» Жан-Поль Сартр и Морис Мерло-Понти (см. № 51 и 57 этого журнала за январь и июль 1950 года). Оба философа не пытались отрицать факты или приуменьшать их значение, но отказались сделать из них выводы, которые заставили бы задуматься: что в большей степени повлияло на формирование сталинского тоталитаризма — экономическая и социальная отсталость России и ее авторитарное прошлое или ленинская концепция Партии? Не был ли Сталин со своими лагерями принуди-

© 1973, 1979 Editorial Joaqín Mortiz, México.

тельного труда порождением той антидемократической, основанной на терроре линии, какую большевики проводили с самого момента завоевания ими власти в 1917-м?

Несколько лет спустя Мерло-Понти ответы на эти вопросы искал в своих «Приключениях диалектики», опровергавших в какой-то мере его же «Гуманизм и террор» — книгу, о написании которой в конце жизни он очень жалел. Что касается Сартра, нам известна его точка зрения. Еще в 1974 году он продолжает утверждать, хотя и с большим сожалением, что как насилие, так и диктатура — неизбежны. И диктатура не определенного класса, а определенной группы: «...насилие необходимо, чтобы перейти от одного общества к другому, но я не знаю, какого типа общество может сменить нынешнее. Диктатура пролетариата? По правде говоря, не думаю: диктатура всегда будет осуществляться всего лишь представителями пролетариата, а это нечто совсем иное...» («Монд», 8 февраля 1974 года). Пессимизм Сартра имеет по крайней мере одно преимущество: игра идет в открытую. Но в 1950-м плененные дилеммой, в ложности которой мы сегодня уверены, оба французских писателя решили осудить Давида Руссе: их бывший товарищ, рассказывая на страницах крупнейших буржуазных газет о советской репрессивной системе, стал орудием «холодной войны» и играл на руку врагам социализма.

В те годы я жил в Париже. Полемика, развернувшаяся вокруг русских концлагерей, поразила и потрясла меня: под сомнением оказалась состоятельность исторического замысла, заставившего воспылать сердца и умы лучших людей нашего времени. Революция 1917 года, как говорил Андре Бретон как раз в те далекие годы, явилась миру сказочным животным, чем-то напоминавшим зодиакального Овна: «Если насилие и свило себе гнездо меж его рогами, то в глубине глаз сияет настоящая весна». Теперь те же глаза смотрели на нас пустым взором убийцы. Я собрал и подготовил документы и свидетельства, которые, не оставляя и тени сомнения, доказывали существование в СССР широкой репрессивной системы, основанной на принудительном труде миллионов граждан и ставшей составной частью советской экономики. Виктория Окампо[1] узнала о моей работе и еще раз показала свою нравственную твердость и решительность: она попросила прислать все собранное вместе с короткой вступительной заметкой для публикации в журнале «Сур». Интеллигенты-«прогрессисты» в ответ промолчали. Никто не откликнулся на мое исследование, зато с новой силой разгорелась кампания клеветы и нападок на меня, начатая за несколько лет до того Нерудой и его мексиканскими друзьями. Кампания, продолжающаяся и сегодня. Правда, меняются ярлыки, но сохраняется их оскорбительный смысл: я был по очереди космополитом, формалистом, троцкистом, агентом ЦРУ, либеральным интеллигентом и даже — «структуралистом на службе у буржуазии».

Мой комментарий повторял общепринятое объяснение: советские концлагеря порочат лицо режима, но они не воплощают собой черту, внутренне присущую системе. Да, говорить так в 1950 году было политической ошибкой, но утверждать это сейчас, в 1974-м,— больше чем ошибка. Меня, как и многих из тех, кто занимался этим вопросом, особенно поразила экономическая роль исправительно-трудовых лагерей. Я полагал, что в отличие от нацистских лагерей — подлинных лагерей уничтожения — советские были жесткой формой эксплуатации, в чем-то схожей со стахановским движением. Одной из «шпор индустриализации». Я заблуждался: сейчас мы знаем, смертность в лагерях незадолго до второй мировой войны составляла 40%, в то время как производительность труда каждого работающего не превышала 50% от производительности свободного труженика... Публикация произведений Роберта Конквеста о великих чистках дополнила свидетельства прошедших через них людей (большинство из них — коммунисты) и закрыла дискуссию. Вернее сказать: перенесла ее в другой план. Так как функция лагерей — иная.

Если экономическая выгодность лагерей более чем сомнительна, их политическая функция выглядит одновременно и странной, и омерзительной. Лагеря не средство борьбы против политических противников, а форма наказания для побежденных. Тот, кто попадает в лагерь, не активный оппозиционер, а поверженный, беззащитный человек, уже неспособный оказывать сопротивление. Той же логике подчинялись чистки и кампании по выявлению врагов народа: это не эпизоды политических или идеологических боев, а широкомасштабные церемонии очищения от греха, ритуалы возмездия. По-

---

[1] Виктория Окампо — аргентинская писательница. *(Здесь и далее, кроме оговоренных особо,— прим. перев.)*

каяния и самообвинения делают побежденных соучастниками палачей, так что сама могила превращается в помойную яму. Печальнее всего то, что большинство заключенных в лагерь не являются политическими оппозиционерами, они — «преступники», принадлежащие всем стратам советского общества. Во времена Сталина население лагерей превысило пятнадцать миллионов. После либеральной реформы Хрущева оно уменьшилось и сегодня колеблется между одним и двумя миллионами человек, из них, по мнению специалистов в этой мрачной материи, лишь десять тысяч могут быть причислены к политическим заключенным в строгом смысле слова. Трудно поверить, но остальные — миллион человеческих существ — преступники, по крайней мере в том смысле, какой мы в наших странах вкладываем в это понятие. Политическая и психологическая функции лагерей проясняются: речь идет об институте, если можно так выразиться, профилактического террора. Целый народ, даже при относительно более гуманной власти Хрущева и его преемников, живет под угрозой заключения. Удивительное переосмысление догмы о первородном грехе: каждый советский гражданин может быть отправлен в исправительно-трудовой лагерь. Социализация вины предполагает и социализацию наказания.

Публикация «Архипелага ГУЛАГа» и кампания клеветы против Александра Солженицына, завершившаяся изгнанием его из Советского Союза, еще раз, как и в 1950 году, подвергли испытанию мужество и независимость писателей всего мира. Некоторые из нас протестовали, другие молчали, третьи обесчестили себя. Один высоко ценимый мной писатель без колебаний набросился на Солженицына: во имя «абстрактной свободы» русский диссидент клеветал на «самый значительный социальный эксперимент XX века». По мнению этого писателя, русские диссиденты хотят одного: возвращения к режиму свободного предпринимательства, в то время как подлинными защитниками свободы являются Брежнев и падре Аррупе, капитан-генерал иезуитов, провозгласивший себя врагом капиталистической системы! Как плевок прозвучала и рецензия какого-то одержимого, помещенная на первой полосе крупной газеты. Приведу лишь абзац из этого уникального по моральному и интеллектуальному бесстыдству текста: «В свободном мире интеллектуалы публикуют длинные письма протеста, письма солидарности... выступают против произвола... и вот, посмотрите... Не жаль вам ваших усилий?.. На свет-то появилась мышь. Горы-великаны породили мышь. Перед нами неуживчивый, якобы прошедший через пытки, мученик Александр Солженицын. Да ведь только не отправлял его никто в сибирские лагеря, не сдирал с живого кожу, не делал шприцем через ухо церебрального промывания — ничего этого не было. Ему просто-напросто сказали: ты тоскуешь по западному капиталистическому миру? Так отправляйся туда, хватит! И сегодня вчерашняя жертва — благодаря Нобелевской премии и авторским гонорарам — превратилась в богатого буржуа и выбирает место, где бы поудобнее продолжать страдать. Можно обосноваться в Париже, там и боксер Мантекилья Наполес пользуется уважением. Или купить замок на природе и поселиться в нем на веки вечные со всей семьей. А можно перебраться в Соединенные Штаты и наслаждаться там истеблишментом, пописывая сценарии для телевидения... Так рухнул театр, возведенный для высоких трагедий, а сгодившийся лишь для опереток... Солженицына почти не знают в Советском Союзе, где насчитывается более двадцати тысяч писателей». Автор этих строк не твердолобый сталинист, он, кажется, «католик левого толка».

Большинство мексиканских писателей и журналистов говорили о Солженицыне предельно доброжелательно и тактично. Однако мало кто высказался так откровенно и смело, как Хосе Ревуэльтас. Мексиканский романист еще раз доказал, что революционные убеждения не мешают любить истину и что анализ происходящего в странах, именуемых «социалистическими», требует в свою очередь пересмотра авторитарного наследия марксизма. И пересмотр этот, добавлю по ходу, не должен ограничиваться ленинскими трудами, нужно пристально изучить гегелевские основы учения Маркса.

В «Инвентарио», острой и почти всегда актуальной хронике журнала «Диорама де культура», вероятно с целью защитить Солженицына от укусов «бешеных», вспомнили, как Лукач незадолго до смерти назвал его подлинным социалистическим реалистом. Воспроизведу этот абзац: «Лукач считает автора романа «В круге первом» одним из наиболее последовательных представителей социалистического реализма, который способен раскрыть — с социальной и идеологической точек зрения — все наиболее типичные, конкретные особенности общества, чей художественный образ создается по его же собственным критериям. В речи, написанной по случаю присуждения

ему Нобелевской премии 1970 года, Солженицын в нескольких словах определил то, что Лукач понимал под социалистическим реализмом (естественно, не те пропагандистские тексты, выдаваемые за романы, что ничего общего не имеют ни с реализмом, ни с социализмом): литература — память народа; она призвана от поколения к поколению передавать самый ценный людской опыт. Она питает пламя истории, чуждая всякой лжи, любых искажений». В связи с этим любопытным текстом в голову мне приходят два соображения. Первое: с момента возникновения, с 1934 года, социалистический реализм стал литературно-бюрократической догмой сталинизма. Солженицын же — писатель-бунтарь, по своим глубоким славянским и христианским корням он скорее наследник Толстого и Достоевского. Второе: даже если бы Солженицын и был «социалистическим реалистом», о чем можно спорить, «Архипелаг ГУЛАГ» — не роман, а историческое исследование. Второй пункт, как наиболее важный, заслуживает небольшого разъяснения.

«Архипелаг ГУЛАГ» — разоблачение не только преступлений сталинского режима, какими бы бесчеловечными они ни были, но — самой советской системы, как ее основали Ленин и большевики. Есть две даты, составляющие важную часть и названия и содержания книги: 1918—1956. Произведение охватывает период от возникновения советской репрессивной системы (образование ЧК в 1918 году) до начала правления Хрущева. Кроме того, как нам известно, в других, еще не опубликованных томах русский писатель касается более поздних репрессий, то есть времен Хрущева и Брежнева. Суждения Солженицына, разумеется, не бесспорны. В этом же номере нашего журнала[1] мы публикуем статью Роя Медведева, где он критикует Солженицына с позиций марксизма-ленинизма. Историк согласен: было бы нечестно скрывать серьезные ошибки Ленина. Но, как он полагает, эти ошибки не компрометируют исторический замысел большевиков в целом. Позиция Медведева не слишком далека от позиции Мерло-Понти и Сартра в 1950 году, но он не опускается до ханжеского преклонения перед святостью большевиков («у Ленина и Троцкого,— говорится в редакционной статье в № 51 «Тан модерн»,— нет ни одного слова, которое нельзя было бы назвать святым»). На полпути между Солженицыным и Медведевым стоит Сахаров — великий физик и математик. В своем неприятии ленинизма он более категоричен, нежели Медведев; но позиция его далека и от солженицынского славянофильства или христианства. Сахаров — либеральный интеллигент в полном смысле этого слова, он ближе к традиции Герцена и Тургенева, чем Достоевского и Толстого.

Это краткое описание показывает разнообразие позиций советских диссидентов. И поистине замечательной чертой является способность к выживанию — точнее, живучесть — интеллектуальных и духовных течений, предшествовавших революции 1917 года. После полувека диктатуры марксизма-ленинизма они вновь возрождаются и вдохновляют таких не похожих друг на друга людей, как историк Андрей Амальрик и поэт Иосиф Бродский. В исторических исследованиях первого нет и следа марксистского метода, на образ мыслей второго самое глубокое влияние оказала иудео-христианская философия Льва Шестова. По сути мы наблюдаем возрождение старой русской культуры. Я говорил выше о либеральной и европеистской ориентации Сахарова, продолжающего линию Герцена. Мировоззрение Солженицына в свою очередь находится в традиции того христианско-философского течения, которое представлял в конце века Владимир Соловьев (1836—1900). Взгляды братьев Медведевых также свидетельствуют: своеобразный «марксизм по-западному», социал-демократический марксизм, стоящий ближе к меньшевизму, чем к идеям Ленина и Троцкого, не канул в забвение вместе с Плехановым и Мартовым.

Первым признаком возрождения русской культуры, по крайней мере для нас, иностранцев, стала публикация романа Пастернака. Как читатель, возможно, помнит, в первых главах книги присутствуют не только идеи Соловьева и Вячеслава Иванова, но и воссозданы их образы. Образ Лары — сплав России и женщины — сразу же заставляет вспомнить патриотико-религиозно-эротическое мировоззрение Соловьева, проповедуемый им культ Софии. Пастернак в своем преклонении перед Соловьевым не был одинок. Молодой Соловьев столь сильное впечатление произвел на Достоевского, что некоторые его черты запечатлены в образе Алеши Карамазова. Позднее последователем философа стал Александр Блок, а сегодня под его влиянием находится Солженицын. Но последний все-таки теснее связан с традицией экзальтированной религиоз-

[1] «Плюраль», 30 марта 1974 года.

ности и славянофильства Серафима Саровского и Тихона Задонского, как она представлена в образе старца Зосимы в романе Достоевского. У Солженицына мы не найдем ни панславизма, ни даже следов русского имперского мышления, зато его отличает откровенная антипатия к Западу, к присущим ему рационализму и материалистической демократии бездушных торговцев. Соловьев же никогда не скрывал симпатий к римскому католицизму и европейской цивилизации. Двумя его учителями были, пусть это и покажется странным, Жозеф де Местр и Огюст Конт. Соловьев поразительно современен. Не сомневаюсь, читатели «Плюраля» помнят эссе великого польского поэта Чеслава Милоша об одном из его произведений «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об антихристе и с приложениями» («Плюраль», 12 сентября 1972 года). В этой знаменитой работе Соловьев пророчески предсказывает, кроме прочего, и китайско-русский конфликт — конфликт, в котором он видел, и не без основания, начало конца.

Исследовать отношения между духовной историей России и современными диссидентами — задача, выходящая как за пределы данной статьи, так и моих возможностей. Я также не ставил перед собой цели изложить идеи Солженицына, еще меньше — защищать их или критиковать. Мужество писателя, глубина его чувств, прямота и цельность характера вызывают мое безусловное восхищение. Но одного восхищения мало, чтобы стать приверженцем его философии. Правда, кроме нравственной симпатии к нему, я ощущаю нашу — скорее духовную, чем интеллектуальную — близость: Солженицын подвергает критике не только Россию и большевизм, но и само новое время. Разве важно, если при этом он опирается на посылки, отличные от моих? Другой русский диссидент, поэт Бродский, сказал мне два месяца назад в Кембридже: «Все началось с Декарта». Я мог бы пожать плечами и ответить: «Все началось с Юма... или с Канта». Я предпочел промолчать и задумался о бесчеловечности истории XX века. Не знаю, когда все началось; я спрашиваю себя: когда все завершится? Критика Солженицына не превосходит глубиной и основательностью критику Торо, Блейка или Ницше. Не перечеркивает она и сказанного уже сегодня нашими великими поэтами и бунтарями. Я имею в виду непокорных и неподкупных — Бретона, Русселя, Камю и очень немногих других, одни из них умерли, другие живы. Они не поддались и не поддадутся соблазну тоталитарности, который кроется в коммунизме и фашизме, не обманулись и комфортом общества потребления. Солженицын говорит из другой традиции, и это для меня очень важно: его голос не современен, он — из глубокого прошлого. Глубокого прошлого, закаленного в современном мире. Он несет в себе старое русское христианство, но это христианство прошло через главное испытание нашего века — бесчеловечность концлагерей тоталитарных систем — и вышло невредимым и окрепшим. Если история — испытательный стенд, христианство Солженицына выдержало испытание. Дело, взятое на себя Солженицыным, нельзя назвать ни интеллектуальным, ни политическим, ни даже нравственным, в привычном смысле этого слова. Нужно вспомнить пришедшее из древности, еще хранящее религиозный привкус — привкус смерти и жертвенности слово: очевидец. В век лжесвидетельств писатель свидетельствует, защищая человека.

Взгляды Солженицына — в равной степени и религиозные, и политические, и литературные — спорны, но не мне их в подобной статье оспаривать. Его книга ставит проблемы, которые, с одной стороны, выходят за рамки политической философии, а с другой — за рамки ритуального осуждения сталинизма. Второе для меня особенно значимо. Учение большевиков, то есть марксизм-ленинизм,— учение универсальное, поэтому книга Солженицына представляет такой интерес для нерусского читателя. «Архипелаг ГУЛАГ» — не работа по политической философии, это историческое произведение, точнее: свидетельство в старом смысле этого слова — мученикам суждено превратиться в свидетелей и выступить против репрессивной системы, основанной в 1918 году большевиками и существующей поныне. Правда, ее слегка ослабил Хрущев, и сегодня она уже не выглядит тем фантастическим монстром, каким была в сталинскую эпоху.

Новая аналогия: поэзия и технология

Любое общество формирует собственную «модель мира», «образ мира». Эта модель зарождается в сфере бессознательного, и питает ее своеобразное представление о времени. Почему именно время играет столь важную роль в создании модели мира?

Мы, люди, никогда не воспринимаем время как чистую длительность, для нас это упорядоченный, управляемый, нацеленный на определенный итог процесс. Человеческие поступки и слова сделаны из времени, они — время: движение сюда либо туда, какова бы ни была реальность, обозначаемая «здесь» или «там», пусть это будет даже само «ничто». Время — хранилище смысла. Поэт говорит то, что говорит время, даже когда он время опровергает: дает имя изменчивому, возвращает слово в текущий поток. В представлении о времени в свернутом виде живет образ мира, в поэме же он разворачивается. Поэзия — разбуженное время: загадка мира, ставшая загадочной ясностью. У каждой цивилизации был свой особый взгляд на время: одни мыслили его как вечное повторение, другие — как застывшую бесконечность, третьи — как пустоту без дат, или как прямую линию, или как спираль. Для платоников год кругообразен и совершенен, подобно движению небесных тел, для христиан время апокалиптично и линейно, для индусов иллюзорно, это мелькание перевоплощений. XIX век смотрит на бремя как на вечный непрерывный прогресс. И каждая из этих идей воплотилась в картинах, названных поэмами — имя, обозначающее словесный объект, который не имеет устойчивой формы и непрерывно меняется: от первобытных магических заклинаний до современных романов. Так вот, сегодня поэзия противостоит потере цельного представления о мире. Поэтому она является нам в виде совокупности разбегающихся знаков: таков образ мира, утратившего свой образ.

Современная эпоха началась с критики всех мифологий, в том числе и христианской. И последнее неудивительно: христианство разбило цикличное время греко-романской античности и утвердило время линейное и конечное, с первопричиной и итогом: Грехопадением и Страшным судом. Время новой эпохи — порождение времени христианского. Порождение и отрицание: оно линейно и необратимо, но у него нет начала и не будет конца, оно не было сотворено и не будет разрушено. Его главное действующее лицо — не грешная душа, а эволюция рода человеческого, а его подлинное имя — история. В фундамент современности заложен двойной парадокс: с одной стороны, смысл бытия следует искать не в прошлом и не в вечности, но в будущем, именно поэтому история также называется прогрессом. С другой стороны, время не затвердело для нас ни в одном из божественных откровений, ни в одном из непоколебимых принципов: мы воспринимаем его как процесс, который бесконечно себя отрицает и таким образом видоизменяется. Суть времени — критика самого себя, постоянное дробление и отделение; оно проявляется не в форме повторения вечной истины или архетипа: его существо — изменение. Лучше было бы сказать: у нашего времени нет сущности, даже больше того, его позиция заключается в критике любой сущности. Именно поэтому место Искупления теперь занимает Революция. Новое время есть новая мифология: великие творения современности от Сервантеса до Джойса и от Веласкеса до Марселя Дюшана — не что иное, как различные варианты мифа о критике.

Сейчас техника дополняет, обобщая, задачу критики, тем более что поле действия самой техники включает в себя как саму критику, так и выработанную ею идею времени. Земля и небо, которых философия лишила богов, мало-помалу заселяются чудовищными техническими конструкциями. Только вот творения эти ничего не выражают и, по сути, лишены всякой способности говорить. В основу романских соборов, буддистских ступ, месоамериканских пирамид положена идея времени, и в их форме воплощено представление о мире: архитектура была как бы символическим двойником космоса. Барочный дворец — монолог кривой линии, что разрывается и вновь воссоздается, монолог наслаждения и смерти, воспоминание, которое оборачивается забвением; индусский храм — каменные эротические заросли, совокупление элементов, диалог между лингой и йони...[1] А о чем говорят наши ангары, железнодорожные вокзалы, здания учреждений, заводы и общественные памятники? Они не могут говорить: это функции, а не значения. Это центры энергии, памятники воле, знаки, излучающие мощь, но никогда — смысл. Древние творения выражали представление о действительности — как реальной, так и воображаемой; творения техники — насилие над действительностью. Для техники мир не является ни чувственным образом идеи, ни космической моделью: он — препятствие, которое мы должны преодолеть и видоизменить.

---

[1] Линга и йони — в древнеиндийской мифологии символы божественных производящих сил, мужского и женского начал; объектом поклонения чаще всего является каменное изображение, где йони служит основанием поднимающегося из нее фаллоса (линги).

Мир как модель, как образ исчезает. На его месте создаются технические истины, недолговечные, несмотря на всю свою прочность, ведь они обречены быть опровергнутыми новыми истинами.

Разрушение модели мира — главное порождение техники. Второе — ускорение исторического времени. И в конце концов это ускорение приводит к отрицанию изменения, если под изменением мы будем понимать эволюционный процесс, то есть прогресс и постоянное обновление. Время техники ускоряет энтропию: цивилизация индустриальной эры произвела за один век больше разрушений и мертвой материи, чем все другие цивилизации (начиная с неолитической революции), вместе взятые. Эта цивилизация поражает в самое сердце идею времени, выработанную современной эпохой, искажает ее, доводит до абсурда. Техника не только олицетворяет радикальную критику идеи изменения как прогресса, но и ставит предел, четкое ограничение идее времени без конца. Историческое время было практически вечным, по крайней мере, по человеческим меркам. Думалось, пройдут тысячелетия, прежде чем планета окончательно остынет. Поэтому человек мог не спеша завершать свой эволюционный цикл, достигая вершин силы и мудрости, и даже завладеть секретом преодоления второго закона термодинамики. Современная наука опровергает эти иллюзии: мир может исчезнуть в самый непредвиденный момент. Время имеет конец, и конец этот будет неожиданным. Мы живем в неустойчивом мире: сегодня изменение не тождественно прогрессу, изменение — синоним внезапного уничтожения.

Современная астрономия часто упоминает о звездных катастрофах и таким образом внедряет мысль о возможности трагической неожиданности в той сфере, что всегда служила образцом упорядоченности. Но нет нужды прибегать к примерам из области астрономии: прямо под рукой мы имеем более простой и убедительный пример — атомное оружие. Его существование само по себе аргумент, заставляющий в буквальном смысле слова испариться идею прогресса, понимаемого в форме ступенчатого развития либо революционного скачка. Правда, до сих пор нам удавалось предотвратить массовую гекатомбу. Не в этом дело: достаточно существования подобной возможности, чтобы наше представление о времени потеряло свою прочность. Если атомная бомба и не разрушила мира, она разрушила наше представление о мире. Критика мифологии, начатая философией еще в эпоху Возрождения, преображается в критику философии: время может сгореть во вспышке, которая разом развеет и диалектику духа, и эволюцию видов, и республику равных, и башню сверхчеловека, и монолог феноменологии, и монолог аналитической философии. Мы вновь открываем для себя ощущение, никогда не покидавшее ацтеков, индусов и христиан однатысячного года. Сначала техника воплощает в себе отрицание модели мира и в итоге становится отражением разрушенного мира.

Отношения между техникой и поэзией носят особый характер: с одной стороны, поэзия, как и все другие виды искусства, стремится использовать возможности техники, прежде всего в сфере средств массовой коммуникации: радио, телевидение, грамзапись, кинематограф и так далее. С другой стороны, поэзия должна противостоять разрушению модели мира. В первом случае поэзия опирается на технику, во втором — спорит с ней. Такое противоборство носит характер дополнительности, и ниже я вернусь к этой проблеме. Сейчас же хочу обратиться к теме поэтического использования новых технических средств.

Начну с разграничения двух моментов поэтического процесса: создание стихотворения и его восприятие читателем или слушателем. Называю их моментами одного процесса, так как стихотворение не является самостоятельной реальностью. Ни один поэтический текст не существует per se: реальность стихотворению дает читатель. И в этом смысле поэт — не более чем первый читатель своего стихотворения, его первый автор.

Ничто не мешает поэту пользоваться компьютером, чтобы выбирать и комбинировать слова, из которых должно сложиться его стихотворение. Компьютер не отменяет поэта, как не отменяют его ни словари рифм, ни трактаты по риторике. Стихотворение, созданное компьютером,— результат механического процесса, во многом схожего с теми умственными и словесными операциями, какие должен был проделать придворный XVII века, чтобы написать сонет, или японец того же века, чтобы сочинить с друзьями коллективные творения под названием «хайку но ренга». Исследования и опыты Маргарет Мастерман в Cambridge Language Research Unit подтверждают то, что старинные риторики считали само собой разумеющимся: для создания стихот-

ворения нам нужны синтаксическая модель, словарь, чтобы «наполнить» ее, и свод правил, чтобы избирать и комбинировать слова. Способ, по которому Маргарет Мастерман и Робин Маккиннон Вуд изготовляли серии хайку, по сути своей не отличается от того, каким пользуются с той же целью вот уже несколько веков подряд тысячи и тысячи японцев. И результаты также схожи: их хайку приятны, порой неожиданны, но в конечном итоге однообразны. Снабженный синтаксической моделью и соответствующим словарем компьютер может превратить благодарственное письмо в оскорбительное. Та же операция, но уже в качестве упражнения по разрушению языка как знаковой системы, была осуществлена в прошлом веке Лотреамоном. «Исправление» изречений и размышлений Паскаля и Вовенарга было одновременно и насилием над языком, и опровержением его возможностей. Поэзия является лишь в тот момент, когда обезличенная память — запас слов компьютера или словарь — скрещивается с нашей личностной памятью: и тогда отменяются все правила, шквалом врывается неожиданное, непредвиденное. Разрушаются любые предписания, наступает смерть устоявшегося: поэзия в с е г д а есть искажение, лингвистическое смещение. Смещение созидательно, ведь именно оно рождает новый и отличный от прежнего порядок.

Текст, созданный компьютером или любителями хайку, можно заменить другим, ему равноценным. Настоящее стихотворение тождественно лишь самому себе, оно неповторимо. В поэзии, как и в музыке или живописи, каждое творение уникально. Уникально потому, что в какой-то момент его создания главным становится жест художника, его решимость вмешаться и нарушить известный ход эстетической игры. Можно сомневаться в полной сознательности этого жеста — каждый человек, каждый художник движим прежде всего своей судьбой. Но освобождающий смысл и самого жеста, и его результатов сомнений не вызывает. Бунт несет в себе чудо: изготовление вербального или пластического объекта оборачивается сотворением произведения. Правда, сейчас мы с опаской относимся к самому понятию «произведение искусства», особенно после Марселя Дюшана с его «ready-made». То, что делает Дюшан, тоже можно назвать бунтом, но в отличие от других художников он ставил целью не преображение предмета, а его возвращение к изначальному состоянию: критический акт, призванный показать бессодержательность произведений искусства как предмета, как вещи. Противоречие заложено в основу замысла Дюшана, но отсюда и сила его воздействия на нас: обесценивая произведение искусства, как вещь, как предмет, он тем самым поднимает значение жеста, воли художника. Так, возможно, вопреки намерениям самого Дюшана, «ready-made» перестали быть безымянными предметами и стали пусть и не произведениями искусства, но з н а к а м и свободной воли творца.

Едва ли стоит останавливаться на том, как используются новые средства коммуникации в распространении поэзии. Они, мы знаем, делают возможным возвращение к устной поэзии, соединение письменного и устного слова, возрождение поэзии как праздника, обряда, игры и коллективного действа. Зарождаясь, поэзия была звучащим словом, обращенным к человеческому коллективу. Понемногу письменный знак оттеснил человеческий голос, а читатель-одиночка заменил группу слушателей: приобщение к поэзии потребовало уединенности. Сейчас мы вновь возвращаемся к устному слову и собираемся вместе, чтобы послушать поэтов. Все чаще вместо того, чтобы читать стихи, мы их слушаем, и, что важно,— слушаем их сообща. Разумеется, даже в момент наивысшего распространения книги и печатного слова стихотворение оставалось архитектурой звуков/чувств. Именно это объединяет всех великих поэтов всех цивилизаций: поэзия — устное слово.

Поверхность, на которую наносятся знаки, будь то буквы или идеограммы, является эквивалентом или, вернее, проявлением времени, которое разом и питает, и поглощает словесную архитектуру — стихотворение. Будучи звуком, эта архитектура сама есть время, поэтому стихотворение возникает и исчезает буквально на наших глазах. Оно заглатывается тем же, что дает ему жизнь,— субстанцией, из которой создано время. Как страница, так и китайский свиток подвижны, ведь они — метафора времени: пространство в движении, пространство, которое, будто оно и есть время, постоянно отрицает самое себя и таким образом воспроизводится. Страница обретает временны́е черты: письменный знак не покоится на неподвижном ограниченном пространстве, как это происходит с живописью, он попадает на поверхность, которая, отражая время, как и оно, п р о т е к а е т. Поэтому Малларме в типографском расположении «Un coup de dés» видел партитуру, то есть взаиморасположение знаков, которые мы, читая, слышим. Какими бы знаками ни было записано стихотворение, чтение его всегда сво-

дится к следующему: произносить и слышать глазами. Безмолвная декламация, она же — ви́дение: читая, мы слышим, а слушая, видим. Иными словами: суть перемен, произошедших за последние пятнадцать — двадцать лет, вовсе не в том, что устное слово вознеслось над письменным знаком. Важно другое: наш опыт вновь становится физическим, материальным; сегодня слово идет к нам через слух, оно получает телесную оболочку, плотность. Не менее значимо следующее: восприятие стихотворения постепенно превращается в коллективный акт; одновременно с замещением книги другими средствами коммуникации, а письменного знака — голосом слово становится физическим объектом.

Все перемены, о которых я упомянул, подчеркивают ущербность письменного знака по сравнению со звучащим словом. В этом смысле особая ситуация сложилась во Франции, где поэты и критики акцентируют понятие письма. Именно в этой стране родилась современная поэзия, и здесь были выработаны ее самые последовательные и точные определения. Естественно, я не хочу сказать, что французские поэты были единственными, кто соединил практику с ее критическим осмыслением. Но современное поэтическое движение развернулось во Франции с такой полнотой и силой, каких не знали ни английский, ни испанский, ни русский, ни немецкий языки. И как раз в тот момент, когда поэты США и Латинской Америки с подчеркнутым вниманием относятся к «speech» или «говорению» (оба слова не совсем равнозначны французскому «parole»), молодые французы, за редким исключением, настаивают на примате письменного знака. И самое удивительное, Малларме (ссылаюсь на него, потому что для нынешнего поколения он играет ту же роль, что для предыдущего играл Рембо) всегда воспринимал поэзию как искусство словесное и временно́е, как речь. Поэтому и видел в поэзии двойника музыки и танца: театр слова. Поэтому и придавал такое значение типографскому оформлению страницы — движущегося пространства. Ведь, с одной стороны, письменный текст /как бы/ партитура. С другой — новая поэтическая графика, возрождая почти полностью упраздненные печатью связи между значениями зрительного и вербального рядов, открыла новый тип книги. Такая мутация, а именно превращение книги в предмет, который не столько содержит стихотворение, сколько транслирует его, есть лишь один аспект всеобщей мутации, одна из составляющих процесса материализации слова, сущностно важного для современной поэзии.

Изменением отношения к письму объясняется и появление визуальной поэзии. Аполлинер считал свои «каллиграммы» «une précision typographique à l'époque où la typographie termine brillamment sa carrière, á l'aurore des moyens nouveaux de reproduction que sont le cinema et le phonographe» [1].

И хотя новые художественные средства не отменили и не отменят книгопечатания, они, без всякого сомнения, коренным образом на него повлияли. Чтобы доказать это, достаточно вспомнить композиции русских футуристов или идеограммы и пиктограммы Паунда. Наиболее ярко эта тенденция выразилась в конкретной поэзии; в ней, как и в поэзии устной, текст стремится к освобождению: стихотворение покидает книгу. Оно отделяется от книги и обретает черты независимого объекта, звучащего либо пластического. Еще раз хочу повторить: строка письма, в том числе строка конкретного стихотворения,— метафора устной речи. В противоположность тому, что происходит в живописи, искусстве безмолвном, молчание страницы позволяет нам слышать написанное. И это не все; в тот день, когда кто-нибудь решится до конца использовать ресурсы кинематографа, окажется возможным сочетать чтение и слушание, письменный знак и звук. Экран — многослойная страница, и она рождает другие страницы. Это огромное единое полотно, и текст можно было бы на нем писать в движении, аналогичном — но обратном — движению разворачивающегося свитка.

В заключение могу сказать: техника изменяет поэзию и будет изменять ее дальше. Иначе быть не может, вмешательство техники влияет не только на способ передачи и восприятия стихотворения, но и на способы его создания. Но все перемены, какими бы глубокими они нам ни казались, не искажают природы поэзии. Напротив, они возвращают поэзию к ее истокам, к тому, чем она была вначале: к устному слову, воспринимаемому сразу многими.

В основу некоторых противоречий между техникой и поэзией положен принцип дополнительности. Это требует отдельного анализа. Начиная разговор, я сказал, что

---

[1] Типографским уточнением в эпоху, когда типография блистательно завершает свою карьеру, на заре новых средств воспроизведения — кино и фонографа *(франц.)*.

все созданное техникой, несмотря на свою агрессивность, на деле бессодержательно: это не значения, а функции. Техника изменила мир, но она не дала нам модели мира. Бесспорно, у нее иная задача: преобразование действительности. Но воздействие техники было бы невозможно без предварительного разрушения древней модели мира. Новая эпоха началась критикой мифологических систем: земля перестала быть священной и, освобожденная от богов, открылась для воздействия техники. И теперь в свою очередь техника взялась за разрушение модели мира, созданного современностью. Будучи порождением прогресса, техника заставляет нас усомниться в смысле слова «прогресс»: может, это синоним кризиса, ужаса, насилия, угнетения и даже гибели? Время как история и история как прогресс иссякают. От Вашингтона до Москвы никто больше не видит райских садов грядущего. Их заслонил кошмар сегодняшнего дня, и он заставляет нас сомневаться в дне завтрашнем.

Мысли о том, что мир может кончиться в любой момент, потеря веры в будущее — все это несовременные черты. Это отрицание предпосылок, заложенных в фундамент новой эпохи еще в XVIII веке. Отрицание, открывающее для нас главную идею античных цивилизаций. Утрата будущего приближает нас к тем способам бытия и мировосприятия, что считались давно вымершими. Христианство дало каждому человеку бессмертную душу. Новая эпоха душу у нас отняла, пообещав взамен бессмертие человеческого рода, бессмертие истории и прогресса. Сегодня она пробуждает в нас те же сомнения, что возникали у ацтеков по завершении каждого пятидесятидвухгодичного цикла: выглянет ли вновь солнце, не окажется ли эта ночь последней? Однако есть важное отличие: древние опасались, что причиной гибели их мира станет гнев или каприз богов, но их фатализм был цикличным. Для нас же мысль о космической катастрофе воплощена в ужасную и одновременно гротескную форму Трагической Случайности. Мы живем по времени ацтеков, но у нас есть и свое время — никем и никогда не предсказанное. Оно противоречиво, потому что является разом и временем тотального разрушения, и временем информационной науки. Первое делает состояние нашей психики до определенной степени аналогичным тому, что отличало цивилизации прошлого. Второе вызывает изменение очертаний универсума, превращает его в систему соответствий, близкую системе древних аналогий. Чтобы пояснить и развить свою мысль, начну с беглого сравнения системы аналогий средневекового христианства и современной иронии.

Господствующим способом поэтического претворения действительности в период расцвета христианства стала аллегория. Излюбленная форма новой эпохи — роман. Аллегория — одно из проявлений аналогического мышления. Оно опирается на принцип: это подобно тому. Из одного сходства выводятся и открываются другие, и так, пока универсум не превращается в сеть взаимоотношений и соответствий. Аллегория, как и указывает само ее имя, есть иносказание: ведя речь об одном, подразумевают другое. Аналогия — сопряжение, стягивание, узел. Критик Чарльз А. Синглтон показал, что «Божественная комедия» Данте есть не что иное, как аллегория аллегорий. Пролог к поэме представляет собой аллегорию путешествия поэта по трем мирам, оно в свою очередь является аллегорией мытарств грешной души и ее конечного спасения. Сумма всех этих круговых аллегорий — библейская Книга Исхода. Сам Данте об этом пишет: «Если мы вслушаемся в то, что говорит буква, увидим, что смысл — в бегстве сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в аллегорическом плане — это искупление Христово, в моральном — спасение души...»[1] Священное писание — мост между двумя реальностями: путешествие поэта в мир иной и испытания души, прежде чем ей будет дано право лицезреть божественное. Но Книга Исхода принадлежит Старому Завету, и, значит, эта аллегория содержит в себе еще одну — Евангелие. Страсти Христовы — связующее звено между словом древним и словом новым. Звено, замыкающее круг.

История человечества в сжатом виде представлена в истории Израиля, которая сама есть аллегория той, что содержит в себе все прочие: Искупление. Связь между этими реальностями осуществляется на вербальном уровне, через поэтический текст. «Божественная комедия» расшифровывается с помощью другого текста, Книги Исхода. Последняя в свою очередь определяет третью — Евангелие. Эта цепь отсылает нас к теории информации. Высший смысл и значение могут быть не тождественны, в отличие от систем символической трансформации и передачи символов. В современной нау-

---

[1] Цит. по кн.: Charles A. Singleton. «In Exita Israel de Aegipto».

ке эквивалентом сказанному может служить следующее: лингвистическая структура есть аллегория структуры субатомной, и обе отражены в генетическом коде. О «Комедии» можно сказать, что в ней имеются два потока: вербальный и подтекстовый. Первый образуется самой «Комедией», Книгой Исхода и Евангелиями. Второй — это мытарства грешной души, бегство из Египта и история человечества, начиная с Адама. Обе линии отражены в путешествии поэта в иной мир, то есть в его поэме. Связь между словом и внешней реальностью носит абсолютно законченный характер.

«Божественная комедия» — самое совершенное и цельное произведение христианского общества. «Дон Кихот» — первое великое творение нового мира. В романе Сервантеса речь также идет о человеческой душе, но только уже не о падшей, а об отчужденной. Его герой не грешник, а безумец. Он стоит вне общей человеческой судьбы, так как потерял связь с миром. Историю Дон Кихота нельзя назвать олицетворением истории человечества: он исключение из нее. Это пример иронического мировосприятия, через отрицание: он не такой, как остальные люди. Связь прерывается или, точнее, обретает форму прерывности. Скитания рыцаря из Ламанчи — не аллегория странствий избранного богом народа. Это аллегория сбившегося с пути, одинокого человека. Вергилий и Беатриче вели за собой Данте. Никто не указывает дорогу Дон Кихоту, его товарищ по скитаниям отнюдь не ясновидящий, он — воплощение близорукого здравого смысла. Модель путешествия поэта — концентрический круг. Ни геометрия, ни география не объяснят маршрутов безумного рыцаря: это хаотическое блуждание, во время которого постоялые дворы преображаются в замки, а сады — в загоны для скота. Паломничество флорентийца — спуск и восхождение, путь испанца — череда промахов и нелепиц. В финале Данте лицезрит божество. Дон Кихот возвращается к себе самому, к бесславной жизни полунищего идальго. В одном случае созерцание высшей реальности и озарение; в другом — признание нашей незначительности, смирение с тем, что́ ты есть. Данте видит истину и жизнь, Дон Кихот обретает здравый смысл и находит смерть.

Аналогия — форма выражения сходства между небесным и земным, и хотя земной мир вторичен по отношению к миру небесному, лишь отражает его, он реален. Ирония же действует в обратном направлении, она подчеркивает, что между реальным и воображаемым лежит пропасть. Не довольствуясь выявлением разрыва между словом и реальностью, она сеет в душах сомнение: мы не знаем, чем является в реальности реальное — тем, что видят наши глаза, либо тем, что отражает наше воображение. Реальны Рай и Ад, как реальны Флоренция и Рим, а ужасная и голая действительность Кастилии — мираж, наваждение. Эта подвижность не несет в себе очищения: герои обречены быть тем, что они есть. Поэтому они так далеки от своих идеалов: Альдонса — не Дульсинея, Дон Кихот — не Амадис Галльский. Однако рыцарь Алонсо Кихано — не совсем то же самое, что Алонсо Кихано Добрый: он — Дон Кихот Ламанчский, одновременно не являясь им. Люди не менее загадочны, чем предметы.

То же самое происходит и с языком. Язык Данте — это язык поэзии, язык Сервантеса колеблется между поэзией и прозой. Подобная двойственность характерна для всей новой романистики: это и поэзия, и критика поэзии, эпос и насмешка над эпопеей. Противоречивая реальность, противоречивые герои и противоречивый язык: миф о критике начинает обретать очертания. Связи разбиваются, рушатся, ирония заменяет собой аналогию. Ключ к «Божественной комедии» — Книга Исхода, ключ к роману Сервантеса — рыцарские романы. Первая — священное слово, универсальная и вечная модель. Рыцарские романы — увеселительные и развлекательные повествования, не аллегория истории человека, а рассказ о его бессмысленных приключениях. Язык перестает быть ключом к миру. Это пустое, безумное слово. Или наоборот? Безумен мир, а Дон Кихот — разумное слово, в маске безумия скитающееся по дорогам? Сервантес улыбается и молчит: ирония и горечь.

Распад системы аналогий рождает субъективность. На сцену выходит человек. Он изгоняет богов и сталкивается с бессодержательностью мира. Двойная ущербность: слова перестали представлять подлинную суть вещей, и вещи стали тусклыми и немыми. Человек должен противостоять замкнутой на себе реальности, реальности разобщенной и изолированной. Отрицание не-значимости мира, поиск его смысла — вот история новой эпохи. Эта история могла бы называться на манер рыцарских романов: «Подвиги субъективности, или Завоевание мира его отрицанием». Был один путь восстановления связи между вещью и словом — отсечь одну из составляющих. Предстояло сделать выбор: если Дон Кихот не безумен — это приговор миру; если же признать, что

язык рыцаря бессмыслен, должно последовать изгнание Дон Кихота. Первый вариант нес в себе отречение от мира, но во имя какого принципа, во имя какой естественной или сверхъестественной истины? Священной книгой для Дон Кихота была не Библия, священными для него были несколько повествований, где фантазия обретает облик безрассудства. Новая эпоха выбирает второй вариант. И поэтому у себя дома, в собственной постели, умирает излеченный от безумия и возвращенный к действительности Алонсо Кихано. Изгоняя Дон Кихота, символ языка как ирреальности, мы отправляем в ссылку и то, что называем воображением, поэзией, священным словом, голосом иного мира. Но у всего перечисленного есть и оборотная сторона: бессвязность, отчуждение, душевное расстройство. Поэзия приговорена к изгнанию, безумие — к заточению. А так как граница между ними совсем истончилась, поэтов то заточали, то относились к ним как к безобидным чудакам.

Распад слова на две части — рациональную и иррациональную — сопровождался распадом несловесной действительности. Христианского Бога заменила субъективность, но ведь люди — существа из плоти и крови, а не духи. Следуя тому же принципу частичного отрицания, субъективность упразднила ту половину человеческого тела, которая обозначается выразительным словосочетанием «ниже пояса», то есть половые органы. Калечение реальности было также и лингвистическим, так как невозможно свести любовь к чувственности. Эротизм — игра, действо, в котором языку и воображению отводится не менее важная роль, чем ощущениям. Это не животный акт: это церемония животного акта, его преображение. Эротизм может созерцать себя в чувственности, но последней увидеть себя в эротизме не дано. И даже увидев себя в нем, она бы себя не узнала... Каждый новый шаг субъективности по пути отрицания означал упразднение какой-то реальности, признанной иррациональной и как следствие приговоренной к небытию. Иррациональность могла быть абсолютной или частичной, основополагающей или случайной. Так возникли сумеречные зоны, заселенные полуреальностями. Поэзия, женщина, гомосексуалист, пролетарии, народы колоний, цветные расы. Все эти чистилища и адские бездны жили в скрытом кипении. И однажды, в XX веке, подземный мир взорвался. Взрыв еще не закончился, и его яркое пламя освещает агонию современной эпохи. В цепи отрицаний, на которые пошла субъективность, можно увидеть также попытку ликвидировать раскол между словом и миром, то есть поиск самодостаточного и неуязвимого для критики универсального начала. Этим началом была сама критика, ведь материя и суть мира — изменение, а самая совершенная форма изменения — критика. Отрицание стало созидательным: смысл кроется в субъективности.

Коснусь лишь отдельных эпизодов этого процесса, тех, что кажутся мне наиболее знаменательными. Первый эпизод связан с именем Канта. Философ поставил перед собой проблему, по сути своей близкую той, что старался разрешить Сервантес: между словами и действительностью лежит бездонная пропасть, и тот, кто переступит черту, низвергается в пустоту, становится безумным. Притягательной силе бездны можно противопоставить лишь одно средство, в эстетике оно зовется иронией, в более широком плане — философией. И первая и вторая — героическое благоразумие («sagesse»), движение по канату, натянутому над пустотой. В творчестве Канта ноуменальная реальность, реальная реальность,— то же самое, что замки для Дон Кихота. Это область, недоступная разуму: «вещь в себе» охраняется четырьмя колдунами, четырьмя антиномиями, которые сводят с ума философов, как мудрый Мерлин несчастного Дурандарте.

Для Канта диалектика была логикой иллюзий. Но смирение не отнесешь к разряду добродетелей философов, и Гегель превращает логику иллюзий в метод, разрушающий антиномии и производящий истины. Каждое суждение, говорит он, есть антиномия, так как несет в себе противоречие, но эта отрицательность положительна, ведь в ней кроется ее собственное отрицание. Согласно диалектике, «человек созерцает себя в другом», отрицающем его. Через это отрицание он утверждает себя и познает как человека: он то, что не есть другой. Через отрицание человек овладевает «вещью в себе» и превращает ее в идею, инструмент, творение, историю: дает ей смысл. История — момент Духа, а человек — передатчик смысла. Маркс делает следующий шаг, но в ином направлении. Гегель понимал орудия и труд как воплощенные идеи, как отрицания, превращенные в действия; Маркс утверждает, что идея есть абстрагированная работа; история выступает не как отражение идеи, а как отражение общественной работы. Задача покончить с «вещью в себе» и преобразовать ее в значение

выпадает на долю не идеи, а промышленности: труда и трудящихся. Повторю еще раз: смысл всему дает человек. И еще раз: он делает это в той мере, в какой принадлежит истории. Таким образом, мировоззрение нового времени, будь то идеализм или материализм, видит всеобщий смысл в человеке. Значение же человека узнается в истории. Магическим мостом между словом и вещью, тем принципом, что заменяет древнюю аналогию, стала история. Гегель заявил об этом с изумительной ясностью: диалектика есть метод лечения разногласий. Отрицание, будучи утверждением, зарубцовывает рану.

Другие философы XIX века разными путями приходят к сходным утверждениям: смысл эволюции есть человек. Или, говоря языком Дарвина, человек есть тот момент эволюции, в котором она наконец познает самое себя. Происходит перевоплощение научной теории преклонения перед историей: природная эволюция воспринимается как синоним прогресса, а мерилом этого прогресса становится расстояние, отделяющее человека от животного, цивилизованное существо — от дикаря. Ницше был выразителем инакомыслящих: в противовес представлению о времени и об истории как о бесконечном движении вперед он провозгласил идею вечного возвращения. Объявляя о смерти Бога, разоблачал неразумность мира и его мнимого царя — человека. И как поэт Ницше тоже был философом. Он поддался двойному — поэтическому и философскому — соблазну стать пророком и предвестил явление совершенного или «законченного нигилиста», в чьей фигуре будут воплощены бессмысленность бытия, пустота существования, которые в конце концов разрушат его же противоположность: сверхчеловека. Эволюция, революция, ниспровержение — в трех этих словах сконцентрирована мудрость нового времени.

Царство субъективности начиналось критикой пророков; но в наивысшей точке своего развития субъективность сама преобразилась в пророчество и возвестила пришествие трех явлений, различных, но близких по смыслу: республики равных, бесконечного прогресса и царства сверхчеловека. Каждое из этих пророчеств по сути своей было критикой, иными словами, каждое из них было отражением критического духа, а их осуществление требовало активного вмешательства критики. Действительно, пролетарская революция, отбор видов и ниспровержение ценностей — явления критического порядка: они отрицают одно, чтобы утвердить другое. Расхождение с античностью весьма велико: аналогия созидает по принципу единства или соответствия противоположностей; критика осуществляется через уничтожение одного из крайних полюсов. Но то, что́ мы уничтожаем силой рассудка или власти, неизбежно возникает вновь и принимает форму критики самой критики. Наступающая ныне эпоха будет эпохой бунта упраздненных реальностей. Мы переживаем возврат времен.

И возврат времен, и универсальный бунт, что происходят на наших глазах, сначала проявились в искусстве. С момента зарождения современное искусство было искусством критикующим; его окрашенный страстью реализм был не столько верным портретом, сколько критикой реальности. Но с приходом символизма поэты и прозаики, не отказываясь от критики мира и людей, вводят в свои произведения критику языка, критику поэзии. Речь идет, как я уже отмечал, не о разрушении языка, а о воздействии на него, о стремлении открыть оборотную сторону языка, знаков. То же самое происходит в других видах искусства, и нет надобности вспоминать череду превращений, которые претерпели музыка, живопись и скульптура. Однако, чтобы проиллюстрировать мои соображения, приведу один пример. Прошлой весной я ходил по залам ретроспективной выставки Ричарда Гамильтона в Галерее Тейт, и меня поразила и восхитила одержимость художника тем, что один из критиков назвал «обратным негативом». В одном из своих творений Гамильтон с помощью тонов, наложенных на узкие стеклянные пластинки, показывает зрителю путь от того, что мы называем «лицом», к тому, что мы называем «изнанкой». Пластическая и поэтическая игра, достойная Льюиса Кэрролла. Не случайно ведь имя Кэрролла зазвучало в разговорах о живописи. Вся современная живопись есть одновременно язык и критика этого языка. Картина представляет собой систему соответствий, значений и знаков, и каждая картина выступает и как анализ, и как критика себя самой. Современное искусство есть критика значения и попытка показать оборотную сторону знаков.

В последние годы два движения сотрясают Запад: революция тела и бунт молодежи. Оба они по истокам и сути своей близки революции в искусстве. По истокам? Оба движения можно назвать выражением или, лучше, взрывом подземного течения, которое зарождается с Уильямом Блейком и английскими и немецкими романтиками,

ярко проявляется в XIX веке в произведениях таких поэтов, как Рембо и Лотреамон, вспыхивает в сюрреализме и сейчас, смешавшись с другими течениями, распространяется по всей планете. По сути? Оба движения, особенно революция тела, стремятся повернуть обратной стороной знаки, определяющие нашу цивилизацию: тело и душа, настоящее и будущее, наслаждение и труд, воображение и действительность. Чтобы показать, в чем смысл этого процесса, позволю себе вновь обратиться к Данте. В мире Данте время — прошедшее, настоящее и будущее — впадает в вечность. Так, в одном из самых впечатляющих эпизодов «Ада» Фарината делли Уберти открывает поэту тайну: после Страшного суда грешники будут лишены своей единственной привилегии — двойного зрения. И вот в чем причина: они не смогут предсказывать будущее, потому что будущего больше не будет. Мысль ужасная, невообразимая для современных людей: история, мораль и политика Запада с момента зарождения новой эпохи опираются на сверхоценку будущего. Цивилизация прогресса поместила свои геометрические райские сады не в иной мир, а в завтрашний день. Время прогресса, техника и труд есть будущее; время тела, время любви и время поэзии — сегодня. Первое — накопление, второе — трата. Революция тела (следовало бы сказать — возрождение тела) вытеснила будущее. Изменение знаков: изменение времен.

В поэме Данте сошествие в подземный мир предшествует восхождению в рай; мы знаем, что впереди у нас нет никакого рая, ни по окончании истории, ни в ином мире. Поднимаясь вверх и спускаясь вниз, мы путешествуем по рассыпающемуся настоящему — исчезающей неизбежности.

Многие зададут себе вопрос: можно ли строить что-то на зыбучих песках настоящего? А почему бы и нет? Китайская цивилизация строилась по модели мифического прошлого, столь же вымышленного, как вечность средневекового христианства или будущее XIX века. Любое время ирреально, любое неприкосновенно: никому не дано коснуться завтрашнего дня, никто не может коснуться сегодняшнего. Любая цивилизация — метафора времени, один из вариантов изменения. Преимущество, которое несет в себе «сейчас», могло бы, пожалуй, примирить нас с той реальностью, что религия прогресса с не меньшим усердием, чем древние религии, попыталась скрыть и замаскировать: со смертью. Время любви — это время тела, но, видя любимое нами тело, мы видим также и его смерть (иначе мы бы его не любили). Тело желаемое и тело, испытывающее желание, чувствуют свою смертность; в настоящем любви, именно в силу его напряженности, заключено знание о смерти. Почему не вообразить цивилизацию, где люди, наконец способные без страха принять идею своей смертности, прославляли бы союз жизнь/смерть и видели бы в нем не два враждебных друг другу начала, но единую реальность? «Сейчас» — метафора изменения — разрушает прошлое и будущее, тем самым разрушает и себя. Разрушаясь, время переходит не в безмерную вечность, а в такую же безмерную длительность жизни.

Каждая эпоха выбирает свое собственное определение человека. Думаю, определение, выработанное нашим временем, таково: человек — передатчик символов. Среди этих символов есть два, начало и конец человеческого языка, его цельность и распад: объятие тел и поэтическая метафора. В первом символе: слияние ощущения и образа, фрагмент, ставший шифром всеобщности, всеобщность, расщепленная в ласках, которые превращают тела в источник мгновенных соответствий. Во втором: слияние звука и значения, союз явленного и чувственного. Поэтическая метафора и эротическое объятие — примеры мгновенного, почти совершенного совпадения между одним символом и другим, примеры того, что мы называем аналогией и чье подлинное имя — счастье. Такой миг — лишь смутное предсказание, предчувствие других, более редкостных и всеохватных мгновений: созерцания, освобождения, полноты, пустоты... Все эти состояния, от самых доступных и часто повторяющихся до самых сложных и совершенных, имеют нечто общее: умение отдаться, довериться течению, принести в дар свое «я», а если нужно — и вовсе забыть о нем. Длится ли такое мгновение век или секунду — оно безмерно. Это единственный, доступный всем людям рай, доступный при условии, что они забудут о себе самих. Мгновение величайшего сосредоточения и величайшего расслабления: мы — сверкание разбитого стекла, на которое пал луч полуденного солнца, мы — трепет темной травы под ногами, мы — скрип дерева в холодную ночь. Мы ничтожны, и все-таки нас принимает в свои объятия всеобщность, мы — знак, который кто-то подает кому-то, мы — канал передачи, через нас текут одни языки, и наше тело переводит их в другие. Двери открываются настежь: человек возвращается. Мир символов — это и мир чувств, ощущений. Лес значений — место примирения.

Язык и абстракция

Уже много лет повторяют, что абстрактная живопись достигла своего предела: никакого «дальше» у нее нет. Мне это кажется несправедливым: большие художественные движения отличаются радикализмом, постоянным стремлением вперед, за пределы, до соприкосновения с предельным пределом, границей границ. И тогда приходит кто-нибудь еще, совершает прыжок, открывает иное свободное пространство и снова натыкается на стену. Надо перепрыгнуть ее и опять идти за пределы. Пути назад нет. Абстракционизм превратился в новую академию? Не важно: любое движение становится школой, любой стиль — «приемом». Плачевно, когда академия — финал, а не точка отталкивания. Великие представители барокко и маньеризма не отвергали искусства своих предшественников: они его утрировали, шли за его пределы. То же самое можно сказать о поэзии символистов: она не отрицала романтизма, но привнесла в него рефлексию, момент самопознания. И после классицизма первых абстракционистов и романтизма «абстрактного экспрессионизма» нам теперь не хватает маньеризма, абстрактного барокко.

На самом деле стерильной абстрактную живопись может сделать ее претензия быть изолированным и самодостаточным языком. А он абсолютно субъективен — ведь художник, и только художник, создает и использует этот язык, и у него нет основополагающего для каждого языка элемента: он не может служить системой знаков и символов, одинаково понятных всем, кто этой системой пользуется. Если каждый говорит на своем языке, возникает непонимание, то есть смерть языка. Диалог шизофреников. Лучшие художники-абстракционисты открыли что-то вроде универсального языка, вернувшись к некоторым архетипическим формам, которые принадлежали общим и древним основам человеческого бытия. Но язык ли это? Я скорее сказал бы, что мы имеем дело с доязыком или, если угодно, метаязыком. У художников-абстракционистов получается нечто среднее между бормотанием и озарением. И хотя они презирают понимание, связь, порой им все-таки удается достичь контакта с другими людьми. В поэзии же происходит обратное: у поэта нет иного выхода, он должен пользоваться словами — у каждого из которых есть понятное всем значение — и с их помощью создавать новый язык. Эти слова, не переставая быть языком, то есть средством общения, выступают и как нечто иное: поэзия — это обязательно что-то никогда ранее не слышанное, никогда ранее не произнесенное, это язык и его отрицание, то, что идет «за пределы». Абстрактная живопись хотела бы стать чисто живописным языком, но тем самым она отвергает изначально присущее каждому языку смешение кровей: использование знаков и форм, чьи значения являются общими для всех. То есть, она либо не поднимается до уровня языка, либо устремляется за его пределы. И в одном случае порождает немое молчание, в другом — крик: Мондриан или Поллок. Перед нами опыт, несущий в себе отрицание того, что сам же он утверждает. Возможно, именно в этом и заключается его величие: только тот, кто не бежит своей противоречивости и раскрывает ее с предельной откровенностью, являет свою подлинную, всегда двойственную, сущность. И, отталкиваясь от этой противоречивости, а не отрицая ее, абстрактная живопись могла бы пойти за нею самой для себя установленные пределы — реализоваться, утверждая собственное отрицание.

Природа, абстракция, время

«От подражания природе к ее разрушению» — так можно было бы озаглавить историю западного искусства. Самый жизненный из современных художников, Пикассо был, вероятно, и самым мудрым: если мы не можем убежать от природы — а это безуспешно пытались сделать некоторые его последователи и многие современники,— мы можем по крайней мере обезобразить, разрушить ее. Хотя, в сущности, речь идет о новой форме ее прославления. Нет ничего более приятного для природы, говорил Сад, чем преступления, которыми мы желаем ее оскорбить. Ведь в ней созидание и разрушение неотделимы друг от друга. Гнев, удовольствие, болезнь или смерть изменяют человеческий облик не менее ужасно (или комично), нежели те уродливые искажения, деформации и стилизации, какими наслаждается воспаленный гений Пикассо.

Природа не знает истории, но в ее формах живут все стили прошлого, настоящего и будущего. В некоторых утесах Кабульской долины я видел рождение, расцвет и закат готического стиля. В зеленоватой луже — камешки, водоросли, земноводные, крошечные уродцы — узнал одновременно Байон из Ангкора [1] и эпоху Макса Эрнста. Форма и расположение зданий Теотиуакана [2] — копия долины Мехико. И тот же пейзаж предсказывает живопись Шунга. Микроскоп открывает мне, что в некоторых клетках уже заложена формула тибетских танок. А телескоп показывает, что Тамайо [3] — не только поэт, но и астроном. Белые облака — песни греков и арабов. Я смотрю на заколдованное серебро — кусок обсидиана, подернутого стекловидной перламутровой пленкой: Моне и те, что шли за ним. Нельзя не признать: природа больше угадывается в абстракциях, чем в наглядных изображениях.

Современная абстрактная живопись явила себя двумя направлениями: поиском основ (Кандинский, Мондриан) и натурализмом так называемых англоамериканских экспрессионистов [4]. Родоначальники движения хотели идти от природы, создать мир чистых форм или свести все формы к их первооснове. Англичане и американцы не искали в природе вдохновения, они решили действовать, как и она. Для них живопись как жест или акт — двойник, более или менее ритуальный, природного явления. Живопись п о д о б н а воздействию солнца, воды, соли, огня или времени на предметы. И живопись, и природное явление выступают определенного рода случайностями: непредвиденное столкновение двух или более рядов событий. Очень часто результат бывает замечательным: тогда картины — фрагменты живой материи, дерзкие в своей обнаженности или вскипающие страстью куски космоса. Однако такое искусство не целостно, как можно видеть на примере Поллока, самого мощного из этих художников. Его большие полотна не имеют ни начала, ни конца, поэтому, несмотря на их размеры, несмотря на энергию, с которой они сделаны, они кажутся нам гигантскими осколками, а не законченными мирами. Такая живопись не утоляет нашей жажды цельности — главный признак большого искусства. Это лишь фрагменты и лепет: сильное желание высказаться, но еще не полноценная речь.

Абстрактная живопись, идеалистическая или натуралистическая,— искусство вневременное. Сущностному или природе чужда человеческая хронология: природные элементы не знают дат, как не знают их и идеи. Я предпочитаю другое течение современного искусства — то, что стремится постичь смысл в изменении. Это временно́е искусство — предметное изображение, искажение, метаморфоза: на одном краю веера — Пикассо, на другом — Клее. В центре — Дюшан и великие сюрреалисты. Никто не говорил пока о незримом противоборстве между временны́м и вневременным искусством. Напротив, до самого недавнего времени нас оглушали споры между абстракцией и предметным изображением. Идеалистическому абстрактному искусству мы обязаны самыми современными и чистыми творениями первой половины века. Нет нужды ни касаться их, ни повторять. Натурализм и экспрессионизм дали нам напряженные и сильные, но гибридные произведения. Гибридность — результат противоречия между природным явлением (чистая объективность) и человеческим жестом (субъективность, преднамеренность). Можно сказать иначе: в этой живописи смешиваются, но не сливаются две различные реальности — живая материя картины (энергия и инерция) и романтический субъективизм художника. Героическая, но также и театральная живопись: героическое деяние и действо. В свою очередь временно́е искусство есть закрепление мгновения, которое взвивает в своем пламени внешний облик и сжигает его. Временно́е искусство воспроизводит внешнюю реальность, даже когда расчленяет ее, как это происходит у Пикассо. Внешнее — это не только то, что мы видим. Бретон говорит о «внутренней модели» и таким образом напоминает о призраках, что населяют наши ночи, о тайном облике, через который проявляется «инаковость» мира. Джако-

---

[1] Байон — храм, одно из центральных сооружений Ангкора, грандиозного комплекса храмов, дворцов, водохранилищ и каналов близ г. Сием-Реапа (Кампучия).

[2] Город, центр одной из важнейших доколумбовых цивилизаций Центральной Мексики, созданных предками науа в I тыс. н. э.

[3] Руфино Тамайо (р. 1900) — мексиканский живописец.

[4] Мне не нравится термин «экспрессионизм» применительно к абстрактной живописи; есть противоречие между экспрессионизмом и абстракцией. Равным образом вводит в заблуждение определение «абстрактная живопись». Уже Бенжамен Пере отмечал, что искусство всегда конкретно, своеобразно. *(Прим. автора.)*

метти сказал, что хотел бы лишь одного: когда-нибудь написать или вылепить реальное лицо. Брак не ищет сути предмета: предмет растекается у него по прозрачной реке времени. Безлюдные часы Кирико. Линии, цвета, стрелы, круги Клее: поэма движения и метаморфозы. Внешнее — шифр мира, шифр бытия. А также шрам, след раны, нанесенной временем: это мгновение и мгновения. Это знак, который лишь указывает на предмет, но никогда не касается указанного и желаемого предмета.

Поиск смысла, сути или их разрушение (что одно и то же: мы не можем убежать от смысла) — главное и в том и в другом направлении. Единственное малозначительное искусство нашего времени — реализм. И не столько из-за посредственности им рожденного, сколько потому, что он стремится воспроизвести природную и социальную реальность, реальность, которая утратила свой смысл. Временно́е искусство противопоставляет себя этой утрате смысла и поэтому становится по преимуществу искусством воображения. С этой точки зрения дадаизм был образцом (и образцом неподражаемым, несмотря на то, что он недавно в коммерческих целях пытался себя повторить в Нью-Йорке): дадаистское искусство повернулось лицом не только к незначению и бессодержательности, но и сделало из незначимости свой самый эффектный инструмент интеллектуальной ломки. Сюрреализм искал значение в страстном магнетизме мгновения: любовь, вдохновение. Здесь ключевым будет слово «столкновение». Что осталось от всего этого? Несколько картин, несколько стихотворений: гроздь живого времени. Вполне достаточно. Ведь смысл все равно находится не здесь: он всегда там, дальше, за пределом.

Временно́е искусство колеблется между внешним образом и его разрушением, между значением и не-значением. Но мы жаждем искусства цельного. Не тотального, как хотели романтики, а искусства тотальности. Есть ли сегодня подобное?

А. КОФМАН

УТОПИЯ ОКТАВИО ПАСА

Прискорбно и неловко представлять широкому читателю журнала «Иностранная литература» мексиканского поэта Октавио Паса как эссеиста и философа; но в силу сложившихся обстоятельств его приходится именно представлять, начиная разговор о нем с необходимого указания, которое показалось бы смехотворным любому западному интеллектуалу: Пас — не только крупный поэт[1], но не менее крупный эссеист[2], философ современности, автор нескольких десятков сборников стихов и статей по вопросам эстетики, политики, философии (свыше пятидесяти названий). Одним из лидеров современной культуры он был признан еще в 60-е годы и ныне является обладателем множества престижных национальных и международных премий, из которых, чтобы не утомлять читателя, назовем только последние: премия имени Т. С. Элиота (1987) «за бесспорно значительные произведения, утверждающие моральные устои западной цивилизации»; премия имени М. Менендеса и Пелайо (1987), чьим первым лауреатом он стал, премия Британской энциклопедии (1988) «за исключительные заслуги в распространении знаний на благо человечества», впервые врученная представителю Латинской Америки; наконец, Нобелевская премия по литературе за 1990 год. Библиография критических работ об Октавио Пасе уже составляет отдельную книгу, включающую несколько сот позиций.

Ко всему этому необходимо добавить еще одно — извинительное (хотя и не извиняющее), а главное, многое проясняющее: мексиканский писатель не был, что называется, «лоялен» по отношению к внутренней и внешней политике нашей страны: вот почему его книги на долгие годы сослали в библиотечные спецхраны. Предшествующая редакционно-издательская практика внушила (пишущим еще более, чем читающим) стойкое отвращение к изложению политических позиций писателя, какими бы они ни были; но в данном случае мы не чувствуем себя вправе обойти молчанием этот вопрос, поскольку политические воззрения Паса, изложенные в его многочисленных статьях и выступлениях, имеют прямую связь с его эстетическими теориями, поскольку, наконец, это его воззрения, которые он имеет такое же право высказать, как мы — выслушать.

В 30-е годы Пас, начинающий поэт и журналист, активно сотрудничал в левой прессе; в 1936 году он уехал в Юкатан, где основал школу для детей рабочих и крестьян; а в 1937-м был приглашен в Испанию на съезд писателей, где познакомился с Пабло Нерудой, Луи Арагоном, Мигелем Эрнандесом, Антонио Мачадо и другими известными деятелями культуры. Там же, в Испании, в 1937-м, Пас опубликовал два поэтических сборника «Но пасаран» и «Под

---

[1] «ИЛ» публиковала стихи О. Паса в 1970, № 6, в переводе П. Грушко.

[2] Эссе О. Паса «О Пастернаке» см. в «ИЛ», 1990, № 1.

ясной твоею тенью и другие стихи об Испании». «Политика Народного фронта,— признавался поэт в одном из интервью,— вначале пробудила во мне некоторое сомнение и внутреннее сопротивление. Но мои друзья-коммунисты убедили меня, что перед угрозой наступления гитлеризма единственно верная тактика состоит в сплочении всех антифашистских сил. Именно такую политику мы и проводили в газете «Популар».

Кризис пресловутой «лояльности» у Октавио Паса, как и у многих других деятелей зарубежной культуры, произошел в августе 1939 года: «Пакт между Гитлером и Сталиным возмутил и разгневал меня. Я ушел из газеты и порвал с коммунистами. Мне было очень одиноко. К счастью, нашлись и те, кто разделял мою точку зрения. Но разрыв с Нерудой и другими был окончательным и крайне болезненным для меня. Тогда же я впутался в горькую полемику со сторонниками так называемого социалистического реализма. Сейчас, возвращаясь памятью в те годы, я поражаюсь, как же могло случиться, что столько выдающихся умов заразилось этой духовной проказой, сталинизмом. Очевидно, результат аберрации религиозного инстинкта, столь мало изученного».

Конфликт Паса с леворадикальной интеллигенцией усугубился в 1950 году в связи с полемикой о сталинских лагерях — эта история подробно изложена писателем в эссе «Архипелаг — чернилами и желчью», открывающем нашу подборку.

В одном из своих недавних интервью Пас в который раз четко прояснил свои политические позиции и в ответ на очередное обвинение в антикоммунизме заявил: «Октавио Пас никогда не был антикоммунистом, но с давних пор является врагом бюрократии, которая превратила СССР и другие так называемые социалистические страны в тоталитаристские идеократии. Думать так — вовсе не значит быть антикоммунистом: в конце концов, коммунистов убивал Сталин, а не его критики. Чтобы развеять это заблуждение насчет себя, я лучше процитирую отрывок из своей книги «Тетива и лира»: «Идея мирового сообщества, в котором путем уничтожения классов прекратится власть одних над другими и мораль, основанная на насилии и наказании, будет заменена личной свободой и ответственностью; сообщества, в котором с исчезновением частной собственности каждый человек станет хозяином самому себе и эта «индивидуальная собственность» сделается всеобщей благодаря коллективному производству; сообщества, в котором сотрется различие между трудом и искусством,— эта идея не может быть отвергнута. Отказаться от нее — значит отказаться от мечты современного человека, отказаться от своего бытия... Марксизм — это последняя попытка западного мышления примирить разум с историей». Но на той же странице я добавлял: «Если суждено возникнуть новому революционному мышлению, то оно неизбежно включит в себя две традиции, отторгнутые Марксом и его последователями: анархистскую и поэтическую».

Вот она — та точка, где стыкуются и увязываются политические и эстетические концепции Октавио Паса: поэзия, немыслимая без абсолютной свободы. По сути, мексиканский писатель и попытался создать «новое революционное мышление», наметив неразведанный путь к гармоничному сообществу — путь поэтический: из поэзии и через поэзию к перевоссозданию общества, превращению его в «живую, бесконечно самовоспроизводящуюся поэму».

Творчество Октавио Паса очень многогранно: не говоря о том, что он выступает как поэт, философ и публицист, его эссе посвящены самым разнообразным темам. Но притом творчество Паса оставляет ясное ощущение внутреннего единства, связующего его поэзию и эссеистику, которые в идейном и эстетическом планах дополняют друг друга, подобно сообщающимся сосудам. Корень этого единства — не только в том, что в прозаических и поэтических жанрах используются одни и те же философско-эстетические категории (мы их рассмотрим), да и вся философия Паса, весьма далекая от рационализма, проникнута поэтическим духом и внутренне родственна поэзии; суть единства видится также в том, что мысль Паса, какие бы направления и темы она ни избирала, всегда движется между двумя полюсами: отталкиваясь от антиутопии — устремляется к утопии. Правда, сам писатель не ввел эти коннотации в систему своих излюбленных категорий, однако именно они, как представляется, составляют основу его миропонимания, этики и эстетики.

Свое крайнее воплощение антиутопия находит в тоталитаризме. Об этом Пас говорит в статье о Солженицыне «Архипелаг — чернилами и желчью». Но и современная западная технократическая цивилизация для Паса если не анти-, то по крайней мере «неутопия»: в любом случае это то, от чего надо уходить. В эссе «Новая аналогия: поэзия и технология» мексиканский мыслитель сурово критикует современное общество, где, по его мнению, энергия преобладает над смыслом, функция над значением, где происходит уничтожение сущности времени, разрушение модели мира, насилие над действительностью, воспринимаемой лишь в качестве препятствия для преодоления. Все эти обвинения, ясно аргументированные в эссе, в конечном счете сводятся к главному — утере целостности. Целостность — высшая аксиологическая категория в философско-эстетической системе Паса: это тот идеал, к которому должны стремиться личность, общество, а также искусство, как о том говорится в заключительных фразах эссе «Природа, абстракция, время». Целостность подразумевает реализацию всех утопических проекций философии Паса и фактически обозначает Утопию, свет, который мерцает в сокровенных глубинах эссеистики и поэзии Октавио Паса.

Утопическая система мексиканского мыслителя складывается из ряда многозначных взаимопроникающих категорий; не имея возможности дать ее детальный анализ, попытаемся выявить (неизбежно несколько схематизируя и «рационализируя») основной комплекс утопических идей Паса, опираясь при этом также на эссе и стихи, не вошедшие в предлагаемую читателю публикацию.

Отметим прежде всего, что эта система — не столько плод воображения и изобретательности писателя, сколько результат сочетания и переосмысления философско-эстетических концепций, усвоенных из различных эпох и ареалов мировой культуры: вообще универсализм — характернейшая черта мышления Октавио Паса, равно как и его поэзии. «Для Паса литература — синоним цивилизации,— справедливо отмечал его соотечественник, всемирно известный прозаик Карлос Фуэнтес.— Я не знаю ни одного из ныне живущих писателей, кто бы так мощно сумел выразить множественность времени, множественность возможностей достижения гармонии и правды, выйдя за ограничительные рамки наследованных нами догм».

В большой степени универсализм мышления Паса обусловлен тем, что в жизни ему пришлось не только соприкоснуться, но и внедриться в различные культуры. В 1944—1945 годах, получив Гуггенхеймовскую стипендию, он жил в США, где свел знакомство с Робертом Фростом; в 1945-м, поступив на дипломатическую службу, уехал в Париж, где близко сошелся с А. Бретоном и Б. Пере; в 1952-м с дипломатической миссией совершил путешествие в Индию и Японию, пробудившее в нем интерес к восточным культурам, ставшим предметом углубленного изучения в 1962—1968 годах, во время пребывания в Индии в качестве мексиканского посла. Статья о Солженицыне свидетельствует и о его глубоком знании русской культуры.

В творчестве Паса синтезировались традиции национальной (в том числе дококолумбовой) культуры, испанской поэзии барокко и XX века, западноевропейского символизма, сюрреализма и структурализма и восточных религиозно-философских учений, что дало возможность Карлосу Фуэнтесу охарактеризовать его ментальность следующей чуть ироничной формулой: «Сын Мексики, брат Латинской Америки, пасынок Испании, приемный сын Франции, Англии и Италии, семейный друг Японии и Индии, внебрачный сын (как сегодня все мы) Соединенных Штатов».

В основании утопической системы Октавио Паса находится слово — начало всех начал. Человек неотделим от слова, равно как и слово от человека: «Человек — существо, созданное из слов»; «Мы составляем мир слов, слова составляют наш мир». (Не случайно своей любимой книгой мексиканский поэт неизменно называет словарь: «это копия вселенной, только разбитая, разъединенная»). По мысли Паса, историю человечества правомерно представить как отношения между словом и мышлением: вот почему все кризисные исторические периоды сопровождались переоценками языка. «Слово не только называет мир, но и его основывает — либо изменяет»; и как итог нечто совсем неожиданное: «Язык не принадлежит нам: мы ему принадлежим».

Что это, набор эксцентричных парадоксов? Однако остережемся отметать их с ходу. В поэтических, внешне иррациональных парадоксах Паса всегда содержится вполне рациональное зерно. Вдумаемся, так ли уж абсурдно заявление насчет того, что мы принадлежим языку? Если обратиться к истокам, то сознание человека формировало речь в той же степени, в какой речь формировала сознание — процесс этот нерасчленим. Далее, идея обретает законный смысл в словесном выражении, а о том, какое влияние оказывали идеи на историю человечества, как они определяли судьбы людей и наций, жизнь и смерть человека, говорить, очевидно, нет надобности.

Наконец, если обратиться к современности, возьмем еще один, малоизученный аспект проблемы, обозначив его как языковое насилие, и представим (либо вспомним), насколько эффективно целенаправленное изменение смысла одних слов, запрета других и внедрение в обиход новых производили необратимые деформации в сознании и как следствие — в действительности. Бывают, значит, случаи, когда человек (а то и целый народ) становится полным рабом слуги своего — языка. Говоря все это, мы вовсе не доказываем, будто слово первично; мы говорим лишь о том, что оно **не** вторично и что никто еще не смог доказать, что оно **не** первично. А коли так, то в утопии Октавио Паса нет ничего невозможного.

Если слова способны изменить мир (через сознание человека) и создавать новые реалии, то, соответственно, эта способность присуща и поэзии, оперирующей словом; однако присуща в качественно иной и несравненно большей степени, чем обычной коммуникативной речи. По мысли Паса, поэзия — мощнейшее средство преобразования действительности, вот почему: «Будучи упражнением в свободе, поэтическое творчество начинается с насилия над языком... Поэт с корнем вырывает слова из среды их повседневных функций и связей: отторгнутые от подвижного мира бытовой речи, они как бы рождаются заново и обретают уникальность». Выявляя новые значения слов, поэт приоткрывает новые грани реальности.

В «Новой аналогии...» эта функция поэзии названа созидательным лингвистическим смещением; но чаще Пас метафорически характеризует поэтическое творчество как «сальто-мортале», «бросок к другому берегу», «сотрясение основ человека». Все эти образы неизменно заключают в себе идею некоего качественного перепада и прорыва в иную реальность. В том числе это относится и ко внутренней жизни личности: поэзия «выводит человека за его собственные ограниченные пределы, позволяя ему постичь все противоречия, какие он носит в себе», и тем самым становится «извечным проникновением человека в собственную сущность».

Творческий акт мексиканский мыслитель выражает излюбленной формулой «изобретение слова», включающей в себя широкий спектр значений: сопротивление существующей реальности и сотворение новой, абсолютную свободу и самосозидание, жизнь в ее непрестанном обновлении. Эту сумму идей Пас смог выразить в одной лапидарной фразе, ставшей как бы его девизом: «Против тишины и шума я изобретаю Слово — свободу, которая каждодневно изобретает самое себя и меня».

Так же, как поэтическое слово составляет своего рода антимир по отношению к обыденной коммуникативной речи, поэтическое время, считает Пас, представляет иное измерение времени исторического. Попутно следует отметить, что время — центральная тема эссеистики и поэзии Паса, постоянный предмет его размышлений: почему — достаточно подробно объяснено в эссе «Новая аналогия...». Как явствует из него, главная и самая привлекательная для мексиканского мыслителя характеристика исторического времени — изменчивость. Всякая статика для него синонимична смерти; движение, метаморфозу он воспринимает как имманентную форму бытия:

Я исчезаю
светом и пеной, телом без плоти;
мир — это ветер,
это лишь воздух на перелете.
(Перев. А. Гелескула)

Соответственно и искусство он предпочитает такое, что стремится постичь суть в изменении («Природа, абстракция, время»). Поэзия вступает со временем в двойственные отношения. С одной стороны, она является высшим воплощением времени, его «метафорой», как о том говорится в «Новой аналогии...»; однако в этом эссе не нашел отражения другой комплекс идей Паса, связанный с вневременным характером поэзии. В мире поэзии время остановлено, ибо поэтическое творчество в идеале есть акт уничтожения времени. Слова повседневной речи, как древесные листья, периодически усыхают и опадают, уступая место новым; мертвеют и питающие их деревья-языки; но в стихотворении слово закрепляется навечно, так как великое искусство, сколь бы древним оно ни было, остается нетленным и вечно актуальным: это, по выражению Паса, склонного к мышлению парадоксами,— «навсегда будущее прошлое, в любой момент готовое стать настоящим».

Время не властно над миром поэтического языка; его подлинная царица — аналогия (важнейшее понятие эстетики Паса). «Поэзия — одно из проявлений аналогии: рифмы и аллитерации, метафоры и метонимии — суть способы мышления аналогиями». Поэт подобен магу, так как оба они мыслят одинаково, отыскивая и используя метафорические связи между различными объектами; но поэт не только улавливает существующие связи — он создает и новые, поскольку в его распоряжении демиурга есть мощная созидающая сила — слово. Кроме того, аналогия, этот «ключ ко вселенной», становится единственным средством проникнуть в некую иную реальность, «замкнутую в самой себе», «закрытую для прямого контакта», которую Пас условно называет «миром небесного», противопоставляя его «миру земному» и имея в виду всю сферу непознанного — бесконечную тайну, окружающую нас. Неограниченная в своих познавательных и созидательных функциях, поэзия предстает как модель всего сущего: «Если аналогия преобразует вселенную в стихотворение, то есть в текст, устанавливающий соответствия между противоположностями, она тем самым превращает и стихотворение во вселенную. Таким образом, мы можем ч и т а т ь и вселенную, мы можем п р о ж и т ь стихотворение». Вся поэзия Паса по сути дела является поиском таких аналогий — «выразимых и объяснимых только посредством самих себя».

Аналогия создает поэтический образ, который Пас мыслит эффективнейшим средством гармонического совершенствования человека: «Образ изменяет человека, превращая его в свою очередь в образ, то есть в ту субстанцию, где сходятся противоположности. И сам человек, растерзанный с рождения, примиряется с собою, когда становится образом, становится другим». Так аналогия выводит к еще одной фундаментальной категории философии и эстетики Паса — «инаковости» (otredad).

По определению Паса, «инаковость — прежде всего ощущение того, что, оставаясь самими собой, мы одновременно — другие и что наше подлинное естество пребывает в каком-то другом месте». Инаковость можно истолковать как способность человека взглянуть на себя глазами другого и через такое зеркало осознать не только свое «я», но и образ своего «я». Думается, любой человек (а также и народ), хочет он того или нет, живет одновременно в ином измерении — как образ самого себя; но часто получается так, что это второе измерение не осознается либо (что куда более страшно) гипертрофируется и подменяет сущность: в любом случае потеря гармонического равновесия между собой и своим образом чревата плоскостным ви́дением мира, чудовищными деформациями восприятия и утерей контакта с ближним. Позволяя осознать себя через другого, «поэзия выводит человека за пределы самого себя и в то же время заставляет возвратиться к своей подлинной сущности». В конечном счете инаковость противостоит смерти:

Наверно, смерть вдвоем — уже не смерть.
Наверно, оттого и умираем,
что с нами умереть никто не хочет,
в глаза нам заглянуть никто не может.
(Перев. А. Гелескула)

Одно из проявлений инаковости — эротика, занимающая исключительное значение в эстетическом мышлении Паса. Некоторые значения этой категории прояснены в «Новой аналогии...». По мысли Паса, эротика — своего рода разновидность языка, один из способов создания новой реальности. «Если мужчина — метафора вселенной, любовная пара — это высшая метафора, точка сосредоточения всех сил, семя всех форм. Любовная пара — это отвоеванное время до времени».

Упомянем еще одну фундаментальную категорию эстетики Октавио Паса — «молчание», которая в его поэзии (в виде пропусков и перебивок в тексте) полнится такой же огромной значимостью, как так называемые «активные пустоты» в скульптурах Г. Мура и О. Цадкина. В мышлении Паса эта категория предстает в двух ипостасях: условно обозначим их «молчание до» (слова) и «молчание после». В первом варианте молчание предстает как скрытое присутствие еще не выявленной красоты, то есть как потенциальная поэзия, ждущая своего осуществления: «Из молчания вырастает древо музыки / с чьих ветвей свисают прекрасные слова / наливаются, созре-

вают и опадают»; в этом случае творческий акт означает преодоление молчания. Иное дело, когда молчание наступает как «последнее измерение слова», выявившего все свои возможные значения: такое молчание знаменует естественное продолжение стихотворения, но уже в иной, недоступной рациональному проникновению сфере «небесных» сокровенных смыслов. Стихотворение — как бы дверца, приоткрытая в вечность, в ту надреальность, которую Октавио Пас называет труднопереводимым словосочетанием «más allá» («дальше», «за порогом», «за гранью», «вовне»). Собственно, эта трансцендентная утопическая реальность для Паса куда более близка, чем реальность окружающего мира: «Реальность находится вовне, всегда вовне».

Именно туда, дальше, в тайну, за порог нашего знания, за грань осязаемой реальности устремлена творческая мысль Паса; именно туда — más allá — выводят все основополагающие категории его эстетики: «слово», «язык», «время», «аналогия», «образ», «инаковость», «эротика», «молчание», «поэзия».

Вернемся к исходным тезисам. Если «слово это и есть сам человек», если «все мы сотканы из слов», то движение слова через поэзию, «вовне» означает и соответствующую прогрессию человека: пусть моментальное, пусть трудноуловимое, но все же пребывание человека «там» и соприкосновение с сокровенной сущностью себя и вселенной. Выход человека через слово «за пределы» себя предстает как акт созидания утопии; каждый прорыв «вовне» означает новый шаг в направлении утопии. «Поэзия — это спасение, познание, власть, забытье. Поэтическое творчество является лучшим средством внутреннего освобождения; будучи революционным по своей природе, оно способно изменить мир».

«В стихотворении бытие и жажда бытия на мгновение воссоединяются как плод и губы. Поэзия — мгновенное примирение: вчера, сегодня, завтра; здесь и там; ты и я; он; мы; все в ней есть, всем она будет».

Вера и мораль

ДАЙСЭЦУ СУДЗУКИ

ДВЕ ЛЕКЦИИ О ДЗЭН-БУДДИЗМЕ

Предисловие и перевод с английского ЛЮДМИЛЫ ЕРМАКОВОЙ

Дзэн и искусство жить

«Внимать тому, что передают, познавать то, чему учат люди, не есть истинная мудрость. Что же можно назвать мудростью?

Хорошо и нехорошо суть одно и то же. Что же назвать хорошим?

У истинного человека нет ни мудростей, ни добродетелей, ни достоинств, ни имени... Это бывает потому, что грани между мудростью и глупостью, прибылью и убытком для него не было изначально» [1].

Вышеприведенные максимы почерпнуты отнюдь не из буддийских текстов, это парафраз даосских идей Чжуан-цзы, выписанный нами из японской книги «Записки от скуки» Кэнко-хоси (1283—1350), придворного поэта, буддийского монаха-отшельника, принадлежавшего к ответвлению старинного рода синтоистских жрецов Накатоми. В последней фразе недаром сплетены разные типы умозрения — дело в том, что буддизм, распространяясь из Индии далеко на восток, укоренялся в Китае на почве, уже давно тщательно и глубоко возделанной. Быть может, именно концепция Единого, недуального Дао в Китае и сопредельных ему странах облегчила усвоение буддийских идей и различных течений буддийской философской мысли. Нередко высказывается даже точка зрения, что чань- или дзэн-буддизм возник в Китае как своеобразная китайская реакция на индийские разновидности буддизма.

У даосизма и дзэн-буддизма действительно немало общего: это и уже упоминавшаяся концепция недуальности, и отстаивание внесловесных путей постижения истинной реальности (таково «громоподобное молчание» Будды в ответ на вопросы о том, вечен ли мир, имеет ли он пределы и т. п.).

Дзэн-буддизм, вместе с другими течениями внутри буддизма Махаяны, был заимствован Японией из Китая, и, разумеется, было бы ошибочным отождествлять Дзэн с японским буддизмом вообще, это лишь одна из его школ. Однако на Западе, особенно в последние десятилетия, из всех разновидностей дальневосточного буддизма именно дзэнская традиция пользовалась особым вниманием и популярностью. И чуть ли не первейшая заслуга в распространении представлений о Дзэн к западу от Японских островов принадлежит Дайсэцу Судзуки, которому удалось словами, к тому же несущими европейские понятия и смыслы, передать западному миру свое «сообщение» о состоянии сознания, преодолевшего дуальность, разорвавшего путы косного интеллекта и вышедшего к просветлению, то есть высшему и истинному познанию.

Дайсэцу Судзуки (1870—1966) был профессором буддийской философии в университете Отани. Его перу принадлежат 25 работ о буддизме, написанных им по-английски, и по меньшей мере 18 — по-японски. Профессор Судзуки свободно владел европейскими языками, был начитан в западной философии, работал с буддийскими текстами на санскрите, пали, древнекитайском.

Однако этот кабинетный ученый, хоть и не был буддийским монахом, пережил специфический дзэнский опыт — в 27 лет он достиг сатори, того самого дзэнского озарения, о котором он потом написал: «Сатори — это raison d'être Дзэн, ибо жизнь в Дзэн начинается с открытия сатори». Некоторые теоретики определяют сатори через аналогию с религиозным преображением в христианстве, подчеркивая, однако, что приготовление к дзэнскому мистическому опыту требует, чтобы человек «отпустил себя» (sich lassen), освободился от образов, преодолел пределы и ограничения, которые ставит перед его взглядом привычно работающий разум.

Трудно вот так, вкратце передать суть учения, которое отвергает опору на Слово, Писание, текст; прибегая к заведомо негодной аналогии, можно сказать, что Дзэн способен помочь человеку европейского склада преодолеть трагедию самовыражающейся личности. Как писал Гёте, «каждая отдельная личность изъявляет волю, неограниченно взывает ко всеобщему, но стеснена и предназначена в жизни к частному». Так вот, Дзэн разрешает эту дилемму, сни-

[1] Перев. В. Н. Горегляда.

мая противоречия между частным и всеобщим, предельным и бесконечным и т. п., поскольку, согласно учению, все эти противоречия — не что иное, как порождения интеллекта, занимающегося классификациями и различениями, природа их неистинна, они не существуют изначально.

Как же происходит снятие этих различений, освобождение от страданий, приобщение к истинному бытию и знанию? Пути к этому в Дзэн часто нетрадиционны, импровизационны, парадоксальны, подобно «хлопку одной ладонью».

У одного дзэнского мастера спросили, что такое Дзэн. Твои повседневные мысли, ответил он. Дзэн, бесспорно, мистический, невыразимый словами опыт, однако он вовсе не сводится к тому, что человек, усиленно занимаясь медитацией, вызовет в себе состояние самовнушения. «В Дзэн нечего объяснять, нечему учить,— пишет Судзуки, отчасти опровергая сам себя.— Дзэн вырастает из нас самих... это мгновенная вспышка новой истины, род умственной катастрофы, во время которой рушатся интеллектуальные нагромождения и человеку открываются новые небеса».

Рассуждая о Дзэн, Судзуки часто прибегает к христианским понятиям, однако вовсе не с целью установить аналогии или соответствия между Дзэн и каким-либо иным типом мировоззрения. «В Дзэн нет Бога, и когда я говорю это, набожный читатель может быть шокирован. Однако мои слова вовсе не означают, что Дзэн отрицает существование Бога, просто Дзэн не имеет никакого отношения ни к подтверждению, ни к отрицанию».

Многие, вероятно, слышали о принятой у некоторых дзэнских наставников шокотерапии, когда человека хватают за нос или бьют палкой, чтобы помочь ему приблизиться к сатори. Известны также и загадочные коаны — абсурдные на первый взгляд диалоги дзэнских монахов, которые человек европейского культурного круга и к парадоксам-то может причислить лишь условно. И то, и другое направлено вовсе не на то, чтобы вогнать «жертву» в ступор или погрузить в бессознательное состояние; сатори не бессознательность, а нечто, превышающее и разум, и состояние его полной опустошенности, но обещающее мгновенное постижение сути вещей. По Судзуки, этого можно добиться, лишь истощив до предела свои умственные и духовные возможности; и одновременно — это просто, как то, что мы каждый день видим перед глазами. Одна из знаменитых дзэнских притч повествует о том, как некий придворный в древнем Китае спросил у наставника Дзэн: «Один человек посадил в кувшин гусенка. Тот вырос, и кувшин стал для него мал. Как достать гуся из кувшина, не разбивая кувшина?» Монах тут же обратился к спрашивающему по имени. «Да, учитель»,— отозвался придворный. «Да вот же, гусь уже снаружи»,— сказал наставник. Судзуки сопровождает этот диалог следующим комментарием: «Дело в том, что ответ всегда следует вместе с вопросом, поскольку спрашивать — и есть отвечать. Но при этом необходимо помнить, что, пока не задан вопрос, не может воспоследовать ответ». И из самой притчи, и из комментария Судзуки явствует, что Дзэн ускользает из любых логических сетей, его цели и смыслы не то что противоречат логике, они просто находятся вне ее, не имея к ней никакого касательства. По-видимому, эта сторона Дзэн весьма притягательна для современного человека, разочаровавшегося в могуществе разума, сциентизма, интеллектуализма и их основного инструмента — древних и новейших типов логических рассуждений.

Дзэн, по Судзуки, и этику трактует так же, как логику. Этика, с дзэнской точки зрения, сродни логике; человек этический совершает достойные поступки, все время осознавая это и нередко рассчитывая на будущее вознаграждение. Таким образом, его сознание замутнено, поскольку такая этика — не что иное, как приложение логики к фактам жизни. Дзэн отвергает ее; поскольку жизнь — это искусство, то, как совершенное искусство, она должна быть не самосознающей, а самозабвенной. Жизнь надо проживать так, как летает птица, как плавает рыба. Дзэнской суперлогике соответствует и дзэнская суперэтика, заключающаяся в осознании того факта, что никакого «эго» изначально не существует и, подобно преодолению логики, необходимо преодолеть и мнимую определенность своего «я», что позволило бы снять различение «я» и другого, субъекта и объекта, достичь так называемого состояния «не-я».

Ничто не должно стоять между человеком, идущим по пути Дзэн, и фактами жизни; как поясняет Судзуки, они должны предстать друг перед другом как два идеально чистых и гладких зеркала. Здесь не только священные книги, но и сам Гаутама может оказаться помехой,— отсюда парадоксальный дзэнский завет: «встретишь Будду — убей Будду».

Итак, Дзэн, по Судзуки, жизнь в «абсолютном настоящем», «вечное Теперь». Разумеется, вся эта система умозрения, которую нельзя, видимо, однозначно назвать ни религией, ни философией, хотя в ней заложены энергии и того и другого характера, не исчерпывается предлагаемыми фрагментами, и дело здесь не только в том, что Судзуки вынужденно пользуется терминами европейской философии, а порой, быть может, чересчур впадает в апологетику или упрощения, стремясь донести до читателя, принадлежащего к иному культурному кругу, хоть немногое из того, что столетиями разрабатывалось в недрах индийской, китайской, японской мыслительных традиций. Дело прежде всего в том, что Дзэн — это не теория или концептуальная система, не набор идей и представлений, а, скорее, способ жизни, состояние сознания, особый тип мироотношения. И это, конечно, трудно перевести в линейно развертываемые последовательности мыслей, облеченных в слова.

И все же печатные труды Судзуки и его лекционные турне в странах Запада не пропали втуне. Сама природа Дзэн, предполагающая обращение, или, по-дзэнски говоря, «указание» на простые факты жизни, обыденные занятия и действия, предопределила высокую насыщенность всех сфер человеческого бытия дзэнской эстетикой. Поэтому мощный импульс дзэн-буддизма

испытали не только западные философы (как, например, Хайдеггер), но и, в не меньшей, а может быть, и в большей степени, западные литераторы, художники, композиторы (назовем хотя бы Сэлинджера, Гессе, Керуака, в музыке — Малера, Кейджа, Мессиана, хотя список этот гораздо обширнее и продолжает расти). Из сравнительно знаменитых новинок последних двух десятилетий заслуживает упоминания философский роман Роберта М. Пирсига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», вышедший в США в 1974 году.

Интерес к Дзэн на Западе перешел в популярность, а в некоторых кругах превратился в моду и тут же оказался мишенью литературной иронии — взять, например, построенный по всем классическим правилам детектив Китинга «И тогда произошло убийство», в котором наставник Дзэн, обучающий медитации группу англичан, с помощью дзэнских психологических установок и коанов раскрывает загадку смерти одного из членов группы.

У нас же с дзэн-буддизмом пока были знакомы лишь отдельные группы читателей — востоковеды, философы, искусствоведы, любители восточных единоборств, хиппи-интеллектуалы. Для остальных путь в Дзэн только начинается. Данная публикация отчасти и задумана, как первый шаг на этом пути. Но, как предостерегал сам Судзуки, ссылаясь на речение чаньского монаха Юань У (1566—1642), «иногда одного слова достаточно, чтобы убедиться в истинности Дзэн, однако уже здесь может вкрасться ошибка. Она еще более вероятна, если истина доверена бумаге и туши, или выражена устами, или же приняла вид словесных уловок,— тогда она ускользнет от вас. Великой истиной Дзэн владеет каждый. Всмотритесь в себя и не ищите ее с помощью других».

Дзэн как очищение и освобождение

По своей сути Дзэн — это искусство проницать природу нашего собственного существования, указывающее путь от рабства к свободе. Предоставляя нам возможность непосредственно приникнуть к источнику жизни, Дзэн освобождает нас от гнета всяческих оков, под которым мы, существа конечные, непрестанно страждем в этом мире. Можно сказать, что Дзэн высвобождает все те энергии, которые надлежащим и естественным образом заложены в каждом из нас и которые в обычных условиях стеснены и искажены настолько, что не находят соответствующих путей проявления.

Человеческое тело — нечто вроде электрической батареи, в которой потаенно сокрыта таинственная сила. Если эта сила не воплощается в действии, она подергивается патиной и истощается или же извращается и проявляется патологическим образом. Цель Дзэн в том и состоит, чтобы спасти нас от безумия и уродства. Именно это я разумею под свободой — свободу выражения всех созидательных и благородных импульсов, врожденных человеческому сердцу. Обычно мы пребываем в неведении относительно того факта, что сами наделены всеми необходимыми способностями, чтобы жить в счастье и любви друг к другу. От этого незнания происходят все те жестокие превратности жизни, которые мы повсюду наблюдаем. Дзэн же стремится к тому, чтобы мы открыли свой «третий глаз», как это именуют буддисты, и узрели ту дотоле незнаемую область, которую закрывало от нас наше невежество. Когда рассеется туман этого неведения, нам будет явлена бесконечность небес, где мы впервые проникнем в природу собственного бытия. Тогда мы узнаем значение жизни, она перестанет быть нашим слепым усилием или воздействием жестоких сил. Пусть мы не знаем со всей определенностью конечный смысл жизни, в ней есть нечто, что внушает нам понятие о бесконечной благословенности в проживании ее и позволяет при всех ее изменениях оставаться вполне успокоенными без каких-либо вопросов и пессимистических сомнений.

Когда мы полны жизненных сил, но еще не пробуждены к знанию жизни, тяжесть жизненных конфликтов для нас еще не проявлена. Однако рано или поздно приходит пора столкнуться лицом к лицу с жизнью и решать ее самые затруднительные и неотложные загадки. Конфуций сказал: «В пятнадцать мои помыслы были обращены к ученью, к тридцати я утвердился в себе». Это одно из самых глубоких речений китайского мудреца. Психологи согласятся с его высказыванием, поскольку пятнадцать лет — это обычно тот возраст, когда молодые начинают всерьез оглядываться вокруг и задумываться над значением жизни. Почти одновременно вырываются наружу все духовные силы, до тех пор безмятежно покоившиеся в подсознательном. Если это происходит слишком стремительно и бурно, ум может утратить равновесие; по сути дела, многие случаи нервных срывов в подростковом возрасте главным образом связаны с утратой ментального равновесия. Обычно этот эффект не слишком тяжел, и кризис может миновать, не оставив глубоких отметин. В некоторых случаях благодаря врожденным свойствам или податливости натуры к воздействию окружения пробуждение души может увлечь человека в самые дальние глубины его личности. Наступает время, когда ему предстоит выбрать между «Вечным Нет» и «Вечным Да». Этот выбор и есть то «ученье», которое подразумевал Конфуций,— глубокое погружение в тайны бытия.

Обычно исходом этой борьбы становится «Вечное Да» или «Пусть будет по-твоему», поскольку жизнь в конечном счете есть форма подтверждения, как бы отрицательно ни воспринимали ее пессимисты. Тем не менее в жизни случаются моменты, когда наши слишком чувствительные души обращаются в ином направлении, и мы восклицаем вместе с Леонидом Андреевым в его «Жизни человека»: «Я проклинаю все, данное тобою. Проклинаю день, в который я родился, проклинаю день, в который я умру. Проклинаю всю жизнь мою, ее радости и горе... все бросаю назад в твое жестокое лицо, безумная Судьба. Будь проклята, будь проклята вовеки! И проклятием

я побеждаю тебя. Что можешь еще сделать ты со мною?.. Последней мыслью я крикну в твои ослиные уши: будь проклята, будь проклята!» Это суровый обвинительный приговор жизни, полное ее отрицание, самое мрачное изображение судьбы человека на земле. Буддисты в таких случаях говорят о «неоставлении следа», поскольку мы ничего не знаем о нашем будущем, кроме того, что все мы умрем, равно как и сама земля, на которой мы родились. Это, безусловно, способно оправдать пессимистов.

Жизнь, такая, какую ведет большинство из нас,— это борьба. А раз жизнь — это форма борьбы, она не может быть не чем иным, как страданием. А разве борьба не означает столкновения двух конфликтующих сил, каждая из которых стремится одержать верх над другой? Если борьба за жизнь проиграна, ее исход — смерть, а смерть — самое страшное в мире. Даже если смерть побеждена, человек остается один, одиночество же труднее вынести, чем самое битву. Выхода нет. Человек может не осознавать этого и по-прежнему предаваться минутным удовольствиям, которые предоставляют ему его органы чувств. Но эта бессознательность ни в коей мере не колеблет жизненных фактов. Сколь бы настойчиво слепые ни отрицали существования солнца, они не способны его упразднить.

Первая из «Четырех благородных истин» Будды заключается в том, что жизнь — это страдание. Разве каждый из нас не является в этот мир с плачем, словно протестуя? Быть исторгнутым из теплой, мягкой утробы в холодную, враждебную среду — это, несомненно, весьма болезненное переживание, если не сказать больше. Рост всегда сопровождается болью. Болезненно прорезываются зубы. Подростковый период связан с ментальными и физическими расстройствами. Точно так же рост организма, именуемого обществом, характеризуется болезненными катаклизмами, и мы постоянно наблюдаем эти родовые муки. Мы можем хладнокровно рассудить, что все это неизбежно, и раз всякое переустройство означает разрушение старого порядка, то и нам приходится подвергаться той или иной болезненной операции. Но холодный, рассудочный анализ не способен умерить наших терзаний. Боль, причиняемая нашим нервам, неустранима.

Однако в этом процессе заключен и чудесный промысел. Ведь чем больше человек страдает, тем глубже становится его натура, и тогда человек с большей проницательностью читает книгу тайн жизни. Великие художники, религиозные лидеры, социальные реформаторы прошли ожесточенные схватки, в которых они бились отважно, нередко в слезах и с кровью сердца. Только тот, кто ест хлеб свой в слезах, способен почувствовать вкус настоящей жизни. Мэн-цзы сказал, что когда Небо хочет привести великого человека к совершенству, то посылает ему всевозможные испытания до тех пор, пока он не выйдет с триумфом из всех своих мучительных переживаний.

По моему мнению, Оскар Уайльд всегда позирует или бьет на эффекты, и хотя он считается выдающимся литератором, что-то в нем меня отталкивает. Но даже он восклицает в «De profundis»: «В последние несколько месяцев, после тяжких терзаний и борьбы, я стал способен усвоить некоторые уроки, скрытые в самом сердце боли. Духовенство и те, кто употребляют выражения, лишенные мудрости, иногда говорят о страдании, как о некоей тайне. Это и в самом деле род откровения. Понимаешь то, чего раньше постичь не мог. Вся история видится с другой точки зрения». Из этих слов явствует, сколь очищающее влияние произвела жизнь в тюрьме на этот характер. Если бы он прошел это испытание в начале своего творческого пути, он, возможно, создал бы произведения более великие, чем те, которые нам оставил.

Мы чересчур эгоцентричны. Скорлупа эго, в которой мы живем, настолько тверда, что трудно прорасти за ее пределы. Похоже, что мы несем ее на себе беспрестанно, от рождения до смерти. Однако нам предоставлены возможности прорваться через эту скорлупу, и первая и самая большая возможность дается нам, когда мы достигаем отрочества. Тогда наше «я» впервые опознает другого — в пробуждении сексуальной любви. Единое и нерасчлененное «я» начинает чувствовать раскол. Любовь, дремавшая дотоле, оживает и вызывает величайшее потрясение в человеке. Ибо любовь востребует одновременно и подтверждения и уничтожения эго. Любовь вынуждает эго затеряться в объекте любви и в то же время хочет присвоить объект. В этом заключается противоречие и конфликт, составляющий трагедию жизни. Это простейшее чувство и должно стать одним из чудесных посредников, побуждающих человека двигаться по своему пути вверх. Бог насылает трагедии на совершенного человека. Величайшие достижения мировой литературы есть не что иное, как игра на этой самой струне любви, и, похоже, она нам никогда не наскучит. Но речь здесь не об этом. Я хочу подчеркнуть, что с пробуждением любви нам приоткрывается беспредельность сущего, и тогда молодой человек склоняется к романтизму или идеализму в зависимости от своего темперамента, окружения и образования.

Когда скорлупа эго пробита и в нее помещен другой, можно утверждать, что «я» произвело самоотрицание или что оно сделало свои первые шаги к бесконечности. С религиозной точки зрения здесь начинается схватка между конечным и бесконечным, интеллектом и высшей силой, или, проще говоря, между плотью и духом. Это проблема проблем, которая ввергла множество молодых людей в руки Сатаны. Эта схватка может самым серьезным образом длиться до тридцати лет, когда Конфуций «утвердился в себе». В этом возрасте полностью пробуждено религиозное сознание, и человек занят усиленными поисками возможностей избежать этой борьбы или довести ее до конца. Он читает книги, посещает лекции, впитывает проповеди, пробует разные религиозные упражнения и дисциплины.

Как учение Дзэн разрешает эту проблему проблем? Прежде всего оно предлагает решать ее прямым обращением к фактам личного опыта, а не к книжному знанию. Природу человеческого существования, где разворачивается эта борьба между конеч-

ным и бесконечным, возможно постичь посредством способности, находящейся за гранью интеллекта. Дзэн утверждает, что именно интеллект ставит перед нами этот вопрос, на который сам ответить не может, и, следовательно, интеллект надо отодвинуть, чтобы освободить место для чего-то более высокого и озаряющего. Интеллекту свойственно будоражить. Он порождает вопросы, возмущающие безмятежность духа, однако слишком часто оказывается не способен дать на них окончательные ответы. Он нарушает блаженный покой неведения, но не восстанавливает прежнее состояние мира. Он указывает нам на наше невежество, поэтому его часто считают просвещающим, однако дело в том, что интеллект нарушает покой, но не всегда освещает свою собственную тропу. Интеллект не окончателен, он ждет того, что было бы выше его самого, чтобы разрешить вопросы, которые он ставит, не сообразуясь с последствиями. Если бы он был в состоянии внести покой и порядок, чтобы раз и навсегда все устроить, тогда хватило бы какого-нибудь Аристотеля или Гегеля с единственной философской системой. Однако история мысли доказывает, что каждая новая структура, разработанная человеком выдающегося ума, неизбежно опровергается его потомками. В рамках самой философии эти постоянные опровержения и разработки вполне органичны, потому что врожденные человеку свойства ума требуют такого рода деятельности. Но когда доходит до вопроса о самой жизни, мы не можем дожидаться окончательного его разрешения силами интеллекта. Мы не можем даже на минуту приостановить нашу жизненную деятельность, пока философия открывает ее тайны. Тайны тайнами, а нам надо жить. Голодный не станет ждать, когда наконец будет произведен всесторонний анализ пищи и будет вычислена калорийность каждого ее компонента. Для мертвого научные знания о пище будут и вовсе бесполезны. Поэтому Дзэн и не полагается на интеллект в разрешении глубочайших проблем.

В личном опыте это означает прямое погружение в факт без всякого посредничества. Излюбленная аналогия Дзэн: чтобы показать на луну, нужен палец, но горе тому, кто примет палец за луну; в корзинке удобно донести рыбу до дома, но когда рыба благополучно очутилась на столе, зачем по-прежнему волноваться о корзинке? Перед нами факт, и давайте поймаем его голыми руками, иначе он ускользнет,— это и предлагает сделать Дзэн. Подобно тому, как природа не терпит пустоты, так Дзэн не терпит ничего, что встает между фактом и нами. Согласно Дзэн, в самом факте отсутствует борьба конечного и бесконечного, плоти и духа. Эти тонкие различия вымышляет интеллект ради собственного интереса. Те, кто относится к ним всерьез или пытается привнести их в каждый факт жизни, как раз и принимает палец за луну. Когда мы голодны, мы едим, когда хочется спать — ложимся; где же тут конечное и бесконечное? Жизнь идет как она есть. Но когда за дело берется будоражащий интеллект и пытается разделаться с жизнью, мы перестаем жить и воображаем, что нам чего-то не хватает. Интеллект пригождается в его собственной сфере действия, однако он не должен вмешиваться в течение потока жизни. Это течение ни при каких обстоятельствах не должно прерываться или подвергаться вмешательству, ибо как только вы погружаете руки в этот поток, его прозрачность нарушается, он перестает отражать ваш образ, каким он был до сих пор и каким пребудет до конца времен.

Дзэн содержит четыре положения, почти согласующихся с «Четырьмя максимами» секты Нитирэн: передача традиции вне письменного канона; независимость от слов и знаков; прямое указание на человеческую душу; вглядывание в собственную природу и достижение природы Будды.

Вышеназванные положения подытоживают все, что провозглашается Дзэн как религией. Разумеется, мы не должны забывать, что у этого дерзкого воззвания есть своя предыстория. В эпоху внедрения Дзэн в Китае большинство буддистов предавались дискуссиям по вопросам в высшей степени метафизическим, довольствовались соблюдением этических предписаний Будды и вели летаргическую жизнь, посвящая себя размышлениям о бренности сущего. Им не хватало осознания великого факта жизни как таковой, текущей независимо от этих бесплодных упражнений ума или воображения. Бодхидхарма и его последователи понимали, что такое положение дел достойно сожаления. Отсюда — их вышеприведенный манифест. Коротко говоря, они подразумевают, что учение Дзэн способно указать нам на природу человеческого существования, и когда это происходит, человек достигает природы Будды, в которой все противоречия и возмущения, причиненные интеллектом, гармонически объединены в целостность высшего порядка.

Потому-то Дзэн никогда не объясняет, но указывает, не прибегая ни к иносказанию, ни к обобщению. Он всегда имеет дело с фактами, конкретными и осязаемыми. Если наблюдать Дзэн из мира логики, то он покажется полным противоречий и повторений. Но поскольку Дзэн стоит над всеми вещами, он невозмутимо идет своим путем. Как удачно выразился один мастер Дзэн, «он идет себе среди гор, неся на плече самодельную палку». Дзэн не бросает вызова логике, он просто идет своей дорогой фактов, предоставляя все прочее его собственной судьбе. И только когда логика, забыв свое место и назначение, пытается идти по следу учения Дзэн, оно вслух провозглашает свои принципы и силой выдворяет пришлеца. Интеллект не подлежит презрению, потому что он часто используется в целях самого учения. Чтобы показать, как Дзэн непосредственно взаимодействует с фундаментальными фактами бытия, мы отобрали следующие притчи.

Однажды Риндзай [1] сказал во время проповеди: «Над грудой красноватой плоти сидит истинный человек без имени; он все время входит в ваши органы чувств и выходит из них. Если вы еще не осознали этого, смотрите! Смотрите же!» Один монах вышел вперед и спросил: «Кто этот истин-

[1] Здесь и далее автор называет имена китайских монахов в соответствии с японской произносительной традицией. *(Прим. перев.)*

ный человек без имени?» Риндзай встал со своего соломенного сиденья, схватил монаха за грудь и воскликнул: «Говори! Говори!» Монах был в нерешительности и не знал, что сказать, и тогда наставник, отпустив его, заметил: «Какое же пустое создание этот истинный человек без имени». И удалился в свою комнату.

Риндзай был известен своим «грубым» и непосредственным обращением с учениками. Он никогда не прибегал к обходным маневрам, характерным для методов равнодушных наставников. Должно быть, он унаследовал эту непосредственность от своего учителя Обаку, который трижды побил его за вопрос о главных принципах буддизма. Само собой разумеется, что Дзэн не имеет ничего общего с битьем или встряхиванием вопрошающего. Если вы сочтете это за суть Дзэн, вы совершите существенную ошибку, подобно тем, кто принимает палец за луну. Как в любой системе мысли, но особенно в Дзэн никакие его внешние проявления или демонстрации нельзя считать окончательными. Они лишь указуют направление, в котором надлежит искать факты. Тем эти индикаторы и важны, без них мы обойтись не можем. Но если они застают нас врасплох, то увлекают в ловушку, и тогда мы обречены, ибо Дзэн таким способом постичь невозможно. Дзэн не пытается опутать вас сетями логики или слов. Дзэн как раз предостерегает от этого. Поэтому Риндзай улавливает руками то, что непосредственно явлено нам всем. Если наш третий глаз открыт и незатуманен, мы безошибочно угадаем, куда нас ведет Риндзай. Сначала мы должны проникнуть в самый дух наставника и вопросить внутреннее «я». Никакие словесные объяснения не помогут приблизиться к нашей собственной природе. Чем больше вы вдаетесь в объяснения, тем дальше оказываетесь от истины. Это все равно что ловить собственную тень. Вы преследуете ее, она же бежит вместе с вами с той же скоростью. Когда вы осознаете это, вы глубже вдумаетесь в дух Риндзая или Обаку и начнете ценить их добросердечие.

Великому наставнику Дзэн Уммону пришлось лишиться ноги, чтобы обрести внутреннее зрение, проникающее в принцип жизни, давшей начало всей вселенной, включая его собственное скромное существование. Он трижды приходил к своему учителю Бокудзю, старшему ученику Риндзая, прежде чем был допущен до него. Учитель спросил его: «Кто ты?» «Я Бунъэн» [1],— ответил монах. Когда взыскующему истины монаху было дозволено войти в ворота, наставник схватил его за воротник и потребовал: «Говори! Говори!» Уммон пришел в замешательство, и тогда мастер толкнул его обратно за ворота с восклицанием: «Ах ты, ничтожество!» [2] Когда ворота поспешно затворяли, створками зажали ногу Уммона, и она была сломана. Резкая боль, очевидно, пробудила беднягу к постижению величайшего факта жизни. Он уже был не просто алчущий, взывающий к состраданию монах,— пришедшее к нему осознание с лихвой вознаградило его за потерю ноги. Конфуций сказал: «Если человек поутру постигает Дао, оно пребудет с ним. Даже если он вечером умрет». Некоторые люди понимают, что истина наделена большей ценностью, чем растительное или животное существование. Но увы, так много на свете живых трупов, погрязших в невежестве и чувственности.

Дзэн труднее всего понять именно в этом отношении. Зачем нужны эти потоки брани? К чему это кажущееся бессердечие? Чем провинился Уммон, чем заслужил он эту потерю ноги? Он был бедным, взыскующим истины монахом, жаждавшим от наставника просветления. Неужели наставнику было необходимо три раза не впускать его, а потом так свирепо, так бесчеловечно захлопывать чуть приоткрывшиеся ворота? Неужто такова истина буддизма, к которой стремился Уммон? Но ведь в этом исключительном случае был достигнут именно тот результат, которого оба они и желали. Что касается наставника, то он был рад, что его ученик обрел внутреннее зрение, проницающее тайны его существования, ученик же был благодарен наставнику за его действия. Очевидно, что Дзэн — из самых иррациональных и непостижимых вещей в мире. Поэтому Дзэн и не может стать предметом логического анализа или постижения рассудком. Его должен испытать каждый непосредственно и лично в своем глубинном существовании. Подобно тому как отражают друг друга два идеально чистых зеркала, так и факт, и наши чувства должны предстать лицом к лицу без всяких посторонних влияний. Если это осуществится, мы сможем постичь пульсирующий жизнью факт как он есть.

Свобода — пустой звук, пока этого не произошло. Первейшей целью было — избежать тех пут, в которых пребывают все смертные, но если мы не разорвем эту самую цепь невежества, связывающую нас по рукам и ногам, то неоткуда будет ждать избавления. А цепь эта выкована как раз из интеллекта и чувственных обольщений, сопровождающих каждую нашу мысль, каждое чувство. От них трудно избавиться, они похожи на мокрую одежду, как метко выражают эту мысль дзэнские наставники. «Мы рождены свободными и равными». Что бы это утверждение ни значило в социальном или политическом отношении, Дзэн провозглашает его как абсолютно истинное в духовной сфере, а также декларирует, что все эти кандалы и оковы, которыми, как нам представляется, мы опутаны, оказались на нас не изначально, а благодаря нашему неведению относительно истинных условий существования. Все эти приемы, иногда словесные, иногда физические, которые наставники Дзэн по доброй воле и от чистого сердца применяют к алчущей душе, направлены на обретение изначального состояния свободы. И это невозможно осознать, пока мы не сумеем пережить это лично, посредством собственных усилий, независимо от каких-либо сформированных нами идей. Суть Дзэн в том, что из-за нашего неведения мы пребываем в заблуждениях и не способны найти трещину в собственном бытии, что с самого начала не было никакой надобности в борьбе между конечным и бесконечным, что мир,

---

[1] Бунъэн — имя. Уммон — название монастыря, где впоследствии он стал наставником Дзэн. *(Прим. автора.)*

[2] Буквально: «старый неуклюжий бурав династии Цзинь». *(Прим. автора.)*

которого мы так жаждем, все это время пребывал рядом. Сотоба (Су Дунпо), прославленный китайский поэт и государственный деятель, выразил эту идею в стихах:

Дождь и туман над горой Лу,
Волны, вздымающиеся в Чжэцзяне.
Пока ты еще не посетил тех мест,
Ты, несомненно, пребываешь в сожалениях.
Но когда, побывав там, возвращаешься домой,
Все вокруг видишь, как оно есть!
Дождь и туман над горой Лу,
Волны, вздымающиеся в Чжэцзяне.

То же подтверждает и Сэйгэн Исин: «До того, как человек начал изучать Дзэн, для него горы — это горы и воды — это воды; после того, как под водительством хорошего наставника он обретает способность проницать истину Дзэн, горы для него — не горы, и воды — не воды, но когда после этого он и в самом деле достигает обители покоя, горы для него вновь горы и воды вновь воды».

Однажды Бокудзю был задан вопрос: «Нам приходится одеваться и есть каждый день. Как можем мы избежать всего этого?»

Наставник ответил: «Мы одеваемся, мы едим». «Я не понимаю тебя»,— сказал вопрошавший. «Если не понимаешь, оденься и поешь».

То есть Дзэн имеет дело с конкретными фактами и не вдается в обобщения. Я не собираюсь приставлять ноги к нарисованной змее, но если позволительно прибавить философский комментарий к этому высказыванию Бокудзю, я сказал бы так. Все мы смертны, не способны существовать вне времени и пространства, поскольку все мы порождение земли, мы не можем постичь бесконечное,— так как же нам освободиться от того, что ограничивает наше бытие? Видимо, такова идея, заложенная в вопросе монаха, на который наставник отвечает: Спасение надлежит искать как раз в самом конечном, вне конечного нет ничего бесконечного; если вы стремитесь к трансцендентному, знайте — это отсечет вас от здешнего мира относительности, а это то же самое, что самоуничтожение. Спасение нельзя обрести за счет вашего собственного существования. А если так, то оденьтесь и поешьте и ищите свой путь свободы в одевании и еде. Это все оказалось чрезмерно сложным для спрашивавшего, который таким образом признался в непонимании смысла сказанного наставником. Поэтому последний добавил: понимаешь ты или нет, все равно продолжай жить в конечном, вместе с конечным, потому что если ты, стремясь к бесконечному, перестанешь есть и содержать себя в тепле, то скончаешься. Как бы вы ни боролись, нирвану возможно обрести лишь в сансаре (рождение — смерть). И достигший просветления дзэнский мастер, и невежда равно не могут избежать так называемых законов природы. Если живот пуст, каждый из них будет голоден; когда идет снег, обоим надо одеться потеплее. Я при этом вовсе не хочу сказать, что оба они — создания материальные, они есть то, что они есть, независимо от степени их духовного развития. Как сказано в буддийских сутрах, даже пещерный мрак становится озарением, если возжечь факел духовного внутреннего зрения. И дело здесь не в том, что нечто под названием «мрак» сначала устраняется и другое нечто под названием «просветление» внедряется на его место. Дело в том, что озарение и мрак по сути своей изначально одно и то же: превращение одного в другое произошло внутренним, духовным образом или же субъективным. Поэтому-то конечное и есть бесконечное и наоборот. Это не два различных явления, хотя мы и принуждены различать их разумом. В этом и состоит идея, логически истолкованная, которая содержится в ответе Бокудзю на вопрос монаха. Ошибка наша в том, что мы делим надвое то, что на самом деле безоговорочно представляет собой единое. Разве жизнь, которую мы проживаем, не едина, пока мы не поднесли к ней губительное лезвие интеллекта?

Когда монахи попросили Хякудзё Нэхана прочесть им проповедь, тот отправил их заняться крестьянским трудом, после чего пообещал рассказать о важнейших предметах буддийского вероучения. Они поступили как он велел, а потом явились к наставнику слушать проповедь. Однако последний, не говоря ни слова, только приветственно простер к ним руки. Быть может, в конце концов, в Дзэн нет ничего загадочного. Здесь все открыто вашему взору. Если вы едите свою еду, содержите одежду в чистоте и работаете в поле, чтобы вырастить рис и овощи, вы делаете все, что от вас требуется на земле и бесконечное реализуется в вас. Каким образом? Когда Бокудзю спросили, что такое Дзэн, он привел санскритскую фразу из одной сутры: *«Махапраджнапарамита!»* [1] Спрашивавший признался, что не способен понять значение этого странного выражения, и мастер прибавил к нему комментарий, сказав:

Мои одежды сносились за долгие годы,
и часть их лохмотьев свисавших
унесло к облакам.

Неужто бесконечное и есть этот обнищавший странствующий монах?

В этой связи ни в коем случае нельзя упускать из виду одно обстоятельство: умиротворенность бедности (а только в бедности возможен покой) достигается после трудных борений, в которые вкладывается вся сила вашей личности. Больше всего необходимо страшиться удовлетворенности, происходящей от праздности или состояния ума, которое зовется laissez-faire[2]. В этом нет Дзэн, а только леность и растительное существование. Ваши борения должны разворачиваться со всей мощью и мужеством. Иначе обретенный покой — лишь видимость, он лишен глубоких оснований, и первая же буря развеет его без остатка. Дзэн весьма подчеркивает это обстоятельство. Моральное мужество, обнаруживаемое в Дзэн, если не говорить о его мистическом порыве, коренится в том, что жизненную битву надо вести с отвагой и бесстрашием.

Таким образом, с этической точки зрения Дзэн можно трактовать как дисциплину, ставящую целью воссоздание характера. Наша повседневная жизнь обычно затрагивает лишь самый поверхностный слой личности, не вызывая глубоких душевных потрясений. Даже если религиозное сознание пробуждено, многие из нас легко это

---

[1] Достижение великой мудрости. *(Прим. перев.)*
[2] Пусть будет как будет *(франц.)*.

преодолевают. Таким образом, мы живем в искусственности. Мы можем быть умными и одаренными, но всему, что мы производим, не хватает глубины и искренности, все это ничего не говорит нашим внутренним чувствам. Некоторые люди совершенно не способны создать что-либо, кроме поделок или имитаций, что свидетельствует об ограниченности их характера и недостаточном духовном опыте. Поскольку Дзэн — это прежде всего религия, он также формирует наши моральные свойства. Вернее будет сказать, что глубокое духовное переживание неизбежно производит изменения в моральной структуре личности.

Почему это так?

Истина, заключенная в Дзэн, такова, что, когда мы хотим проникнуть в нее, мы должны выдержать борьбу, иногда долгое и изнурительное бдение. Обучаться Дзэн — задача не из легких. Один дзэнский мастер как-то заметил, что жизнью монаха может жить только человек большой моральной силы и что даже министр не обязательно может стать хорошим монахом. В Китае пост министра считался высочайшим достижением, на которое только смеет надеяться человек в этом мире. Дело не в том, что монашеская жизнь предполагает строгую аскетическую практику, но в том, что она требует возвышения духовных сил человека до предельного уровня. Изречения и деяния великих мастеров Дзэн берут начало именно в этом подъеме. Они не задуманы как загадочные с целью сбить нас с толку. Они рождены душой, переполненной глубокими переживаниями. Поэтому, пока мы сами не поднимемся до высоты мастеров, мы не сможем обрести такого же уверенного взгляда на жизнь.

Рескин говорил: «И можете не сомневаться — если автор чего-либо стоит, то вы не сразу и не вполне доберетесь до того, что он имеет в виду. Дело не в том, что он не объясняет, что имеет в виду, нет, он объясняет, и в самых сильных словах; но он не может сказать все и, что еще более странно, не хочет. Но говорит — скрытым образом, параболой, чтобы увериться, что вы сами того желаете. Я не вполне понимаю причину этого и не берусь анализировать эту суровую скрытность мудрецов, побуждающую их всегда утаивать свои самые глубокие мысли. Они сообщают их не как подсказку, а как вознаграждение, когда они удостоверятся в том, что вы его заслужили, прежде чем позволят вам до него дойти».

И этот ключ к сокровищнице мудрости дается нам лишь после многотрудной и болезненной моральной борьбы.

Наш внутренний мир обычно забит разной интеллектуальной ерундой и мешаниной чувств. Конечно, это на свой лад полезно в повседневной жизни, но из-за таких накоплений мы становимся несчастными и стонем, чувствуя гнет. Всякий раз, когда мы хотим сделать какое-либо движение, все это опутывает нас, душит и заволакивает тяжелой пеленой наш духовный горизонт. Нам все время кажется, что мы живем в напряжении. Стремимся к естественности и свободе, но явно не достигаем их. Дзэнские мастера тоже знают это, потому что прошли через те же испытания. Они хотят, чтобы мы освободились от своей обременительной ноши, которую мы на самом деле не обязаны нести; чтобы мы прожили жизнь в истине и просветлении. Поэтому они произносят несколько слов и совершают определенные действия, которые, при правильном их понимании, освободят нас от давления и тирании этих интеллектуальных нагромождений. Но понимание приходит не так легко. Трудно избавиться от инерции ума, привыкшего к угнетению. В сущности, эта инерция глубоко вросла в наше существование, и часто приходится менять всю структуру личности. Однако процесс этой перемены сопровождается слезами и кровью. Но иначе и не достичь той высоты, до которой поднимались великие мастера; истину Дзэн не постичь, если не приложить к ней всех сил вашего существа. Тропа к ней заросла чертополохом и куманикой, подъем опасно скользкий. Это не развлечение, а важнейшая задача в жизни: ленивцу не стоит и пробовать. Своего рода моральная наковальня, на которой выковывается ваш характер. На вопрос «что есть Дзэн» один мастер ответил так: «Кипящее масло над пылающим огнем». Мы должны пройти через это обжигающее испытание, прежде чем Дзэн улыбнется нам и скажет: «Добро пожаловать. Вот ты и дома».

Одно из изречений дзэнских мастеров, которое произведет революцию в наших умах, таково. Хо-кодзи, раньше бывший конфуцианцем, спросил Басо: «Какой человек не связан ни с чем?» Наставник ответил: «Я скажу тебе, когда ты проглотишь одним залпом все воды Западной реки». Таков был ответ невпопад на этот вопрос, серьезнейший в истории мысли. Он звучит почти кощунственно, если вспомнить, сколько душ согнулось под бременем этого вопроса. Но не подлежит сомнению серьезность Басо, о чем известно всем дзэнским ученикам. Ведь расцвет Дзэн после Шестого патриарха, Эно, связан с блестящей карьерой Басо, при котором выросли более восьмидесяти мастеров высокого ранга, и Хо-кодзи, один из выдающихся мирских последователей Дзэн, пользовался заслуженной репутацией Вималакирти[1] китайского буддизма. Разговор между двумя такими заслуженными наставниками Дзэн не мог быть затеян просто «ради спора». Хоть он может показаться легким и даже беззаботным, в нем сокрыта драгоценная жемчужина, какую только можно сыскать в дзэнской литературе. Трудно даже перечислить всех тех практиковавших Дзэн, кому пришлось потеть и рыдать над этим непостижимым высказыванием Басо.

Вот другой пример — один монах спросил наставника Кэйсин из Тёся: «Куда отправился Нансэн после смерти?» Мастер ответил: «Когда Сэкито еще был в числе учеников, он видел Шестого Патриарха». «Я не спрашиваю тебя о юном ученике. Я хочу знать, куда отправился Нансэн после смерти». «Что до этого,— сказал наставник,— то это наводит на мысли».

Другой важный вопрос — бессмертие души. На этом вопросе, можно сказать, вы-

---

[1] Вималакирти — один из бодхисатв, пользовавшийся особой популярностью в Китае и Японии, вокруг его имени сложился цикл преданий, связанных с одной из махаянских сутр «Вималакирти-нирдеша». *(Прим. перев.)*

строена вся история религии. Каждый хочет знать о жизни после смерти. Куда мы уходим, когда покидаем эту землю? Существует ли в самом деле инобытие или конец здесь — это конец всему? Многие люди, возможно, не слишком беспокоятся относительно предельной значимости одинокого, «лишенного товарища» Единого, однако, наверное, нет людей, которые бы по крайней мере раз в жизни не задались вопросом о своей посмертной судьбе. Видел ли Сэкито в молодости Шестого Патриарха или не видел, нам мнится, что это не имеет никакой существенной связи с кончиной Нансэна. Последний был учителем Кэйсина, и естественно, что монах спросил, окончательно ли умер Нансэн. Ответ Тёся нельзя считать ответом в свете обычных правил логики. Отсюда второй вопрос, но из уст наставника снова вылетает нечто уклончивое. Что объясняют его слова «наводит на мысли»? Становится ясно, что Дзэн — это одно, а логика — совсем другое. Если мы не проводим этого различения и ожидаем от Дзэн логической связности и озарения ума, то мы неверно мыслим значение Дзэн. Разве с самого начала я не провозгласил, что Дзэн имеет дело с фактами, а не с обобщениями? Тут и обретается та самая зона, где Дзэн непосредственно выходит к основам личности. Интеллект туда не ведет, ибо мы живем не умом, а Волей. Брат Лоуренс говорит (в «Практике Богоприсутствия»), «что нам надлежало бы определенно различать акты понимания и акты воли: первые обладают сравнительно малой ценностью, вторые же — всей».

Дзэнская литература изобилует утверждениями такого рода, которые, казалось бы, брошены случайно и неумышленно, но знающие люди подтвердят, что все эти реплики, столь естественно срывающиеся с уст наставника, содержат силу смертельных ядов, и если однажды принять их внутрь, они вызывают боль в кишках, как сказали бы китайцы. Но лишь после болей и корчей все внутренние нечистоты исходят наружу, и человек рождается вновь с новым взглядом на жизнь. Странно, что Дзэн постижим только тогда, когда умственные борения оказываются позади. Но дело в том, что Дзэн — реальный личный опыт, а не такое знание, которое достигается анализом и сравнением. «Говори о поэзии только с поэтом; лишь больной способен сочувствовать больному». В этих словах — объяснение всей ситуации. Душа должна созреть для того, чтобы достичь мелодической гармонии с наставниками. Продолжим аналогию — когда извлечена одна нота, симфония рождается целиком. Это и делает для нас учение Дзэн — оно готовит наши души, чтобы они стали восприимчивыми и благодарными слушателями давних наставников. С психологической точки зрения Дзэн таким образом высвобождает из-под спуда заложенные в нас энергии, которых мы не осознаем в обычных обстоятельствах.

Человеческие ценности в Дзэн

Нас просят сказать что-нибудь объективное, что-нибудь научное относительно человеческих ценностей. Но я боюсь, что ничего такого сообщить не смогу. Я не ученый, а обычный, заурядный человек, глубоко заинтересованный в развитии и росте человеческой культуры в целом. В связи с этим я прошу позволения выразить свое скромное мнение относительно поощрения «неэгоистического поведения». Что до его «причин и условий», наверняка существует немало одаренных докладчиков, изучавших эти проблемы и способных сообщить что-нибудь объективное и научное, что внесет важный вклад в дело процветания человечества. Я не могу следовать их примеру.

Я хочу сказать о том, что существует нечто «новое», хотя, быть может, не научное и не объективное, в способе оценки человеческого поведения. Правда, это нечто «новое» на самом деле отнюдь не ново, оно восходит к древности, и сама его древность — причина его новизны, ибо ничто не ново под солнцем, и старое кажется новым, если смотреть на него с точки зрения, дотоле пренебрегаемой.

Все ценности в широком поле человеческой деятельности можно счесть старыми, обветшавшими и даже исчерпанными, поскольку люди говорят о них непрестанно с эпохи рассвета цивилизации. Из-за этого неоценимо высокие ценности оказываются избитыми и теряют свежесть и, стало быть, жизнеспособность.

Один из способов их воскрешения состоит в том, чтобы заново переоценить их и увидеть, что же в конечном счете определило их значимость. И тогда мы обнаружим, что все ценности исходят из неэгоистических мотивов. Любое действие, вызванное эгоистическими причинами, будет дурным, отвратительным и уродливым, противоречащим соображениям общего блага человечества. В основе таких действий всегда будет эгоизм. Эго причиняет множество вреда. Даже когда мы совершаем нечто объективно хорошее, приносящее пользу всем нам, это действие может оказаться неподлинно благим, если за ним мы обнаруживаем прячущуюся тень эго.

Приблизительно говоря, ценности имеют два аспекта, субъективный и объективный, и я хочу подчеркнуть субъективное и заявить, что ценность не имеет ценности, если она субъективно не свободна от эгоистического импульса. В терминах даосизма или буддизма Махаяны ценность является ценностью, когда она является не-ценностью. С точки зрения психологии, когда все ценности заключены в глубинах подсознательного или пребывают в полном забвении, только тогда мы имеем дело с ценностями в их неподдельном виде. Лао-цзы говорит, что Дао, которое может быть так или иначе описано, не есть Дао. Дао безымянно. В тот момент, когда вы говорите «это благо», благое теряет свою благость. Истинно благое таково и есть, оно не больше и не меньше. Благое — это таковость. Подобным же образом обстоит дело и с прочими человеческими ценностями.

Когда Бог увидел мир, созданный по Его Воле после того, как сказал Он «да будет свет», Он поведал, что «это хорошо». Его «хорошо» не имеет отношения к человеческим способам оценивать мир. Его «хорошо» — это сущность вещей, оно не прикла-

дывается к вещам извне. Если же оно привнесено извне, то лишено ценности. Если какое-либо явление имеет ценность — значит, она внутренне ему присуща. Когда какая-либо вещь неподдельна в своей таковости, она имеет ценность. Нарисованная красота — не красота. Прекрасное не должно провозглашать себя прекрасным, оно предстает перед нами, и все мы знаем, что оно прекрасно.

Некоторые скажут, что этот род красоты, или добра, или истины — не человеческий, а божественный, а нас просят говорить о человеческих ценностях. Здесь я хотел бы поставить вопрос: а существует ли такое божественное, которое не было бы одновременно и человеческим? Человеческое и божественное едины, ибо то, что ценно с человеческой точки зрения, имеет эту ценность лишь потому, что это божественная ценность. Вот почему я говорю, что старое — это новое и новое — это старое.

Басё (1644—1694), основатель японской поэтической формы нового времени известной теперь как хайку, непроизвольно воскликнул, когда увидел гору Ёсино в вишневом цвету:

Какой вид!
Ничего более!
Гора Ёсино в цвету [1].

Чувство предельной высоты и глубины отказывается от слов. Оно бормочет, и притом несвязно. Изъясняться словами, последовательно и логично — функция интеллекта. Чувство — то, что я называю изначальным чувством, то есть то, что мы чувствуем прежде всяких обозначений и дифференциаций, чистое чувство бытия, как оно есть до того, как в сознании начался процесс его интеллектуального различения,— вот что я предпочитаю понимать под изначальным чувством.

Некоторые, быть может, опять воспротивятся: «Как это самонадеянно и бесцеремонно с вашей стороны — смешивать божественное с человеческим!»

Тогда и я выражу протест: «Как это самоуничижительно с вашей стороны — не отождествлять человеческое с божественным!» Все, что мы собой представляем — от Бога, мы обязаны Ему всем. Даже то, что не от Бога, тоже от Бога. Как мы можем уйти от этого? Ценное с человеческой точки зрения имеет ценность именно потому, что оно от Бога.

Если мы пойдем в наших размышлениях этим путем, то окажется, что все то, чему мы придаем ценность и значимость, все, что заслуживает сберегания и сохранения, все, к чему стремятся люди,— все это от Бога. Так называемые человеческие ценности тогда наполняются новым, свежим, вдохновляющим содержанием.

Любовь каждый из нас считает огромной силой, пересоздающей и совершенствующей структуру человеческих сообществ. Нет таких мыслителей или религиозных лидеров, которые не подчеркивали бы значение Любви в нашей общей жизни. Любовь соответствует буддийской идее *махакаруна* [2]. *Махакаруна* же равнозначна понятию agape, отличаемому от eros.

Христиане скорее всего скажут, что eros увязывается с эгоистическими интересами. Чтобы очистить его от всех этих загрязнений, надо пожертвовать эго, то есть распять его и вновь возродить. Символы этого — распятие и воскрешение во плоти.

Буддизм в этом отношении расходится с христианской доктриной. Буддисты говорят нам, что с самого начала никакого эго нет, поэтому нет необходимости в его распятии. Эта доктрина известна под названием «не-я» или non-ego, ниратман, анатта. Когда мы осознаем, что атман не существует, тогда утверждается махакаруна, поскольку махакаруна составляет сердце Будды, а сердце Будды есть не что иное, как человеческое сердце.

Часто можно встретиться с непониманием доктрины анатта, которая строится как отрицательная конструкция. Непонимание это, по сути дела, носит грамматический характер. Приставка «а» или «ан» — депривационный префикс. Но слово анатта нельзя интерпретировать с чисто лингвистической точки зрения, поскольку сама доктрина основана на экзистенциальном переживании. Это переживание идет глубже и сообщает о реальности больше, чем лингвистика. Даже когда эго оказывается несуществующим как целостная сущность, жизнь продолжается по-прежнему, несмотря на наше концептуальное замешательство. Даже когда о Будде сообщают, что он нашел «строителя дома», который более не должен строить ему дом, и более того, даже когда о нем говорится, что его «ум подвергея полному растворению и все его желания уничтожены», он не прекращает своей деятельности великого учителя Дхармы (истины), которая сжилась с его личностью и после его вхождения в паринирвана [1] более чем двадцать четыре столетия назад. И мне хочется спросить: «Что же это, что вот так продолжает жить среди нас?»

Это не может быть ничем иным, кроме Жизни, то есть Любви, или махакаруна. Пока живы концептуальные заблуждения эго, махакаруна остается бездействующей, спящей, она неизбежно затемнена заблуждающимся эго, и ее деятельность оказывается преломленной и искаженной. Но все же иногда ей удается прорваться через завесу эгоизма, и, к удивлению самого носителя эго, он действует из чистого альтруизма. Поэтому-то Мэн-цзы считает, что человеческой природе изначально присуще добро и она свободна от эгоцентрических импульсов. «Созидательный альтруизм» не чужероден человеку. Его созидательность тормозится тогда, когда не в меру безудержно и необоснованно разрастается интеллект.

Один современный наставник Дзэн говорит нам:

Пока живешь,
будь мертвецом,
будь до конца мертвецом —
и живи как хочешь,
и все будет хорошо.

Это весьма весомое высказывание непосредственно указывает на творческий альтруистский способ жить. Может быть, в

[1] У Шекспира есть нечто похожее на этот эффект: «Удивительно, удивительно и самым удивительным образом удивительно!» *(Прим. автора.)*
[2] Великое сострадание. *(Прим. перев.)*

[1] Высшая нирвана. *(Прим. перев.)*

этом совете дзэнского мастера и нет ничего нового. Я тоже думаю, что нет, и все же каким удивительно новым он кажется! Все мы жаждем жить, быть живыми, а живем ли в самом деле? В каком-то смысле, может быть, и живем, но не так, как надлежит жить нам, благородным и достойным существам. Легко понять, какую жалкую жизнь ведет каждый из нас, стоит лишь вдуматься в себя самое или прочесть сегодняшние газеты.

Однажды, пока мы живы, мы должны умереть и начать новую жизнь. Рай может быть утрачен и обретен вновь. Хорошо, что Бог некогда изгнал нас из Эдема за то, что мы съели плоды познания. Нам надо съесть еще один плод познания, который отменит или же, на свой лад, восстановит эффект первого плода. Первый — нас убил. Будучи убитыми, мы не можем оставаться умерщвленными, мы должны ожить. Это возможно, если съесть второй плод познания, содержащий новое знание, открывающее источник творчества.

Существует две дзэнские истории, которые я хочу привести в связи с «человеческими ценностями» или «созидательным альтруизмом», так как, с моей точки зрения, эти предания объясняют нам, каков новый путь в жизни.

Во времена Танского Китая жил великий мастер Дзэн. Говорят, что он прожил сто двадцать лет, и звали его Дзёсю. На территории монастыря, где он проживал, находился каменный мост, знаменитый во всей империи. Однажды гостящий в монастыре монах спросил мастера: «Мы столько слышали о вашем каменном мосте, но, по-моему, это всего лишь старый, расшатанный деревянный мост».

Дзёсю ответил: «Просто ты видишь деревянный мост и не видишь каменного».

Монах спросил: «Что же такое тогда каменный мост?» «Его переходят лошади, его переходят ослы»,— последовал ответ.

Не только лошади и ослы, в наши дни по нему проезжают автомобили всех марок. Мост построен надежно — надежно, как сама земля. Мудрые и глупые, богатые и бедные, аристократы и низкорожденные, молодые и старые — все они ступают на мост с полным доверием, с чувством абсолютной безопасности, словно и они — сама земля.

Двое монахов вели жаркий спор о предельной истине, не допускающей никакой уклончивости. Встал вопрос — прибегал ли Татхагата[1] к двусмысленностям и намекам. Один сказал, что его слова не могут быть двусмысленными. Тогда второй спросил: «Каковы слова Татхагаты?»

Первый монах ответил: «Как может глухой услышать их?» Второй заметил: «Ты наверняка дошел до второй ступени». «Каковы же тогда слова Татхагаты?» За этим вопросом немедленно последовало: «Выпей чашку чая, мой собрат монах».

«Выпей чашку чая» — одна из излюбленных фраз дзэнских монахов в Японии, как и в Китае. Когда приходит гость, ему обычно предлагают чашку чая, это акт вежливости в нашей повседневной жизни. Однажды китайского мастера Дзэн X века спросили:

«Что такое храм?»

«Да просто вот это».

«Что такое человек в храме?»

«Что?! Что?!»

«Что вы сделаете, если к вам придет гость?»

«Выпью чашку чая».

Такой эпиграмматический диалог, известный под названием мондо, «вопрос — ответ», иллюстрирует Weltanschauung[1] и Lebensanschauung[2], типичные для дзэнского мастера. В качестве «объективного мира» берется храм, «человек» — в качестве субъекта, «приход гостя» — положение человека в мире, и тогда весь диалог мондо наполняется значением, выходящим за рамки человеческой жизни в горном уединении.

Некоторые, прочитав два этих дзэнских предания, могут возразить: «Вы, возможно, правы, если говорить об отдельных индивидуумах, но как же с нашей социальной, общинной или международной жизнью? Каждый в отдельности может казаться добропорядочным, образцовым в поведении, законопослушным, заслуживающим доверия, но когда мы живем в некой группе, какую бы форму она ни принимала, то теряем все замечательные качества, которые проявляли как индивидуумы, и дьявол, или та дьявольщина, которая живет, быть может, в каждом из нас, поднимает голову и заявляет о себе самым яростным образом. Это известно каждому. Что нам делать с этим уродливым фактом?»

Это и в самом деле загвоздка современной ситуации в мире. Я долго бился над этой проблемой, но пока не смог разрешить ее. Сейчас я могу сказать следующее: какие бы формы ни принимала наша жизнь в группе, ее все же составляют индивидуумы. Поэтому пусть эти отдельные индивидуумы очистятся от своей скверны и добьются того, чтобы их индивидуальная махакаруна обрела изначальную чистоту и проложила себе путь без помех со стороны нашего сверхинтеллектуализма. С этой целью и надо самым тщательным образом, эмпирически изучить два моих дзэнских предания и поместить их в нашу повседневную жизнь.

Все мы знаем историю блудного сына. Схожая история есть в буддийской сутре, известной под названием «Сутры лотоса благого Закона». Может быть, обе истории восходят к одному и тому же первоисточнику. Меня здесь интересует то обстоятельство, что сколько бы ни странствовал человек, он тем не менее всегда стремится домой и хочет вернуться обратно. Потерянный рай должен быть обретен. Иначе мы не чувствуем себя в безопасности. Странно, что для того, чтобы обрести, мы должны потерять. Время теряется в бесконечности и возвращается к самому себе. Мы — существа исторические и как таковые должны подвергнуться всем превратностям истории. Но мы устроены так, чтобы трансцендировать историю, добраться до Чистой Земли вечного счастья. Историю нельзя отрицать,

---

[1] Татхагата — синонимично понятию будды в махаянском буддизме. Толкуется по-разному, в частности как «постигший таковость» (т. е. истинную сущность). *(Прим. перев.)*

[1] Мировоззрение *(нем.)*.

[2] Взгляд на жизнь *(нем.)*.

но, чтобы быть на самом деле историческим существом, человек должен превзойти историю. История — это время. Пока человек существует во времени, он порабощен как будущим, так и настоящим. Он невольно становится игрушкой разного рода аффективных помех, среди которых можно назвать такие, как воспоминания и предчувствия. И он никогда не станет хозяином самому себе. А в этом случае он никогда не станет свободным и творческим.

Блудный сын — жалкое создание во время его странствий. Но наступает время, когда он вдруг осознает, что дом его как раз в его странствиях. По сути дела, он носил с собой свой дом во время долгих нескончаемых странствий и скитаний. Когда он осознает это, его прошлое и будущее начинают выкристаллизовываться, как они есть, в его абсолютном настоящем, теперь он вечен, он стоит в «здесь» и «теперь», он — хозяин сам себе. Он больше не тварное существо. Вернее, тварное и в то же время нет, поскольку его тварность не выходит за пределы искусственной области объективного, но его уже нет в ней, он вышел за ее границы. Другими словами, он вернулся к себе и находится в себе, он стоит в своем «здесь» и «теперь», он уже не раб кого-либо или чего-либо, но хозяин, владыка вселенной, кладезь безграничных возможностей.

Будучи существами ограниченными, мы вынуждены говорить в терминах времени и истории, и именно здесь для логиков и лингвистов открывается специальное поле их исследований. Но мы превышаем это поле, мы принадлежим также к сфере вечности. И в этом качестве мы призваны обратиться к тому опыту, который может быть достигнут в этой сфере. Однако здесь нельзя забывать, что бесконечное невозможно отличить от конечного и считать наделенным независимой сущностью,— и тогда бесконечное становится одним из видов конечного. Хотя было бы не совсем точно утверждать, что бесконечное — это и есть конечное, все же бесконечное нельзя рассматривать как разновидность сущности, присутствующей в конечном. В конце концов, конечное и бесконечное — слова, различимые в концептуальном отношении, и поэтому содержат двусмысленности.

В нашей обычной жизни таким явлениям нет места, и люди умудренные сразу понимают, что имел в виду монах, когда предложил своему собрату выпить чашку чая. С общепринятой концептуальной точки зрения мы можем возразить: «Какое отношение имеет абсолютная истина к чашке чая?» Дзэнский мастер ответит: «С питья чая начинается созидательный альтруизм, и если среди человеческих ценностей появляется что-то новое, оно рождается из той чашки чая, которую выпили два монаха».

Написав это, я подумал о другом возможном возражении аудитории, а именно: «Ну хорошо, господин докладчик, однако же вашей речи не хватает точности. Каменный мост, по которому ходит и хромой, и атлет, чашка чая, которую пьют не только два приятеля-монаха, но и каждый из нас в своей повседневной жизни,— как увязать логически этот мост или этот чай с главной темой сегодняшней конференции? Вы можете точно определить позицию, которую вы занимаете в нашей дискуссии?»

Чтобы ответить на это, боюсь, потребуется больше времени, чем позволяют наши обстоятельства. Но я удовольствуюсь тем, что скажу: слово «точный», вместе с прочими сходными терминами, относится к сфере наук, имеющих дело с явлениями, поддающимися количественному исчислению, и термины эти, строго говоря, могут считаться однозначными лишь приблизительно. Такие науки определяют себе границы, и внутри этих границ правомерно говорить о возможности дефинировать и верифицировать. Но за их границами научная или логическая терминология теряет ценность, и нам приходится прибегать к парадоксальным и противоречивым выражениям или же лишенным смысла и изобилующим разного рода абсурдностями. И, как это ни странно, именно эти экстраординарные выражения могут более «точно» или более определенно передать опыт, относящийся к сфере предельной реальности.

Было бы не вполне верно называть этот опыт интуитивным в обычном смысле. Термин «интуиция», за неимением более подходящего, может быть использован со следующей оговоркой: например, в Дзэн этот опыт располагается не между субъектом и объектом, он принадлежит чему-то такому, что не субъект и не объект и что становится самосознающим.

Наверно, чтобы все эти материи были более внятны для христианской аудитории, позволительно будет обратиться к христианской терминологии. Опыт, о котором идет речь, есть Бог, осознающий себя, или верховное божество пантеона, объективирующее себя как Бог-творец. Объясню далее: когда Бог пребывал в себе самом, что-то произошло (говоря на языке людей) и Он возжелал создать мир. Лучше было бы сказать, что Он не мог не пожелать создать мир; в Боге необходимость и свобода находятся в единстве; когда в нем произошел этот акт воли, Он стал осознавать себя. Это и есть дзэнский опыт.

Боюсь, что я начал вдаваться в теологию. Я мог бы еще многое сказать в этой связи, чтобы предупредить возможное непонимание. Но я ограничусь следующим замечанием.

В конце концов, нет ничего нового под солнцем. Самое старое — и есть самое новое, самое новое — и есть самое старое.

Во время подготовки к этому выступлению я получил своего рода меморандум, очевидно предназначенный для прессы и датированный 29 сентября (воскресенье) 1957 года, где мое внимание привлекли следующие строки: «Старые способы подхода к важнейшим задачам современности представляются неэффективными и полностью неадекватными. Мы должны подойти к ним научно и найти новые пути приложения нового обретенного здесь знания к множеству личностных и социальных неурядиц, с которыми мы сталкиваемся ныне как с результатом развивающейся технологии и индустриализации».

С точки зрения этих положений все, что я сказал, покажется далеким от научного подхода к проблемам, которые мы призваны решать новыми способами. Далее, может

показаться, что все мною сказанное — род наставления или образец «априорного мышления», что подлежит осуждению Программного комитета. Я отдаю себе отчет в том, что мой доклад не содержит ничего, способствующего построению науки о человеческих ценностях. К сожалению, я не располагаю временем, чтобы оправдать свою позицию; хотел бы только сказать несколько слов о знании и науках в целом.

Несомненно, мы живем в эпоху разума и технологии, и в то же время все мы знаем, что отнюдь не наука и не технология разрешат проблемы, которые стоят перед нами, вернее, которые столь зловеще угрожают нам теперь. Перед этим фактом наука и технология полностью беспомощны. Напротив, они яростно раздувают пламя войны между нациями, расами, между культурами. Мы говорим о мире, разоружении, взаимном доверии, взаимном урегулировании и многом другом, и все же мы не можем даже остановить испытаний ядерного оружия, хотя сознаем тот факт, что любой существенный рост ядерных испытаний представляет огромную опасность не только для человеческой расы, но для всех живых существ. Мы провозглашаем, что оборонные меры необходимы для предотвращения войны, но разве когда-нибудь они остановили войну? Разве мы не наращиваем научные и технологические изобретения на случай всеистребляющей войны? Во многих отношениях мы выглядим вполне рациональными и дальновидными, однако разум никогда не может удержать нас в пределах рационального. Когда мы хотим преодолеть свой разум, то легко делаем это, несмотря на науку и технологию. Их мы используем, чтобы увеличить иррациональность.

Человеческими существами движет отнюдь не наука и не рациональность человеческой природы; и никакой научный подход и вытекающие из него знания никак нам практически не помогут разрешить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящем. Вера в них — один из современных предрассудков. Если науки и знание и могут что-нибудь сделать, то пусть человек науки возьмет бразды правления, и мы увидим, добьется ли он чего-нибудь. Деяния вершит человек, а не его знания. Я не знаю точно, насколько стара мировая история. Пусть будет, например, десять тысяч лет. За это время мы накопили огромную сумму знаний, и наш способ жизни прошел поразительный путь развития. Но разве мы, мужчины и женщины, лучше, чем наши братья и сестры, скажем, две тысячи лет назад в Европе, или Китае, или Индии? По сути своей, человеческая натура не изменилась. Для доказательства достаточно будет одного примера. Как мы вели себя до и во время второй мировой войны? И как ведем себя после нее?

Если наука, знание, технология и индустриальная цивилизация способны чего-нибудь добиться в области разрядки той напряженности, которую мы сейчас ощущаем со всех сторон, давайте найдем средство сделать так, чтобы ведущие государственные деятели всех наций, начиная с Эйзенхауэра и Хрущева, пришли в такую школу знаний и технологии и через три-четыре года занятий вернулись бы к своим почетным постам и возобновили свою деятельность. Чего нам тогда ждать от них? Разве мы не знаем, что положение дел от этого не изменится? Пока человек сам по себе не пройдет через какую-либо трансформацию, никакая сумма знаний и наук не улучшит ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Политики, взятые каждый в отдельности, могут быть хорошими, порядочными людьми, но когда они стоят во главе группы, маленькой или большой, лидеры уже не лидеры, они демократы. Они следуют за массами, а ментальности масс нужны века, чтобы подняться над уровнем посредственности.

Поэтому давайте наберемся терпения и подождем тысячу, или две, или даже миллион лет, а тем временем станем работать, упорно, постоянно, вкладывая все наши моральные и духовные ресурсы, чтобы коренным образом изменить человеческую натуру.

Лучшее средство для достижения этой цели, индивидуальное и коллективное,— это старые способы выучки. И я полагаю, что это тоже своего рода новый способ приумножить смысл созидательного альтруизма.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ РАИСЫ ОРЛОВОЙ

Многим памятно имя Раисы Орловой-Копелевой, талантливого критика, игравшего видную роль в нашей литературной жизни прошедших десятилетий. Литературовод-американист, автор работ, посвященных литературе США, она была в числе первых сотрудников организованного в 1955 году журнала «Иностранная литература». Живо откликалась Орлова и на события отечественной словесности. Она скончалась в Кёльне 31 мая 1989 года. Ее муж, писатель Лев Копелев, привез урну с прахом в Москву: таково было ее завещание.

Тридцать три года они прожили вместе — муж и жена, друзья, соратники, соавторы. Вместе пытались громко говорить о том, что думали, за что и поплатились изгнанием. Они не сломились, не озлобились. Их держало то, что только и может держать человека,— верность себе, своему труду, творчеству. И еще одно — надежда вновь увидеть родину.

Эта надежда сбылась: смертельно больная, она успела глотнуть московского воздуха.

Годы жизни в эмиграции нашли отражение в книге «Двери открываются медленно», фрагменты которой опубликованы в шестом номере журнала «Иностранная литература» за 1989 год.

После того как хирурги Кёльна подарили ей еще год жизни, она начала делать последние записи. На эти страницы легла тень приближающейся смерти, их озарил пронзительный свет продолжающейся жизни. Рая писала эти страницы не для печати, а просто для близких людей. Но они много скажут и тем, кто ее не знал лично. Сегодня из них составлена книга «Почему я живу», вышедшая в издательстве «Штайдль».

Мы приводим некоторые отрывки из этой книги, а также отклики на нее, которые поместила немецкая пресса.

В. КУТЕЙЩИКОВА

«Метастаз в печени» — эту фразу никто из врачей не произнес, хотя здесь больным говорят всё. Это всегда считалось приговором к смерти, но жизнь продолжается. После первой операции — между двумя прошло семь месяцев — я спрашивала себя: «Зачем меня оставили здесь? С каким предначертанием?» Однако ничего провиденциального за то время не произошло. Ответов на эти вопросы не возникло. Быть может, чуть больше, чем прежде, ценила поездки, прогулки, любимые книги и, главное,— роскошь человеческого общения.

Иной раз просыпалась с ощущением: я же здорова! Днем все реже думала о болезни, мрачные мысли возвращались ночами...

А положительные эмоции! — непредвиденные встречи с друзьями в Мюнхене, особенно с Анатолием Приставкиным, а также с Беллой Ахмадулиной, с Андреем Битовым, с Андреем Вознесенским.

Конференция в Копенгагене — впервые совместный разговор членов советской делегации с эмигрантами — Ю. Афанасьев, Г. Белая, Н. Иванова, Е. Эткинд, А. Синявский, В. Аксенов, Ф. Искандер, А. Герман, К. Любарский. Как счастливы мы были встрече с Фазилем! Как приятно было болтать с Алешей Германом — так, словно мы вчера расстались. Мы много читали о Ю. Афанасьеве, много о нем слышали, но в личном общении он оказался еще лучше. Мы поговорили, поспорили, повспоминали и с Григорием Бакламовым. Старые знакомые и друзья удивлялись: «А нам говорили, что ты очень больна». Мне это удивление доставляло радость: значит, позади... я забыла или почти забыла.

Работала. Написала статью о советской литературе: «В надежде на чудо». Проверяла перевод на немецкий книжки «Последний год жизни Герцена». Делала выписки из дневников и писем — давняя мечта о новой книге.

Сейчас не задаю себе вопросов, не думаю о назначении, о предначертании. Просто живу, исполненная благодарности. Живу потому, что в Москве, Ленинграде за меня болели мои родные, они тоже хотели быть бы рядом. Друзья, они протягивали руки отовсюду...

Глядя в окно, я с постели видела два шпиля, собор, знак Кёльна. Смотрела часами. Я ведь осталась жива и благодаря Германии, из-за того поворота судьбы, который все эти годы был для меня бедой, а сейчас обернулся спасением: в Москве еще не делают операций на печени, да и в этой университетской клинике их начали делать только пару лет назад.

Поднимали меня и книги. Глотала свежие номера журналов, и со страниц «Нового мира», «Знамени», «Огонька», «Московских новостей», «Дружбы народов» вливалась надежда. Перечитала «Войну и мир» не отрывками, как почти ежегодно, а с первой до последней строки; была счастлива и горда — это всемирное чудо создано у меня на родине. Читая полностью, забывала, где я и что со мною. А что, собственно? Болей особых нет. Слабость.

Начала — впервые — писать о смерти, прежде бежала этой темы. Но это только самое начало, черновик, еще никому не читала, не перечитывала. Боялась и боюсь слишком близкого соседства «литературы» и «жизни».

За письменным столом сидела сначала не больше чем полчаса, потом отдых, каждый день увеличивала время работы. Немного позже начала печатать. Терапия? Безусловно.

Если б еще и знать, что мои писания кому-нибудь нужны... Но тут уже болезнь ни при чем, это всегдашнее, нарастающее. Маша по телефону: «Семнадцатилетний парень прочитал книгу о Джоне Брауне, очень понравилось, спрашивал про автора». Такое услышишь, на минуту заливает радость, но потом опять и опять: «Для кого пишу?».

Живу потому, что журнал «Вопросы литературы» заказал мне статью «Хемингуэй в России». Отредактировав и сократив работу, написанную в Москве в 1978—1979 гг., опубликованную в «Ардисе» в 1985-м, я отправила рукопись за день до того, как легла в больницу.

А через несколько дней в палату ворвался Лев и счастливейшим голосом сказал: «Звонили из «Иностранной литературы», заказали статью о Бёлле — журнал публикует роман «Заботливая осада»[1]. Значит, быть может, нас и впрямь будут печатать на родине?!»

Я живу потому, что надеюсь. Сколько раз наши надежды казались нелепыми, выдуманными, ложными... Тогда часы, дни отчаяния отбрасывали надолго назад, во тьму. Но вот сбылась же одна надежда, казавшаяся в июне безумием: плывем по Дунаю, сижу на палубе, смотрю на текущую воду, на берега, читаю, пишу, немного плаваю в бассейне, езжу по Вене, по Будапешту, по Белграду...

Разрешение на поездку в Москву. С отчаянием все эти годы справлялась. И с надеждой...

Да, временами вся эта моя едва ли не лихорадочная деятельность — гуляю ли, пишу ли статью, варю ли гречневую кашу — вдруг представляется мне такой ненужной... Зря я перестала себя спрашивать: зачем? Ведь оставили-то меня, чтобы готовилась, серьезно готовилась к последнему переходу.

Но как же все мои?! Сложить руки, перестать бороться за жизнь — значит причинить им жгучую боль. Не имею права. Это черное накатывает не часто, спасения от него нет, лекарства тоже нет. Это как вдруг посреди реки ты не можешь больше плыть. Одно остается: перевернуться на спину и переждать. А стоически ждать смерти — этого я не умею, да и теперь уже не научусь...

Сейчас, семидесятилетняя, только шепчу: спасибо, спасибо, спасибо. Боже, дай забыть о болезни. Убереги от претензий к другим. От жалоб, от жалости к себе. Хотя бы уменьши уныние, отчаяние. Дай возможность дарить, отдавать, помогать...

---

[1] Роман Генриха Бёлля (в журнале он назван «Под конвоем заботы») был опубликован в 1988 году, № 11-12. Статья Копелева — в № 12. *(Прим. ред.)*

После смерти Раисы Орловой, «этой совершенно необыкновенной женщины, излучавшей жизненную силу и сердечность», ее муж Лев Копелев и дочь Мария Орлова издали книгу, которая называется «Почему я живу». Она стала бестселлером. Читая ее, мы знакомимся с человеком, которому в тяжелых условиях удалось сохранить свою личность... Горечь утраты родины после лишения гражданства, тоска по родным и друзьям — об этом искренне и правдиво рассказывается в книге. Среди друзей Раисы Орловой был и Андрей Сахаров (о встречах и разговорах с ним она вспоминает с большой теплотой). В свое время Сахаров говорил: «Родина там, где свобода». Раиса возражала: «Родина там, где родина... Родину выбирать нельзя, да я и не хочу другой. У меня только один дом — Москва. Это город, в котором я родилась, где училась, где родила дочерей, где писала свои книги, где живут мои друзья, где похоронены мои родители, и здесь я хочу умереть...»

Судьба распорядилась иначе, ей пришлось жить и умереть в Кёльне, но она навсегда осталась русским человеком...

О Германии, приютившей их, она пишет необыкновенно тепло. Эссе, письма, дневниковые записи, собранные в книге, свидетельствуют о большой благодарности за гостеприимство, помощь и возможность работать. «Я нашла здесь читателей и друзей, мне предложили гражданство взамен утерянного. Я могу здесь читать, писать, беспрепятственно путешествовать, выступать перед людьми».

Много страниц отведено теме, которую она изучала столько лет: «таинственно переплетенной истории двух народов, преодолению фашизма в Германии и сталинизма в Советском Союзе»...

Письмо президента ФРГ издателю Герхарду Штайдлю.

Многоуважаемый господин Штайдль, я хочу сердечно поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне прекрасную книгу Раисы Орловой «Почему я живу». Пожалуйста, передайте Льву Копелеву, как глубоко тронуло мою жену и меня то, что он переслал нам со своим посвящением экземпляр литературного завещания своей жены, женщины, которой мы восхищались.

С добрыми пожеланиями и сердечным приветом
Рихард фон Вайцзеккер

По материалам немецкой прессы составила Л. Харлап.

Авторы этого номера

АНДРЕ ЖИД (ANDRÉ PAUL GUILLAUME GIDE; 1869—1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1947 г. Автор книг «Болота» («Paludes», 1895), «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897), романов «Имморалист» («L'immoraliste», 1902), «Пасторальная симфония» («La symphonie pastorale», 1919) и др., литературно-критической книги «Достоевский» («Dostoievsky», 1923), а также пьес, очерков, дневников и др. произведений. На русском языке изданы романы «Фальшивомонетчики» («Les faux-monnayeurs», 1925; р. п. 1933), «Подземелья Ватикана» («Les caves du Vatican», 1914; р. п. 1936), книга «Путешествие по Конго» («Voyage au Congo», 1927; р. п. 1931), собрание сочинений (т. 1—4, 1935—1936), «Возвращение из СССР» (журнал «Звезда», 1989, № 8).
Роман «Тесные врата» («La porte étroite») вышел во Франции в 1909 г.

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ (WITOLD GOMBROWICZ; 1904—1969) — польский писатель, по образованию юрист. Литературную деятельность начал в 30-е годы. С 1939 г. жил в Аргентине, затем — во Франции. Автор сборника рассказов «Дневник времен возмужания» («Pamietnik z okresu dojrzewania», 1933), романов «Транс-Атлантик» («Trans-Atlantyk», 1953), «Космос» («Kosmos», 1965), «Порнография» («Pornografia», 1960), драматических произведений «Венчание» («Slub», 1953), «Ивона, принцесса Бургундская» («Iwona ksiezniczka Burgunda», 1958), «Оперетта» («Operetka», 1966). Издал также три тома «Дневника» («Dziennik», 1957, 1962, 1966).
Наибольшую известность получил его сатирический роман «Фердидурка» («Ferdydurke», 1938). Перевод выполнен по изданию Witold Gombrowicz. Dziela, tom 11, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986.

ОКТАВИО ПАС (OCTAVIO PAZ; род. в 1914 г.) — мексиканский поэт и прозаик. Лауреат Нобелевской премии 1990 г. Автор поэтических книг «Свобода под честное слово» («Libertad bajo palabra», 1958), «Саламандра» («Salamandra», 1962), «Возвращение» («Vuelta», 1975) и других.
Публикуемые стихи взяты из сборника «Восточный склон» («Ladera este», México, 1969).
Предлагаемые читателю эссе Октавио Паса вошли в книги «Переменный ток» («Corriente alterna», México, 1967), «Знак и мотыга» («El Signo y el Garabato», México, 1973), «Людоед-филантроп» («El Ogro filantrópico», México, 1979).

Переводчики:

БОГДАНОВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1958 г.) — специалист по французской литературе, переводчик, кандидат филологических наук. Переводил произведения А. Мальро, А. Камю, М. Пруста.

ЕРМОНСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1936 г.) — советский литературный критик и переводчик с польского. В его переводах публиковались книга Я. Ивашкевича «Шопен», романы Т. Брезы «Стены Иерихона», А. Кусьневича «Состояние невесомости», Р. Братного «Колумбы, год рождения 20-й» (совместно с М. Игнатовым), В. Терлецкого «За зверей заплачено», рассказы С. Лема, Б. Чешко и др. писателей Польши.

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский поэт и переводчик, филолог-испанист, доктор филологических наук. Автор сборника стихов «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Николаса Гильена, Леона де Грейффа, Альфредо Вивара и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе «Испанская рифма» (М., 1987), «Стилистический анализ испанского стихотворного текста (основы теории испанской поэтической речи)» (М., 1988) и др.

ЕРМАКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА — советский японовед, кандидат филологических наук, специалист по древней и средневековой японской литературе, переводчик с японского. В ее переводе опубликованы древние памятники японской литературы «Ямато-моногатари», молитвы и указы древних императоров «Норито. Сэммё» и др.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

ФРАНСУАЗА САГАН — Рыбья кровь

Цена конформизма — утрата дара, а затем и самой жизни. История знаменитого кинорежиссера, снимающего фильм в оккупированной нацистами Франции.

«С точки зрения писателя-рассказчика, у войны есть масса преимуществ перед мирным временем: трагически складывающиеся судьбы; любящие сердца, которые разлучаются еще до того, как читателю становится скучно; действия героев, поднимаемые до высот греческой трагедии...»

«МОНД»

ДЖЕЙ МАКИНЕРНИ — Яркие огни, большой город

Семейная жизнь пошла прахом. Работа превратилась в казенную рутину. Душу заволокло липкой мутью. И когда молодой нью-йоркский журналист готов уже, кажется, стоически принять поражение, в конце тоннеля появляется рассеянный свет.

«Автор книги — один из тех редких литераторов, которым удалось верно уловить настроения, оттенки восприятия и нравы, характерные для молодежной субкультуры. Он пишет с юмором, блеском, мастерством и точностью. Стилист милостью Божьей — подлинное открытие книжного сезона».

ДЖОРДЖ ПЛИМПТОН

ДЖОН БОЙТОН ПРИСТЛИ — Роза и корона (одноактная пьеса)

Заурядный лондонский кабачок неожиданно посещает посланец Царства Смерти и объявляет, что одного из присутствующих должен забрать с собой...

КНУТ ГАМСУН

Ранние новеллы и фрагменты автобиографической книги «На заросших тропинках», завершившей творческий путь великого норвежского писателя.

ЭЗРА ПАУНД

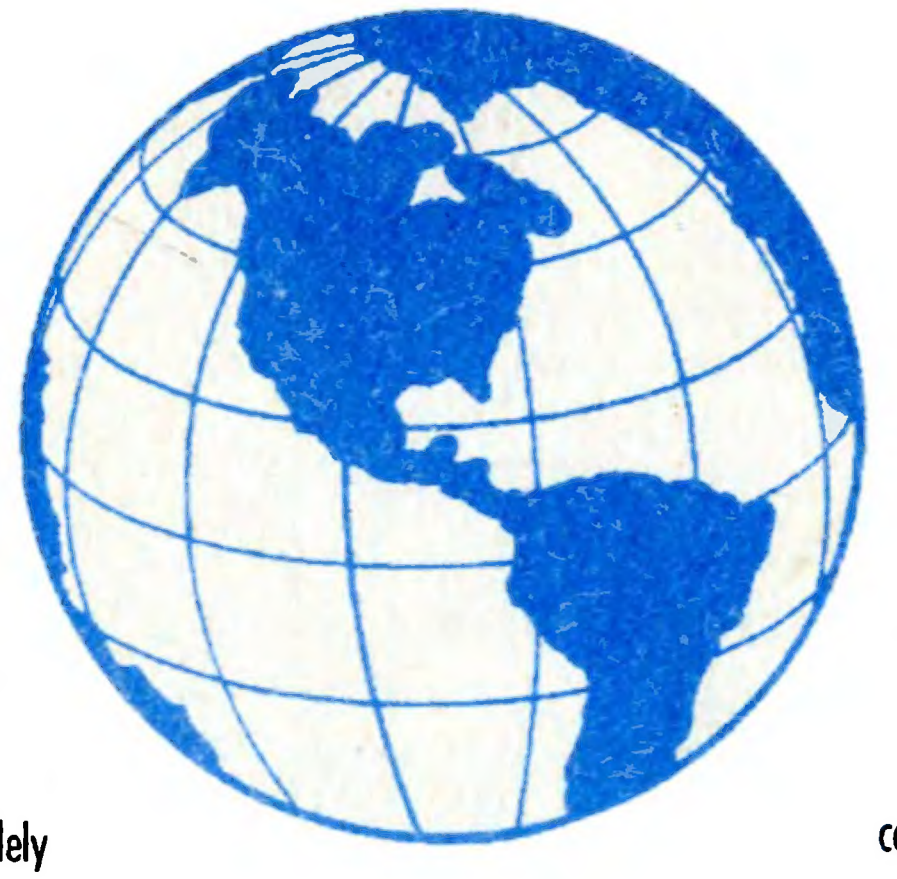
С поэтического Олимпа на скамью подсудимых привела судьба этого крупнейшего американского поэта, отдавшего дань идеологии фашизма. Подборка его стихов и литературный портрет, написанный АЛЕКСЕЕМ ЗВЕРЕВЫМ.

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Интервенция

Глава из книги «60-е. Мир советского человека», посвященной периоду нашей недавней истории, в котором находятся истоки почти всех перестроечных новаций, и статья ЛЬВА АННЕНСКОГО «Пальмы на айсберге» о миражах «шестидесятников» и реалиях шестидесятых.

Цена 2 руб. 95 коп. ИНДЕКС 70394

A World of Literature



Communicating Vessels

André Breton
Translated by Mary Ann Caws and Geoffrey T. Harris

This English translation makes widely available the book upon which the whole edifice of surrealism, as Breton conceived it, is based. It attempts to show how the discoveries and techniques of surrealism could lead to recovery from despondency. $20.00

Bitter Healing

German Women Writers from 1700 to 1830
An Anthology

Jeannine Blackwell and Susanne Zantop

Bitter Healing is the first anthology of 18th- and early 19th-century German women's writing in English translation. It goes far toward filling a major gap in literary history by recovering for a wide audience the works of women who were as famous during their lifetimes as Wieland, Schiller, and Goethe. $38.50 cloth, $14.95 paper

Autobiographical Tightropes

Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Monique Wittig, and Maryse Condé

Leah D. Hewitt

Autobiographical Tightropes emphasizes the tension in the works of these major writers as they move in and out of "experience" and "literature," violating the neat boundaries between genres and confusing the distinctions between remembering and creating. $25.00

Winged Words

American Indian Writers Speak

Laura Coltelli

Some of the most highly regarded contemporary Indian poets and novelists appear together for the first time to discuss major issues confronting current Indian writers. Paula Gunn Allen, Michael Dorris, Louise Erdrich, Joy Harjo, Linda Hogan, N. Scott Momaday, Simon Ortiz, Wendy Rose, Leslie Marmon Silko, Gerald Vizenor, and James Welch are the writers interviewed. $22.50

The Impostor

Peter Seeberg
Translated by Anni Whissen

With great psychological intensity, this novel portrays the existential crisis of a would-be writer named Tom while it raises questions about the ethical choices made by him and others, the capacity for self-deception, the very nature of reality. $22.95 cloth, $7.95 paper

Nebraska

The University of Nebraska Press
901 N 17 · Lincoln 68588-0520

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 1, 1—256